

Собиратель

Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II
23.02.1929 — 5.12.2008 4

2009 ГОД — 200-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Н.В.ГОГОЛЯ

Наталия ЧЕБОТАРЁВА (Украина)
«Русский и малоросс — это души
близнецов...» Забытые страницы
творчества Н.В.Гоголя 10

Владимир ВОРОПАЕВ (Москва, Россия)
Подданный русского царя Гоголь
и Государь Николай Павлович 14

ПРОЗА

Герман ДИКАРЁВ (Таллин, Эстония)
Моя Эстония 25
Туда, на Голгофу 35
Перпетум-мобиле 45

Марат КАЛАНДАРОВ (Рига, Латвия)
Ночь с волчицей
(документальная повесть) 51

Олег МИХАЛЕВИЧ (Рига, Латвия)
Бомба (рассказ) 67

Александр КАЗАКОВ (Псков, Россия)
Невезуха (рассказ) 72

Игорь ИЗБОРЦЕВ (Псков, Россия)
Огуречный тракт 83

Татьяна ЧЕКАСИНА (Москва, Россия)
Облучение (Батальонная любовь) 88

И. ШУХОВ (Калининград, Россия)
Напарники 124

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Аврутин А.Ю. (Белоруссия, Минск)
Ганичев В.Н. (Москва)
Бологов А.А. (Псков)
Буйлов А.М. (Латвия, Рига)
Илляшевич В.Н. (Эстония,
Таллин) — главный редактор
Казинцев А.И. (Москва)
Кожедуб А.К. (Москва–Минск)
Кокшенёва К.А. (Москва)
Переяслов Н.В. (Москва)
Ребров А.Б. (Санкт-Петербург)
Смолькин И.А. (Псков)
Тертычный И.А. (Москва)
Титов Р.Ю. (Эстония, Таллин)
Шевцов В.Е. (Калининград)
Шемшученко В.И.
(Санкт-Петербург)

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

В Пярну: Верещагин Г.В.
Тел. (372) 583 64 670,
В Москве: Вьюгина С.В.
Тел. (495) 247 1370
В Нарве: Урис А.В.
Тел. (372) 5179 021

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ

ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ:
Минин С. (Эстония, Таллин)

ИЗДАТЕЛЬ:

НКО «Премия им.
Ф.М.Достоевского»
при поддержке Эстонского
отделения Союза писателей
России и Объединения
русских литераторов Эстонии
Эстония, Таллин, 11414,
ул. Паэ, 17А–16
Тел./факс (372) 6381 087,
тел. (372) 507 8195
e-mail: willinfo@infonet.ee,
<http://www.baltwillinfo.com>

При копировании материалов
этого издания печатным
или электронным образом
ссылка на источник обязательна.

ПОЭЗИЯ

Александр АНАНИЧЕВ

(Сергиев Посад, Россия)134

О поэзии Артёма Тасалова143

Артём ТАСАЛОВ (Псков, Россия)144

ПОЭЗИЯ / ПРОБА ПЕРА

Эстонская тетрадь

Юлия ИЗОТОВА (Кохтла-Ярве, Эстония)153

Ольга ЛУЖИНА (Кохтла-Ярве, Эстония)155

Александр МАРТЫНОВ (Кохтла-Ярве, Эстония)157

Елена ТОЙВОНЕН (Кохтла-Ярве, Эстония)161

ПУБЛИЦИСТИКА

Александр КАЗИН (Москва, Россия)

Храм, рынок и держава165

Капитолина КОКШЕНЁВА (Москва, Россия)

Дыра нового атеизма

О романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»169

Николай ПЕРЕЯСЛОВ (Москва, Россия)

«На мне сказался крах Союза...»

О поэзии Николая Дмитриева177

Виталий ШЕВЦОВ (Рига, Латвия)

Александр Блок. Белорусская страница жизни поэта180

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

Юрий МАЛЬЦЕВ (Таллин, Эстония)

Русские памятники острова Осмуссаар197

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК221

100 ЛЕТ С КОНЧИНЫ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО

ИОАННА КРОНШТАДТСКОГО

Т.Б.ИЛЬИНСКАЯ

И.К.Сурский и его книга222

ИЗ НАСЛЕДИЯ ЕПИСКОПА ТАЛЛИНСКОГО

И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ИСИДОРА

В записи Любови Булановой. Проверены

и одобрены епископом Исидором

Хроника (Продолжение. Начало в № 2)236

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Валентина СИЙГ (Таллин, Эстония)

Стояли сосны, как во сне...

Художнику Василию Гречко — 70!247

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Йохан Бэкман «Бронзовый солдат». Истоки и суть

конфликта вокруг памятника в Эстонии251

Валентина Банникова — юбиляр. Поздравляем!259

ДНИ ДОСТОЕВСКОГО В ЭСТОНИИ — 2008

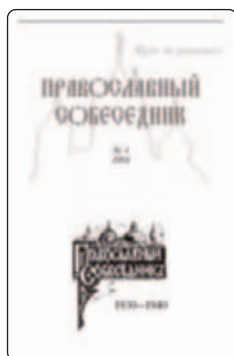
В. Н. Ганичев — лауреат литературной премии

имени Ф.М.Достоевского261

АРХИВ ЖУРНАЛА «БАЛТИКА»

Последний зарубежный визит

Святейшего Патриарха Алексия II7



«ПРАВОСЛАВНЫЙ
СОБЕСЕДНИК»

стр. 221

**Журнал издаётся при содействии Правительства Москвы,
Департамента по международным делам Правительства Москвы,
Московского Дома соотечественника, а также Фонда «Русский мир»
(Москва).**

СОБИРАТЕЛЬ

**Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II
23.02.1929 — 5.12.2008**

Великое видится в своей полноте лишь на расстоянии. Если речь идёт о значительной личности, о деятеле мирового масштаба, то на расстоянии времени. Чем крупнее исторического значения фигура, тем длиннее должен быть отрезок времени, разделяющий его современников от тех, кто способен беспристрастно и по достоинству оценить роль выдающегося человека. Вклад скончавшегося 5 декабря 2008 года Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в историю Русской Православной Церкви и всемирного православия, в духовное наследие Русского мира и шире, человечества, вряд ли сегодня представляется возможным. Именно поэтому возникает резонное опасение скатиться в частных мнениях излишне актуальным, слишком мелочным, утонуть в деталях под накатившей волной эмоций, чувств, информации и поверхностного сопереживания.

Патриарх Алексий, в миру Алексей Михайлович Ридигер, безусловно принадлежит к такому сонму выдающихся личностей и деятелей. Отразить по достоинству масштаб его личности тем более трудно людям, которые знали его лично и общались с ним на протяжении длительного времени. Автору этих строк выпало редкое счастье такого общения. Пусть не самого тесного, но чаще всего не формального и на достаточно изрядный срок длиной в двадцать четыре года. Так было угодно судьбе, что привелось оказаться также в числе последних эстоноземельцев, с кем 15-й Предстоятель Русской Православной Церкви, уроженец Таллина, в своё время возглавлявший здешнюю кафедру почти тридцать лет, имел продолжительную личную беседу. Случилось это за полтора месяца до его кончины. Осень 2008 года оказалась для меня неожиданно богатой на сердечные встречи, в буквальном смысле, за чашкой чая. Ведь с сентября месяца,



после его возвращения, как выразился сам Святейший Владыка, «на трудовой пост» с операции по имплантации стимулятора сердечной деятельности, таких бесед случилась не одна. Конечно, далеко не последнюю роль в этом сыграло то, что наш, пожалуй, наш самый великий эстоноземелец за всю историю Эстонии, неизменно испытывал искренний и глубокий интерес к своей «малой родине». Эта сущностная формула по отношению к Эстонии утвердилась навсегда в его лексике в середине 1990-х годов, в процессе съёмок фильма о любимом патриаршем детище — Пюхтицком Свято-Успенском женском монастыре, что на Журавлиной горе, прозванной издавна народом Святой, на северо-востоке родной ему Эстонии. Напомним, что у истоков создания этой «православной жемчужины» в конце XIX — начале XX ве-

ков стоял один из самых почитаемых всем православным народом святых — отец Иоанн Кронштадтский, прославленный Русской Православной Церковью в самый первый год Патриаршего служения Алексия II.

Святейший благословил сделать эту полчасовую документальную картину и согласился участвовать в ней своим архипастырским словом. Эпизоды из рассказа о возрастании в духовном служении, о значении этой обители в православной жизни, в личной судьбе стали частью повествования о монастыре, но также живым свидетельством великого земляка, из которого родился и второй фильм-беседа, названный согласно сути запечатлённого и поведенного из собственного жизненного пути — «Малая Родина»...

Мы не ошибёмся, если скажем, что для истинно масштабной личности характерна неистребимая устремлённость в будущее. «Да, я знаю о тех серьёзнейших проблемах и трудностях, которыми отягощены сегодняшние взаимоотношения прибалтийских стран и, в частности, Эстонии, с Россией, но главное, из чего мы должны исходить — это поиск путей выхода из тупиков, из нагромождения проблем, порой очень не простых для разрешения. Люди должны искать эти пути на основе добрых побуждений и добрых целей, на основе мира и любви, а не вражды», сказал Патриарх, завершая одну из тем наших осенних встреч. Нет, он не просто выразил своё кредо, но высказал принципиальную позицию в контексте высказанного желания совершенно определённо участвовать в поиске путей выхода из сложившегося, увы, достаточно печального положения дел в эстонско-российских отношениях. В сторону возобновления диалога о сотрудничестве и налаживании добрососедских связей. Россия и прибалтийские страны — часть Европы, евразийского континента и всего мира, подчеркнул Патриарх. — Только в таком контексте думы о будущем для больших и малых, в равной степени, могут поднять нас на уровень действительного понимания судеб мира и каждого человека, как частицы этого мира. Удиви-

тельно, как при огромной занятости и необходимости ежедневно соприкасаться с темами глобального характера, он находил время для маленького кусочка пространства, ставшего местом для начала его собственной земной жизни, местом, где впервые, маленьким дитём был отведён в храм набожными родителями, отцом и будущим протоиереем Михаилом Ридигером.

Ничто не совершается случайно, а всё происходит по воле Господней, любил повторять Святейший Патриарх. Он никогда не выказывал ни малейшей претензии быть вершителем, хоть и влияние его было огромным. Так повелось на Руси издавна, что идея «симфонии власти и духа», родившаяся во времена уникальной византийской государственности, нашла продолжение в российской истории, в самой энергетике Русского мира сегодняшнего дня, что с опорой на эти две исполинские колонны возводились здания наиболее гармоничного общественного бытия. Без основ духовного бытия власть беспомощна, слаба и недолговечна. Без власти, чутко реагирующей, настроенной на улавливание угроз мирному развитию общества духовные основы подвергаются лихим испытаниям, летам лихолетий и, как следствие, нарастают нестроения между странами, народами, социальными группами и просто между людьми. Будь это конфликты внутри общества или целые войны, малые или всемирные кровопролития. Православие, христианская система базовых ценностей, нравственные императивы и есть главная духовная основа России, русского и других народов, живущих в совместном житии, Русского мира. На этом стояла и продолжает стоять Русская Православная Церковь, обретшая поддержку среди, увы, пока немногих ближайших сподвижников, думающей и соперничающей части русской духовно-интеллектуальной и творческой интеллигенции и, в первую очередь, мастеров слова, писателей России и Русского мира. Не случайно Московская Патриархия РПЦ и Союз писателей России стали теми естественными союзниками, кто в начале 1990-х

годов создали Всемирный Русский Народный Собор, самый авторитетный общественный международный форум, получивший на сегодняшний день статус постоянного наблюдателя при Организации Объединённых Наций. А ведь сколько противостояний и прямых, грубых атак, измышлений и издёвок вынесло это начинание поначалу со стороны недоброжелателей, враждебных сил или просто недалёких людей.

Почему именно писатели поддержали Православную Церковь? Хотя бы потому, что именно слово, объединяющее людей в духовной испостаси, в огромном русском пространстве, отнюдь не совпадающем своими границами с современными государственными рубежами России, всегда было главенствующим, системным, культурообразующим источником единства и созидания. Классическая русская литература немыслима вне христианско-православной парадигмы. Нет, не случайно именно русский писатель Владимир Алексеевич Солоухин выступил в конце 1980-х годов с широкой общественной инициативой воссоздания величественного Храма Христа Спасителя в Москве, обретающего в последние годы значение одного из главных символов российской столицы, всей России и Русского мира. Конечно же, Солоухин, будучи кровью от крови народной, советовался с Церковью и, конечно же, Она была вместе с народом. В 1990 году, уже при Патриархе Алексии, было принято решение о воссоздании храма, а в 1995 году начались восстановительные работы. Два года спустя, в 1997 году, именно здесь отпевали упокоившегося раба Божьего Владимира Солоухина, создавшего в 1990 году Общественное движение по восстановлению храма вместе с собратьями по перу Владимиром Николаевичем Крупиным, Валентином Григорьевичем Распутиным и их близкими друзьями — композитором Георгием Васильевичем Свиридовым и скульптором Владимиром Петровичем Мокроусовым.

По всей России народ поднялся возвращать порушенное в прошлом. Сегодня у Русской Православной Церкви 710 монастырей, а в 1987 году их оставалось лишь 18,

отстроено 27000 храмов, а двадцать лет назад их было 6800. **Возвращение к духовным истокам нашего общества произошло в период служения Патриарха Алексия.**

Что является для человека цивилизационным кодом в его культурном портрете? Этническое происхождение, язык, национальная психология, культура быта? Пожалуй, таким кодом представляется вера, религия в широком смысле этого понятия, если иметь ввиду систему нравственных ценностей, нравственных координат и их иерархию. Можно сказать, что мы имеем дело именно с религиозным человеком, если для него приоритетными являются духовное начало, идеалы, а не сугубые материальные блага. Конечно, язык, культура, этническое происхождение тоже играют не последнюю роль. Увы, человек ограничен во времени и пространстве. Нравственные ценности императивны, вечны, если хотите. Родители Патриарха, благодаря которым он и возрос в православной вере, имели русское происхождение, ибо были глубоко православными людьми. Отец, протоиерей Михаил Александрович Ридигер, оказался в Эстонии, когда в первые революционные годы вместе со своими родителями переехал сюда из Санкт-Петербурга. В тогдашней российской столице он, будучи из дворянской семьи обрусевших прибалтийских немцев и русского происхождения, успел окончить лишь подготовительные классы привилегированного Императорского училища правоведения, в отличие от старшего брата, окончивший здесь полный курс. Эмигрантская доля незавидна, пришлось претерпеть немало лишений. В Таллине Михаил Ридигер познакомился со своей будущей женой и матерью Патриарха Еленой Иосифовной, дочерью полковника царской армии Иосифа Константиновича Дунина-Слепеца, дворянина из древнего шляхетского рода Дуниных герба «Лебедь», и Марии Петровны, урождённой Писаревой, из старого русского купеческого рода города Ревеля, давшего немало православных меценатов в главном городе Эстляндии. Скажем здесь, что полковник Дунин-

АРХИВ ЖУРНАЛА «БАЛТИКА»

Последний зарубежный визит Святейшего Патриарха Алексия II

Кафедральный собор Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) Святых Новомучеников и Исповедников Российских и Святителя Николая, город Мюнхен. Здесь, вечером 29 ноября 2008 года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II совершил молебен с акафистом у чудотворной Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение». Образ был доставлен в Мюнхен из Дублина за несколько часов до молебна.

Чудотворная икона Божией Матери Курская-Коренная является главной святыней Русской Зарубежной Церкви. Первые упоминания об этом образе датируются XIII веком. Вместе с остатками Белой армии после завершения гражданской войны икона покинула в 1920 году Россию и последние полвека находится в Знаменском синодальном соборе РПЦЗ в Нью-Йорке, откуда её иногда вывозят на короткое время в разные страны мира для поклонения верующих.

Редакция благодарит за предоставленные снимки Александру Кулакову (Таллин), студентку университета в Зальцбурге.



Патриарх в храме Мюнхена.



Храм в Мюнхене.

Слепец погиб во время солдатских бунтов времён революции, а дочь его, Елена Иосифовна, уже в первые годы самостоятельной Эстонии выправила паспорт, приняв девичью фамилию матери — Писарева. Отец Михаил ещё до венчания сказал своей суженной, что намерен стать священником. Так и случилось, за несколько лет до начала Второй мировой войны. Кровавая бойня наложила свой отпечаток на отца Михаила. На его долю привелось тяжкое испытание. Священник Михаил Ридигер часто отпевал погибших в лагерях советских военнопленных, умерших от голода, болезней людей самых разных национальностей и судеб. Счёт был на тысячи. Глубочайшее сострадание людскому горю — вот главная черта священника Ридигера и его семьи, в которой родился и вырос будущий Патриарх Алексей. Не случайно он любил цитировать одно высказывание английского математика и логика второй половины XIX века Чарльза Лаутиджа Доджсона, известного как автор «Алисы в стране чудес» и «В Зазеркалье», написанных под псевдонимом Льюис Кэрролл: «Бог обращается к человеку шёпотом любви, а если Он не услышан — то голосом совести; а если человек не слышит и голоса совести — то Бог обращается через рупор страданий». В родословной отца Михаила было много предков разного корня — обрусевшие прибалтийские немцы Ридигеры, Бальцы, Гамбургеры, «венетианцы» Гизетти, русский генерал Семён Броневский. Мать Елена — из русских и польских истоков. Кем считал себя Святейший Патриарх? Русским. Вспомним, что сказал в своей пушкинской речи Ф.М.Достоевский: «И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия, уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всеобъединяющей, вместить в неё с братской любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть,

и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племён по Христову евангельскому закону!». В этой формуле Достоевского жили родители Патриарха и, следуя ей, воспитали своего сына. На старом таллинском Александро-Невском некрополе упокоились рядом и отец Михаил, и мать Елена, и бабушка Мария Петровна Дунина, урождённая Писарева, дяди по линии матери. 15 ноября, в дни Достоевского в Таллине, по благословению Патриарха, мы посетили эти могилы. Вместе с руководителем российской делегации, председателем Союза писателей России и заместителем Главы Всемирного Русского Народного Собора Валерием Николаевичем Ганичевым положили цветы и помолились за упокой тех, кто был так дорог сердцу Святейшего Алексея.

«Обрусеть», то есть стать русским — многозначительное судьбоносное понятие. Сострадание и любовь — ключевые понятия в русском православии. Не было случайностей в судьбе Святейшего и в его выборе пути. Когда в 2007 году наконец-то соединились две части Русской Православной Церкви и Зарубежная Церковь вернулась в лоно Матери-Церкви, всякому было понятно, что произошло это с молитвами Алексея II. В марте 2008 года ушёл из земной юдоли Митрополит Лавр, возглавлявший Русскую Православную Церковь Зарубежья. 5 декабря ему последовал Патриарх. Они — собиратели, соединители, выполнили свой долг сполна. **Полнота русского православия была восстановлена.**

Летом 2008 года врачи категорически возражали против поездки Святейшего Патриарха на Украину, куда в связи с очередной датой из истории крещения Руси был приглашён глава Константинопольской Церкви — Патриарх Варфоломей. Хорошо были известны планы по разрушению единства Русского Православия и по расколу Украинской Православной Церкви. Не получилось это у недоброжелателей. Патриарх Алексей, преодолевая тяжёлый недуг, на Украину поехал. В простом в человеческом смысле он совершил

подвиг, и единство было сохранено. Совершён был подвиг духовный. Двадцать лет назад Церковь была слаба. Но Она окрепла, потому, что смогла сохранить свою духовную суть — чистый христианский исток и, что не менее важно, народность. **Народ христианский, Церковь, как тело Христово — вот источник крепости и авторитета Церкви, как социального, общественного института с его иерархией, добрым деланием, социальной программой и духовным просветительством. Народность Церкви — исток Её силы. Жизнь и подвиг Патриарха — свидетельство тому.**

Мир отражается в море и в маленькой капле одинаково полно. Мир отражался в личности Патриарха как во всём море народном. Он велик даже не потому, что сумел сделать то, что почти не в силах для одного человека. Он велик потому, что на глобальные вызовы времени он смог ответить достойно и печалился в последние дни свои, не ведая, что кончина близка, о том, что ещё не сделано. Он не думал о том, что уже совершилось, а грустил о том, что так мало свершить успел. Патриарх Алексей и свершённое им стали органичной частью глобального ответа Русского мира на мировые вызовы современности. Этот ответ оказался достойным. Святейший Патриарх был рождён и выпестован нашей историей, русской цивилизацией.

Незадолго до кончины мы от имени общественности Эстонии вручили Святейшему Патриарху Алексею Примеча-

тельную картину работы таллинского русского художника Сергей Минина. Не знаю почему, но ещё весной, в долгом обсуждении с живописцем, идея сюжета родилась именно такой: Патриарх стоит в таллинской Казанской церкви, где почти всю жизнь прослужил священником его отец. Стоит не в патриаршем облачении, а в монашеской одежде, опершись крупными руками на посох и с мягкой улыбкой, обращённой в себя. Рядом, сквозь открытое окно проступает, как бы из прошлого, изображение его отца — протоиерея Михаила, на коленях которого мирно, при тихом отблеске свечи спит ребёнок, мальчик Алексей. Настоящее и прошлое, память и сегодняшний день человека. Незаурядная и мощная личность, но всё таки просто человек, проживший всю жизнь с постоянной мыслью о служении и об искупительной жертве Христа...

5 декабря он скончался, в день поминовения Святого Благоверного князя Михаила Тверского, в день Ангела отца протоиерея Михаила Ридигера, в день памяти о разрушении воистину народного храма — Храма Христа Спасителя, восстановленного его тщаниями, тщаниями Предстоятеля Русской Православной Церкви, эстоноземельца, русского подвижника, всероссийского духовника и Собирателя.

**Владимир Илляшевич,
кавалер ордена Св.Сергия
Радонежского III ст.**

Наталия ЧЕБОТАРЁВА (Украина)

«РУССКИЙ И МАЛОРОСС — ЭТО ДУШИ БЛИЗНЕЦОВ...»

Забывшие страницы творчества Н.В.Гоголя

Известно, что в прошлом веке многие американцы изучали русский язык для того, чтобы читать Достоевского в оригинале. Отчего же не изучают иностранцы Гоголя? Да потому что настоящего Гоголя не знаем даже мы, земляки великого русского духовного писателя.

Исследователь творчества Гоголя К. Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя» писал: «Переписка» Гоголя обнаружила, что русское общество уже распалось на два враждебных лагеря и что разъединяют его не столько споры о Востоке и Западе (славянофилы и западники), не столько распри политические (консерваторы и либералы), сколько проблема о религиозном призвании России. Гоголь утверждал, что смысл национального бытия России — религиозный; что она — страна мессианская, призванная распространить по всему миру Свет Христова Просвещения. Тезис Гоголя: русский народ — самый религиозный в мире, столкнулся с антитезисом Белинского — русский народ глубоко атеистичен. Тяжба между ними была решена в пользу последнего. Призывы Гоголя оказались гласом в пустыне... Но на голос Гоголя откликнулся Достоевский».

«Выбранные места из переписки с друзьями», на мой взгляд, энциклопедия России XIX века. Вот названия отдельных писем, из которых состоит так и не понятая современниками Гоголя книга: «Чтения русских поэтов перед публикою», «Несколько слов о нашей Церкви и духовенстве», «Христианин идёт вперёд», «Просвещение», «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Русский помещик», «Страхи и ужасы России», «Чей удел на земле выше», «Светлое Воскресение» и другие. То есть главной темой «Выбранных мест...» является Россия и её духовное будущее.

Книгу не поняли и не приняли не только общественность, самые близкие знакомые Гоголя (друзей у него никогда не было), но даже духовенство страны. Возможно, не понравилась поза Гоголя как проповедника, способного указать всем и каждому, от первого до последнего человека в государстве, путь спасения. Но ведь Гоголь писал свою книгу не для духовных людей, он мечтал просветить русское чиновничество, власти, которые могли бы в свою очередь просвещать народ: «...после долгих лет и трудов, и опытов, и размышлений, идя видимо вперёд, я пришёл к тому, о чём уже помышлял во время моего детства: что назначение человека — служить, и вся жизнь наша есть служба. Не забывать только нужно того, что взято место в земном государстве затем, чтобы служить на нём Государю Небесному и потому иметь в виду Его закон. Только так служа, можно угодить всем: государю, и народу, и земле своей», — писал Гоголь в ответе на критику его книги.

В «Выбранных местах...» Гоголь провозглашает необходимость внутреннего переустройства каждого человека, которое должно послужить залогом переустройства всей страны.

По мнению исследователя творчества Гоголя В. Воропаева, расположение писем в книге Гоголя имеет чётко продуманную композицию, отражающую христианскую идею автора. Книга открывается наделавшим в своё время много шума «Завещанием», как бы для внушения читателю необходимости памяти смерти, а заканчивается главой «Светлое Воскресение», чтобы напомнить нам о жизни после смерти. Кстати, эту последнюю главу гоголевед Воропаев называет шедевром прозы, в котором «сначала звучат редкие, глухие удары великопостного колокола, которые в конце постепенно

сменяются ликующим пасхальным благовестием», а саму книгу соотносит с традицией святоотеческой литературы.

И это не удивительно. Ведь Гоголь читал творения святых отцов, изданные Московской духовной академией, а также сочинения Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, Добротолюбие и другие, в Киеве хранятся копии рукописи Гоголя с выписками из святых отцов и учителей православной Церкви. В некоторых местах книги Гоголя заметно влияние духовного учения исихастов, известного под названием «Умного делания».

А отдельные страницы как будто списаны с нашей сегодняшней трагической действительности: «И человеку ли такого века уметь полюбить и почувствовать христианскую любовь к человеку? Ему ли исполниться того светлого простодушия и ангельского младенчества, которое собирает всех людей в одну семью? Ему ли услышать благоухание небесного братства нашего? Исчезло даже и то наружно добродушное выражение прежних, простых веков, которое давало вид, как будто бы человек был ближе к человеку. Гордый ум XIX века истребил его. Дьявол выступил уже без маски в мир. Дух гордости перестал уже являться в разных образах и пугать суеверных людей, он явился в собственном своём виде. Почувяв, что признают его господство, он перестал уже и чиниться с людьми. С дерзким бесстыдством смеётся в глаза им же, его признающим; глупейшие законы даёт миру, какие доселе ещё никогда не давались, — и мир это видит и не смеет послушаться. Что значит эта мода, ничтожная, незначащая, которую допустил вначале человек как мелочь, как невинное дело, и которая теперь, как полная хозяйка, уже стала распорядиться в домах наших, выгоняя всё, что есть главнейшего и лучшего в человеке? Никто не боится преступать несколько раз в день первейшие и священные законы Христа и между тем боится не исполнить её малейшего приказа... Что значат эти странные власти, образовавшиеся помимо законных, — посторонние, побочные влияния? Что значит, что уже правят миром швеи, портные и ремесленники всякого рода, а Божии помазанники остались в стороне? Люди тёмные, никому не известные, не имеющие мыслей и чистосердечных убеждений, правят мыслями и мнениями умных людей, и газетный листок, признаваемый лживым всеми, становится нечувствительным законодателем его, не уважающего человека. Что значат все незаконные эти законы, которые видимо... чертит исходящая снизу нечистая сила, — и мир это видит весь и, как очарованный, не смеет шевельнуться?»

Однако прочь трагедии, давайте лучше обратимся к светлым мыслям писателя о православном монархе в России — здесь наиболее ярко проявились прозорливость Гоголя, пером которого, кажется, водило само Провидение. Как признавался Гоголь в письме к ректору Санкт-Петербургского университета Плетнёву: «Друг мой, я действовал твёрдо, во имя Бога, когда составлял мою книгу; во славу Его святого имени взял перо; а потому и расступились передо мною все преграды и всё останавливающее бессильно-го человека» (В.Вересаев. «Гоголь в жизни». Харьков, 1990 г., стр. 443).

Далее в этом же письме Гоголь просит Плетнёва подарить несколько экземпляров своей книги царским особам, упоминая о своём трепетном чувстве к монархической династии, том чувстве, которое столь упорно вытравлялось советско-антицарским режимом и которое у нас, слава Богу, вновь возрождается: «По выходе книги приготовь экземпляры и поднеси всему царскому дому до единого, не выключая и малолетних, — всем великим князьям. Ни от кого не бери подарков; скажи, что поднесение этой книги есть выражение того чувства, которое я сам не умею себе объяснить, которое стало в последнее время ещё сильнее, чем было прежде, вследствие которого всё, относящееся к их дому, стало близко моей душе...» (Там же.)

Кстати, ведь и другой наш гений, Т.Шевченко, не так относился к царю, как о том ныне сочиняют матерые националисты. В каневском музее ещё недавно (не знаю, как сейчас) висело факсимиле шевченковского признания, а ведь тогда царские жандармы, в отличие от большевиков, пыток не применяли: «...я увидел нищету и ужасное огне-

тение крестьян помещиками, посессорами и экономами шляхтичами, и всё это делалось и делается именем Государя и правительства; я всему этому поверил и, забыв совесть и страх Божий, дерзнул писать наглости против моего Высочайшего благодетеля, чем довершил своё безумие».

Интересно мнение Гоголя о Тарасе Григорьевиче, которое слышал учёный О.М.Бодянский из уст самого писателя. С ним следовало бы ознакомиться нашим украинским националистом: «Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника; мне удалось и самому кое-чем помочь в первом устройстве его судьбы. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они всё ещё дожёвывают европейские, давно выкинутые жвачки. Русский и малоросс — это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой, невозможно... Всякий, пишущий теперь, должен думать не о розни; он должен прежде всего поставить себя перед лицом Того, Кто дал нам вечное человеческое слово...» (В.Вересаев. «Гоголь в жизни». Харьков, 1990 г., стр. 598).

Гоголь жил и творил в то время, когда государственной идеологией была провозглашена теория министра С.С.Уварова «Православие. Самодержавие. Народность». Полностью поддерживая её, Гоголь создаёт свой маленький шедевр — десятую главу «О лиризме наших поэтов» (в своих «Выбранных местах...»), где говорится об идеальном облике и высшем назначении монарха. Глава эта почему-то не вошла в недавно изданную на Украине книгу Гоголя «Размышления о Божественной литургии» («Свято-Макариевская церковь в Киеве», 1999 г.), тем более интересно будет, надеемся, православным читателям познакомиться с отрывками из неё.

«Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна любовь, и таким образом станет видно всем, почему Государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша. Значение Государя в Европе неминуемо приблизится к тому же выражению. Всё к тому ведёт, чтобы вызвать в государях высшую, Божескую любовь к народам. Уже раздаются вопли страданий душевных всего человечества, которыми заболел почти каждый из нынешних европейских народов, и мечется, бедный, не зная сам, как и чем себе помочь: всякое постороннее прикосновение жестоко разболевшимся его ранам; всякое средство, всякая помощь, придуманная умом, ему груба и не приносит целения. Эти крики усилятся наконец до того, что разорвётся от жалости и бесчувственности сердце, и сила доселе ещё небывалого сострадания вызовет силу другой, доселе ещё небывалой любви. Загорится человек любовью ко всему человечеству, такую, какую ещё никогда не загорался. Из нас, людей частных, возыметь такую любовь во всей силе никто не возможет; она останется в идеях и в мыслях, а не в деле; могут проникнуться ею вполне одни только те, которым уже постановлено в непременный закон полюбить всех, как одного человека. Все полюбивши в своём государстве, до единого человека всякого сословия и звания, и обративши всё, что ни есть в нём, как бы в собственное тело своё, возболев духом о всех, скорбя, рыдая, молясь и день и ночь о страждущем народе своём. Государь приобретёт тот всемогущий голос любви, который один только может быть доступен разболевшемуся человечеству и которого прикосновение будет не жестоко его ранам, который один может только внести примирение во все сословия и обратить в стройный оркестр государство. Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение своё — быть образом Того на земле, Который Сам есть любовь. В Европе не приходило никому в ум определить высшее значение монарха. Государственные люди, законоискусники и правоведцы смотрели на одну его сторону, именно как на высшего чиновника в государстве, поставленного от людей, а потому не знают даже, как быть с этой властью, как ей указать надлежащие границы, когда вследствие ежедневно изменяющихся обстоятельств бывает нужно то расширить её пределы, то ограничить её. А через это и государь, и народ поставлены между собой в странное положение: они глядят друг на друга чуть не таким же точно образом, как на противников, желающих воспользоваться властью один за счёт дру-

гого. Высшее значение монарха прозрели у нас поэты, а не законоведцы. Услышали с трепетом волю Бога создать её в России в её законном виде; оттого и звуки их становятся библейскими всякий раз, как только излетает из уст их слово царь. Его слышит у нас и не поэт, потому что страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в её полном и совершенном виде. Все события в нашем отечестве, начиная от порабощения татарского, видимо, клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, всё потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в себе самом ту же брань всему невежественному и тёмному, какую воздвигнул царь в своём государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и всё придёт в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить, как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия. Смотри также, каким чудным средством ещё прежде, нежели могло объясниться полное значение этой власти как самому государю, так и его подданным, уже брошены были семена взаимной любви в сердца! Ни один царский дом не начинался так необыкновенно, как начался дом Романовых. Его начало было уже подвиг любви. Последний и низший подданный в государстве принёс и положил свою жизнь для того, чтобы дать нам царя, и сею чистою жертвою связал уже неразрывно Государя с подданным. Любовь вошла в нашу кровь, и завязалось у нас всех кровное родство с царём. И так слился и стал одноедино с подвластными повелитель, что нам всем теперь видится всеобщая беда — Государь ли позабудет своего подданного и отрешится от него или подданный позабудет своего Государя и от него отрешится. Как явно тоже оказывается воля Божия — избрать для этого фамилию Романовых, а не другую! Как непостижимо это возведение на престол никому не известного отрока!»

Стою в Михайловском храме г.Мироновка на Киевщине и вдруг вижу — справа от алтаря над клиросом парит святой царь Николай с семьёю... «Не может быть», — подумалось мне, ведь церковь строилась до канонизации. «Да, действительно, — говорит настоятель храма старенький о.Иоанн, святые страстотерпцы появились у нас до официальной канонизации, но ведь я знал, что они будут прославлены!»

Я задумалась. Нужно ещё заказать панихиду по писателю Николаю Гоголю, ведь он просил в «Духовном завещании»: «Я бы хотел, чтобы тело моё было в ограде церковной и чтобы панихиды по мне не прекращались».

Интересно, а о каком царе — о том, что был, или о том, который ещё будет, писал Н.В.Гоголь в заключительных строках «Тараса Бульбы»: «...будет время, узнаете вы, что такое православная русская вера! Уже и теперь чувю дальние и близкие народы: подымается из русской земли свой царь, и не будет в мире силы, которая бы не покорилась ему!»

«Православная Русь», апрель 2008 г.

Владимир ВОРОПАЕВ (Москва)

ПОДДАННЫЙ РУССКОГО ЦАРЯ ГОГОЛЬ И ГОСУДАРЬ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

Бога бойтесь, царя чтите

1 Петр. 2, 17.

1

В письме «Исторический живописец Иванов», адресованном графу Матвею Юрьевичу Виельгорскому и вошедшем в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями», Гоголь рассказал о помощи, оказанной ему однажды Государем Николаем Павловичем: «... я очутился в городе, где не было почти ни души мне близкой, без всяких средств, рискуя умереть не только от болезни и страданий душевных, но даже от голода... Спасен я был Государем. Нежданно ко мне пришла от него помощь. Услышал ли он сердцем, что бедный подданный его на своем неслужащем и незаметном поприще помышлял сослужить ему такую же честную службу, какую сослужили ему другие на своих служащих и заметных поприщах, или это было просто обычное движение милости его. Но эта помощь меня подняла вдруг».

Не так давно Игорь Виноградов опубликовал письмо Гоголя к Императору Николаю Павловичу от 18 апреля (н. ст.) 1837 года, проясняющее этот эпизод биографии пи-

Владимир Алексеевич Воропаев (1950) — доктор филологических наук, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, председатель Гоголевской комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры», член Союза писателей России. Живёт и работает в Москве.



сателя и неопровержимо свидетельствующее о его монархических убеждениях¹. «Всемиловейший Государь, — писал Гоголь, — простите великодушно смелость Вашему бедному подданному, дерзающему возносить к Вам незнаемый голос. Находясь в чужой земле, среди людей, лишенных участия ко мне, к кому прибегну я, как не к своему Государю? Участь поэтов печальна на земле: им нет пристанища, им не прощают бедную крупицу таланта, их гонят, — но венценосные властители становились их великодушными заступниками».

И далее: «Я болен, я в чужой земле, я не имею ничего — и молю Вашей милости, Государь: ниспошлите мне возможность продлить бедный остаток моего существования до тех пор, пока совершу начатые мною труды и таким образом заплачу свой долг отечеству, чтобы оно не произнесло мне тяжелого и невыносимого упрека за бесполезность моего существования. Клянусь, это одна только причина, понудившая меня прибегнуть к стопам Вашим».

Письмо написано в Риме, куда Гоголь приехал в марте 1837 года (это было его первое посещение вечного города). Спустя три недели, он писал Василию Андреевичу Жуковскому, имея в виду работу над «Мертвыми душами»: «Я должен продолжать мною начатый большой труд, который писать с меня взял слово Пушкин, которого мысль есть его создание и который обратился для меня с этих пор в священное завещание. Я дорожу теперь минутами моей жизни, потому что не думаю, чтобы она была долговечна, а между тем... я начинаю верить тому, что прежде считал басней, что писатели в наше время могут умирать с голоду... Я думал, думал, и ничего не мог придумать лучше, как прибегнуть к Государю. Он милостив, мне памятно до гроба то внимание, которое он оказал моему «Ревизору». Я написал письмо, которое прилагаю; если вы найдете его написанным как следует, будьте моим представителем...»

В этом же письме Гоголь просил Жуковского найти случай указать Царю на два его произведения: «Старосветские помещики» и «Тарас Бульба»: «Это те две счастливые повести, которые нравились совершенно всем вкусам и всем различным темпераментам... Если бы их прочел Государь! Он же так расположен ко всему, где есть теплота чувств и что пишется прямо от души...»

Письмо Гоголя было передано Царю, который распорядился выслать ему через Русскую миссию 500 червонцев. Государю Императору памятна была история с постановкой комедии «Ревизор» на сцене Александринского театра в Петербурге².

Все свои книги, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», Гоголь преподносил членам Царствующего Дома и самому Императору. Это было данью от чистого сердца



Н. В. Гоголь

1 См.: Виноградов И. «Спасен я был Государем». Известное письмо Н. В. Гоголя к Императору Николаю Павловичу и его отношение к монархии // Лит. в школе. 1998. № 7.

2 По преданию, оказавшись однажды после дорожного происшествия в уездном городе Чембаре Пензенской губернии и принимая местных чиновников, Государь воскликнул: «Ба! Да я вас всех знаю!» Он пояснил, что хотя первый раз в Чембаре, но знает всех по «Ревизору» Гоголя.



Император Николай I

русского подданного, убежденного монархиста, не изменившего своему убеждению до конца жизни.

«Вот видите, — говорил Гоголь, — я и прежде всегда то же думал, точно такие же высказывал убеждения, как и теперь!.. С какой же стати упрекать меня в измене, в отступничестве...» «Преданность к Религии и привязанность к Отечеству и Государю» Гоголь называл «священными словами».

В статье «О преподавании всеобщей истории», опубликованной в «Арабесках» (1835) и датированной самим Гоголем 1832 годом, Николай Павлович назван «Великим Государем». Здесь же Гоголь писал, что цель его — образовать сердца юных слушателей, чтобы «не изменили они своему долгу, своей Вере, своей благородной чести и своей клятве — быть верными своему Отечеству и Государю». Именно эти строки Гоголь, по всей видимости, зачитывал Ивану Сергеевичу Тургеневу в октябре 1851 года в доказательство неизменности своих взглядов, вопреки обвинениям Герцена в «отступничестве». «Помнится, речь зашла о необходимости строгого порядка, безусловного повиновения властям и т. п., — вспоминал Тургенев, неприязненно относившийся как к ранним статьям Гоголя в «Арабесках», так и к «Выбранным местам из переписки с друзьями».

В декабре 1845 года Император Николай Павлович был в Риме, где во время свидания с папой Григорием XVI договорился о заключении Римской церковью конкордата (соглашения) с Россией. В связи с этим Гоголь писал графу Александру Петровичу Толстому 2 января (н. ст.) 1846 года из Рима: «О Государе вам мало скажу. Я его видел раза два-три мельком. Его наружность была прекрасна, и ею он произвел впечатление большее в римлянах. Его повсюду в народе называли просто Imperatore, без прибавления: di Russia, так что иностранец мог подумать, что это был законный государь здешней земли... К художествам и к искусствам Государь был благосклонен. Показал вкус в выборах и в заказах и даже в том, что заказал немного... Если он молится и если молится так сильно и искренно, как он действительно молится, то, верно, Бог внушит ему весь ход и надлежащий закон действий. «Сердце Царя в руке Божией», — говорит нам Божий же глагол. И если медлит когда исходить от Царя всем очевидное благо, то, верно, так нужно; верно, мы стоим того за грехи наши...»

Вскоре в письме к Александре Осиповне Смирновой от 27 января (н. ст.), говоря о пребывании Государя в Риме, Гоголь заметил: «Я не представлялся к нему потому, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго и достойного благоволения, напоминать о своем существовании... Государь должен увидеть меня тогда, когда я на своем скромном поприще сослужу ему такую службу, какую совершают другие на государственных поприщах». А в письме к Жуковскому от 6 февраля (н. ст.) Гоголь приводит новые подробности посещения Государем Рима: «Был очень ласков с художниками. Весьма похвалил Иванова, которого картина ему очень понравилась... Бывши в куполе Петра, он достигнул самого яблока и написал в нем: «Здесь был Император Николай и молился о благоденствии матушки России».

В связи с хлопотами друзей Гоголя по поводу назначения ему государственного пособия Жуковский писал Смирновой в январе 1845 года: «Вам бы надо о нем позаботиться у Царя и Царицы. Ему необходимо иметь что-нибудь верное в год. Сочинения ему мало приносят, и он в беспременной зависимости от завтрашнего дня. Подумайте об этом; вы лучше других можете охарактеризовать Гоголя с его настоящей, лучшей стороны». И вот Гоголь получает от Государя «пенсия» по тысяче рублей в год на три года. Такую же сумму прибавил ему наследник, великий князь Александр Николаевич (будущий Император Александр II).

В дневнике Смирновой есть любопытные подробности: «Государь перебил разговор. Я ему напомнила о Гоголе, он был благосклонен. «У него есть много таланту драматического, но я не прощаю ему выражения и обороты слишком грубые и низкие». — «Читали вы «Мертвые души»? — спросила я. — «Да разве они его? Я думал, что это Соллогуба». Я советовала их прочесть и заметить те страницы, где выражается глубокое чувство народности и патриотизма».

Многих смущает ошибка Государя, подумавшего, что «Мертвые души» написаны графом Владимиром Соллогубом. На самом деле в этом нет ничего удивительного. Можно представить себе, как загружен был Царь делами: до литературы ли ему было. К тому же в 1845 году вышла повесть Соллогуба «Тарантас», которая произвела благоприятное впечатление на многих. Летом того же года Смирнова писала Гоголю: «Кстати, о книгах: «Тарантас» очень понравился Государю, он очень часто о нем говорил...»

В феврале 1847 года Гоголь сообщил графу Александру Петровичу Толстому из Неаполя о той заботливости, которую проявил по отношению к нему Николай Павлович в связи с его паломничеством в Иерусалим: «Государь был так милостив ко мне и еще месяц тому назад, узнавши о моем путешествии, мной предпринимаемом, расспрашивал с участием обо мне у Михаила Юрьевича Виельгорского и дал приказание канцлеру написать во все посольства, миссии и начальства тех земель на Востоке, где ни буду проходить, оказывать мне особое покровительство».

У нас нет свидетельств о личном знакомстве Гоголя с Царем. Но оно, без сомнения, состоялось. Это следует из письма Гоголю не установленного лица из Одессы от 8 мая 1848 года, опубликованного Владимиром Ивановичем Шенроком в четвертом томе «Материалов для биографии Гоголя». Неизвестный корреспондент обращается к Гоголю, выехавшему из Одессы в Васильевку, со следующей просьбой: «В Петербурге, если будешь видеть Государя Императора, то скажи ему, что я *живу в Одессе*, расскажи ему о моем семейном быте и что есть ему надежда со мной повидаться в Петербурге в июле месяце. Исполнением этой моей просьбы ты душевно меня обяжешь».



Н.В.Гоголь

2

В статье «О лиризме наших поэтов», опубликованной в книге «Выбранные места из переписки с друзьями», Гоголь говорит о двух предметах, которые вызывали у русских поэтов высокое лирическое одушевление, близкое к библейскому. Первый

из них — Россия, второй — любовь граждан к своему монарху. «От множества гимнов и од царям, — пишет Гоголь, — поэзия наша, уже со времен Ломоносова и Державина, получила какое-то величественно-царственное выражение. Что их чувства искренни — об этом нечего и говорить. Только тот, кто наделен мелочным остроумием, способным на одни мгновенные, легкие соображенья, увидит здесь лесть и желание получить что-нибудь...»

Размышляя о значении самодержавия для России, Гоголь приводит следующие слова Пушкина. «Зачем нужно, — говорил он, — чтобы один из нас стал выше всех и даже выше самого закона? Затем, что закон — дерево; в законе слышит человек что-то жесткое и небратское. С одним буквальным исполнением закона не далеко уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто из нас не должен; для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая закон, который может явиться людям только в одной полномочной власти. Государство без полномочного монарха — автомат: много-много, если оно достигнет того, до чего достигли Соединенные Штаты. А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выведенного яйца не стоит».

И далее: «Государство без полномочного монарха то же, что оркестр без капельмейстера: как ни хороши будь все музыканты, но, если нет среди них одного такого, который бы движением палочки всему подавал знак, никуда не пойдет концерт. А кажется, он сам ничего не делает, не играет ни на каком инструменте, только слегка помахивает палочкой да поглядывает на всех, и уже один взгляд его достаточен на то, чтобы умягчить, в том и другом месте, какой-нибудь шершавый звук, который испустил бы иной дурак-барабан или неуклюжий тулумбас. При нем и мастерская скрипка не смеет слишком разгуляться на счет других: блюдет он общий строй, всего оживитель, верховодец верховного согласия!» Как метко выражался Пушкин! Как понимал он значение великих истин!»

В недавно вышедшем в свет новом издании «Пушкин в воспоминаниях современников» утверждается, что в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь создает «консервативную легенду» о Пушкине. Факты, однако, свидетельствуют об обратном. Суждения поэта, приводимые Гоголем, подтверждаются по другим источникам. Так, например, слова Пушкина о Соединенных Штатах, сказанные, видимо, в личной беседе, находят подтверждение в мемуарах Веры Ивановны Анненковой, видевшей Пушкина в январе 1837 года у великой княгини Елены Павловны: «Разговор был всеобщим, говорили об Америке. И Пушкин сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом»»³.

В другом месте Гоголь называет стихотворение Пушкина «Странник» (опубликованное в 1841 году в посмертном собрании сочинений поэта под заглавием «Отрывок») *таинственным побегом из города*. Издатель «Русского Архива» Петр Иванович Бартнев пишет по этому поводу: «Припомним также загадочное стихотворение «Отрывок», которое Гоголь в статье о лиризме наших поэтов назвал таинственным побегом из города. По словам Гоголя, которые удалось узнать мне частным образом, Пушкин за год до смерти действительно хотел бежать из Петербурга в деревню; но жена не пустила»⁴. Это свидетельство подтверждается записью в дневнике Екатерины Александровны Хитрово, передавшей слова Гоголя о Пушкине: «Он хотел оставить Петербург и уехать в деревню; жена и родные уговорили остаться»⁵.

Слова Пушкина о «высшей милости, умягчающей закон», отозвались в финале первоначальной редакции «Повести о капитане Копейкине» в поэме «Мертвые души». Копейкин после своих разбойничьих походов бежит за границу, в Соединенные Штаты,

3 Андроников И. Лермонтов: Исследования и находки. М., 1964. С. 175.

4 Цит. по: Зайцев А. Д. Петр Иванович Бартнев. М., 1989. С. 78.

5 Гоголь в Одессе 1850–1851 // Русский Архив. 1902. № 3. С. 554.

и пишет оттуда Государю письмо, в котором объясняет мотивы своих поступков. Царь прощает его и повелевает учредить комитет по обеспечению раненых воинов. «Ну, Государь, понимаете, был тронут. Действительно его монаршему сердцу было прискорбно: хотя он, точно, был преступник и достоин, в некотором роде, смертельного наказания, но, видя, так сказать, как может невинный иногда произойти, — подобное упущение... Государь изволил на этот раз оказать беспримерное великодушие: повелел остановить преследование виновных, а в то же время издал строжайшее предписание составить комитет исключительно с тем, чтобы заняться улучшением участи всех, то есть раненых...»

В подтверждение монархических убеждений Пушкина Гоголь приводит его стихотворение «С Гомером долго ты беседовал один...», впервые напечатанное в 1841 году под названием «К Н***». Обращаясь к Василию Андреевичу Жуковскому, он говорит: «Это внутреннее существо — силу самодержавного монарха он (Пушкин. — *В. В.*) даже отчасти выразил в одном своем стихотворении, которое между прочим ты сам напечатал в посмертном собрание его сочинений, выправил даже в нем стих, а смысла не угадал. Тайну его теперь открою. Я говорю об оде Императору Николаю, появившейся в печати под скромным именем: «К Н***». Вот ее происхождение. Был вечер в Аничковом дворце, один из тех вечеров, к которым, как известно, приглашались одни избранные из нашего общества. Между ними был тогда и Пушкин. Все в залах уже собралось; но Государь долго не выходил. Отдалившись от всех в другую половину дворца и воспользовавшись первой досужей от дел минутой, он развернул «Илиаду» и увлекся нечувствительно ее чтеньем во все то время, когда в залах давно уже гремела музыка и кипели танцы. Сошел он на бал уже несколько поздно, принесся на лице своем следы иных впечатлений. Сближенье этих двух противоположностей скользнуло незамеченным для всех, но в душе Пушкина оно оставило сильное впечатленье, и плодом его была следующая величественная ода...»

И далее Гоголь цитирует стихотворение в том виде, как оно было опубликовано Жуковским:

С Гомером долго ты беседовал один,
Тебя мы долго ожидали.
И светел ты сошел с таинственных вершин
И вынес нам свои скрыжали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.
Смутились мы, твоих чуждаяся лучей.
В порыве гнева и печали
Ты проклял нас, бессмысленных детей,
Разбив листы своей скрыжали.



В.А.Жуковский

Нет! Ты не проклял нас. Ты любишь с высоты
 Сходить под тень долины малой,
 Ты любишь гром небес, и также внемлешь ты
 Журчанью пчел над розой алой.

Прочитывая стихи Пушкина, Гоголь говорит: «Оставим личность Императора Николая и разберем, что такое монарх вообще, как Божий помазанник, обязанный стремиться вверенный ему народ к тому свету, в котором обитает Бог, и вправе ли был Пушкин уподобить его древнему Боговидцу Моисею?» И затем, сказав о богоустановленности Царской власти, ведущей свое происхождение от ветхозаветных пророков, Гоголь замечает: «Кажется, как бы в этом стихотворении Пушкин, задавши вопрос себе самому, что такое эта власть, сам же упал во прах перед величием возникнувшего в душе его ответа».

Впоследствии биографом Пушкина Павлом Васильевичем Анненковым была обнаружена и напечатана еще одна строфа из этого стихотворения:

[Таков прямой поэт. Он сетует душой
 На пышных играх Мельпомены,
 И улыбается забаве площадной
 И вольности лубочной сцены,
 То Рим его зовет, то гордый Илион,
 То скалы старца Оссиана,
 И с дивной легкостью меж тем летает он
 Во след Бовы иль Еруслана.

Первые четыре строки (от слов: «Таков прямой поэт») зачеркнуты в автографе, что говорит о том, что Пушкин испытывал какие-то сомнения в отношении их смысла, — они не подтверждают всего предыдущего.

История написания пушкинского послания (эпизод о том, как Император Николай Павлович читал «Илиаду») в первом и единственном прижизненном издании «Выбранных мест из переписки с друзьями» была исключена цензурой, что привело к недоумениям и кривотолкам. Современники считали адресатом стихотворения Николая Гнедича. Так, Виссарион Белинский в пятой статье пушкинского цикла (Отечественные Записки, 1844) упоминает его под заглавием «К Гнедичу». Поэт и литературный критик Степан Шевырев писал Гоголю 30 января 1847 года: «Как мог ты сделать ошибку, нашед в послании Пушкина к Гнедичу совершенно иной смысл, смысл неприличный даже? Не знаю, как Плетнев не поправил тебя. Послание адресовано к Гнедичу: как же бы Пушкин мог сказать кому другому «ты проклял нас»?»⁶.

Замечание Шевырева несправедливо. Во-первых, смысл стихотворения прямо противоположный:

Ты проклял нас, бессмысленных детей,
 Разбив листы своей скрыжали.
 Нет, ты не проклял нас...

Во-вторых, Шевырев, как и Гоголь, цитирует стихи Пушкина по первой публикации. Ни тот, ни другой не видели автографа, — а в нем указанная строка читается иначе: «Ты проклял ли, пророк, бессмысленных детей...»

6 Переписка Н. В. Гоголя: В 2 т. М., 1988. Т. 2. С. 345.

В ответ Гоголь посылает Шевыреву исключенный цензурой отрывок статьи и в приписке сообщает: «Слух о том, что это стихотворение Гнедичу, распустил я. С моих слов повторили это «Отечественные Записки»»⁷.

Так или иначе, первые издатели Пушкина в комментариях указывали, что послание «С Гомером долго ты беседовал один...» адресовано Императору Николаю Павловичу. И здесь, помимо авторитета Гоголя, имел значение тот факт, что стихотворение датировалось 1834 годом, в то время как Гнедич умер в 1833 году. Маловероятно, что Пушкин стал бы писать почти панегирик Гнедичу, обращаясь к нему как к живому («Ты любишь с высоты /Сходить под тень долины малой, /Ты любишь гром небес...»). Последняя палеографическая экспертиза подтвердила, что дата «1834» в черновом автографе написана рукой Пушкина.

Люди с чуткой поэтической душой не испытывали сомнений относительно адресата пушкинского послания. Так, например, Афанасий Фет писал поэту Константину Романову (К. Р.) в декабре 1887 года: «В глубине души я вынужден признать, что, невзирая на верноподданнические убеждения, я не был бы так предан памяти Императора Николая, если бы не знал его глубокого сочувствия всем свободным искусствам вообще, сочувствия, так ярко выставленного Пушкиным стихом: «С Гомером долго ты беседовал один»»⁸.

Черновые строки стихотворения (неизвестные Гоголю) со всей определенностью называют на Государя Николая Павловича:

*...Могучий властелин
С Гомером долго ты беседовал один.*

В советском литературоведении, однако, утвердилось мнение, что это стихотворение обращено к Гнедичу как переводчику «Илиады»⁹. Тем не менее многие вопросы остаются без ответов. Если Пушкин имел в виду Гнедича, то почему Жуковский не назвал адресата? Кто надписал «К Н***» в белой рукописи и кто скрыт под этим названием? Откуда Белинский мог знать то, чего не знали Плетнев и Жуковский? Зачем Гоголь распространял слух, что стихотворение адресовано Гнедичу?

Создается впечатление, что Гоголь знал нечто такое, чего не знали друзья Пушкина. История, рассказанная в статье «О лиризме наших поэтов», находит подтверждение в «Записках А.О.Смирновой», изданных ее дочерью Ольгой Николаевной Смирновой. Вот уже более ста лет они вызывают споры в отношении подлиннос-



Н.И.Гнедич

7 Миллер О. Ф. Неизданные письма Гоголя // Русская Старина. 1875. № 12. С. 661.

8 К. Р. Избранная переписка. СПб., 1999. С. 261.

9 Историю вопроса см.: Мейлах Б. С. «С Гомером долго ты беседовал один...» // Стихотворения Пушкина 1820–1830-х годов. Л., 1974.

ти¹⁰. Здесь, в частности, упоминаются поэмы и стихотворения Пушкина, которые Александра Осиповна передавала на прочтение Императору Николаю Павловичу. Среди них — «стихи Н., когда Государь читал «Илиаду» перед балом». «Этот последний факт, — говорил Пушкин, — я рассказал Гоголю, который записал его, так он был им поражен»¹¹. На вопрос поэта, почему она настаивала на том, чтобы тотчас показать Государю эти стихи, Смирнова сказала: «Потому что они прекрасны и доставили ему удовольствие, да вы и сами отлично знаете, что он мне ответил». Ответил же Государь, по ее словам, следующее: «Я и не подозревал, чтобы Пушкин до такой степени за мною наблюдал и чтобы это даже могло поразить его. Это не поразило никого более из бывших на бале».

Но все-таки мы не можем отбросить Гнедича как хотя бы привходящего (то есть дополнительного, от слова «привходить» — являться дополнением к чему-либо) адресата послания. Нельзя не признать, что смысл стихотворения не может быть объяснен до конца. Возможно, что Пушкин имел в виду и великий труд Гнедича, и Государя Николая Павловича (его, может быть, более), читавшего «Илиаду», которая и была ему посвящена от переводчика.

3

В книге «Выбранные места из переписки с друзьями» Гоголь во всеуслышание высказал свои взгляды на веру, Церковь, Царскую власть, Россию, слово писателя, поэзию. Собственно говоря, для тех, кто знал Гоголя и кому адресованы письма, взгляды эти были не новы. Новыми они оказались для публики и критиков. Виссарион Белинский в своем известном письме из Зальцбрунна от 15 июля (н. ст.) 1847 года объявил, что Гоголь изменил своему дарованию и убеждениям, бросил ему обвинения в лицемерии и даже корысти, утверждая, что «гимны властям предрежающим хорошо устраивают набожного автора» и что книга написана с целью попасть в наставники к сыну наследника престола.

«Не буду распространяться о вашем дифирамбе любовной связи русского народа с его владыками, — писал, в частности, критик. — Скажу прямо: этот дифирамб ни в ком не встретил себе сочувствия... Что касается до меня лично, предоставляю вашей совести упиваться созерцанием божественной красоты самодержавия (оно покойно, да, говорят, и выгодно для вас); только продолжайте благоразумно созерцать ее из вашего прекрасного далека...»

Гоголь, не принимая в расчет нигилистических убеждений Белинского, отвечал ему (в черновом письме): «Вам показались ложью слова мои Государю, напоминающие ему о святости его званья и его высоких обязанностей. Вы называете их лестью. Нет, каждому из нас следует напоминать, что званье его свято, и тем более Государю. Пусть вспомнит, какой строгий ответ потребуется от него. Но если каждого из нас званье свято, то тем более званье того, кому достался трудный и страшный удел заботиться о миллионах».

10 В последнее время этот вопрос был поднят снова. В 1999 году издательства «Московский рабочий» и НПК «Интелвак» выпустили «Записки А. О. Смирновой, урожденной Россет (с 1825 по 1845 г.)» в сопровождении статей Л. Крестовой и А. Пьянова с противоположными оценками их подлинности. Однако вопреки утверждению, что «Записки А. О. Смирновой», опубликованные ее дочерью О. Н. Смирновой, воспроизводятся полностью, новое издание представляет собой лишь текст, печатавшийся в журнале «Северный Вестник» за 1893 год (отдельное издание. СПб., 1894). Между тем «Записки» продолжались печататься и в 1894 году, а затем были изданы отдельно (СПб., 1895. Ч. 1; СПб., 1897. Ч. 2). Таким образом, вне поля зрения составителя осталась половина текста. В этом смысле попытку восстановления авторитета названных мемуаров нельзя признать удачной.

11 Записки А. О. Смирновой. Издание редакции журнала «Северный Вестник». СПб., 1895. С. 320.

В записной книжке Гоголя 1846–1851 годов содержится отрывок, который можно рассматривать как своеобразный ответ Белинскому: «А вы думаете, легко воров выгнать? Царь, который только и думает о том, как их выгнать, да и тот не может, — Царь, у которого и войско, и вся сила есть. Как же вы хотите, без всякой силы и власти, это сделать? Что спяна передушите всех, думаете поправить? Думаете, лучше будет погибнуть? Те, которых шеи потолще, останутся. Что, те святые, что ль. Еще больше станут допекаль друг друга».

Упрек Белинского в том, что Гоголь намеревался получить место воспитателя при сыне наследника, был основан на слухах, которые критик предвзято истолковал. Подобное намерение, кстати сказать, вполне благородное, у Гоголя действительно существовало — перед его глазами был пример Жуковского. Художник Михаил Железнов, ученик Карла Брюллова, вспоминает, как однажды в конце декабря 1851 года он вместе со своим другом Алексеем Чернышевым, тоже живописцем, обедал у московского генерала Сергея Францевича Фон-Брина, начальника штаба 6-го Пехотного корпуса. После осмотра нового Кремлевского дворца, рассказывает Железнов, «Фон-Брин привез нас в свою квартиру. Его встретил в зале какой-то полковник, высокий, плотный красивый мужчина, товарищ Гоголя по лицу¹², который объявил, что Гоголь обещался приехать к обеду, если будет хорошо себя чувствовать, а потом, обратясь к Чернышеву, присовокупил: «Алексей Филиппович, если Гоголь, паче чаяния, к обеду не явится, то сегодня вечером попросите Мокрицкого¹³ (профессора живописи в Московском училище живописи и ваяния) передать ему, что место, которое он желает получить при детях наследника, уже занято и что ему нельзя получить этого места». Чернышеву не было нужды передавать Мокрицкому слова полковника, потому что Гоголь сдержал слово и к четырем часам приехал к Фон-Брину»¹⁴.

Об особых чувствах, которые испытывал Гоголь к монархии, говорят, например, следующие строки из статьи «О лиризме наших поэтов»: «Поэты наши прозревали значение высшее монарха, слыша, что он неминуемо должен наконец сделаться весь одна *любовь*, и таким образом станет видно всем, почему Государь есть образ Божий, как это признает, покуда чутьем, вся земля наша... Там только исцелится вполне народ, где постигнет монарх высшее значение свое — быть образом Того на земле, Который Сам есть *любовь*».



В.Г.Белинский

12 Подразумевается Александр Людвигович Гинтовт (Гинтофт, 1811–1860, сын генерал-майора Л. И. Гинтовта, из дворян Черниговской губернии О нем см.: Виноградов И. А. Воспоминания о Н. В. Гоголе Н. И. Билевича в путевом дневнике С. П. Шевырева // Вестник Литературного ин-та им. А. М. Горького – М., 2007.

13 Имеется в виду Аполлон Николаевич Мокрицкий, соученик Гоголя по Нежинской гимназии, впоследствии академик живописи.

14 Заметка о К. П. Брюллове (из воспоминаний М. И. Железнова) // Живописное Обозрение. 1898. № 32. С. 643.

Власть Государя — от Бога. В один узел сходятся у Гоголя судьбы России, Церкви и Самодержавия. «...Страницы нашей истории слишком явно говорят о воле Промысла: да образуется в России эта власть в ее полном и совершенном виде». То есть Царство помазанника — Царство Божие.

«Все события в нашем отечестве, — пишет Гоголь, — начиная от порабошенья татарского, видимо клонятся к тому, чтобы собрать могущество в руки одного, дабы один был в силах произвести этот знаменитый переворот всего в государстве, все потрясти и, всех разбудивши, вооружить каждого из нас тем высшим взглядом на самого себя, без которого невозможно человеку разобрать, осудить самого себя и воздвигнуть в самом себе ту же брань всему невежественному и темному, какую воздвигнул Царь в своем государстве; чтобы потом, когда загорится уже каждый этою святою бранью и все придет в сознание сил своих, мог бы также один, всех впереди, с светильником в руке, устремить как одну душу, весь народ свой к тому верховному свету, к которому просится Россия».

Гоголь твердо верил, что Царь русский неминуемо делается весь одна *любовь*.

18 февраля 1855 года, приобщившись во время предсмертной болезни Святых Таин и простившись с Императрицей, со всеми членами Царской семьи, бывшими в то время в Петербурге, с приближенными и слугами, Государь Император Николай Павлович скончался. Его последние слова наследнику цесаревичу были: «Мне хотелось, приняв на себя все трудное, все тяжкое, оставить тебе царство мирное, устроенное и счастливое. Провидение судило иначе. Теперь иду молиться за Россию и за вас. После России я вас любил более всего на свете. Служи России».

Далеко не случайно Гоголь был любимым писателем правнука Императора Николая Павловича Государя Стратотерпца Николая II Александровича. Перед своим последним отъездом в ставку, 21 февраля 1917 года, в день смерти Гоголя, он читал вслух в Царском Селе «Вечера на хуторе близ Диканьки»¹⁵.

15 См.: Дуплицкий С. Охрана царской семьи и революция 17-го года. Дневник русского офицера // Москва. 1997. № 3. С. 151.

Герман ДИКАРЁВ (Таллин, Эстония)

МОЯ ЭСТОНИЯ

Чужой огонь описывать не смею.

Чужой огонь — подобие огня.

(Стихи, поэт Голубев).

1.

Всю жизнь прожил в Эстонии в городе Таллине. Сколько ни живу, всё время чувствую себя виноватым — конечно, я вот тут живу, хожу по эстонской земле, дышу эстонским воздухом, а ведь сколько, поди, настоящих эстонцев, живущих в Пайде или на каком хуторе, спят и видят, как бы им перебраться в Таллин, а место-то и занято! И кем? — этим ничтожным, никому не нужным русским. Где же справедливость? (Даю справку: требовать справедливости — дурной тон. Настоящий человек никогда справедливости требовать не будет, он её просто возьмет и всё).

Сам город Таллин мне не нравится, я его не люблю. Да и как может понравиться этот город русскому человеку, выросшему в русской провинции: а где трава-мурава на проезжей части или хотя бы на тротуаре; а где эти замшелые покосившиеся заборы, которые так высоки и глухи, что за них и не заглянешь, разве только в щёлочку; а где плавное течение прохладных чистых вод реки, что прямо тут, в городе; а где томное и важное возвращение стада коров под золотой вечер с окрестных лугов; а где эти уютные старушки, сидящие у ворот и внимательно оглядывающие всякого прохожего? Ничего этого нет и в помине. Но всё равно проживаю. Иногда, правда, как взгрустнётся, так и подумается, что как бы было хорошо, если б кто взял меня за шиворот да и выкинул куда к чертям, хотя бы и в ту же Россию. Ну, не обязательно так уж и за шкирку, можно и под дулом пистолета. Но эстонцы есть такой культурный и высоко образованный народ, что так, конечно, поступать не станут. Это просто не их метод... Тогда могли бы договориться с Россией и поставить где-нибудь в какой-нибудь Сызрани маленький аккуратный эстонский домик, а потом взять меня под белы ручки да и отвезти за свой счёт в этот домик и сказать на прощанье — живи тут сто лет, хороший человек, а мы уж как-нибудь и без тебя помыкаемся... Потому что сам я никуда уехать не способен: во-первых, некуда; во-вторых, я ленив — известно, что один переезд равен двум пожарам. Да и зачем, ведь не гонят же.

Это я в молодости любил петь:

Уехать бы туда, где жизнь другая;
Не мучиться, не злиться, не любить;
Купить бы для разлуки попугая
И научить по-русски говорить.

А потом я понял, что никакой другой жизни нет. Да вот пусть хоть и негр преклонных годов, а всё равно он тот же человек, что и я, и он точно так же, как и я, хочет есть, пить и спать в тепле на мягком (можно и с женщиной). А не любить и не злиться я могу и здесь, в Таллине. Вместо попугая завёл собаку. Собака лучше — она ведь не скажет: «Сам дурак!» Да и какой смысл куда-то ехать, если я, главный мой мучитель, окажусь там чуть ли не раньше меня самого. Вот если бы можно было устроить так, что я сам переехал, а он (я) остался там, то как было бы хорошо начать жизнь с нового листа.

Кроме того, я полагаю, что Эстония вообще, и Таллин в частности есть моя судьба. То есть, как бы я ни вертелся, как бы я ни умаскивался, а жизнь мне уготовано было

прожить в Эстонии. Вот я вам сейчас расскажу, как это всё произошло, и вы вынуждены будете со мной согласиться.

Да хотя бы вот: я невинное дитя, мне пять или шесть лет; я обитаю в тьмутаракани под названием город Углич Ярославской области, но, тем не менее, я хорошо знаю, что далеко-далеко, за лесами и морями есть прекрасная страна Эстония. Потому что посылка нам пришла из этой Эстонии. Ах, что это была за посылка! Такой посылки никто нигде никогда ещё не получал. Я, конечно, уж не помню досконально, что там было в этой посылке, но некоторые предметы из неё врезались в мою память намертво. Первое — плитка шоколада. Большая, красивая и роскошная.

Но этого мало — она с орехами. Вот оно, новое слово в бакалее и кулинарии! Ведь я теперь во дворе могу небрежно сказать, что едал шоколад с орехами. Врёшь, скажут мне. Вот тебе истинный крест, скажу я, не сойти мне с этого места.

Второе — курточка для меня, из какого-то весьма колючего материала, но не на пуговичках, а на молнии! Модная, авантажная вещь. Бабушка сейчас убрала её в комод, и я её надевал только по случаю самых больших праздников — на 7 ноября, на Новый год и на Пасху. И третье: всё пространство посылки, чтобы не было пустых мест, было заполнено мелкими конфетками типа монпансье. Сами конфетки были так себе, но зато каждая конфетка была завернута в блестящую бумажку-фантик. Что значит Европа! Наши местные «подушечки» были несравненно интереснее и вкуснее, но их продавали только в рассыпную и только в газетные кульки (другой бумаги просто не было). С одной «подушечкой» можно выпить целый стакан чая, если, конечно, её не разгрызть зубами, а терпеливо ждать, когда она сама истает от горячего, и на твой язычок попадет капелька варенья (или все-таки повидла?) — что за счастливый миг!.. Если бы в моём организме была заложена жилка бизнесменства, то я сейчас бы организовал производство этих самых «подушечек», и нет сомнения, что в скором времени и озолотился бы — все русские обожают пить чай именно с «подушечками». Это теперь такая экзотика.

Пришла посылка, повезло. Ну, так и устрой великий сабантуй, чтобы все наелись и напились, но нет — бабушка сунет нам с Ниношкой по конфетке, а всё остальное и унесёт поскорее в чулан. Мы уж и забудем про эту посылку, но на какое-нибудь Вознесенье или Воскресенье вдруг заявится в гости лучшая бабушкина подруга Евлампия Иринарховна, а я забудусь и припрусь некстати, хотя мне и велено неусыпно гулять, тут-то и можно будет увидеть на столе и колбаску, и сливочное масло, и конфетки — любит моя бабушка пускать пыль в глаза: Иринарховна придёт домой и почнёт восхищаться — уж как живёт, уж как живёт, а посмотришь — голь перекатная... Ах, какой славный послушный мальчик! Возьми вот конфетку.(Иринарховна.) Иди, иди, нечего тут. (Бабушка).

Посылка один раз, письма чаще — может, и каждую неделю. Письма это так, пускай — что там из заграницы можно писать: жива, здорова и ладно, но заботливая обязательная Настя в каждое письмо вкладывала две-три открыточки — считалось, что вроде бы и для меня. Что это были за превосходные открыточки! Яркие краски, чёткий рисунок, интересное содержание. Например: на тёмно-синем небе огромная оранжевая луна, золотистая дорожка по морю, а на берегу сидит парень в эстонской восьмиклинке и наяривает на гармошке, а на обратной стороне открытки и было уж написано, что именно он горланит — поёт, но для нас его песня остаётся тайной за семью печатями, поскольку никто из нас эстонским языком не владел. В скором времени открыточек набралось целая стопочка, и я внезапно для себя превратился в значительную и знаменитую личность. Девочки постарше, которые раньше меня и в упор не замечали как невзрачную тлю, вдруг стали останавливать меня на улице и льстивыми голосками просили показать им мои открыточки — слава, она ведь всегда впереди бежит! Но фиг им! Я ведь кремень, я ведь уже знаю, что дай их хоть и на минуточку, хоть и глаз не спускай, а всё равно двух-трёх открыточек уж и не досчитаешься — все девки есть беспардонные воровки и бессовестные лицедейки. Помню, как я возмущался всегда — как это можно

жить без совести и правды? — а потом уж как-то и дошло, что это ведь на них возложена главная земная миссия по рождению ребёночков — до правды ли тут. Не до жиру, быть бы живу. Ребёночек-то всё есть хочет, или поносик у него — зачем же тут ещё и правда какая-то.

А однажды прислала открытки и с видами Таллина. Значит, гора, на горе дома, даже и двух- и трехэтажные, под горой река или пруд, а в том пруду плавают чёрные лебеди. Эти лебеди меня и доконали. Нет, но чёрные! Какой изыск, какой шарм, какой блеск, какой аристократизм, альфонсизм и куртизанство! Я и не знал, что лебеди могут быть ещё и чёрными. Живут же люди, а я всё тут и тут, так и жизнь пройдёт мимо или впустую...

А как она, наша Настя, простая русская деваха, затесалась в эти райские кущи, кто её туда пустил? А, это очень интересная история. Вот если бы я стал придумывать, как её, эту самую Настю, поместить в буржуазную заграничную страну Эстония, то разве я смог бы всё так ловко-крепко сколотить, как это выкроила наша обыкновенная невзрачная жизнёнка — да никогда в жизни, у меня и извилин-то столько нет.

Значит, так. Бабушка рожала тринадцать (13!) раз, живыми остались семеро — шесть девок и один парень. (Ах, царь-батюшка! Ах, матушка-Россия, которую мы потеряли! А дети мерли, как мухи. Лишь бы прокукарекать.) Пять старших дочерей позаканчивали угличское педучилище, а двое младших как раз пришлось в пору на трудные времена, когда не до учёбы.

Если самая младшая, Настя, родилась в 13-м году, то к моменту окончания девятилетки как раз и наступил тридцатый год двадцатого столетия. Хлеб по карточкам, в магазинах ничего нет, всё с базара, а известно, что базар любит деньги. До учёбы ли тут. С Костей просто — учеником слесаря на мехзавод, а куда пристроить Настёху? Улицу, что ли, мести?.. Но в этой новой советской жизни уже всё было расписано и предуготовано. Партия и правительство уже приняли решение превратить Москву в порт пяти морей и запитать её свежей и чистой волжской водицей. Уже роется канал Москва-Волга и выбраны места, где будут стоять подпирающие для Москвы воду гидроэлектростанции — Углич и Рыбинск. Спешно тянется железная дорога Калезин — Углич, (а раньше-то в этот Углич хоть на дирижабле летай!), а в город приехала изыскательская партия из самого Ленинграда. Эта партия споро работает и вполне самодостаточна, но выясняется, что для бухгалтера оказалось очень много работы — требуется помощник. Уж сколько там было желающих занять это тёплое престижное местечко, я не знаю, знаю только, что вот взяли нашу Настёху. Восемнадцать лет, коса во всю спину, миловидная, всем улыбается, никому не перечит, сметливая и прилежная — ну и прижилась. Да так, что когда изыскательскую партию перебросили на Кавказ под Сочи, то они её взяли с собой — такими кадрами не разбрасываются. И мы стали получать открытки с видами черноморского побережья — Кавказская Ривьера. То, значит, голенастая деваха, а то, значит, Ривьера! Дивны твои дела, о Господи. А потом партия вернулась к своему постоянному месту пребывания в Ленинград, и Настёну опять взяли с собой. Так мало этого, прописали и выхлопотали комнатёнку на Конной. Так Настя в одночасье превратилась из угличской девахи в настоящую столичную даму-ленинградку. Ни в сказке сказать, ни пером описать. Ещё такая поговорка есть: из грязи да в князи. Это как раз про нашу Анастасию Ивановну.

И тут ещё как раз подоспели хорошие отношения с Прибалтикой. В Эстонию вошли наши танки, а в Таллине обосновался Балтийский флот. А в Палдиски направили изыскательскую партию, чтобы посмотрели, нельзя ли там построить какую гидроэлектростанцию (а разве в Палдиски есть река?). Насте, как весьма благонадёжной личности, тоже разрешили поехать за границу. Вот отсюда и открытки, и плитка с орехами.

А зимой и сама Настя приехала к нам в Углич в отпуск — мать проведать и себя показать. А показывать было что! Теперь это была томная авантажная дама в роскошной шубе при тёплом капоре и муфте. Капор и муфта — это тогда был последний писк мо-

ды. А может, кто и не знает, что такое есть муфта, то я сейчас и объясню. Значит, вы дама и куда-то идёте по холодному времени года, а руки у вас при этом, чтобы им было тепло, сложены впереди на брюхе... то есть на каком брюхе — на животе, конечно, на животе; но они сложены не сами по себе, а засунуты в тёплый мешочек с двумя рас-трубами для рук; там же, в мешочке очень удобно держать и кошелёк с деньгами, и надушенный носовой платок, и расчёску, и... и... Но главным во всём этом ансамбле была, конечно, шуба, очень красивая и наверно дорогая. Теперь я думаю, что это была одна из первых шуб из искусственного меха, в Угличе уж точно. В Угличе такой красоты никто ещё не видывал. Сейчас возникла потребность пройтись и всем показать. Но куда тут идти-то, если идти некуда — в магазин или на базар в такой шубе не пойдёшь. Придумали пойти на могилку моей мамы, которая как раз этой зимой и померла. А что, и торжественно, и трагично — как раз шубы показывать. Бабушка надела свою каракулевую шубу до пят, а Настя свою искусственёнку. Меня тоже взяли. По теперешним меркам бабушкина шуба в сто раз дороже, но встречные смотрели только на Настёху, а бабушка таяла от гордости, что вот хоть одна, да так уж вознеслась...

А потом началась война, блокада, голод и вообще весь тот ужас, который устроил всей Европе культурный и талантливый немецкий народ.

Теперь я живу в Таллине. Все, кто со мной впервые знакомятся, сейчас спрашивают, а как это мне удалось пристроиться на житьё-бытьё в высококультурном городе Таллине и при этом смотрят весьма искоса, но я на них не обижаюсь — я уже привык, что мой внешний вид не внушает доверия. Вот я сейчас расскажу, как это я пристроился, и вы не сможете ничего сказать, кроме как покачать головой и констатировать: да, судьба.

58-й год, только что демобилизовался из рядов нашей славной героической армии; мне 24 года, за высокими заборами воинских учреждений провёл десять лет, что и как теперь в этой гражданской жизни — не имею понятия.

Паспорта нет, денег нет, из имущества только фибровый чемодан, что сейчас лежит в камере хранения на Ленинградском вокзале, в том чемодане только тельняшка и запасные носки. Где буду сегодня ночевать, не знаю. По закону я должен возвратиться туда, откуда призывался, там мне должны предоставить крышу над головой, но я принимал присягу в Рижском нахимовском училище, которое уж давно расформировано, и приедь я в ту же Ригу и приди в тамошний комиссариат, мне сейчас скажут, что я в их списках не значусь. Теперь я иду по улице Горького в Москве — русский человек, если ему некуда ехать, приезжает в Москву.

Через несколько лет меня пошлют в командировку в Москву, я буду идти по той же улице Горького и слушать спор двух демобилизованных о том, куда им лучше устроиться: на автозавод Ленинского комсомола или всё же на автозавод имени Лихачёва — там вроде общежитие получше, но в 58-м году слова «лимита» еще не существовало и власти зорко следили, чтобы никто из посторонних... в Москве можно было прописаться только по спецвызову или вот женившись на коренной москвичке. Какая москвичка, если мне сегодня негде ночевать! Но продолжаю молодцевато идти по улице Горького, по той её стороне, где центральный телеграф. Да, вот он и сам — не заметить такое внушительное здание невозможно. Входят и выходят люди, я смотрю на них и думаю, что какие же они счастливые — они живут в Москве, у них есть какая-никакая жилплощадь и московская прописка, так мало этого, у них ещё есть потребность и надобность ходить на центральный телеграф и звонить своим родственникам или знакомым во Владивосток или в Воронеж. Умеют же люди устраиваться в жизни! А мне даже позвонить некому... то есть как некому, если я могу позвонить Нинушке!.. Несколько лет назад я приезжал к ней в отпуск в Таллин, и она хвасталась, что вот поставила телефон. И велела мне записать номер этого телефона, а я ещё отнекивался, говоря, что это я буду звонить. Как жалко, что записная книжка, куда я записал её телефон, сейчас спокойно лежит в моём фибровом чемодане, который сейчас покоится в камере хранения на

Ленинградском вокзале. Да, но что это мне сейчас под бушлатом твёрдое в грудь... а, так это как раз она и есть, эта самая записная книжка! Я остановился посреди Москвы и стал листать. Да, вот он — 6—52—83—73. Ты подумай, везёт же некоторым дуракам. Но звонить Нинушке — это напрасный труд, потому что лето она обычно проводит где-то на югах, а если она всё же и в Таллине, то по своей непоседливости никогда дома не сидит, а всё где-то шляется. Но позвонить надо, хоть в креслице посижу, а то ноги уж гудят.

Через пять минут позвали в кабинку. Нинушка была рада мне — с чего бы это? По-неволе перешёл на телеграфный стиль — что вот попал... что не может ли она... Может, может, ни о чём не думай, садись в поезд и приезжай, будет тебе и жильё, и работа.... Опять сижу в креслице, потрясённый и всё никак не могущий поверить — ведь в жизни так не бывает! Я обыкновенный, не очень-то и везучий человек, бывало, конечно, что и повезёт, но всё больше исподволь, незаметно, когда уж и надобность в этом везении как-то подрастаяла, а тут прямо с пылу, с жару пирожки сами в рот лезут — ой, неспроста это всё, аукнется мне это потом... Но делать было нечего.

Лежал на второй полке (на купе раззорился, раз такая удача) чистенького поезда Москва — Таллин, покачивался и подрёмывал, а сам думал... Называйте меня как хотите, хоть трансвеститом, хоть экстрасенсом-эсперантистом, но только я знал, чувствовал и понимал, что не следует мне ехать в Таллин, что этот уютный поезд везёт меня в какую-то чёрную яму, из которой мне уж никогда не выбраться. Конечно, ну что делать в эстонском городе русскому человеку вообще, и в частности лично мне, так мало знающему и понимающему это стозвонное чудовище под названием жизнь. Наверно, всякий поживший хорошо понимает, как это трудно и неприятно жить рядом с разобитым человеком. Да, а тут целый народ, среди которого мне и предстояло жить. Всякий эстонец представлялся мне жуком-скарабеем, ну что в Индии или где-то там. Так вот этот жук-скарабей, куда бы он ни шёл, по делам или к возлюбленной, всегда катит перед собой навозный шарик, из которого торчат травинки-паутинки. Устал, присел под дерево, из шарика перекусил и погнал дальше. Таким макаром можно обойти пол-Индии. Да, а эстонец катит не шарик из навоза, а ком обиды на русских. Грозный и могучий двадцатый век, всемирная катастрофа под названием Вторая мировая война, погибли миллионы и миллионы людей — в грязи полей и пучинах морей; уже был Нюрнбергский суд, уже сброшены атомные бомбы, а они всё катят и катят свои комочки. Немецкий город Дрезден стёрт с лица земли челночными бомбардировками американской авиации, сожжены тысячи деревень в России, Белоруссии и на Украине; а что осталось от Хиросимы — а они всё спрашивают, зачем русские разбомбили два дома на улице Харью в Таллине. А зачем нужно было сжигать Никонова?.. Спрашивать можно ведь без конца, да разве есть на всё ответ. Вот почему вы ничего не спрашивали, когда к власти пришёл Гитлер? Почему вы ничего не спрашивали, когда захватили Польшу и Чехословакию? Да потому что ваш хутор еще никто не трогал, и вы думали, что всё обойдётся. Не обошлось. При Сталине всякие вопросы задавать было опасно, проще было вступать в комсомол и партию, зато теперь... А вот пусть они покаются! А вот пусть они просят у нас прощения! А вот пусть они платят нам контрибуцию или как там это называется... компенсацией, что ли. Пусть нам заплатят компенсацию за то, что построили нам Мустамяэ, Ласнамяэ, Ыйсмяэ — строили-то ведь всё русские, эстонцы-то всё больше по кабинетам да складам посиживали. Вот как жить среди такого народа?

Ещё мне не давало покоя это откровенное беззастенчивое везение, похожее даже больше на насмешку судьбы; ведь в этой жизни просто так ничего не бывает, за всё надо платить, и цена тем большая, чем сказочнее повезло.

Живая Нинушка тоже была мне рада, и всё сейчас разъяснилось. Всё оказалось очень просто. (Чудес в жизни не бывает, есть только наше воображение и отсутствие информации.) Дело в том, что они теперь тут не живут, а живут они в Заполярье в городе Североморске, поелику крейсер «Ушаков», где Алексей Андреевич служит начальником

службы (начальником цеха, если перейти на мирные рельсы) переведён с Балтики на Северный флот. Им там дали хорошую двухкомнатную квартиру, а эту комнатку в Таллине им забронировали, чтобы они могли сюда без проблем вернуться, когда выйдут в отставку. Теперь понятно?.. А пока их нет, комнаткой пользуются соседи. Так чем соседи, пусть уж лучше родственник. Но ведь нужна какая-то прописка... А, у меня тут всё схвачено, можешь ни о чём не беспокоиться.

Действительно, если уж человек смог поставить себе телефон, то уж наверно всё схвачено... И ты позвонил очень удачно — я тут только проездом, вот заехала с Кавказа, чтобы посмотреть, всё ли тут в порядке. И я опять подивился.

Нинушка сказала не всё. Бронь бронью, но у неё там, на севере, сердчишко и побаливало за эту комнатку — видно ли дело, чтобы комнатка стояла пустой, когда так много желающих её захавать, а тут родственник, свой человек. За меня она не беспокоилась, она знала меня за человека, выставить которого хоть и откуда труда не составит.

Через три дня уехала на свои севера, я остался стоять один посередине этой чудесной комнатки. 25 метров, два больших окна, изразцовая печечка, отдельный вход по скрипучей деревянной, почти винтовой лестнице, спустившись по которой можно попасть на улицу Теэстусе. Окна забраны переливающейся зелёной занавесью от листвы лип. Комната пуста — раскладушка и армейская тумбочка, это что было, да ещё стол, что мы с Нинушкой притащили для моего пользования с чердака. Я ещё с опаской спросил, чей стол-то, а то потом... но она махнула рукой — а, сто лет тут стоит, не боись. Стол был превосходен — большой, будет где мне разложить учебники и пристроить чертежную доску. Правда, весь он был изъеден червячками, но я потыркал его, и он показался мне ничего, а когда я столешницу застелил газетами, то от него уже невозможно было отвести глаз — это ведь первый стол в моей жизни!.. А над столом я повесил календарик с репродукцией картины художника Бродского, ну знаете, где вид на облетевший сад с крылечка дачки. Ах, как у меня стало уютно и комфортно. Я и до сих пор нахожу, что чтобы жилище имело комфортный вид, в нём должно быть пустовато. Удаchi продолжают преследовать меня — нет, такой стол, задаром и просто так. Добром это кончиться не может.

Раскладушку в первый же день перетащил к внутренней стенке. Нинушка: не ставь там. Почему? Увидишь... Увидел через неделю. Вдруг снится сон про паровоз, будто он тащит неподъемный состав в гору, а сам уж задыхается — паф, паф, паф! — ещё немного и падёт под откос, но тут я окончательно проснулся и понял, что это не паровоз тащит в гору состав, а сосед обрабатывает соседку — вот, вот, ещё, ещё, последнее отчаянное усилие и блаженная тишина — вздох! В этой тишине и раздался благодарный писк соседки. На меня это произвело впечатление, и я сказал себе, что тоже теперь буду так стараться, буде представится случай. Но утром раскладушку перетащил к противоположной стенке — слышно-то так же, но хоть знаешь, что не через десять сантиметров от тебя совершается это неприличное постыдное действие.

Стенки в этих домах на Теэстусе были предельно тонки, не в одну ли дощечку — дома эти якобы были построены для рабочих, ну и старались, чтоб подешевле. Никто и подумать не мог, что в этих квартирах будут жить разные люди, нет, одна семья, ну так и чего особенно стесняться, если кто чего и услышит. Но после войны Таллин стал главной военно-морской базой Балтийского флота, военных нагнали тучи, ну так и потеснитесь, не баре, поживёте и с соседями. Воображаю, какое это было новшество жизни для эстонцев.

Двести метров налево, на углу Вана-Каламая, крошечный магазинчик с молочными продуктами. А кефир в Эстонии — что твоя сметана; а сметана — что масло, а масло... впрочем, масло маслом и было, прекрасным эстонским сливочным маслом. Очередь только воскресным утром, когда все стоят за сливками к горячему кофе. Двести метров направо в подвальчике магазин с мясным. Колбаса трёх сортов, ветчина, а вот блюдо с холодцом; при виде его сразу хочется выпить рюмку «Столичной». Жалко, что я этим де-

лом не увлекаюсь. Стоит копейки. Я ещё искренне удивился, что это молодёжь в России так рвётся в военные училища, если жить на гражданке так легко, вольно и приятно.

Снёс документы в политехнический институт. Приняли было на второй курс, но я сдал два экзамена, и меня перевели сразу на четвёртый. Знай наших! Наверно, я очень способный человек, если у меня всё так здорово получается.

2.

Работать устроился на судоремонтный завод, это тут же, на Теэстусе, подальше немного. Учеником слесаря. Ну да, у меня же нет никакой специальности, хоть образование и высшее незаконченное. Наверно, можно было попытаться устроиться и в конструкторское бюро, но я решил так, что если уж въедаться в профессию, то начинать надо с нуля, чтобы потом, когда я всё-таки и стану заместителем министра, то чтоб никто и подумать не мог обмануть меня, потому что я про своё дело буду знать всё. Я приехал с проверкой на завод, а они мне и говорят, что вот гайки плохо заворачиваются, а я раз! — скинул пиджачок, взял в руки гаечный ключ да и показал им, как надо заворачивать. Прелесть молодости и состоит в том, что ты ничего не знаешь и не понимаешь. А всё больше в мечтах пребываешь. А подсказать мне тоже никто не мог, потому что у меня в Таллине нет ни родственников, ни знакомых.

Учиться слесарному делу пристроили к знаменитому на весь завод бригадиру Васе Фёдорову... Однажды сдавал экзамен в институте и нечаянно сказал, что вот сам развёртывал отверстие развёрткой и у меня выходила чистота поверхности под шесть треугольников. Преподаватель, ранее работавший на этом же заводе главным технологом и кативший на меня бочку за то, что я теперь, на пятом курсе, работаю далеко от судоремонта, возмущился и спросил как бы даже и с издёвкой: «Это где же вы развёртывали?» Я понял, что он попался, и кротко сказал: «На седьмом заводе». Он долго молчал от неожиданности, переваривая услышанное, но допустил, что я могу и соврать: «В каком цехе?» «В седьмом» (ремонт дизелей). «У кого?» «У Фёдорова». И он заткнулся, вынужден был заткнуться. А на выпускном вечере он, выпив, подошёл ко мне и принялся извиняться, что так плохо подумал обо мне сначала. Ну да, может, он и видел меня в цехе, но главный технолог — будет ли он обращать внимание на какого-то ученика слесаря. Вот такой у меня был учитель, Вася Фёдоров, которого знал весь завод.

Сам Вася коренастый мужчина сорока лет с бесцветной русской наружностью, нос картошкой. Начинал в войну на танковом заводе в Молотове (Пермь) ещё мальчишкой, про моторы знает и умеет всё. После войны предложили поехать в Таллин — эстонцы ведь не сильно любят упираться и в грязи купаться. Соблазняли и квартирой, и бригадирством. Не обманули — дали трёхкомнатную в новом заводском доме (трое детей), что близ вокзала. Всё нормально, всё хорошо. Но ностальгия заела. Всё тут как-то не так, не по-русски. Эстонцы эти, ходят и ходят с обиженным видом. Написал письмо в Пермь, попросился обратно. Там его еще помнили, обрадовались — давай, давай. Вернулся в Пермь. Опять трёхкомнатную дали и бригадирство. Всё хорошо, знай работай да не трусь. Но уже повидал другую жизнь, горизонты порасширились. Нет, колбаса в магазине была, но только одного сорта, и есть её, после таллинской, было как-то не с руки, то есть она просто не лезла в глотку. На день рождения жена достала торт, но есть его тоже было нельзя — один маргарин. Под вечер возвращался домой пьяненьким, так избили и обчистили.

Как тут не вспомнишь с умилением тихий Таллин, где можно сутки лежать под забором, а тебя никто и пальцем не тронет. И жена загрызла-запилила... Опять написал письмо, но уже в Таллин, каялся и просил простить дурака. В Таллине тоже обрадовались — давай, давай! Опять бригадирство, опять трёхкомнатная, но уже в старом доме — новых домов на подходе не было: «Но вы, Василий Иванович, не расстраивайтесь, при первой же возможности...» Люди, будьте бригадирами! (Разве с академиком станут так возиться?)

Хобби — пьянство. Если кто не знает, никогда не подумает: серьёзный основательный мужчина, всегда гладко выбрит; рабочая одежда опрятна и чиста, никогда не опаздывает и не прогуливает. Но если сегодня не светит, то угрюм, замкнут, немногословен, на мир смотрит с тоской. Но вот засверкало, замаячило впереди — и вот уж пританцовывает, мурлычет что-нибудь про себя, похлопывает по плечу и подмигивает. Я ему завидую, не именно ему, а всем пьяницам. Пусть там и не особенно комфортное, благопристойное увлечение, но есть интерес, желание, благорасположение планет, всё какая-то цель в жизни. А я? Вот зачем я живу, если у меня нет ни целей, ни увлечений. Вот зачем я учусь на инженера? Но ведь надо же где-то учиться — передовой советский человек, комсомолец, как же без этого. Живёшь, ну так и старайся соответствовать. Молодой, ещё не знаю про себя ничего, ещё ничего не понял и не решил. Да и жизни этой гражданской ещё не знаю. Не люблю я этой человеческой молодости — ходят все дураки дураками.

Учиться на слесаря положено шесть месяцев, но всё-таки почти уж инженер, ну так и чего, а Васе страсть как хочется получить к ноябрьским ученические за меня, ну и двух месяцев хватило. Экзамен на третий разряд слесаря-дизелиста. Пришёл замначальника цеха, молодой парень, моложе меня. Ну и какие вы знаете измерительные инструменты? Штангель, микрометр, кронциркуль... А ещё? Да всё вроде... А что ж вы линейку-то забыли? Ах, чёрт!.. Вася потом ходил и всем в цехе рассказывал, как я про линейку-то и забыл. Микрометр помнит, а линейку забыл!

Стал работать полноправным слесарем. Вася не особенно на меня насаждает, такое впечатление, что от меня ещё чего-то ожидается. А в бригаде, кроме меня и Васи, ещё три человека, они-то осторожничать не стали, а так прямо и сказали, что первую рабочую зарплату положено пропить, иначе комфортно работаться не будет, не задастся тогда у меня рабочая стезя.

Пропить первую зарплату — это есть основной закон рабочей жизни. Понял?.. Понял, понял, что тут не понять... План перевыполнили, зарплата получилась хорошая: Вася получил, как сейчас помню, тысяча четыреста рублей, а мне вышло девятьсот (ученические были триста). Вася еще укорил меня — смотри, как тебе хорошо начислили. С завистью. Ну да, у него-то тысяча четыреста на пятерых, а у меня девятьсот на одного. Тут и точно позавидуешь. Вася меня прямо конвоирует, ни на шаг не отпускает, ну а так-то вроде просто идём и дружески беседуем. Вышли за проходную, а там остальные трое, вроде как ожидают чего, топчутся. Вася толкает в бок — пригласи их! Я изумился: целый месяц они старательно втолковывали про основной закон и даже картинно живописали, как это они лихо пропьют мою зарплату, а тут, оказывается, их надо ещё и приглашать. В самых почтительных выражениях: ребята, не обессудьте, если что не так было...пожалуйста... не побрезгуйте... Даже и не подозревал, что умею так.

Кафе «Сальме», наверно, самое знаменитое кафе Таллина. Днём тут кушают сарделечки учительницы русской, тоже знаменитой, пятой школы, а вечером заседают за рюмочкой «Вана Таллин» степенные каламайские крутозады эстонцы. Сегодня же тут никто не заседают — нет мест, сидят на головах у друг друга — весь завод по случаю полочки. Наш столик обслуживает разбитная эстоночка, она порхает и улыбается всем и каждому, а мне особенно, потому как уже выяснила, что я есть основной деньгодержатель. Мне ещё никогда не приходилось встречать таких милых и заботливых официанток. Она иногда поддерживала меня, когда я особенно клонился, сама отсчитывала деньги, сама засовывала кошелек мне во внутренний карман и всё беспокоилась, что не потерять бы его мне, когда я пойду домой. Ах, как мы все славно напились! А как сдружились!

Вася, например, стал моим лучшим и единственным другом на всю оставшуюся жизнь. Но всё-таки вот и расстались. Пьян, пьян, а до дома добрался благополучно, рухнул на раскладушку. Утром проснулся в двенадцать. Адски болела голова. А если вчера в «Сальме» был весь завод, то, значит, сегодня он и не работает, стоит пустой. Но

всё-таки и тревожная мысль, что ведь рабочий день, а я вроде как бы прогуливаю, а бригадир Вася хоть теперь мне и лучший друг, но я знаю за ним, что это жёсткий прямолинейный человек. Пересилил себя, оделся и поковылял на завод. Каково же было моё изумление, когда я увидел, что все трудятся как ни в чём ни бывало на своих рабочих местах... А Вася сделал мне грубое и дерзкое замечание, что я прогуливаю. А ещё друг называется.

В гробу я видел таких друзей... А из девятисот рублей эта милая официанточка оставила сто рублей, поимела, значит, совесть. Спасибо тебе, добрая славная женщина!

Трое детей и жена — уборщица в нашем же цехе. Это вам не фунт изюма, даже если брать по нынешним временам. Вася и старается всё побольше заработать, для чего часто остаётся и после звонка — ему, работавшему во время войны и по двенадцать часов, поработать после смены часик-другой ничего не стоит, а остальные члены бригады хоть и ворчат, но послушаться побаиваются — зачем портить отношения с бригадиром. Мне же кранты. Я один раз оделся и ушёл, другой раз — Вася не выдержал и устроил мне выволочку: вся бригада работает, а он, видите ли, не считает нужным, а наряд закроют на всю бригаду, и каждому насчитают по его разряду — выходит, мы тебя обрабатываем?.. Вася, миленький, да мне в институт надо на занятия! Ничего не знаю, это твои проблемы, а работать нужно наравне со всеми... Вот подзалетел, вот что бывает, когда не знаешь устоев жизни, хоть институт бросай. Да даже если и не работали сверху и я благополучно приезжал на лекции, то мгновенно засыпал от первых же слов преподавателя — так уставал. Вот что теперь делать-то? А и в цеху тоже: разряд самый маленький, ну и суют работу попроще, погрязней, от которой все стараются улизнуть... Судно пришло на ремонт. Наша забота — дизеля. Отодрать их и перевезти в цех. Тут могу и я участвовать. А судно уж промерзло, кругом грязь и вода, гайки с кулак, прикипели и проржавели. Отворачиваю их, а сам думаю, что как было бы хорошо, если бы я был помощнее и посильнее. Отодрали и привезли в цех. Теперь нужно разобрать его по деталькам.

Это работа не пыльная, думать особо не надо, желающих сделать её много. Раскидали. Корпус и поддон в загустевшем масле. Это надо отодрать и вымыть, чтобы блестело. Специальные чаны с едкой щёлочью, подогреваются паром. Вот это и есть моя работа. Не холодно, но едко и мокро, руки разъезы, одежда (комбинезон) хоть выжми, до него противно дотрагиваться, а не то что надевать на тело. А где постирать? Не на кухне же, где постоянно толкутся соседи. Поесть как следует негде — в столовой обвальные очереди, невкусно. Один раз пропустил, другой, дома колбаса с чаем, и то не всегда — то некогда, то единственная мысль — упасть на раскладушку. Устроил же себе небольшую разновидность ада. А всё хотел быть передовым советским человеком: рабочий класс — и учиться в институте. Дурак.

Эта вселенская усталость всё копилась и копилась в моём теле, и где-то в феврале я не выдержал, не стал ни о чём думать, а просто написал заявление об уходе с работы. Заряд усталости был так силён, что я думал и мечтал, как я неделю не буду вставать с раскладушки и прямо буду чувствовать, как эта чёрная усталость будет выползать из меня, как та змея из кустов. Вася был в шоке, это была ему, если хотите, хорошая пощечина — ничего не просил, ничего не требовал и вдруг раз! — заявление... Сидел, понурившись, в раздевалке, подошёл бригадир соседней бригады и предложил перейти к нему. Это был выход, но я был так измочален и не мог ни о чём думать.

Через дорогу районная библиотека. Взял «Будденброков». Читаю и лежу, сплю, топлю печь и ем колбасу с булкой. Деньги тают, но ещё есть. В голые окна смотрят голые чёрные ветви лип, покрытые промёрзшим февральским снегом. В окне дома напротив, тоже на втором этаже, раздевается женщина. Кажется, эстонка. Будет ли снимать и лифчик? Нет, ушла вглубь. Не повезло.

Постоянно ощущаю себя крайне невезучим человеком. Вот зачем я заперся в Таллин? Жестоко хочется женщину. Но за окнами голая эстонская пустыня. Где, как, куда

пойти и что сказать? Если в городе четыреста тысяч жителей, то женщин, значит, две-сти тысяч, а мне нужна всего одна. Но я чувствую, как холодная липкая паутина апатии и непонятной боязни охватывает мою душу, тело и ум, отравляя желание жить и действовать. И самое обидное, что женщина могла и быть — Нинушка учла и это, что я молодой парень и что мне до чёртиков, до ломоты в костях и до помрачнения рассудка нужна женщина. Подруга, сорок лет, в теле, симпатична и привлекательна, замужем, но страдает и нужно. Иногда она попадаетея мне, когда я спешу с работы домой. Здороваемся. Не удивляюсь — мало ли куда нужно пойти женщине, случайно и встретились. Раз, другой. На третий раз она не выдерживает и прямо спрашивает, что не нужно ли мне что помочь. И знаете, что ответил ей этот дебил, вечно витающий в облаках мечтаний? Он вспыхнул, зарделся и промямлил, что большое спасибо, что за чем вам так беспокоиться.... Женщина тоже зарделась, поникла и ушла.

А...а...а! Это есть, кажется, мое самое разочаровывающее и стыдное впечатление от жизни и самого себя. А это всё бабушка, спасибо ей, это она крепко вколотила в меня, что главная обязанность каждого человека — это не обременять собой других. А сорокалетняя замужняя женщина, как бы много я мог у неё научиться и насладиться. Бог не попустил. Я ведь полагал, что если мне двадцать с хвостиком, то если за сорок, то уж и неприлично. А и она хороша! Ей надо было просто прийти ко мне и сказать, что вот у вас окна все голые, это нехорошо, я вот и принесла занавесочки, так и извольте помочь мне их повесить. Она бы встала на стул и стала вешать, а я бы сзади держал занавесочку, а её самая соблазнительная часть тела и оказалась бы у меня как раз перед глазами, я бы, конечно, не выдержал и поцеловал...

А деньги между тем совсем кончаются. Колбасу уж не ем, обхожусь только французской булочкой. Пойду под вечер, когда только завоз был, ну и возьму ещё горячую, пока иду до дома, и благополучно съем. Надо что-то срочно предпринимать, искать работу, но паутина апатии опутывает меня всё сильнее — мне страшно идти в город с островерхими крышами, где ходят молчаливые обиженные эстонцы в кепочках с восемью клинышками. Я приду, и надо будет что-то говорить, а он меня не любит и ненавидит... Ну, завтра пойду. Завтра придёт, а я всё лежу. Ну, тогда завтра, сегодня-то ведь я благополучно лежу, ну так и чего. Вдруг тревожная мысль пришла, что уж и не ослабел ли я совсем от одной-то булочки? Да нет, не может быть, вот же в блокаду в Ленинграде ели по двести пятьдесят граммов и ничего. Но мысль пришла, и надо было её проверить.

Я очистил край стола от бумаг, поставил руки, попрыгал, приподнимая зад, чтобы, значит, половчее выйти на стойку вверх ногами, как вдруг что-то шлёпнулось и упало на пол, а край стола поехал вниз, а я свалился на пол, хорошо приложившись головой. А это ножка отвалилась у стола!

Я её порассматривал и увидел, что два шурупа совсем уже вывалились из прогнивших гнёзд. Да, мало того, что есть хочется, так ещё и стол сломался. Ну да ножку-то можно и просто временно пристроить, а на стол можно и не облакачиваться. Я стал, было, пристраивать, но увидел, что из торца ножки вроде что-то и торчит, вроде бумажки или даже пергамента. Я подёргал, но бумажка не поддавалась. Расковырял ножом трухлявое дерево возле, и у меня в руках оказалась тяжёлая твёрдая колбаска-валик, завернутый в этот самый ещё старорежимный пергамент. Я развернул его, и у меня в руках оказались десять монет царской чеканки с барельефом головы Николая Второго. Золотые десятирублёвики.

И что же всё-таки испытывает русский человек, когда на него сваливается огромное богатство? Констатирую — ничего. Ни какого-то сумасшедшего счастья, когда только напрямик в сумасшедший дом, и никакого отчаяния, что вот, значит, всё-таки свершилось, произошло, и что ждать теперь от жизни ничего хорошего уж не нужно. Я это странное явление объяснил для себя так, что русский человек вообще не приучен к богатству, и даже так, что для русского быть богатым не совсем прилично и дурно по-пахивает. Но явственно помню, что было и не совсем определённое чувство, со-

стоящее из легкого досадливого недоумения, что уж так наивно пристращаться к круглым числам — ну, положи одиннадцать или двенадцать, да даже и тринадцать было бы ничего — нет, обязательно десять... Надо ли еще упоминать, что я этот стол тут же и раскрошил на маленькие щепочки, но так больше ничего и не нашёл.

ТУДА, НА ГОЛГОФУ

... дарование есть поручение; должно исполнить его, несмотря ни на какие препятствия.

Баратынский.

Изачем они всё это пишут? Ну, всякие поэмы, романы, рассказы, новеллы и экстазы. А зачем люди собирают спичечные этикетки, лазают по горам (альпинисты), стреляют из пушек (артиллеристы), вышивают крестиком (наперстницы), вырезают из дерева медведей (косторезы). Спросите что-нибудь полегче... Есть такие любители задавать простые-трудные вопросы. Есть ли Бог? Зачем война? Почему люди врут? Ну и ещё что-нибудь такое же неудобоваримое. Убивать надо таких любителей.

Ведь вот простая русская бабка, живущая во глубине сибирских полей, разве станет задавать такие вопросы? Нет, конечно. Она вслух задаст только такой вопрос, на который можно получить внятный ответ, а про Бога и войну она уж как-нибудь про себя определит...

А может, уже и знает всей своей сутью — каждая женщина есть тайна, она же и ведьма. (Я раньше думал, что слово «ведьма» есть плохое ругательное слово, а оказалось, что быть ведьмой не только не зазорно, а даже престижно и амбициозно. Это раньше ведьм сжигали на костре, ну я и думал, что ведьмой быть нехорошо. Теперь ведьм никто не сжигает, и их развелось видимо-невидимо.) Подобные вопросы вслух задавать неприлично — живёшь и живи. Вот ведь я, ехая в трамвае, не буду же приставать к соседям с вопросом, в чём смысл жизни — ещё попросят водителя отвезти меня в сумасшедший дом. Но всё же — зачем они всё пишут?

А чтобы занять себя. Работаешь-вкальываешь, ну, там слесарь или швея-мотористка, да даже пусть и академик со значком лауреата Нобелевской премии, а всё равно остаётся уйма свободного времени, и вот чтобы хоть как-то не сойти с ума, чтобы отгородиться от жизни, как мы, значит, всей землёй-шариком несёмся куда-то в крошечную тьму бескрайности и безнадёжности, надо поскорее занять себя чем. Чтоб не думать и не чувствовать. Между прочим, самый простой способ занять себя, уйти от страхов жизни — это выпить. Выпил и уснул, выпил и уснул. Простенько и со вкусом. А мы всё спрашиваем себя, отчего это русский человек много пьёт. Ведь собирать марки, ходить в лес по грибы, лазать по горам, писать картины, беспробудно пить — ведь это, в сущности, всё едино, одно и то же. Кому что дано. Мне вот почему-то выпало писать... Между прочим, не самое лучшее занятие — какой-то элемент неприличности есть в этих писаниях... Ах, он писатель, скажите на милость, ни за что бы не подумала!.. Но это, как мне кажется, только русское ощущение; другие, всякие немцы, евреи и эстонцы, знай себе шмаляют. Шмаляют и шмаляют. На этом основании находят себя более способными, развитыми и умными. Бог им в помощь. А я всё как-то не могу отделаться от мысли-ощущения, что вот я такой плохой, такой несовершенный, а туда же — рассказы, видите ли, пишет. А у самого в ушах волосы растут!.. А у еврея (немца, эстонца) тоже волосы растут в неприличных местах, но он твёрдо определил для себя, что мухи отдельно, котлеты отдельно. Я тоже знаю, что отдельно, но как-то не до конца, не твёр-

до: вот я пошёл в туалет и сел на унитаз (я — грязное животное); но вот я сел за письменный стол (я — тонкий одухотворенный человек) — и как же можно меня разделить? Вот почему мы, русские, всегда были позади планеты всей — они всегда всё знают и ни в чём не сомневаются, а мы всё знай себе переживаем да сомневаемся.

Так вот выпало мне это окаянство, писательство это. Или я сам как-то выбрал это себе? Не знаю. Ничего в этой жизни не знаем ни про себя, ни про других, а всё пишем и пишем. Занятие на грани фола. Ещё немного — и можно везти в сумасшедший дом...

Шестидесятые годы. Пришёл с работы, а жены нет, шляется где-то. Сначала всё спрашивал, что где ты ходишь, а потом бросил — вещунья, колдунья, стерва и ведьма в одном лице, у такой не очень-то и спросишь. На столе валялись обрывки обоев — вчера комнатку обновляли. Между прочим, обои — прекрасная бумага, мягкая и плотная, на обратной стороне так хорошо рисовать или вот писать шариковой ручкой. Тем более что эту бумагу не жалко, всё равно ведь выбрасывать, ну так не совестно и ерунду какую пописать. Написался рассказ. Нечаянно, как бы сам собой. Я обомлел — так, может, я ещё и писатель? А в советское время быть писателем было очень престижно, писателей уважали и даже давали им дополнительную жилплощадь. Тут пришла эта, ну которая... стала выжидательно смотреть, что не стану ли я опять ругаться, но мне было не до неё, я ещё не отошёл от экстаза. (После написания рассказа чувствуешь себя, как после женщины — и устал, и холодок лёгкого разочарования.) На работе рассказ переписал разборчивым почерком на нормальную бумагу (работал тогда конструктором). Дома протянул листки этой и коротко приказал: «Перепиши почище». У неё, как у каждой женщины, прекрасный почерк и пишет без ошибок. Удивилась: «Это ещё что такое? Разве ты умеешь писать рассказы?» Ей бы по-другому сказать: «Тебе надо, сам и переписывай» (потом только так и говорила), но у нас тогда было только самое начало, и она меня толком ещё не знала, так и побаивалась — вдруг по морде даст! Через неделю спрашиваю, переписали ли? Нет. Как нет? А чего тянешь? Много понаписал. У тебя же каникулы (преподаёт английский), сиди и пиши... Это я всё воображал, что она у меня как Софья Андреевна, которая самолично переписала 101 раз «Войну и мир». А что же я тогда про себя воображал? Наверно, что я как муж Софьи Андреевны.

Переписала всё-таки. Собрал листочки, согнул их пополам, засунул в конверт, послонил, запечатал, написал адрес и пошёл на почту. Послал в московский журнал. А сам в Таллине живу, мог бы куда и тут снести, но я как-то про Таллин и не знал ничего, может, тут и нет ничего для русских. В «Молодую гвардию». Был тогда такой журнал при ЦК комсомола, ну а мне ещё и тридцати нет, в самый раз, значит. Стал ждать ответа. Жить стало интересней, появились перспектива и горизонт. Проходит месяц, другой. Ни ответа, ни привета. Какой, значит, плохой, никчемный рассказ я написал. Конечно, с чего это вдруг я возьми и напиши сразу хороший рассказ, а ещё Николай Васильевич говорил, что чтобы сделать хорошо, сначала надо сделать плохо. (Вот светлая голова!) А теперь что ни сделаешь, всё требуют, чтобы сразу было хорошо. Ироды и квазимоды — сами ничего путного сделать не в состоянии хоть сразу, хоть потом, вот и пристроились от других требовать... Но месяца через четыре, когда уж и забыл, вдруг письмо из редакции. Не ругались, не возмущались, что вот отрываю их от важных дел, а серьёзно и доброжелательно писали, что и тема серьёзная, и язык хороший, а сам рассказ так себе, так что напечатать его не сможем; но вы не падайте духом, держайте и взыскайте, а мы желаем вам всех благ и успехов. Я еще поразился, что вот кто я такой, ноль без палочки, а они со мной так серьёзно. И я стал пописывать. Да не в туалете, а на бумаге! (Что уж вы так?!) Разные слова стал писать и посылать их, эти слова, в разные журналы. А журналов тогда в Советском Союзе было завались: и тебе «Новый мир», и тебе «Наш современник», и тебе «Знамя», и тебе «Октябрь», и тебе «Юность», и тебе «Дружба народов», и тебе «Волга», и тебе «Дон»... не пропустил ли кого?

Самым уважаемым, самым престижным был, конечно, «Новый мир», потому что там был Твардовский. А я его сильно уважал. Нет, не за «Тёркина» (по настоящему-то

так и не прочёл, знаю только на память несколько строк), а за то, что это ведь он сказал: «Когда человеку есть что сказать, то он пишет короткий рассказ; нечего — эпопею». Это ведь в «Новом мире» я прочёл, может быть, самый лучший рассказ из всей советской литературы: как он, значит, приехал в деревню, подружился с хозяйской девчонкой, повёл её в соседнюю деревню, где магазин, а кукол-то и нет. Он не понял: «Как нет?» Не завезли, не ходовой товар. И как они, значит, пошли обратно, грустные и пустые. Он ещё потом зачем-то про шлемоносцев писал... То есть, что это я, разве я не знаю, что литературой занимаются не для написания шедевров, а чтобы занять себя. Случайно написался и шедевр, так что же, всё бросай и вались на печку? А уже тяга выработалась к письму, Бунин это называл (по-моему очень удачно) похотью писательства. Писателей в Союзе писателей что-то около десяти тысяч. Если бы каждый из этих десяти тысяч написал по одному такому рассказу... Это как в войну, если бы каждый красноармеец убил по одному немцу, то война бы закончилась через неделю. А вот попробуй убей, попробуй напиши.

Из всех этих журналов стал получать вежливые, доброжелательные ответы. Не проходило и четырех месяцев (стандарт), как я читал, что рассказ мой хорош (или так себе), но у редакции нет возможности его опубликовать, ну нет и всё — журналы ведь не резиновые. Но вы пишете, дерзайте, смотришь, и повезёт когда. Но я на них не обижался, я ведь хорошо понимал, что литература дело трудное и серьёзное, так и пускать туда каждого... Писатели — это Толстой, Чехов, Пушкин, Лермонтов, так и я что ли?.. Она тоже отнеслась к моей писанине отчуждённо-насторожено: пишет, и чего он всё пишет? Но терпела, не выступала, понимала, что мужчин без недостатков не бывает. Бывают ведь недостатки и покруче: закладывает, или под юбки заглядывает, или вот на самом деле пописывает. Так с виду ничего, и в кино с ним можно сходить, и по дому что сделает, и ночью постарается, ну так и ладно, будильник только надо почаще ставить. Или вот не стоит у него... нет, мужчину с таким ужасным недостатком ни одна женщина терпеть не станет. Да, а тут только пописывает, да и то только на бумаге. Пусть.

Сделал весьма неприятное открытие — ответы мне писали чаще всего женщины (95 %).

Значит, понял я, дело обстоит так, что в самом центре, как какой-нибудь паук-мясоед, сидит главный редактор мужчина, а вокруг него плотным кольцом, защищая и предотвращая, стоят женщины, и уж они зорко следят, чтобы к главному редактору не попало то, что они, женщины, считают лишним и ненужным. Значит, всё, что я пишу, читают только женщины, но ведь женщины это совсем другой народ, они по-своему понимают мир, у них совсем другие чаяния и надежды на эту жизнь, у них своя логика, другой способ мышления. Разве может мужчина достучаться до сердца женщины, если он не начальник и не под два метра ростом? Например, они часто сетовали, что в моих писаниях нет новизны. Я недоумевал: прошли века, были тысячи писателей, уже написаны миллионы книг, человеческая жизнь рассмотрена во всех подробностях, уже заглянуто во все самые тёмные закоулки человеческой души, а им подавай новизну. Где же я её возьму, если всё уже давно сказано? И я стал понимать, что мне нужен мужчина. Спокойный, серьёзный, без амбиций и сомнений, который бы знал и понимал литературу.

С годами пришёл опыт, я стал понимать, что в «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Юность» (не забыл ли кого?) соваться не следует. А куда же мне тогда соваться? А вот у нас есть город Ленинград, где тоже много толстых журналов, чуть ли даже не два, «Нева» и еще какой-то. А ленинградцы любят Таллин, часто приезжают сюда, ходят по магазинам, сидят в кафе, восхищаются архитектурой и говорят с восхищением, что как у вас хорошо — тихо, спокойно, а все эстонцы прямо душки и настоящие мужчины — ну прямо настоящие европейцы. Да, надо мне задействовать Ленинград. Это ведь не гордая столица мира, а несколько пожиже, всего лишь областной город, ну и там фанаберея расцвела, наверно, не таким уж пышным цветом. Ну, так и отправлю в

«Неву», тем более что адрес у неё такой хороший — Невский, 3. А я Невский хорошо знаю, часто гулял по нему.

1984 год. Работаю уже сварщиком. А ноябрь, темень, слякоть, под ногами снежная каша, снег в лицо. А устал, сейчас как нырну в подъезд, вознесусь на лифте, чайник на комфорку — и стакан горячего чая! Но надо взять газету из ящика. «Правду» взял, а за ней письмо. Из Ленинграда. Ёкнуло сердце — неужто?.. Чайник вскипел, сделал первый, такой счастливый, такой долгожданный глоток, а сам с письма глаз не спускаю — оно так мирно стоит, прислоненное к сахарнице. Боюсь открывать... Ещё никогда мне не приходилось читать такого хорошего письма — уважительно, спокойно, приветливо и доброжелательно, без единого лишнего слова было сказано, что повесть моя понравилась и представлена на рассмотрение руководству редакции. Профессор, ни дать ни взять как профессор, профессор словесности. Вот она, эта историческая минута, когда миг, и я уже другой, и я уже живу в другом мире... А почему профессор-то? Ну как же, совсем недавно вышло постановление партии и правительства об усилении-укреплении литературы, ну в редакции и подсуетились и попросили профессора из университета позаниматься с начинающими, чтобы всё-таки немного повысит весьма унылый уровень современной изящной словесности. И завертелось. Игорь Евгеньевич потом показывал мне листочек, на котором члены редколлегии писали свои впечатления о моей повести, так там даже было предложение, что не съездить ли им в Таллин, чтобы поближе познакомиться с талантливым автором, ну как Некрасов к Достоевскому. Знай наших! Но и сердце ёкнуло — из опыта жизни уже знал, что первоначальный успех — дело весьма коварное. Стал жить в неге и блаженстве.

Но жизнь продолжалась, надо было ходить на работу, что-то там варить. Я варю, а он подойдёт и скажет, что что ж ты халтуришь — я взял, а оно и отвалилось. Раньше я бы его послал куда подальше, а теперь нет — он ругается, а я смотрю на него благодушно, а сам думаю, что вот ты ругаешься, а не знаешь, что перед тобой великий... ну, не великий, а так, русский писатель. То-то ты потом удивись и будешь благолепствовать.

Нет, братцы-кролики, я вам так скажу, что литература есть дело не такое простое, хотя, казалось бы, работать не надо, сиди и пиши. А желание? Где взять это желание сидеть и писать? Одно дело столяр, он делает табуретку; может, ему даже и не очень хочется делать эту табуретку, но он пересиливает себя, поскольку твёрдо знает, что табуретка нужна, на ней будут сидеть — как же без табуретки? Да, а роман (повесть) можно ведь и не писать, поскольку уже написаны тысячи и тысячи романов — так, может, твой уже и не очень нужен? Одно дело делать нужную, необходимую вещь — тут нет сомнений; и совсем другое — излишнюю, может даже и не нужную, в этом случае нужны какие-то дополнительные усилия души. А они всё пишут и пишут... Желание — вот главная ипостась всякого писательства. Это желание еще иногда называют талантом. Талант — это когда есть желание. И я даже думаю так, что все люди талантливы, просто у одного есть желание, а у другого нет. Когда есть желание, то вы начинаете вьедаться, вьедаться, вьедаться в предмет ваших желаний. И вдруг выясняется, что вы гений. Ура! А вы просто удовлетворили своё желание. Весь вопрос в том, чтобы это желание у вас возникло. Но это, я думаю, уж от Бога.

Или от папы. У папы было желание, и он написал роман. Это было давно и неправда, в пятидесятых годах. А тогда было так, что если вы поднимаете важную тему боеготовности военных моряков и употребляете только общепотребительные слова, то роман ваш сейчас и издадут. А папа был, по всему видать, усатый и пробивной — по роману сняли фильм. Тоже в пятидесятых. (Если меня сейчас будут заставлять перечитывать этот роман, то я откуплюсь — дам взятку хотя бы и в 100 крон.) И папа стал весьма заметной и авторитетной личностью на литературном небосклоне в небольшой советской прибалтийской республике, в Эстонии, скажем. А у него как раз дочка подошла-подоспела, надо было её куда-то пристраивать. Но ведь папа уже бробурил-протаранил ши-

рокий проход в скальном грунте советской литературы — грех было бы не использовать этот проход, а то ещё зарастёт народная тропа без всякой пользы. Наверно, долго совещались, куда направить стопы — в прозу или всё-таки в поэзию. Папа был настроен решительно — только в поэзию: в прозе же текст нужно гнать, так и зачакнешь за машинкой. А поэт, лежи себе на диване и сочиняй. А если кто что скажет, то можно и обрезать, сказав, что у поэта рабочий инструмент это он сам... И сколько у нас таких поэтов — куры не клюют. Ах, папа, папа — как же ты так? Ну ладно, написал повестушку, с кем не бывает, но дочурку-то зачем нужно было сбивать с панталыку? Она бы запросто могла закончить какой-нибудь архитектурно-разведочный институт и потом бы всю жизнь искала бы нефть или золото — это сколько же пользы она бы принесла! Да что там нефть, могла бы и швей-мотористкой на «Балтике» — это сколько же рубашечек и пеньюарчиков она могла бы нам сшить! А так что же, прожить жизнь и не сделать в этой жизни ничего полезного — этак ведь и повеситься недолго на старости лет.

В январе мой профессор пригласил приехать в Ленинград — будем редактировать повесть. Дожил! Пошел к мастеру отпрашиваться. Мастер — эстонец. А тогда все предприятия делились на эстонские и русские. Если эстонское, то вся администрация эстонцы, а все работяги русские. Работаю я хорошо (директор как-то выразился, что я «передник»), мастер скривился, но отпустил. Значит, завтра вечером я сяду в ленинградский поезд, пересплю ночь на второй полочке под уютное покачивание вагона, а утром уж буду стоять у дверей профессорской квартиры и переводить дыхание, прежде чем всё-таки и позвонить. Но человек предполагает, а Бог располагает: прибежал мастер, стал совать мне железку — сделай, сделай; а сам приплясывает от нетерпенья. Тех командиров производства, которые позволяют себе кричать «скорей, скорей», надо расстреливать без суда и следствия — я стал торопиться, деталь не закрепил в тисках, она вырвалась и располосовала мне руку. Мастер испугался и убежал, а я поехал в травмопункт. Там палец поставили на место, руку перевязали, дали бюллетень и велели в понедельник прийти на перевязку. Ленинград накрылся — как я ни люблю нашу родную советскую литературу, но мне моя рука дороже. Сообщил в Ленинград, что не приеду, извинился, но Игорь Евгеньевич, профессор мой, про травму не поверил, подумал, что я просто отговорился — поленился приехать. Вот живём, уже никто никому не верит. Договорились на май, крайний срок.

Второго мая сел в дневной дизельный поезд — приеду в ночь, но в этом-то и замысел, что всю ночь буду бродить по пустынному Ленинграду и мечтать-воображать, как я всё-таки наконец стану великим русским писателем. (А что, быть так быть, верно? Как в том детективе, где киллер после удачного выстрела веско изрёк, что, мол, если уж ты что-то делаешь, то делать это нужно хорошо.) И дал маху — этим поездом нарвские возвращались после гостевания в Таллине к себе домой, так что сидели на головах и коленях друг у друга, но я всё равно был счастлив — ведь я ехал редактировать свою первую повесть. Это вам не хухры-мухры — не каждому выпадает в жизни такой апофеоз. По мне лазали нарвские ребятыньки, а я ничего, я смотрел через пыльное стекло на неинтересные эстонские пейзажи, а сам представлял, как Игорь Евгеньевич после тяжких трудов по редактированию моей повести потянется всеми косточками, разогнётся и пригласит меня отметить это знаменательное событие бокалом хорошего вина. Он повезёт меня в тамошний дом литераторов или как там у них это называется, мы будем сидеть в пустынном ухоженном зале, и Игорь Евгеньевич поднимет бокал с красным грузинским вином и скажет: «Ну, чтоб вам писалось», а по проходу как раз будет идти... ах, чёрт, ведь и не знаю ни одного знаменитого ленинградского писателя, ну пусть будет хотя бы и тот, что написал «Белые одежды» — шуму от этих одежд было на всю Расею. Маститый пожмёт мне лапу и скажет нечто, что, мол, в добрый путь, сме-на ты наша. (А смене-то уж за пятьдесят).

В двенадцать ночи вышел на Невский и ахнул от неожиданности — весь Невский был в снегу. То есть, какой снег, если огромный термометр на вокзальной стене зашка-

ливал за двадцать — а это были бумажки от мороженого. И я представил себе, как, значит, всю вторую половину этого последнего праздничного дня ленинградцы, уставшие от продолжительных возлияний, прогуливались-проветривались по широким панелям Невского проспекта, а можно ли прогуливаться по Невскому и не вкушать лучшее в мире ленинградское мороженое? Вверху всё было оранжевым от фонарей, а внизу всё белым от бумажек. Давненько я не был в Ленинграде — сколько перемен.

Дошёл до Садовой, свернул к Неве. А уж темновато, хотя и белые ночи на носу. Бреду один-одинёшенек. Но 84 год, еще нет ни бандитов, ни киллеров, ни собачаков — иди и ничего не бойся. На Марсовом поле поотдыхал на лавочке, а уж вроде и светает. У памятника Суворову поклонился и фамильярно сказал: «Привет, старик! Всё стоишь? Ну, стой, стой, а я вот в писатели подался. Как это тебе?» Вышел к Неве и ахнул от неожиданности — вся Нева была облита густо-оранжевым светом от восходящего солнца. Я ещё подумал, что боженька-то он всё видит — увидел, что я приехал в радости и счастье, ну и облил, а приехал бы хоть и на похороны — шёл бы дождь. За Адмиралтейством свернул к Невскому — надо посмотреть на месте ли редакция. Два курсанта с винтовочками на часах (в Адмиралтействе военно-морское училище) с любопытством оглядели праздного гуляку — смотрите, смотрите, вы всего лишь можете стать адмиралами, а я уже есть великий... то есть, не великий, а так, но всё равно и простой русский писатель выше всякого адмирала. Вышел на Невский. Редакция (Невский, 3) была на месте. Через стеклянную дверь была видна мраморная лесенка. Это знаменательно, что я в нашу советскую литературу буду подыматься не по затёртым бетонным плитам, а по весёленькому чистенькому мрамору. Однако скоро можно уж и звонить. Я представил, как в большой профессорской квартире раздастся мой звонок. Тяжелая старинная мебель, шторы и гардины, навощённый паркет, осторожно ступает огромный мышинный дог, тишина и благолепие. Трубку возьмёт домработница. «Алю...у», — скажет она. Лимита деревенская. Но в трубке энергичный баритон. Домработницу услали, значит, на рынок за молодой телятиной — будет торжественный обед по случаю моего приезда. Поезд метро мчит меня к славе. Площадь Победы, стелла Победы — профессор живёт в новом доме. Обыкновенный подъезд, попахивает, лифта нет, его дверь, через которую он ходит каждый день. Дверь открылась... Ах, я, кажется, попал не сюда, ошибся номером, извините... Но меня приглашают войти. Ничего не понимаю, оглядываюсь и озираюсь: однокомнатная квартирёшка, заставленная рухлядью, пройти можно только боком или полететь на воздушном шаре. Я такой рухляди не видел со времён Углича, а ведь тут собственно Ленинград, столица всего культурного мира — буфет с оторванной дверцей, допотопный холодильник перевязан проволокой, сбитые половики. Ленинград — и половики, фи!

А и сам профессор. Разве такие профессора бывают? Молодой парень, ну, может, и на мужчину уже тянет, в офицерской гимнастёрке, шаровары с пузырями, тапочки на босу ногу, на голове почему-то кавказская шапочка с кантиками, сам смугл и черноволос. Так, может, он и не профессор, а так? Но из кухни выходит прекрасный женский экземпляр. Есть, есть такие счастливые женщины, одного взгляда на которых бывает достаточно, чтобы охотно поверить в широко распространённое ошибочное мнение, будто все люди произошли от женщины. Ах, как превосходно выпирало её подошедшее тело из всех щелей и прорех её тесноватых джинсов. Про таких ещё говорят, что кровь с молоком. При взгляде на такую женщину как-то сразу и остро начинаешь понимать, что жизнь прошла мимо. Но ей надо идти на работу, она подзадержалась, чтобы взглянуть на меня, талантливого, и чтобы я тоже посмотрел на неё. И я поверил, что он, мой профессор, и есть профессор. Ну раз такой превосходный женский экземпляр делит с ним его нищету. Мы остались одни. И профессор повёл себя дальше как-то странно, отчего я озадачился и озаботился — он стал меня заталкивать в их кухоньку, уговаривая и буквально насильно заставляя съесть хотя бы и ложку какой-то каши. Ну, под тем соусом, что, мол, человек с дороги. Я удивился: сейчас ведь не 46-й год (не все,

наверно, помнят и знают, что в тот год случился страшный неурожай), и я приехал не с голодного края, а из благоустроенного Таллина, где на каждом углу стоит кафе, а сама Эстония занимает второе место в мире после Англии по выпечке кондитерских изделий на душу населения; да и тут, в Ленинграде, я мог бы при желании спокойно удовлетворить свой голод, зайдя хотя бы в тот же «Север» на Невском. Всё-таки съел комочек невкусной пресной каши. Это уж потом я сообразил, что он хотел меня повязать и отрезать все пути к отступлению, чтобы я не вывернулся.

Каша была проглочена, и мы пошли в их единственную комнатёшку, тоже заставленную всякой рухлядью. Но стол, на котором лежала моя, уже раскрытая, рукопись, был превосходен — весь резной, с сукном посередине. За таким столом надо писать «Идиота» и «Мадам Бовари» или тоже что-нибудь такое же скучное и никому не нужное. Но если этот стол попадёт в надёжные руки мастера-краснодеревщика, то за него можно будет отхватить приличные деньги, так что надобность писать «Идиота» отпадёт сама собой. И за таким столом мы будем редактировать мою повесть!.. Первое, что сказал мэтр, это что повесть моя сколочена крепко, такое впечатление, что писал профессионал, но есть и недостатки. Первое, что мы убираем с ходу и без разговоров, это офицера. Существует железное негласное правило, что если офицер нашей родной Советской Армии один, то он должен быть безусловно положительным. Вот если бы офицеров было несколько, то одного можно было бы сделать и отрицательным, но у вас офицер в единственном числе. Второе: тётя Вера у вас подана как отрицательный тип, а её между тем награждают орденом — орден убираем. Третье: девушки в вагоне поют «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...», но эта песня тогда была запрещена, и девушки не могли её петь.

— А, да, да! Когда хохлушка-запевала её запела, то на неё зашикали и сказали, что эту песню петь нельзя, но, видать, эта песня ей очень нравилась, и она беспечно махнула рукой и сказала: «А, кому тут доносить — поезд, ночь...» — и запела своим сильным прекрасным голосом, а все остальные дружно подхватили. Так что в жизни пели.

— Что было в жизни, никого не интересует. Тут литература, а не жизнь... Ну и мелочи всякие. Например, вы пишете, что матросы перед боем стали одевать свои лучшие одежды, но ведь у военных людей форма.

— Да? А вот есть такая песня:

Всю ночь в лазарете покойник лежал,
В костюме матроса одетый...

Видите? Человек, сочинивший эту песню, сам был матросом, сам плыл навстречу гибели на обречённом броненосце, и ему хотелось сказать о матросе получше, покрасивше. И я тоже люблю наших матросов, потому что я почти десять лет проносил тельняшку, бушлат и бескозырку, и мне тоже хочется сказать о наших матросах получше.

Редактирование было закончено, там и редактировать-то было нечего. Вот так надо писать повести, дети мои.

И тут пошла менопауза, потому что говорить-то нам больше было не о чем, но Игорь Евгеньевич нашёлся — он стал меня настойчиво уговаривать позвонить ему вечером и сообщить, как я устроился с гостиницей, а то он будет волноваться и ещё, чего доброго, не уснёт. Я опять удивился — ведь это именно он говорил мне утром, что с гостиницей всё в порядке, что у журнала «Нева» существует договорённость с «Октябрьской», что туда уже звонили насчёт меня. И тут до меня дошло. Сначала меня накормили кашей, а теперь просят не церемониться и позвонить, а вечером в чужом городе мне будет так одиноко.

Назавтра Игорь Евгеньевич был тих, скромн и потуплен. А и каждый будет потуплен, если у него прямо из кармана вытащат поход в ресторан гостиницы «Октябрьская», на который он и его пышнотелая супруга по всем правилам гостеприимства имели

полное и неоспоримое право. И вдруг так пролететь! Ну ладно бы, если бы приехал из глухого угла и был неотёсан, но ведь из Таллина, где ходить в ресторан так же естественно и привычно, как нам мыть руки перед едой. Вот и проталкивай таких на Олимп нашей русской советской литературы. Так жмот или извращенец?.. Спросить прямо не позволяло гуманитарное образование, профессор всё-таки не утерпел и при окончательном прощании осторожно осведомился, что не поклоняюсь ли я золотому тельцу, то есть не обращаюсь ли я с деньгами бережно? Я не стал лукавить, а так прямо и сказал, что обращаюсь, обращаюсь — ведь они мне достаются весьма не просто. На самом же деле, если бы он просто попросил у меня пятьдесят рублей на поход в ресторан, то я бы ему поспешно и с благодарностью дал, поскольку я на самом деле испытывал к нему большое благодарное чувство. Но сидеть с малознакомыми людьми за столиком, ждать мэтра-официанта, как он будет небрежен и высокомерен; заказывать чего-то из еды и питья, всё гадая, угодишь ли; посматривать на вываливающуюся грудь, лихорадочно подыскивая тему для мычаний и междометий — увольте, это выше моих сил. И это вместо того, чтобы тихо бродить по вечерним, на глазах пустеющим улицам. Вот не было телевизора, и по вечернему Невскому всё шли и шли плотной толпой гуляющие. А сразу после войны Ленинград был тих таинственен и малолюден, печать величайшей трагедии лежала тогда на нём. Но годы шли, и вот это обыкновенный областной город вроде Курска или Ярославля. А теперь это и вообще Петербург. Это после ленинградской блокады-то!

Но я надеялся и поправиться — в сумке у меня лежала бутылка «Вана Таллина». Вот я её сейчас как выну... Но Игорь Евгеньевич сейчас скривился, замахал руками и с возмущением стал говорить, что как я мог подумать, что как это пришло мне в голову. Как будто я ему дарил шестисотый мерседес. Я сейчас успокоился, сказал, что простите меня, дурака, но я думал, что это простой сувенир, знак внимания, но коли так, то я сейчас её и спрячу, эту бутылку, обратно в сумку. Игорь Евгеньевич мгновенно успокоился, простил меня, дурака, и благосклонно принял этот мой незначительный дар. Мы вроде как бы и помирились.

Но мой ознакомительный поход в редакцию отменяется — звонили и сказали, что у них сегодня запарка и им не до меня. Я не удивился — во всех наших учреждениях постоянно происходят всяческие запарки. А у Игоря Евгеньевича сегодня присутственный день, и он стал при мне переодеваться в приличные брюки и чистую рубашку. Ещё он набил старый обтрёпанный портфель просмотренными им рукописями начинающих бедолаг.

- Вот рукопись офицера с приложением благосклонного отзыва маршала.
- И вы её отклонили?
- Конечно, типичный графоман.
- Но ведь маршал!
- Ну и что? Он маршал, а я литконсультант, и больше ничего.

В Таллине меня первым делом спросили, был ли я в редакции. А, ну, значит, ничего и не будет! Ну вот как ты можешь так говорить — просто люди были заняты. Ничего не будет, всё напрасно! И ездил напрасно, и свитер покупали напрасно... А это она ходила в универмаг и купила тонкий чёрный свитер, чтобы меня издали можно было принять за Ваншенкина или даже за Симонова. А сама кончила университет и может пять слов связать по-английски.

А я стал ждать июля — повесть должна появиться в седьмом номере. Жданыё моё с каждым днём росло и усиливалось. Вот тоже, что лучше — жить ли просто так без всяких надежд и мечтаний или всё-таки иметь за пазухой ожидание счастья? Когда ждешь, то дни тянутся, как та улитка, которую послали за бутылкой водки (из анекдота), а когда ждать нечего, то те же дни летят, как пули у виска — раз и нету, раз и нету! А между тем лучшие люди нашей планеты уже вывели формулу счастливой благополучной жизни: не проси, не жди и не надейся.

А вот и сам батюшка-июль. Теперь я иду под вечер с работы, как тот подагрик на негнущихся ногах — вот сейчас перейду улицу и вопьюсь испепеляющим взглядом в стекло киоска «Союзпечати»... а...а...а! — опять нету, а ведь уже пятое число, они там что, с ума посходили — я всё жду, а они всё тянут и тянут. Если десятого числа журнала не будет, то повешусь. Прямо у них на киоске... А дни идут, вот уж и первое августа, а журнала всё нет. А в Ленинград нарочно не звоню — вдруг они там передумали и нашли ещё более лучшую повесть! Может так быть? Ещё как, ведь этих писателей развелось, прямо как собак нерезанных... Седьмой номер «Невы» появился в киоске двадцатого августа. Моей повести там не было.

Позвонил Игорь Евгеньевич и с прискорбием сообщил, что моё сомнение в успехе дела, что я постоянно носил на своём лице в Ленинграде, полностью подтвердилось — повесть зарезали в Главлите, якобы там сказали, что куда же вы смотрите, если у вас бабушка-купчиха подана с благоговением и благожелательством. А на дворе стоял 84-й год. Через пару лет я читал в «Огоньке» пространную статью, где царь Николай Второй был подан с благоговением и благожелательством.

А зимой со мной случился инфаркт. Может быть, он случился сам по себе, а может, и от моих интенсивных переживаний — кто это может сказать наверняка? Но я не умер, а выкарабкался. На всё воля Божья. Значит, я просто-напросто его любимец. Хотя меня, конечно, и высмеяли в палате, что какой нафиг любимец, если первый инфаркт — это вроде насморка или как после первой женщины. Народ, он всё знает. А с литературой я завязал на всякий случай, и умственно, и практически — какая литература, если вы же видите, что это не моё дело, что не судьба, что ухватил жар-птицу не по своим размерам. Но! — случился и казус. Какой казус, если просто виденье-прозреньё, так, мелькнуло в головке и всё, и я не придал этому виденью никакого значения — ведь я же заклятый атеист, буду я ещё обращать внимание на какие-то виденья, что они мне, чушь собачья. А виденье это было таково — что, мол, подожди до начала следующего века, до 2002-го или там еще какого года, тогда, мол, и произойдёт, и свершится, литература-то эта твоя. Причём, прямо-то не говорилось, что вот напечатают тебя, а что якобы ты снова к ней придёшь, к литературе своей... Разумеется, я не придал никакого значения этому странному видению, но, как оказалось, и запомнил. Вот что это было, как это всё объяснить? Наверно, мне надо сходить к психопату... к психиатру какому-нибудь. Вдруг я какой-нибудь прозорливец? Тогда деньги буду грести лопатой, и литература мне нафиг будет не нужна. А ведь всё именно так и случилось!

Без литературы жить стало лучше и проще. То идешь, на работу, к примеру, а сам в голове какую фразу складываешь, чтобы потом, значит, и записать её на бумажке, а тут теперь идёшь, а в голове пустота, пустыня Сахара. Но я утешал себя тем, что литература-то ведь всё равно умерла, ну пусть ещё и не совсем, ещё кое-какие остаточки и остались, но что, без всякого сомнения, золотой век её канул в Лету, помахал хвостиком, приказал долго жить. Я имею в виду вторую половину девятнадцатого столетия — это и был золотой век русской литературы. Отец семейства пришёл из присутствия, будет обед-ужин, потом чай. От голландки крепкое устойчивое тепло, двенадцатилинейная лампа под абажуром из зеленоватого стекла — уютный полумрак; Даша приносит серебряный двухведёрный самовар; все рассаживаются на венских стульях на своих законных местах; после третьего стакана глава семейства достаёт только что пришедшую книжицу «Нивы», или «Русского богатства», или «Вестника Европы». Новый рассказ Чехова (Бунина, Куприна, Горького). «Ну-ка, ну-ка, чем он нас порадует, чем насладит на сей раз?» — говорит глава (может, он и не так говорит, но откуда мне знать, как там говорилось) и передаёт томик средней дочери, которая у них записная чтица. Пока она читает, можно неспешно выпить и ещё стаканчик. А потом все расходятся по своим комнатам, а Даша убирает со стола. А Чехов мог написать и так (в «Учителе словесности»): «А вот в простеньком сером платье и в красных чулочках, держа в руке «Вестник Европы», про-

шла Варя. Была, должно быть, в городской библиотеке...» А теперь ведь стыдно признаться, что ходил в библиотеку. Делать, что ли, нечего было, скажут.

Но я думаю, что литература умерла не окончательно. Грядёт эра тотального свирепого одиночества, первые ростки уже так явственны, когда все с телевизорами и компьютерами. Но компьютер это ведь просто железка, с ней не поговоришь по душам — блестящее и железное всегда так настораживает и отпугивает. Тогда-то и хорошо взять книгу, лечь на диван под тёплый плед, зажечь неяркий свет над головой и... а он меня сюжетом, как кирпичом из-за угла — раз!.. Миленький, взмолюсь я, что ж ты на меня с сюжетом-то, сюжеты-то я и по телевизору увижу двадцать штук в день, а ты со мной про жизнь поговори, чтобы я успокоился и ублагодворился. Да про что хочешь, разве мне это важно, мне надо, чтобы был живой человек, спокойный, мудрый, всё понимающий. Искренность и откровенность — вот те две ноги, на которых будет стоять русская литература. Иначе не имеет смысла, иначе я просто включу телевизор.

А в библиотеку бывает, что и заглядываю. Знаю, что стыдно и неприлично, но так уж с детских лет приучил себя, что вот надо сходить в библиотеку, походить там меж полок с книгами, взять какую в руки, полистать, прочесть пять строк — может, и заинтересует. Так вот однажды и наткнулся на воспоминания бывшего работника этой самой «Невы». И он там на этих страницах (как, значит, ещё и открыть надо было именно эти страницы!) чёрным по белому так прямо и писал, что этот Лурье есть, без всякого сомненья, ставленником спецслужб и очень не любил, когда в журнале собирались напечатать что-нибудь искреннее и хорошее. Я этого Лурье почему хорошо знаю, что как, бывало, ни пробежишься по списочку членов редколлегии, всё он там, всё тут как тут. И при Сталине он там сидел, и при Ворошилове, и при Микояне, и при Берии, и при Хрущёве, и при Брежневле, и вот досиделся и до Горбачёва. А при Ельцине даже стал заведующим отделом прозы — всех пересидел. Что значит долго сидеть на одном месте, смотришь, и высидишь чего. А я всю жизнь скакал, как та блоха, ну и не высидел ничего. Я ещё Игоря Евгеньевича спросил, что вот Лурье... Игорь Евгеньевич как-то встревоженно встрепенулся и спросил, что уж не знаком ли я с этим Лурье. Нет, нет, успокоил я его, просто фамилия красивая и запоминающаяся. Я как-то не очень люблю русские фамилии, потому что в них часто есть смысл и часто не совсем благоприятный для носителя этой фамилии (вот как у меня, например), а Лурье это просто набор букв без всякого смысла. Бывает, скажешь свою фамилию, и на тебя начинают смотреть косо и с подозрением, а когда просто Лурье, то никаких нюансов не возникает. Теперь судьба моей бедной повести мне стала понятна. Все они там, в редакции, которые не Лурье, а с простыми русскими фамилиями, забегали и заахали, что вот смотрите, прямо из потока самозванцев выудили, а как написано! Ну, товарищ Лурье и взбеленился. Понять его можно — сам-то ни строчки не написал. Тут кого хотите зависть проймёт. Ну и шепнул своему начальнику-ставленнику в Главлите, с которым вась-вась, что, мол, ты их там прижми как-нибудь. А как меня прижмёшь, если я есть чистокровный советский человек и написать что-нибудь скабрзное про советскую власть у меня просто рука бы не поднялась. Прицепились к бабушке, что вот она купчиха, а я так хорошо про неё. Катаклизма (насмешка судьбы) заключалась как раз в том, что мой дед никогда и не был купцом, а был всего лишь простым мещанином. Но я думал так, что раз у бабушки есть хорошее трюмо и часы с боем, то, значит, она и есть купчиха. А оказалось, что записаться в купцы было не так-то просто — требовался определённый капитал.

Под суровыми ударами судьбы оптимистический срез моего характера искривился, и я стал мечтать, как я приеду в Ленинград, погуляю по Невскому, а под вечер, когда уж все разошлись, и поднимусь по мраморной лестнице дома № 3, похожу по пустынным коридорам, а в дальней комнате и найду патлатенького старенького еврея. Я буду чопорен и корректен: «Скажите, пожалуйста, не могу ли я повидать товарища (товари-

ща!) Лурье?» Я вас слушаю, скажет он. И я раз! — справа, а потом слева, а потом возьму за патлатые грязновато-серые волосёнки и мордой об стекло, чтоб всё и залилось кровушкой и соплями. Потом я вытру руки теми листочками, что он просматривал, не торопясь выйду на Невский, на метро до Варшавского вокзала и вечерним поездом — в Таллин. Только вы меня и видели.

Сейчас как все закричат, что он же антисемит, оголтелый проклятый антисемит, что теперь пусть никто не подаст ему руки. И правильно, и не подавайте, я и сам не люблю, когда мне суют свои потные грязные руки, а я их почему-то должен пожимать. А антисемит... какой же я антисемит, если я полагаю, что в мире нет никаких русских, немцев или вот евреев с эстонцами; если я полагаю, что есть только две национальности — хвататели и воздержатели.

Вот мне навстречу идёт человек. Разве мне так уж важно, какой он национальности, мне гораздо важнее знать, что не станет ли он отгирать меня от той кормушки-корыта, к которой я так удобно пристроился в этой жизни. Другое дело, что среди евреев процент хватателей выше, чем среди русских... Мечты-иллюзии своей, конечно, не исполнил; походил, походил и благополучно забыл. Конечно, билет туда 400 крон, да обратно столько же, 200 на поборы и взятки на границе. Хорошо живу, но всё же не до такой степени, чтобы сейчас и исполнять все свои прихоти, стоимостью в тысячу крон. Или я какой олигарх?

Успокоился и стал жить дальше. От нечего делать пошёл в библиотеку. И что же я там увидел? Да, на стойке с новыми поступлениями как ни в чём ни бывало стоял толстый журнал на русском языке под названием «Балтика». Вообще то в Эстонии и до этого были два журнала на русском языке, но эти журналы были не для всех русских, а только для рафинированных. Я туда ходил, но меня даже на порог не пустили — идите, идите, нам таких не надо. Я всегда умилялся, когда евреи, немцы и эстонцы били себя в грудь и настаивали, что вот они же русские писатели, раз они пишут на русском языке. Мне всегда в таких случаях хочется подойти к ним, взять их за пуговицу и сказать: «Миленький, но ведь писатель это не тот, что пишет, а тот, что думает и чувствует, а ты думаешь по-своему, думать по-русски тебе не дано».

Схватил свои листочки и поехал в редакцию. Ехать надо долго, на троллейбусе, потом на трамвайчике, а ещё потом и на автобусе — дорога на Голгофу и должна быть долгой и трудной. А вот и железная дверь в рай. Стал стучать, сначала костяшечками, потом кулаком, а затем уж и ногами. Дверь открылась, вышел мужчина в пиджаке и галстук: «Ты чего стучишь? Вот же есть звонок, ходят тут...» Но я не обиделся, я уже знаю за собой, что меня в полутьме так легко принять за бездомного бомжика. Протянул ему свои листочки.

Конец первой части.

ПЕРПЕТУМ-МОБИЛЕ

Двадцать лет проработал конструктором. Даром это не проходит. Осталась жилка.

Она всё время бьётся, заставляя постоянно что-то изобретать, проектировать, улучшать, переделывать и захламлять пространство.

Гуляю утром с собачкой. На тёмной влажной дорожке лежит маленькая жёлтая денежка. Десять центов, значит. Поднять или нет? Да ну, зачем она мне, если на неё всё равно ничего не купишь — самый дешёвый товар сейчас в Эстонии, коробок спичек, стоит 50 центов.

Ну и что, а зато наклонюсь лишний раз, всё физическая нагрузка, а то у меня такой сидячий образ жизни. (Русскую литературу делаю.) Не прошли и ста шагов — бац! — ещё денежка лежит, беленькая и покрупнее. Двадцать центов, значит. Наклоняться? Да, надо наклониться и подобрать, а то будет нелогично — десять поднял, а двадцать нет? Теперь у меня тридцать лишних центов. Ни за что, ни про что. Какой, однако, счастливый день... Стали гулять дальше, а я уж совсем размечтался, что вот теперь для полноты картины надо найти и монетку в пятьдесят центов. Для полного счастья. И потом, Бог же троицу любит, так вот, если Бог есть на самом деле, то он мне сейчас это дело и устроит. Нарочно стал подольше гулять, даже на базар у Сольнока (это в Мустамяэ, если кто не знает) сходили. На обратном пути и нашли её. Хотите верьте, хотите нет — лежит как миленькая. Так что можете больше ни в чём не сомневаться, я вам авторитетно заявляю, что Бог есть.

А дома уже и пришла мысль, что если это я немного погулял по Мустамяэ (это в Таллине, если кто не знает) и нашёл восемьдесят центов, то сколько же я найду, обойдя весь город?.. Сказано — сделано. Слезал на антресоли (ящик над дверью в кухню, если кто не знает), достал паяльник, монитор от 386 компьютера (никогда ничего не надо выбрасывать) и всё нужное. Пропыхтел неделю, но теперь этот приборчик, это новое чудо техники, вот он. Спать лёг с ажиотажем в голове. Проснулся ни свет ни заря и сразу включил этот свой приборчик. Пока ходил в одно место и умывался, он разогрелся и встретил меня сиянием экрана, а на экране контуры города Таллина и золотыми точечками светятся те местечки, где лежат сейчас оброненные вчера вечером гуляками и пропойцами денежки. Ура, свершилось! Вот что значит быть дельным и целеустремлённым человеком. Побежал на такси (это через дорогу, остановка Таммсааре, если кто не знает). Объездили весь город, дома подсчитал барыши — 7 крон и 53 цента. Хотите верьте, хотите нет.

Теперь каждое утро объезжаю город. Таксисты меня уже знают и наперебой предлагают свои услуги. Уже и рекорд появился — 13 крон 96 центов. Это после Ивановой ночи. Праздники — это золотое дно. Хорошо, что в Эстонии праздников очень много — каждое воскресенье; смотришь, над домами — ихний триколор. Стал уже, было, подумывать об отдельной квартире, пусть хотя бы и в Копли (там одни русские живут, гетто), пусть хотя бы и однокомнатной и о собственном автомобиле, пусть хотя бы и подержаном, но случилось ужасное — инфляция. Не судьба, видно, пожить мне богатеньким. А это пивные фабрики стали закрывать стеклянные бутылки желтыми крышечками, которые, если вы забыли дома очки, с высоты 165 сантиметров кажутся неотличимыми от желтых монет в 1 крону. Я уж сколько раз наклонялся, чтобы подобрать, а уж потом плевался. Теперь у меня экран по утрам показывает одно жёлтое.

Это как в детстве мне бабушка рассказывала такой анекдот. Дед с бабкой едят постные щи, каждый из своей миски. А давай постного масла нальём, всё будет вкуснее... Бабка капнула из бутылки, масло и разбежалось по миске маленькими точечками-кругляшками. А дед был хитрый и умный. Он задержал руку с бутылкой над своей миской и говорит, что пусть каждый из нас даст друг другу столько копеечек, сколько у того будет в миске звёздочек. Бабка, известно, — куриные мозги, согласилась. Дед заухмылялся и влил в свою миску полбутылки, ну у него вся миска и покрылась плёнкой масла. И бабка дала ему одну копейку, а себе потребовала тысячу. Только дед и дал ей фигу с маслом — у него и не было столько копеечек. Да он и сильнее, хоть и хилый, — даст по уху, и вся недолга.

Это был жизненный крах. Ну, конечно, если человек уже видел себя за рулём подержанного автомобиля, а это оказался всего лишь мираж... Тут у кого хотите крыша поедет. Но только не у меня, потому что счастливое сочетание моей природы состоит в неиссякаемом оптимизме и кипучей жизнедеятельности. За другой проект принялся, более обширный и значительный по своему общественному звучанию — денежки-то я собирал

только для своего личного обогащения, а тут задумал облагодетельствовать целый город. Город Таллин.

Идея тоже пришла на прогулке с собакой. Дело в том, что она у меня любит шляться по помойкам. Уж сколько раз я её корил и стыдил — ничего не помогает. Как-то раз не выдержал и прямо спросил, что не хотел ли бы она жить в отдельном коттеджике за 3—5 миллионов долларов, чтобы когда вышел, никаких помоек и вульгарных гуляющих собаченций, чтобы только травка-газончик и сосенки. Ни одной секунды не стала думать: нет, говорит, мне и здесь, в Мустамяэ, не плохо — тут так хорошо развита инфраструктура (это она помойки имеет в виду). А потом ехидно спрашивает, что где же я возьму эти миллионы, если у меня, когда я наливаю ей молоко в блюдечко, дрожит рука?.. Вот и поговори с такими. А учёные-кинологи из английского общества развития собаководства именно и рекомендуют почаще вести с собакой душеспасительные беседы — якобы они так быстрее развиваются. А у меня уж куда быстрее-то, и так она уж обогнала меня.

Речь, значит, пойдёт о помойках. Город Таллин собирается занять вакантное место культурной столицы Европы. Подали заявку, приехала представительная комиссия. Всё понравилось, но вот помойки... Вот что с ними делать-то, с помойками этими? Придумали прятать их в кокетливые домики-навесики, но благосостояние растёт, покупают и жрут всё больше и больше, никаких домиков не напасёшься — мусор, он так и прёт за пределы этих конурок-домиков. Вот как быть-то? Ну, я и придумал.

Суть, значит, такова. Около каждого дома сверлится скважина... нет, не до самого центра земли — там же расплавленная магма, ваша фреза-долото просто расплавится да и всё. Да и зачем вам небольшой личный Попокатепетль, верно? Скважину нужно просверлить глубиной 20 километров, всего-навсего. Допустим, сегодня ваша очередь выносить мусор. Вышли во двор, подошли к моему сооружению, магнитную карточку засунули, крышка автоматически и откинулась. На вас пахнуло струёй подземного тепла, но это не страшно, потому что, по моим расчётам, температура воздуха, вырвавшегося из скважины, не должна превышать 50 градусов, это даже будет и приятно, потому что в Таллине восемь месяцев стоит холодная погода. Вы ведро туда, в отверстие, в скважину ух! — и вывалили. И спокойно пошли домой с пустым ведром, при этом вы не забыли вынуть магнитную карточку, ну, крышка автоматически и захлопнулась. Дёшево и сердито, чисто и опрятно. Бумажки, что были у вас в ведре, сгорят-ислеют, не пролетев и пятисот метров; куриным косточкам, чтобы сгореть, потребуется три километра. Обручальное кольцо или золотой слиток сгорят на глубине десяти километров. А что ещё может оказаться в вашем ведре? Так что 20 километров — это чтоб уж наверняка. Вдруг вы киллер. Пришили кого, ну, наган и бросили туда, а уж орлы-сыщики пусть носом землю роют — ищут орудие убийства. А без орудия убийства уголовное дело открыть невозможно. (Десять лет проработал важняком в прокуратуре.)

Вокруг скважины в радиусе десяти метров круглый год будет свежая зелёная травка. Если её аккуратно постричь, поставить там скамеечки и вкопать столик, то пенсионеры смогут круглый год играть там в лото, домино и карты, а по ночам там в тепле и неге могут спать бомжики — отпадёт надобность строить муниципальное жильё. А ещё можно посадить там косточку от банана, через три года около каждого дома будет зеленеть своя пальма — отпадёт необходимость гонять банановозы в Южную Америку. Сели обедать. Он говорит, что что-то давно не ели бананов. Жена идёт к пальме, отчиняет цепку с ручной обезьянкой, та взбирается по гладкому стволу и сбрасывает вам увесистую гроздь бананов. Дёшево и сердито... Но проглядывает и отрицательное — не участится ли пропажа зажившихся стариков и надоевших супругов? Кокнули, в ванне распилили мощной электрической пилой, в чёрные мешочки распихали и знай себе по вечерам спускаете туда, в скважину. А орлы-сыщики пусть себе землю носом роют, но отыскивают горячо любимую вами супругу. А без трупа уголовное дело открыть невозможно. (Пятнадцать лет проработал важняком в прокуратуре, так знаю.)

Расчётов, чертежей, графиков, инсинуаций и синусоид набралось на целую папку. Отослал в ВАК в Москву: с эстонскими чиновниками связываться не стал — увидят на папке русскую фамилию, ну и зарежут. А в Москве наоборот, увидят, что из Таллина, ну и умилятся: смотри-ка, и режут его там, и третируют, и гражданства своего драгоценного не дают, а он крылья не опустил, а знай себе проекты кропает. Надо нам к нему повнимательнее отнестись, скажут они. А то ещё и президенту доложат. Президент позвонит по секретному внутреннему телефону и скажет одно только слово: «Тяпкина-Ляпкина ко мне». Ляпкин прибежит, и президент повелит ему рассмотреть проект в наикратчайшие сроки и всю Москву... нет, Санкт-Петербург оснастить моими скважинами... Я и сам иногда удивляюсь, что откуда у меня этот безудержный полёт фантазии — с виду-то я ведь самый мусорный человечико, каких по улице ходят стаями.

А я уж, знай себе, уже за новый проект принялся, за ещё более глобальный и всемирный: почему они нам изменяют и как сделать так, чтобы это прекратить раз и навсегда. Они — это наши жёны. Дело дошло до того, что я, например, не знаю ни одной семейной пары, в которой глава семьи, муж не был покрыт толстым слоем рогов и копыт. Да что там какой-то муж! — возьмём самого знаменитого человека матушки-земли, героя всех времён и народов — Наполеона. Да, того самого Наполеона, который любил говорить своим приближённым генералам, что если что будет не так, то он им всем и поотрубаёт их безмозглые головы, которыми они так беспечно возвышаются над ним. (У Наполеона рост был 150 с кепкой.) И вот этому всемогущему и всесильному человеку его жена Жозефина наставляла рога самым превосходным образом. Я эту Жозефину видел (в кино), так себе бабёнка, ничего выдающегося, ни спереди, ни сзади... Как я всё-таки иногда жалею, что не пришлось мне пожить на этой земле в образе женщины хотя бы недельку, хоть бы полчаса или пять минут — что можем мы знать об думах и чаяниях этого огромного народа, живущего бок о бок с нами? Так и хочется воскликнуть иногда: «Здравствуй, племя молодое, незнакомое!» Может быть, та самая Жозефина испытывала какой-то особый кайф, лёжа под незначительным человеком, от одной только мысли, что изменяет самому могущественному человеку на земле. Так, может, моё намерение избавить человечество от измен жён есть просто химера и помрачение рассудка, если уж самому Наполеону?..

Мы живём на этой земле, соприкасаясь с действительностью глазами, ушами и осязанием, воспринимая всю эту действительность, пропуская её через себя сердцем, душой и умом. Нет, наоборот: умом, сердцем и душой. Умом мы анализируем все проявления окружающей нас действительности, стараясь всё-таки понять, что и как в этой жизни. И вот я тоже своим хилым умишком тоже всё стараюсь понять и проанализировать, чтобы всё-таки прийти к какому умозаключению. Иногда мне это удаётся, иногда нет. А то и вообще могу прийти к совершенно диким, невообразимым выводам. Вот женщины, прекрасный, очаровательный народ, живущий с нами бок о бок. Вот кто они такие и зачем? Почему они иногда ведут себя так странно, совершая не лезущие ни в какие ворота поступки?.. Я долго над этим думал и в конце концов пришёл к совершенно несообразному умозаключению. Причём это мое личное умозаключение, я его никому не навязываю, не тиражирую и не требую, чтобы мне присуждали нобелевскую премию. Значится, так: по моему глубокому убеждению, в каждой женщине живёт (обитает) в её уютном домике-шалашике, что в самом надёжном месте, причём это место искусно замаскировано зарослями-кустиками сирени, чтобы не сразу можно было догадаться, так вот там, значит, живёт чёртик. Причём, я не настаиваю, что именно чёртик, это я для себя так назвал его, а вы можете назвать по своему хотению-усмотрению. Мне тоже так думается, что не обязательно чёртик, может, и рыбка-ящерка; она там себе плавает в питательной среде, помахивая хвостиком, отчего у женщины делается неопределённо-меланхо-

лическое состояние, что вот вроде и хочется чего-то, а чего именно и не разобрать. Что, может быть, кто-то пришёл и нежно погладил те местечки, что рыбка зацепила своим хвостиком. Ну, вот как поётся в теперь уж забытом романсе:

Меня томил горячий воздух ночи,
Она меня, как поцелуй ваш, жгла,
Я не могла сомкнуть в волнение очи, —
Но вы не шли... А я вас так ждала.

И тогда мы говорим, что имеем перед собой нежную, томную, мягкую, женственную женщину — мечту всех брюнетов.

Но в большинстве женщин пляшет самый настоящий чёрт, чёртушка. Он, собственно, и не так уж пляшет, просто ему там тесно, парко, влажно, ну, он и мечется, испытывая женщине всё её нежное и чувствительное. Ну, у неё там всё и горит... Допустим, она архитектор (советские времена). Сдаёт комиссии свой проект. Ей говорят, что вот у вас все окна разных размеров, а на этой стороне вообще окон нет, она согласно кивает головой, а сама думает, что председатель комиссии ещё совсем не старый человек, как бы ему намекнуть, чтобы ...всё помягчело и успокоилось, а сам чёртушка, спеленатый, впал в прострацию и симбиоз, и она бы извела, наконец, блаженный покой... Но покой нам только снится, сказал поэт. Пройдет пару дней, чёртушка обсохнет, проснётся и опять примется за свои пляски святого Витта. Поручик Голицын, раздайте патроны!

Я почему про этого чёртушку так хорошо и убедительно выдумал, что со мной приключилась такая метастаза, которую только наличием чёрта и можно объяснить. Женится. Умоляла, сам бы не стал. Ну, давай, говорю, съездим куда-нибудь, хотя бы и в Крым — всё вроде свадебного путешествия будет. Она не возражала. Но вот надо захватить в Воронеж: вот уже десять лет учиться там в университете на заочном, так, наконец, надо досдать и получить диплом. Договорились так, что она поедет в Воронеж, а я подъеду в Москву, встретимся и вместе поедем в Симферополь. Стою на Казанском вокзале у воротца, через которые пойдет приехавший из Воронежа люд. Поезд пришёл, народ повалил густой толпой-рекой, я ещё удивился, что так много, и чего это им так приспичило в Москву. Смотрю, мимо меня никто пройти не может, я спокоен — сейчас, сейчас. Но река тает, народу всё меньше, а её нет и нет. Все, и старики уже прошли, и немощные калеки, а её всё нет. Стою. Потому что не знаю, что делать. Если заболела, так могла и позвонить мне; наоборот, звонила, что едет. Ограбили и убили в поезде, выкинули из вагона... Занемогла в поезде, свезли в сельскую больничку... Перекрасилась, чтобы я её не узнал, сейчас подойдет сзади и как закричит... А что же ещё?... Но стою. В прострации и недоумении. Просто не знаю, что делать. А сам стою у этих воротца. А это оказалось единственно правильное решение. (Всегда, когда решение принимаю не сам, а кто-то за меня, оно оказывается единственно верным.) Стою час, два. Вот опять народец пошёл, но жидковатый — электричка, наверно, пришла. Смотрю — она! Я так обрадовался, что не стал ничего уточнять — до симферопольского поезда вот-вот. Жизнь опять понеслась по своим наезженным колеям — трудная, но такая прекрасная. В вагоне, когда уж ехали Украиной, сказала, что в воронежском поезде ехала в одном купе с директором завода. Я ещё удивился, что зачем нужно сообщать мне эту незначительную подробность.

Прошло сорок лет. По воскресеньям ритуально пьём торжественный воскресный кофе, с колбасками и рыбками. Разгадываем кроссворд. Внезапно, как бы даже и не от себя, тихо спрашиваю: «А поезд тогда действительно опоздал?» Она вроде как опешила, но спокойно отвечает: «Да, опоздал». Помолчала и спрашивает: «А ты обращался в справочное?» И я всё понял. То есть окончательно прозрел — то есть я и все эти сорок лет глубоко в себе подозревал, что живу со шлюхой, но вот то-то и именно, что слиш-

ком глубоко... Кроме того, она была совсем не плохой женой: дома почти никогда не бывала, иногда и неделю нет, не ссорилась, не ругалась, не выясняла отношений, была ровной и спокойной; вовремя покупала мне брюки и ботинки; в холодильнике всегда водилась какая-никакая еда. А стирать, готовить, мыть посуду и пол я мог и сам. А чтоб разводиться, надо куда-то идти, чего-то писать, а потом и переезжать...

Зато теперь я, когда входит женщина, не встаю, не открываю перед ними двери, не дарю цветов. Не то что я их не уважаю или презираю, я их просто не замечаю. Когда по тропинке навстречу идёт женщина, я делаю большой крюк, чтобы случайно не надыхаться её миазмами. В магазине дам молча деньги, а потом даже и не пересчитываю сдачу — или я ей буду что-то говорить? Меня корят и говорят, что я не прав, потому как, конечно же, не все женщины шлюхи. Я это знаю, что не все, но поделаться с собой уже ничего не могу. Я уже сломался и испортился.

Но вот факт. Не факт, а фактище, над которым надо думать, думать и думать. Расказал-поделился своими задумками с приятелями. Так, знакомые просто. Я ожидал, что они сейчас как начнут хлопать меня одобрительно по плечу, как закричат, что я молоток, что меня уже давно надо было занести в книгу Гиннеса, как сейчас побегут за бутылкой, но они стали как-то потупливаться, отводить глаза и бормотать, что я, конечно, хороший человек, но... А третий, так тот так прямо и спросил, что же это тогда будет, уж не так ли, что вот у неё муж ушёл в море, а я пришёл, а она мне и не даст? «Не даст, не даст!», — радостно закричал я. в унисон ему. Он совсем заугромел, сейчас оделся, но в дверях задержался и сказал: «Правильно говорят, что дураков не сеют, а они сами рождаются». К чему бы это он?

Уж не к тому ли, что пусть они и дальше нам изменяют?.. Конечно, если этого товарища вовремя не остановить, то он, смотришь, придумает нечто, от чего мы все бросим курить, а потом и пить водку, а потом и заглядывать баб... женщинам под юбки. Что же за жизнь тогда у нас будет? Пришёл с работы, чаю попил, перед телевизором повалялся и ну тебе собирать марки или какие спичечные этикетки. Пособирал, лёг в постельку спать, а там как раз обрыдлая жена (обрыдлевать — это есть свойство женщин), поработал над ней немного и, как человек, добросовестно исполнивший все свои обязанности, со спокойной совестью уснул. Утром встал, пошёл на работу (см. выше). Что же это за жизнь у нас тогда будет? Но еще великий русский писатель Гоголь сказал некогда: «Россия — это монастырь».

За это мы его и уважаем — прозорливец ты наш!

Марат КАЛАНДАРОВ (Рига, Латвия)

НОЧЬ С ВОЛЧИЦЕЙ

Документальная повесть

КАТАСТРОФА

Под колёса вездехода летели ребристые сугробы, и гусеницы разрывали их с озлобленным лязгом. Кабина то монотонно поднималась, то опускалась, обволакивая меня сонной одурью. На лице молоденького водителя из Белоруссии — Вити Баранова — серая нечеловеческая усталость. Сорок восемь часов за рулём по бездорожью в таёжной глухомани — дело нешуточное. И когда перед ветровым стеклом возникла, как наваждение, тёмная пасть пропасти, у него уже ничего не оставалось от былой реакции.

Далее всё происходило, словно в кошмарном сне. Машина зависла над обрывом и стала медленно валиться через его край... В сотые доли секунды я успел поймать исполненные ужасом глаза шофёра, рванул дверцу и вытолкнул своё тело в бездну.. Пролетев несколько метров, оказался, по счастливой случайности, в холодных объятиях снежного карниза. Машина со свистом пронеслась рядом... Пронзительная какофония долго разламывала застывшую тишь, закручиваясь эхом в горном лабиринте...

Я с трудом выбрался из снежного плена и радостно отметил, что отделался царапинами. Но что с водителем, с Витей!?

Когда я спустился до машины, то увидел окровавленную портянку, унт валялся в полуметре от неподвижного тела... Реснички дрогнули, приоткрыв бирюзовые зрачки, и опять слепились... Жив! Я принялся внимательно осматривать ногу и, аккуратно стянув влажный носок, ахнул — обнажилась мешанина застывшей крови и осколков костей. Не надо было быть медиком, чтобы понять: ступня раздроблена. И поднять парня наверх без посторонней помощи мне не под силу...

На дне ущелья темнел опрокинутый вездеход. К счастью, не загорелся. Я заторопился вниз в надежде найти аптечку — вообще что-нибудь, что может сгодиться для помощи пострадавшему. Проделав опасный путь, я с трудом добрался до вездехода. Из помятой кабины вытащил одеяло, телогрейку, сухие чурки для костра — обязательная наличность любого таёжного шофёра, — топор и чудом уцелевшую канистру с бензином. На это ушло около двух часов.

Пока я перебинтовывал и тщательно укутывал в одеяло искалеченную ногу, Витёк то впадал в бредовое забытие, то снова приходил в себя.

— Терпи, парень, — повторял я, полностью осознавая всю безнадежность ситуации, в которой оказался. — Сейчас разожгу костёр, станет веселее...

Я принялся собирать хворост, распилил несколько валежин, плеснул бензина, и — затрепетали языки пламени. Запекшиеся губы паренька что-то прошептали. Я склонился над ним:

— Больше сорока, — раздался слабый стон. — В такой мороз к утру превратимся в ледяные мумии... Транспорт тут вряд ли появится, так что двигайте за помощью...

Марат Ахметович Каландаров, писатель-прозаик, публицист, в прошлом — журналист-международник, член Союза писателей России, президент Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП, Рига), издатель зарубежного выпуска газеты СП России — «Российский писатель».

Я слушал жаркий шёпот и сквозь смутную тревогу чувствовал, как внутри меня накапливается страх. Мучительным и невыносимым было ощущение затерянности в этом безмолвном горном царстве. Скрюченная фигура водителя сливалась с блестящей щековой заледенелой скалы. Глаза парня то с покорной мольбой глядели на огонь, то обращались ко мне, изливая просьбу и безнадёжность одновременно. Я улыбнулся молодому строителю БАМа, резко оторвался от тёплого пламени костра и решительно сказал:

— Ты прав, Витёк. Я пойду за помощью. Доберусь до людей. Обязательно доберусь! Дров пока хватит — только не забывай подбрасывать. И — жди!

Тот вяло кивнул, не отрывая взгляда от язычков пламени, и застыл, как изваяние. Казалось, уже ничто не в состоянии избавить его от боли, тяжких дум и этого оцепенения...

Я выкарабкался из ущелья и пошёл по гусеничному следу, надеясь, что он приведёт меня или к геологам, или к лесорубам.... Жуть звериного одиночества овладевала мной, то и дело выжимая из меня тяжёлые вздохи. Потом на смену растерянности пришла злость, которая гнала меня вперёд к темнеющей внизу полоске леса. Я почти бежал, не чувствуя под собой скользкой вафельной колеи, пока впереди не выросла стена ельника.

ВСТРЕЧА

Проколотое яркими звёздами небо морозно стекленело над таёжной глухоманью. Гусеничный след разрубал лесной массив, оставляя на земле две искристые полосы. Я шёл по этой скользкой тропе с чувством полной неопределённости — я ведь был случайным гостем в этом безлюдном сибирском уголке. И только скрип шагов разрывал тишину. Противный скрип моих собственных сапог.

На фоне переплетённых еловых лап вдруг вспыхнули две маленькие точки — они двигались, замирая и исчезая. Я остановился, прощупал взглядом деревья — никаких признаков живого. Померещилось, решил я, — не иначе от усталости. Как-никак, а километров пять уже отмахал с того проклятого места, где лежал сейчас с раздробленной ступнёй Витя Баранов.

Мороз усиливался. Я поднял заиндевевший ворот овчины и потопал дальше, настороженно поглядывая на хвойную стену. Таинственные точки опять вспыхнули и заматались от ствола к стволу. Стало ясно: за каждым моим движением внимательно следят две пары блестящих бусин. В голове тревожно пульсировало: рысь?.. медведь-шатун?.. волк?.. Хищников в этой тайге предостаточно...

Я стянул варежку, чтобы достать из кармана брюк складной ножик, хотя ясно сознавал, что этим «оружием» разве что карандаши чинить или сосиски резать. Но достать ножик я не успел... Хвойная стена с треском разорвалась, в воздухе распласталось мохнатое тело с огненными зрачками, и над моим лицом зловещим лезвием сверкнул волчий клык.

И в эту секунду я вдруг явственно услышал голос моего первого тренера по боксу Фрициса Кирсиса, который подсказал: встречай левой! Я выбросил кулак, нацелив его в темный проём пасти меж фосфорисцирующих в свете луны звериных челюстей... Удар был точным — немало таких мне приходилось проводить в боях на различных рингах. Моя рука оказалась в горячей звериной глотке...

Что было дальше?

В лицо пахнуло ледяным ветром... Что-то твёрдое ткнулось мне в грудь, отчего перехватило дыхание и потемнело в глазах... Я потерял равновесие и упал, успев свободной рукой обхватить мохнатую шею...

Наши сплетённые тела кувыркалились на заледенелой гусеничной полосе. Над моим лицом мелькали острые когти, и я уходил от них, как на ринге, проявляя завидную реакцию...

Звериный хрип и человеческий вопль разбудили тайгу. Мощные лапы исполосовали мою овчину, сбили с головы шапку, вонзались когтями в лёд... Я извивался, как мог, но вскоре почувствовал, что слабею, — он, зверь, брал верх, и вот-вот должна была наступить роковая минута... И лишь мой кулак, клином вбитый в пасть хищника, продлевал мне на какое-то время жизнь.

Надо мной реяли огоньки волчьей ненависти.

УЯЗВИМАЯ ТОЧКА

В десяти сантиметрах от меня горели пышущие злобой волчьи глаза. Смерть витала рядом — она бросала мне в лицо ошмётки слюны и клокочущее урчанье, в котором ощущалось предчувствие победы. Я понял, что проигрываю этот бой. Меня охватил панический страх. Вот так умереть на таёжной тропе, разорванным на части дикими беспощадными клыками... Зверьё оставит от моего тела обглоданные кости...

Волк, будто почуяв мою слабость, встрепенулся, напрягся с новой силой, и мы ещё неистовее закружились на ледяной глазури дороги... И в этот роковой миг я увидел лицо своего деда, его добрую улыбку.. Я — пятилетний мальчишка — играю с нашей собакой. «Ну-ка, — говорит дед, — сдави язык псине... Видишь, пасть парализована. До тех пор, пока будешь сжимать ей язык, собака не может тебя укусить...»

Я разжал кулак и, как клещами, сдавил пятернёй мякоть волчьего языка... Из пасти брызнула слюна, вырвалось что-то вроде жалобного стога. Щетинистое тело затряслось, лапы ослабли, блеск звериных зрачков погас. Я понял, что нашёл уязвимую точку, которая поможет мне усмирить зверя! Пока я властелин языка — хищник беспомощен! Ослабнет рука — волчьи челюсти тут же отхватят мою кисть.

Я с облегчением откинул голову на лёд и лежал без движения, пытаюсь осмыслить происходящее. Луна поднялась над деревьями, вокруг неё светились радужные кольца. Причудливая игра теней и света превращала лес в какой-то сказочно-хрустальный мир. И только хрип моего пленника и собственное моё прерывистое дыхание говорили, что на этой безмолвной таёжной тропе ещё остаются крупинцы жизни...

Что же случилось со мной за последние сутки?

Память вернула мне пропитанные табачным дымом и бумажной пылью тесноватые кабинеты латвийской газеты «Советская молодёжь», где я работал по договору специальным корреспондентом. Свои материалы я писал дома, а в редакции появлялся на короткое время, чтобы сдать очередную байку, получить новое задание и... сыграть с кем-нибудь пару партий в шахматы. На этот раз я «заякорился» в кабинете заведомом промышленности Игоря Щедрина, который показал глазами на шахматную доску, мягко подошёл к двери и, приложив палец к губам, повернул ключ. Потом шёпотом произнёс:

— Пять партий по тroyку!

Для тошего журналистского кошелька это была значительная сумма. Тем не менее, поколебавшись минуту-другую, я кивнул головой, и фигуры бесшумно заскользили по клеткам. В дверь то и дело кто-то рвался, периодически звенел телефон, но мы погрузились в мир чарующих комбинаций и азарта, игнорируя обычную редакционную суету.

Итак, я увяз в щедринской паутине гамбитов, и из неё меня вытянул лишь фальцет Ильи Героя.

— Марат, тебя срочно БАМ вызывает...

Это, пожалуй, было единственным, что могло заставить меня «опомниться» и встать из-за шахматной доски. Я поспешил в приёмную редактора к телефону.

Я узнал голос комиссара латвийского строительного отряда Яниса Стрельча.

— Приезжай! — умолял он. — Надо разобраться с Карлисом Силиншем. Официальная версия — сгорел по пьянке в палатке...

Об этом парне я писал в нашей газете после недавней поездки на Восток. Насколько мне помнилось, спиртным он не баловался. В тесной комнатухе таёжного посёлка Кичера, где жили Карлис и его жена Анита, я просидел целый вечер. Заходили гости, приносили водку, пили за далекую и любимую Латвию, а Карлис лишь потягивал из жестяной кружки чаёк.

— А я в этом сомневаюсь! — В голосе комиссара улавливались тревожные нотки. — Возможно, Силиньша убили!.. Приезжай, Богом прошу! Помоги распутать это дело. Поселковое начальство запрещает нам даже шептаться на эту тему. Предупредили, что накажут всякого, кто снюхается с прессой...

Разговор внезапно оборвался, а мои попытки дозвониться до далёкого таёжного посёлка оказались тщетными. Заявление Яниса было очень серьёзным, и я пошел советоваться с ответственным секретарём газеты Виктором Резником-Мартовым. Он сидел, заваленный газетными полосами и кипой материалов, в губах торчала неизменная сигарета, от которой в косых нитях солнечных лучей причудливо клубился сизый дым.

— Значит, убийство, — озадаченно протянул он, выслушав мой рассказ. — Отправляйся в рыбный порт и собери информацию. Ведь Силиньш выехал на БАМ по рекомендации этого предприятия?.. А потом решим, как поступить...

У вецмилгравского причала меня встретил секретарь комитета комсомола порта и задумчиво проговорил:

— Мы тоже получили «телегу» из Северобайкальска. Чепуха какая-то — Карлис вообще не пьёт! Конечно, — на секунду заколебался комсорг, — может, на БАМе приобщился — в тайге всякое бывает. Но я лично в это не верю. Карлис всегда был примерным работником... Жена — интеллигентная женщина, архитектор, ждёт ребёнка... А ей бамовское начальство в глаза бросает: присматривать, дескать, надо было за мужем-пьяницей!.. Тут что-то не так...

Несколько портовиков, с кем мне пришлось беседовать, были единодушны во мнении: Карлис Силиньш не мог устроить пожар по пьянке.

Все эти факты я выложил ответственному секретарю. Он долго анализировал информацию, окутывая себя и меня сизыми клубами дыма. Потом пошёл держать совет с Володей Стешенко, который в эти дни замещал главного редактора. Денежных средств на такую далекую поездку у редакции не было, поэтому обратились в ЦК комсомола Латвии и попросили командировать меня на БАМ...

Итак, я летел в дебри Станового хребта, где пробивался путь от живописного озера Байкал к берегам Тихого океана. Это была моя третья командировка в эти суровые края. Полёт складывался не совсем удачно. На несколько суток я застрял в Улан-Удэ, ожидая рейса на Нижнеангарск. Заслон Аэрофлоту устроил взбешённый Байкал. Я с трудом пробрался к берегу, чтобы своими глазами увидеть крутой норов этого «славного моря». Байкал заливался неистовым рёвом, выбрасывая на камни тонны воды и глыбы льда. Даже старожилы с опаской поглядывали на разгневанное озеро и торопливо крестились.

— Пока лёд не станет, вертолётам и самолётам тут не летать, — вздохнул пилот, наблюдавший эту стихию.

Небольшой аэровокзал в бурятской столице от скопившихся в нём людей, казалось, вот-вот лопнет по швам. В течение шести дней откладывался вылет в Нижнеангарск. Очумевшие пассажиры штурмовали справочную службу и проклинали Аэрофлот. Современная наука способна на многое: разогнать тучи, вызвать искусственный дождь, но усмирить Байкал в буйную его ноябрьскую пору не может.

В зале ожидания царило настоящее столпотворение: пассажиров было так много, что уже и стоять нормально было негде. На улице термометр показывал минус тридцать восемь. Картина развернулась нерадостная: мужики глушили тоску в спиртном, сбывая местному населению по самым бросовым ценам всё, что было в чемоданах и объёмистых брезентовых рюкзаках. Женщины беспокойно озирались, дети плакали, ста-

рики тяжело вздыхали. Может, именно в этой обстановке я и осознал впервые по-настоящему, как нужна железная дорога сквозь забайкальские хребты. Та самая дорога, которую сейчас строили в лютую стужу молодые посланцы разных союзных республик. А пока был единственный транспорт в те края — самолёт, который, увы, не всегда мог взлетать. А куковать в аэровокзале почти неделю — нагрузка на человеческий организм сумасшедшая, и не все её выдерживали. Один тунгус пустил себе пулю в лоб на пятые сутки ожидания — прямо у взлётной полосы. Правда, официально утверждалось, что он был пьян. Мне в иркутском райкоме комсомола посоветовали не упоминать про это в своём газетном материале. Вот и в таёжном посёлке Кичера начальство доказывает пристрастие Карлиса Силиньша к спиртному..

ИНЦИДЕНТ

Силиньш возился с трактором до самого обеда. Анита появилась в три часа, принесла еду. Взглянув на мужа, звонко расхохоталась.

— Ты на лешего похож — чумазый весь. Не дай бог на тебя грибники наткнутся — заиками станут!

— У тебя, конечно, работа почище — ватман, карандаши... Архитектор, как-никак, а мы — рабочий люд!

— Ладно, ладно, — примирительно сказала жена. — Пошутить уже нельзя...

После того как Анита ушла, Карлис работал ещё долго. Вдруг он услышал женский крик. Поднялся и бросился на голос. В кустарнике увидел троих парней и девушку. Одного узнал сразу: вчера вечером в общежитии тот, складывая чемодан, громогласно заявил:

— Валить надо отседова! Какие тут заработки?!

— Чего же к лесорубам не идёшь? — усмехнулся Карлис. — Там платят прилично...

— Уродоваться?! Это не для меня. Я к геологам пойду. Платят там больше, а работа полегче. Давай вместе!

Карлис запомнил лицо этого типа: у него были жёсткие нахальные глаза. Сейчас он тянул за руку девушку и, захлебываясь, частил:

— Да ты что ломаешься, дура! Васька-то в район укатил. Потрахаемся. Ни одна душа не узнает. Мы сегодня отваливаем...

Приятели его молча наблюдали за происходящим.

Поначалу Карлис растерялся, ведь он был один.

— Держи червонец и не бесись! — шипел парень.

Девушка вырвалась. Ей удалось освободить руку, но насильник сбил её на землю.

— Водку ей, водку! — задыхался он. — Чего топчетесь! Лейте в рот!

Карлис понимал, что надо идти на помощь, но ноги будто налились свинцом. От природы миролюбивый, он старался не ввязываться в драки, хотя считался парнем сильным.

Безнадёжный крик, похожий на вздох, в котором страх смешивался с отчаянием, резанул слух. Он потянулся к молотку, но раздумал. В драке всякое может случиться и, потеряв контроль, таким молотком можно раскроить череп. Лучше уж с голыми руками.

— Оставьте девушку! — крикнул он.

Появление человека в глухом месте поначалу испугало компанию. Девушка, рыдая, метнулась к Силиньшу и судорожно вцепилась в его плечо.

— Не оставляйте меня! — шептала она. — Умоляю вас!.. Это же подонки...

— Шагайте, ребята! — миролюбиво сказал Карлис.

Убедившись, что он один и не так уж опасен, шпана решила действовать. Главарь подскочил к Силиньшу и ударил его в челюсть. Для Карлиса это было неожиданно, и он оценивал ситуацию уже на земле.

— Схлопотал! — злорадно протянул тот. — Это тебе для начала!

Карлис успел подняться. Он состроил испуганное лицо, показывая, что порядком стухнул и драться не собирается. Главарь поверил и подался вперёд, чтобы окончательно сокрушить заступника. Но... тут же взвыл от удара сапогом под колено. Этому приёму вместе с Карлисом обучались все в классе, когда кто-то из учеников принёс затрёпанную книжку про каратэ.

Дружки бросились на помощь, но Силиньш тут же свалил первого — он чувствовал, что свирепеет от злости... У второго в руке блеснул нож. Карлис уловил, что тот растерян и не знает: пускать в ход оружие или нет. Секундного замешательства было достаточно: ребром ладони Карлис сбил его на землю...

Потом всё происходило, словно во сне. Очнулся Силиньш, когда рядом уже никого не было. Хулиганы ударились в бегство. Девушка смотрела на Карлиса широко раскрытыми глазами. Он молча взял её за руку и повёл в сторону посёлка. Когда показались первые дома, он устало проговорил:

— Теперь дойдёшь сама. Мне работать надо.

— Спасибо! — Девушка хотела ещё что-то сказать, но Силиньш повернулся и зашагал к лесу.

ВЕРСИЯ

Позеленевший и истощённый (командировочные тогда выдавались скудные, и приходилось экономить каждую копейку), я добрался-таки до Нижнеангарска. А дальше — устроился на попутный «камаз» и провалился в сон. Водитель был поражён моим умением отключаться и будто не замечать местных красот — тех же, к примеру, фантастических красок гигантских сопок. Лишь на вторые сутки я продрал глаза, когда грузовик уже подъезжал к поселку Кичера, где меня ждал комиссар латвийского отряда...

После получасового восторженного расспроса о Латвии Янис приступил к главной теме:

— Ситуация такова: обгорелый труп Карлиса нашли в десяти километрах отсюда — он там ремонтировал брошенный бульдозер. Там же стояла одинокая палатка геологов и валялось кое-что из техники. Ещё весной Силиньш наткнулся на этот бульдозер и после тщательного осмотра сказал мне, что сможет отремонтировать. У него были золотые руки. В своём колхозе «Гайзиньш», что в Мадонском районе, он считался лучшим механизатором. И в Рижском рыбном порту его знали как хорошего рационализатора. Словом, машину он в порядок привёл, и утром ему обещали доставить солярку... А ночью случилась беда... — Янис достал дрожащими руками сигарету и закурил. Отмахнув ладонью клубок дыма, зло бросил: — Я никогда не видел, чтобы Карлис к спиртному притрагивался! С ним что-то другое случилось...

— Убили его, — решительно проговорила его жена Лайма. — А потом подожгли палатку. Народ зря судачить не станет.

— Мне тоже так кажется, — согласился Янис. — А местное начальство скрывает правду. Испугалось ЧП и оформило бумаги, будто бы Силиньш упился до того, что заснул, уронил сигарету, отчего и возник пожар.

— А следствие? — спросил я.

— Кто этим будет заниматься?! Тут один участковый на триста километров. Собрали комиссию из местных, составили протокол и отправили в Северобайкальск. Оттуда уже официальное сообщение пошло в Москву. — Янис вдруг встал, напялил мохнатую шапку, куртку. — Я сейчас... Приведу Марину. Она вам кое-что расскажет.

Он вернулся с девушкой лет двадцати. Марина Королёва рассказала, что однажды её пытались изнасиловать, и Силиньш вмешался и спас её.

— Я об этом и замначальника СМП-608 Мезенцеву сообщила, но он особого интереса не проявил.

Ночью я долго не мог уснуть. Детально складывая обстоятельства, я всё больше убеждался в том, что официальная версия смерти не соответствовала действительности.

На другой день Стрельч повёз меня к геологам.

— Там работает один водитель, — рассказывал он по дороге, — которому я когда-то помог машину из трясины вытянуть. У него есть кое-какая информация.

Владимир Седов, невысокий худощавый мужчина средних лет, узнав о цели нашего визита, охотно разговорился.

— Дело было осенью. Снег уже пошёл. Двое ребят, которые устроились работать в наш отряд разнорабочими, попросили меня добросить их до посёлка Кичера. Там стояла наша точка — палатки, трактор и кое-что из техники. Один из них там сошёл, второй остался в кабине и попросил меня обождать. Вскоре первый вернулся. Бросил фразу, что тракторист на месте. Вечером я поехал в Нижнеангарск шефа забирать. Они опять подсели ко мне, и вышли у посёлка Кичера. На другой день слух о пожаре дошёл и до нашего объекта. А те двое сразу и уволились...

— А вы рассказали об этом следствию? — спросил я.

— Да меня никто и не спрашивал! Янке вот рассказал. Другие не интересовались.

Я не служил в органах МВД, но в журналистских расследованиях доводилось участвовать. Если день смерти Силиньша и появление непрошенных гостей у палатки совпадали, то — это уже серьёзная зацепка.

От геологов мы возвращались на вахтовом автобусе. Лиепайчанин Володя Тихонов, крепкий мужчина лет тридцати пяти, с обветренным лицом и почерневшими от тяжёлой работы крупными руками, повернулся в мою сторону и тихо заговорил:

— В тот день я возвращался на этом же автобусе из Нижнеангарска. Погода была мрачная: пурга несусветная, снежные вихри застили свет фар. Водитель, почти касаясь носом ветрового стекла, то и дело тревожно повторял, что ничего не видит. Рядом со мной сидела Анита и, похоже, испытывала беспокойство — предчувствовала, что ли, что-то... Она тихо рассказывала мне, что зря Карлис пошёл на базу геологов, где летом он сцепился с хулиганами. Но тот упёрся: без бульдозера, мол, улицы посёлка не очистить. А там — брошенная машина, которую можно починить. И в поселковом совете его, мол, об этом просили... Я пытался ободрить Аниту, говорил, что, скорее всего, всякие предчувствия такие — из-за непогоды и опасной трассы. Машина буксовала на ледяных «блюдцах», и водитель, чертыхаясь, еле удерживал руль. Иногда колёса проходили по самому краю трассы, за которой начиналась пропасть, и Анита, бледнея, зажмурилась. Лишь когда замелькали огни посёлка, она облегчённо вздохнула...

Тихонов прервал рассказ, потянулся за сигаретами, но, осознав, что он в пассажирском салоне, передумал, тяжело вздохнул и сипло продолжил:

— Когда водитель притормозил в центре посёлка, кто-то резко распахнул дверцу автобуса. Я увидел бледное лицо моей жены Валентины. «Беда, Анита!» Силиния изменилась в лице, выдохнула: «Что случилось?» Но моя Валя не ответила — не в силах была слова выговорить. И Анита всё поняла — бросилась к дому, там уже собрались люди. Увидев её, молча расступились... Тут она и увидела лежащего на полу человека, накрытого покрывалом, и поняла: это Карлис, её муж. Стрельч пытался удержать её, но та оттолкнула его, упала на колени и сорвала покрывало. Ну и... перед глазами — обугленное и такое чужое тело... И попыталась сдержать крик, да не смогла. Потом потеряла сознание, а кто-то рядом проговорил, что нельзя ей волноваться, ведь в положении она... За доктором надо послать... Нот она скоро пришла в себя, взяла в ладони чёрную руку мужа. И больше уже не выпускала. Её хотели увести, но она отталкивала людей. Кто-то поднёс ей стакан воды... Ей вроде как не хватало воздуха...

Я слушал Владимира и вспоминал свой прошлый приезд — тогда Анита Силиния была славной, улыбчивой женщиной. А вчера я её с трудом узнал. Молчаливая, задумчивая, она опускала глаза и подолгу смотрела в пол... Горе её вроде бы утиhalo. Родился сын, которого она в честь отца назвала Карлисом, и вскоре уехала к матери в Латвию.

Но пробыла там недолго — её как магнитом тянуло в таёжный поселок. Мать уговаривала остаться: дочери Эдите скоро в школу. Но Анита вернулась на БАМ.

Она подняла потускневшие глаза и спросила:

— Что мне сыну сказать? Отец — пьяница?.. Сам себя сжёт?.. Я одна двух детей воспитываю, денежного пособия за смерть мужа не получаю. И всё же — плевать на деньги! Главное — его честное имя восстановить...

В поселковом совете меня встретили настороженно. Разговаривая с представителями местной власти, я улавливал их растерянность. У меня было достаточно информации, чтобы добиться правды. Но я понимал: здесь её не добьёшься — «честь конторы» для этих превыше всего. Да и дело следствию удалось преподнести так, как было удобнее власти. И Москва восприняла сообщение с БАМа как окончательную версию и не удосужилась перепроверить дело или хотя бы поручить это кому-либо сделать.

Я думал о тайнах человеческих судеб, о злом роке. Молодому парню, верившему в комсомол и честно выполнявшему его команды и оказавшемуся за десятки тысяч километров от дома, вот так найти свою смерть... И люди, управлявшие этими молодыми комсомольцами, вчерашними школьниками, творили свой суд, где такое понятие как справедливость они бесцеремонно бросали под новенькие шпалы магистрали. Москва приказала ускорить строительство БАМа! Стоит ли бравурное шествие из Сибири к берегам Тихого океана омрачать мелочными криминальными сообщениями!.. И БАМовскому руководству хорошо, и Москве удобно!..

Я был уверен, что вряд ли достучусь до ревнителей кремлёвского правосудия... Но есть мои зарубежные коллеги! Они и сейчас работают в пресс-поезде «Комсомольская правда». Им я выложу всё...

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ

Моя левая рука замерзала на льду. В схватке я потерял варежку, и сейчас почти не чувствовал пальцев. Я сдавил левой рукой волчий язык, и пространство между челюстями расширилось настолько, что смог засунуть туда онемевшие правые пальцы. Теперь обе руки покоились в пасти хищника. Он лишь вздрагивал и обволакивал мои руки теплой слюной. Я криво улыбнулся от мысли, что звериная пасть в таёжных условиях служила мне калорифером.

В который уж раз на моих жизненных срезах помогли боксёрские навыки!

Я мысленно благодарил тот дождливый осенний день 1955-го года, когда мальчишкой с волнением приоткрыл дверь боксёрского зала рижского спортивного общества «Спартак». В проём я увидел новый, доселе не известный мне мир: от мощных ударов стонали увесистые мешки, у стены, захлёбываясь, трещала пневматическая груша, свистяще разрезали воздух резиновые скакалки...

Я испуганно прикрыл дверь и в эту секунду получил мягкий пинок под зад. Резко обернулся и увидел озорные глаза крепкого стройного блондина.

— Подсматривать нельзя, — учительским тоном проговорил он.

— Я... я... — мои губы с трудом выговаривали слова. — Хочу записаться в секцию бокса...

— Интересная мысль, — съязвил незнакомец. — Что ж, не стесняйся — проходи в зал.

Сулейман Асанов был не только прекрасным боксёром, но и неплохим актёром. Теплым голосом и мягкими, ободряющими манерами он завлёл меня к рингу и официальным голосом возвестил:

— Товарищи боксёры, в нашем полку прибыло! — и, сдерживая смех, добавил: — Парень желает приобрести новую профессию. Придётся ему сдать экзамен на прочность...

Я ничего не понял, но на всякий случай кивнул. К моему несчастью, в этот день в зале не было тренера (об этом я узнал потом).

— Алик! — бросил Сулейман невысокому коренастому пареньку, очень похожему на мексиканца. — Отведи товарища в раздевалку..

Непослушными руками я стянул с себя одежду, остался в майке и сомнамбулически последовал за провожатым. И вот я — за канатами ринга, где Асанов старательно напяливает на мои худющие кисти боксёрские перчатки. Потом он вытолкнул меня на середину ринга, где с охотничьим блеском в глазах ждал боксёр-разрядник Алик Терентьев. Я растерянно топтался, пытаюсь осмыслить происходящее, но мощный удар в лоб вдруг превратил мои мысли в клубок, распутать который я уже был не в состоянии.

Перчатки мне явно мешали дать обидчику приличную оплеуху, и я решил, что надо врезать ему промеж глаз обычным манером. Я по-деревенски размахнулся, но тут же получил удар по печени — будто кто-то сунул туда пылающий окурок... От резкой боли я взвыл, метнулся к обидчику и успел укусить его за шею. Теперь уже остервенел Алик Терентьев и всадил в моё обмякшее тело серию. Почему-то сначала я считал удары, как будто это было важно. Потом в глазах помутнело, и от правого кулака «экзаменатора» я сложился пополам... И пришёл в себя уже на полу..

Мне любезно дали отдышаться, и вновь прозвучала смертельная команда «бокс». От безуспешных манипуляций кулаками я настолько устал, что готов был рухнуть на брезент и вцепиться в него зубами, лишь бы не стоять больше... Мой левый глаз заплыл, губы кровоточили, в правом боку горело... Откуда-то издалека донеслись слова моего спасителя:

— Сулейман, кончай спектакль. А то по пятёрке придётся сбрасываться на венок...

Спас меня тяжеловес Ваня Ульянов, восходящая звезда латвийского ринга того времени. Я на четвереньках выполз из-под канатов и упёрся лбом в зеркало. Все стены боксёского зала были в зеркалах. И я очень пожалел, что увидел своё отражение: лицо напоминало географическую карту с голубыми пятнами озёр и прожилками рек, пиками гор и желтизной пустыни...

Два новоиспечённых моих друга — спартаковцы Володя Гордин и Саша Гофрат — любезно погрузили меня в трамвай, старательно усадили, предупредив кондуктора, что я, мол, не пьян, а попросту случайно угодил под бульдозер, и вежливо попросили её на остановке «Станция Засулаукс» сообщить мне, что надо, дескать, сходить... Прощаясь, я услышал горячий шёпот: «Все мы через это прошли. Покажи характер, парень, и явись. Больше бить не будут».

Моё крещение на боксёрском ринге вызвало бурю восторга у друзей, испуг сестёр и задумчиво-сердитый взгляд матери, которая, тем не менее, не стала мне угрожать запретами.

Следующий день был, пожалуй, самым трудным за моё пятнадцатилетнее существование на этом свете. С большим трудом я переборол себя и приковывался в боксёрский зал. Тренер Фрицис Кирсис, прекраснейший педагог и великолепный человек, внимательно осмотрел мои садины, подбодрил меня тёплой улыбкой, укоризненно посмотрел на моих «экзаменаторов» и показал мне боксёрскую стойку. Асанов и Терентьев делали вид, что они ни при чём...

Так началась моя спортивная жизнь. А уже через год я, Ваня Ульянов и Алик Терентьев в литовском городе Паневежисе стали чемпионами Прибалтики по боксу среди юношей.

По-разному сложилась судьба тогдашних спартаковцев: Алика Терентьева зарезали в уличной драке, Сулейман Асанов погиб в автокатастрофе, многие оказались за тюремной решёткой, и лишь Ваня Ульянов успешно закончил Рижский политехнический институт и стал инженером. А мой первый тренер Фрицис Кирсис защитил диссертацию и возглавил спортивную кафедру Рижского медицинского института...

ТАЛИСМАН

Я тряхнул головой, пытаюсь отбросить воспоминания, и вскрикнул от боли — ледок успел прихватить мои волосы. Беды валились со всех сторон — даже природа становилась беспощадной. Я вытащил одну руку из тёплой пасти, выдрал волосы из ледяного «блюдца», с трудом нашупал шапку и напялил её на голову.

Рядом мерцали раскосые глаза. В них не было страха. Впрочем, и я в эту минуту ничуть не боялся хищника. Я разлепил промёрзшие губы и вслух сказал, обращаясь к самому себе:

— Итак, приятель, ты прилично влип. Смерть — в сантиметре от тебя. Дрогнут пальцы, выскользнет язык зверюги — тебе крышка. Зимой волки обычно охотятся стаями. Значит, помощники могут нагряться в любую минуту... Но что делать-то? Выход один: подниматься и шагать в обнимку с тушей килограммов под пятьдесят. Придется её волочь до ближайшего огонька... А где он, этот огоньк?!

Я с трудом поднялся на ноги и заковылял по тропе, волоча за собой волчье тело. Поначалу оно упиралось всеми четырьмя лапами, но я повернул язык на сто восемьдесят градусов, и зверь опрокинулся ногами вверх. Теперь ноша скользила и стало легче. Всё не так страшно, утешал я себя, вдвоём гулять по тайге даже весело!

Вдруг мне захотелось узнать, какого пола это мохнатое существо. Я вспомнил о фонарике, которым почти не пользовался — берёг батареи. Нашупав его в кармане, сдвинул кнопку включателя. Лучик света выхватил красноватые соски... Волчица!

Вылетая из Риги, я даже в кошмарном сне не мог предположить, что проведу ночь с волчицей. Я замер от удивления и внимательно смотрел в зеленоватые глаза пленницы... Передо мной вдруг всплыли другие глаза, огромные, тёмные, подёрнутые печалью. Глаза любимого человека...

Я увидел её на пляже в Булдури. Она медленно шла, поглядывая на белёсые гребешки волн, которые мягко накатывали на берег и чмокали песчаную кромку, оставляя водоросли. Девушка грациозно нагибалась, поднимала морское растение, внимательно разглядывала... Спина у нее была прямая, даже чуть выгнутая, как у гимнастки. А чтобы измерить талию, хватило бы, казалось, пятей обеих моих рук. Она светилась, как тонкая церковная свеча.

Фею звали Зинтой, и она занималась спортивными танцами, а такие понятия, как красота и стройность, были квинтэссенцией этого вида спорта.

Мы познакомились в июне, встречались не так часто, ибо репортёрские будни уносили меня в разные концы света, отодвигая личную жизнь на второй план. И каково было моё удивление, когда в зале аэровокзала в столь ранний час я вдруг увидел Зинту. В светлой дублёнке, она стояла чуть растерянная, а в её глазах — мешанина тревоги и надежды одновременно.

— Ты что здесь делаешь? — начал я с банальной фразы, настолько банальной, что самому стало стыдно.

— Решила тебя проводить, — смущённо улыбнулась она. — Дома сказали, что ты уезжаешь на БАМ... На твой тайный отъезд я среагировала по-бабски: в пять утра поймала такси, и вот я здесь...

— Ты сотворила подвиг! — сказал я, стараясь шутливой интонацией внушить самому себе беззаботность, подавить глухое волнение и мгновенно возникшее почему-то тревожное томление — словно предчувствие близкой беды.

В её глазах под густыми бровями вдруг и в самом деле обозначился испуг. Она опустила на скамейку. Длинные пальцы забегали по пуговицам дублёнки — суетливо и неловко, будто по чужой одежде.

— Значит, Сибирь, — не поднимая головы, тихо проговорила она. — Там, наверное, холодно... — В её глазах была уже самая настоящая боль.

От этого взгляда в моих коленях прошла мелкая противная дрожь. Не знаю почему, но горло сдавил страх, и в голове панически забилось: «Куда тебя несёт?! В прошлую поездку грузовик перевернулся, и ты чудом остался жив. Нельзя же всё время так играть с опасностью!»

Зинта положила мне на плечо руку.

— Я почему-то так боюсь в этот раз... Не знаю, что разбудило меня в три ночи. И странный какой-то голос... шептал об опасности... — У неё были испуганные глаза.

Тёплый край ладони коснулся моей шеи, и я почувствовал, как дрожат её пальцы, и эта дрожь передавалась мне.

— Всё будет нормально, — сказал я и взял её руку.

— Дай Бог! — она вдруг протянула мне медальон. — Пусть будет твоим ангелом-хранителем...

В эту минуту объявили посадку, я заспешил к выходу, оглядываясь и стараясь запомнить её бледное лицо.

ЛУП-ГАРУ

Сейчас в моей голове словно проявлялась плёнка, и на фоне хмурого ельника и застывших от холода звёзд всплыли глаза Зинты и тонкие губы, что-то шептавшие мне...

Я опустил голову и наткнулся на другие глаза, змеино-слезливые, смотрящие на меня отчуждённо. Внезапно по моему телу будто прошёл электрический разряд — на месте ли талисман?! Не потерял ли я дорогую мне вещь в схватке?!.. Забыв об опасности, выдернул одну руку из пасти и стал лихорадочно шарить под овчиной. Теплая волна прошла по телу, когда пальцы нащупали дар Зинты.

Тихое рычание вернуло меня к действительности, и я зашагал быстрее.

— Чёрт тебя дернул, зверюга, — бормотал я, — напасть на человека. Гуляла бы себе спокойно... А теперь, видишь, неудобства — и тебе, и мне...

Я остановился, перевёл дух и взглянул на пленницу.

Казалось, волчица слушала меня и пыталась осмыслить сказанное.

— Дурочка, — улыбнулся я, — можно было бы тебя отпустить, но ты ведь тут же перегрызёшь мне глотку!.. Впрочем, твой хахаль так и поступит, если обнаружит нас. А может, ты, на мое счастье, разведённая?..

Из прочитанного я пытался вспомнить, что происходит с волчьей парой, когда одна из особей пресыщается супружеской жизнью. Так же они разбегаются в разные стороны, как люди? На этот вопрос я не знал ответа, и на душе становилось мутрно от мысли, что вот-вот из-за игольчатой стены появится «ромео» с мощными клыками...

Я внимательно прошупал взглядом ельник. Вроде бы спокойно. Над зигзагом мохнатых вершин стояло морозное марево, сквозь которое пробивались крупные звёзды. А бледная луна навеивала такую тоску, что самому хотелось упасть на четвереньки и повыть на неё. И чтобы отвлечься от гнетущей картины сибирской морозной ночи, я решил опять поговорить с волчицей.

— Знаешь, подружка, — еле ворочал я полуонемевшими от холода губами, — с твоим «ромео», если он сунется сюда, я поступлю точно так же, как и с тобой. Я воткну ему в глотку кулак, потом перехвачу язык, и вы оба окажетесь моими пленниками... И будем существовать втрём. Как, например, изысканная француженка Полина Виардо, её муж и русский писатель Иван Тургенев...

От этого сравнения нервический смех вырвался из моей гортани — даже не смех, а какое-то кудахтанье. Потом я почувствовал комок в горле и прикусил губу — стыдно лить слёзы в присутствии волчицы. Как-никак — живой свидетель моей слабости.

Я остановился, вытянул из-под овчины правую ладонь, вытер слёзы и зло посмотрел на пленницу. В её глазах, казалось, появилось что-то похожее на сострадание. Я мысленно отсёк лохматое туловище, пасть и оставил только глаза... Поразительно! Они

ничем не отличались от человеческих. И тут в моей голове молнией пронеслась мысль: а что если эта волчица — оборотень?! Разве не этим объясняется её одинокое бродяжничество?..

Память немедленно вернула мне кадры из прошлогодней поездки на БАМ.

Иностранные журналисты, аккредитованные в СССР, рвались в Забайкалье, чтобы своими глазами увидеть, как прокладывается фантастическая магистраль сквозь тайгу и горные перевалы. Но чины, курировавшие стройку века, туда зарубежных корреспондентов не пускали. И всё же под давлением международной общественности и иностранной прессы в отделе пропаганды ЦК комсомола решили приоткрыть занавес загадочной таёжной эпопеи под коротким и многозначительным названием БАМ. В результате на Иркутской железной дороге появились свежевыкрашенные вагоны с броской надписью: «Пресс-поезд «Комсомольская правда», который курсировал по уже проложенному пути — от Нижнеангарска и до только что принятой в эксплуатацию станции Чара. Здесь, в комфортных условиях, и работали иностранные журналисты.

В прошлом году и я провёл в этом пресс-центре на колёсах несколько дней.

Состав медленно катился по новеньким рельсам. Вагоны сбивались с привычного ритма на свежих стыках, могучим грохотом отзывались заиндеветшие пролёты ново-рождённых мостов. В купейных вагонах работали журналисты из четырнадцати стран, и я был единственным советским корреспондентом. Удобства для нас были созданы идеальные — шеф-повар из московского ресторана «Прага» заботился о наших желудках, вертолётном доставлялась свежая пресса, а глава отдела пропаганды ЦК комсомола вежливо и настырно предлагал информацию, которая, на взгляд Москвы, «довольно точно» отражала дух и характер покорителей Сибири, хотя цензура жестоко вычёркивала из наших материалов любую правду о «стройке века».

Как-то в Северобайкальске в пресс-поезд подсел «легенда советской журналистики», как его тогда называли, Василий Песков. Я был с ним знаком со студенческой скамьи, когда по его книге «Шаги по росе» писал курсовую работу. Позже, добывая свой репортёрский хлеб, мы встречались то на Крайнем Севере, то в глубинке Урала, то на Камчатке или у живописных озёр Карелии — словом, едва ли не везде, куда забрасывала нас журналистская судьба.

На БАМ он приехал вместе с космонавтом, известным хоккеистом и прославленной певицей. Все они отсыпались после бурно проведённого накануне застолья в таёжном клубе, а мы с Василием сидели в вагоне-ресторане, пили кофе и обменивались информацией с собратьями по перу. Французский журналист выглянул в окно и воскликнул:

— Смотрите, господа!

На скале, в свете заходящего солнца, мы увидели волка, с любопытством смотревшего на наш поезд.

— В этих краях, — заметил Песков, — звери не пуганые. Пока обошла их человеческую жестокость. Вот и этот волк смотрит на нас миролюбиво.

— Это не волк, а луп-гару, — уверенно проговорил мсье Лорен и, поймав мой недоумённый взгляд, пояснил: — Так в нашей стране называют людей, которые превращаются в волков. Оборотни по-русски. Французы в оборотней верят с древности. По-моему, в шестнадцатом веке эта проблема была настолько актуальна для Франции, что парламент принял даже закон о повсеместном истреблении луп-гару, то есть оборотней... Вера в ликантропию у нас настолько сильна, что даже сегодня крестьяне в тёмное время боятся выходить из дому, дабы не встретить луп-гару.

— А в моей стране, — вмешался немецкий коллега Ганс Торец, — в декабре из уст бауэра клещами не вытянешь слово «волк». Он считает, что это слово провоцирует нападение на них оборотней. И сегодня это табу на роковое слово сохраняется.

— Вы, немцы, всегда были трусливы и беспомощны, — перебил его поляк Марек Валяцкий и ехидно улыбнулся.

Всё добродушие слетело с лица Ганса, он сидел, сжав зубы, а стиснутый до белизны кулак нервно постукивал по краю столика. Потом залился краской, и в его больших синеватых глазах засверкали злые искорки.

Обстановку разрядил Песков.

— Кстати, — заметил он, улыбаясь, — великий греческий историк Геродот писал об оборотнях, называя их неури. Он в своих работах утверждал, что подобные люди по несколько дней в году существовали в облике волка...

Я слушал коллег и вспомнил свои командировки в глухие российские места, где крестяне с наступлением темноты запирают окна и двери и накладывают на ставни охранные знаки. «Да, да, парень, — с полной серьёзностью заметил как-то один старичок, — без креста на ночь нельзя. Выложу крест — душа спокойна. Оборотень не появится, эт-т уж точно...Ведь он как? Днём — красавица или видный селянин, а ночью — бац! — волком обернётся и загрызёт любого, кто охранный знак не поставил...»

— Уважаемые коллеги, — продолжал мэтр журналистики, — я пару месяцев назад был в Старой Ладогe. На окраине этого древнего русского городка ведутся раскопки. Оттуда мне позвонил один знакомый археолог — приезжай, дескать, срочно, мы тут зверя нашли необычного. Меня, как ведущего на Центральном телевидении передачи о животных, конечно же, сообщение заинтересовало, и я помчался в этот городок. Там меня действительно ждала сенсационная находка — обезображенный человеческий скелет с неестественно вытянутым, почти собачьим черепом. Необычный труп был старательно завален огромными камнями, а между рёбер торчал окаменевший обломок осинового кола. Полюбоваться уникальной находкой приехали самые именитые учёные. Но ни один из них не смог внятно ответить на простой вопрос: человек это или волк? Один профессор-зоолог, смущаясь, констатировал, что странная находка относится к природе псовых с характерными волчьими чертами. «То есть — оборотень?» — поинтересовался я. «Вроде бы, — промямлил учёный муж. — Внешность подтверждает вашу мысль. Но всё же, чтобы окончательно ответить на этот вопрос, необходимы тщательные исследования». Словом, вопрос так и остался открытым. Мне не разрешили об этом рассказать телезрителям и в газету запретили писать...

КТО ТЫ, ПОДРУЖКА!

И вот сейчас, в безлюдной тайге, я вдруг точно, во всех деталях, вспомнил тот купейный разговор на волчью тему и стал прослеживать цепочку странных совпадений. Первая картина, запечатлившаяся в памяти моего раннего детства, — овчарка и важное замечание деда. Затем — приезд на БАМ и встреча со зверем из окна поезда. Потом — долгий разговор о волколаках. И вот теперь — встреча реальная... Очень хотелось проверить: что, моя пленница — действительно оборотень, луп-гару, неури или как там еще называют ту животину!

Я стал внимательно рассматривать морду, вспоминая слова Василия Пескова. Кажется, он говорил, что оборотня можно распознать по форме глаз, оскалу, манере бега... Но для этого надо быть хоть немного зоологом... Один факт очевиден: волчица — одиночка, оборотни — всегда одиночки... «Это вселяет надежду, — грустно усмехнулся я. — В любой момент она может приобрести человеческий облик и превратиться в смазливую женщину. Правда, этому перевоплощению может помешать сдавленный мною язык...»

Я остановился, потряс головой, чтобы избавиться от этого бреда.

— Ну, какой ты оборотень! — сплюнул я. — Обычная хищница!.. Но как было бы здорово, если бы ты на самом деле превратилась в симпатичную даму и вывела меня к человеческому жилью...

Похоже, я и вправду сходил с ума в этой глухомани...

Ладонь, в которой покоился звериный язык, почти онемела. Я остановился, отдышался и с предельной осторожностью поменял руки. В голову пришли лермонтовские

строчки: «... и в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть своё оружие...» Я стал шарить глазами в поисках сука или чего-нибудь подобного. Но видел лишь чистую искристо-вафельную колею, снежные сугробы и тревожные глаза пленницы.

— В твою глотку воткнуть нечего, — вздохнул я. — Придётся волочь тебя дальше... Или самому перегрызть тебе горло?..

Тут же я подумал о своих растерянных на рингах зубах, о шатком протезе с коронками, которым, конечно же, не перекусить даже заячью шкуру..

Бред бредом, но мысль о том, что моя пленница могла быть оборотнем, становилась навязчивой. Ну ведь факт же, что обычно волки зимой охотятся стаями, редко промышляют парой! А тут — волчица-одиночка!.. Опять в моём затылке застучали болезненные молоточки, а по спине пробежали холодные мурашки. Я остановился и уставился на волчью морду.. Да, её глаза очень похожи на человеческие — зеленоватые с настороженными зрачками. Я был уверен, что не один раз видел похожие глаза у людей.

— Кто ты, подружка?! — вскрикнул я. — Человек-волк? Или по-научному вас, сударыня, называют волколаками... На всякий случай поставлю охранный знак, как немецкие бауэры или французские крестьяне.

Я растерянно топтался, пытаясь представить, каким бы мог быть подобный знак, но кроме креста ничего на ум не шло. На всякий случай перекрестился и провёл пальцем крест на лбу волчицы. И мне показалось, что зрачки её дрогнули и беспокойно задвигались.

— Оборотень ты, оборотень! — победно заключил я. — Значит, можешь в любую секунду принять облик красавицы! Впрочем, пока у тебя сдавлен язык, ты вряд ли перевоплотишься... Конечно же, с натуральной дамой куда приятнее гулять в тайге, чем с вонючей псиной!

Я распинался вслух, отчего сам пугался всё больше, — я превращался в полудикого крестьянина, для которого научно-технический прогресс завершался телевизором.

Лес расступился, и колея пошла в гору. Теперь мириады звёзд и луна искорками отсвечивали на затянутых инеем кронах редких елей. Природа стыла, замороженная лютотой стужей.

Я почувствовал себя маленьким, потерянным в грозном таёжном безмолвии. Пространство и время смешались, подчёркивая мою ничтожность в этих нескончаемых просторах горного края.

В тот час я впервые пожалел, что поехал на БАМ. Забайкальские хребты уже казались мне совершенно негостеприимными, даже жестокими, а трудности, поджидавшие впереди, — непреодолимыми. Проклиная тягу к репортёрской романтике и собственную глупость, я с трудом карабкался по ледово-вафельной тропе. И ночь, звёздно-холодная, скручивала меня ледяными путами, как живое враждебное существо. Я замерзал, и лишь тепло, излучаемое моим врагом, пока как-то согревало меня. И круче становился подъём, тем заметнее слабели ноги, и мне уже казалось, что проще умереть здесь, на этом горном склоне, чем двигаться дальше — неизвестно куда.

— Ноги отваливаются, — пролепетал я непослушным языком, чувствуя, как страх постепенно переходит в парализующий ужас. — Отдаю Богу душу..

Неодолимая сила рванула меня вниз, ноги подкосились, небо опрокинулось, мир начал бешено вращаться. Не получалось даже вздохнуть, я ослеп и оглох и летел куда-то. Последней мыслью было: лишь бы не выпустить волчий язык... Затем — красное, чёрное, зелёное в глазах..

Когда темнота раздвинулась, я вдруг ясно и чётко увидел лицо Зинты, её огромные темные с искринками глаза и губы, отчётливо произносившие: «Грей руки талисмана. Он спасёт тебя... До встречи, милый...»

Непослушными пальцами я стал шарить под свитером, нашупал медальон, сжал его и — будто зачерпнул волшебной силы... Пелена рассеялась, я увидел звёзды — лохматые, яркие. Однако мир вокруг ещё не обрёл четкости, в ушах звенело, к горлу подсту-

пала тошнота. Ну, это мелочи — с ними справлюсь. Глубокий вдох, как при нокдауне, задержка дыхания, выдох — и вот уже лучше. Подтверждение тому — хрип живого существа совсем рядом.

Пока я лежал, лицо моё покрылось инеем. Мелькнуло: засунуть бы голову в тёплую волчью пасть и согреться. Пальцами я соскрёб со звериного языка слюну и этой слизью протёр лицо. Потом вспомнил о плоской фляжке, которую неизменно брал с собой, отправляясь в суровые края. Зубами отвинтил крышку, хлебнул глоток, и приятное тепло разлилось по телу.

А что, если влить остаток коньяка в пасть волчицы? Эта мысль заставила меня остановиться. Кто знает, какой фортель выкинет опьяневшее животное... Нет, нельзя рисковать! Да и коньяка жалко — совсем мало осталось, не до экспериментов...

Мозг конструировал варианты избавления от нечаянного одушевлённого груза. Я вспомнил рассказ одного зека, которому на тюремных нарах вышиб глаз маленький старичок-рецидивист. Боль была такая, что он залился звериным воплем, забыв об обидчике.

Я зубами содрал варежку, залез в карман и нащупал перочинный ножик, зубами оттянул лезвие. В свете луны оно блестело, вливая в моё усталое тело надежду.. Я сжал рукоятку, развернул волчью морду и увидел глаза. Нет, они не молили о пощаде, они смотрели на меня... — так, наверно, смотрят святые с древних икон... Я занёс лезвие над головой, но оно повисло в воздухе, заморозилось вместе с окоченевшими пальцами... Я поймал себя на мысли, что не могу воткнуть металл в живой, хоть и звериный, глаз. И в то же время я знал, что волчица меня не пощадит, выпусти я её язык. Неужели я стал таким идиотом, что жалею врага накануне собственной смерти?! Всё же наоборот: человек перед гибелью проявляет чудеса находчивости, чтобы поразить врага. Любым способом... Появилась реальная возможность спасти себя, выколов волчице глаза, а я так мягкотел! Выходит, я отказываюсь от решительного шага, предпочитая собственную смерть...

Мысли свои я выражал вслух и чувствовал, что волчица внимательно слушает меня — это было заметно по её глазам. Безразличие в зверином взгляде исчезло — появилось что-то похожее на признательность, что ли... Я захохотал, потом заплакал, опустил ножик в карман и опять сунул в пасть замёрзшую руку. Я плакал, проклиная своё бессилие. А ведь на ринге проявлял жёсткость, нещадно колотил соперника, вкладывая в каждый удар беспощадное желание сокрушить и, чтобы не остыть, злость. А тут, перед лицом смерти, дрогнул, как сосунок, трусливо отступил... Боже, в кого я превратился...

Эти метаморфозы во мне настолько меня поразили, что я упал на колени, потом опустил голову, прижался лицом к тёплому мохнатому телу, как когда-то в детстве прижимался к заботливым материнским рукам, и лежал долго, ошарашенный этой переменной в себе.

Волчица, словно понимая меня, не шевелилась — она как бы позволяла человеку хоть на миг сомкнуть глаза. И уже звёзды стали меняться местами, и я провалился в сон... В забытьё усталый мозг беззвучно шептал лишь одно: «Не выпускай язык!» И где-то в неведомых извилинах обозначалось смутно: «Почему она ничего не предпринимает для своего освобождения? Или это лишь маневр?»... И тогда каким-то сверхусилием я заставил себя подняться. И в ту же секунду впереди, где-то внизу, мелькнул лучик света. Я не верил своим глазам, всматриваясь в темноту. Два желтых пятна то пропадали, то опять появлялись... Реальность или галлюцинация?.. Я протёр глаз — лучик покачивался и увеличивался... Казалось, я уже не существовал, и этот свет проходил сквозь меня, не встречая сопротивления. Мною овладело чувство полной отстранённости от того, что происходило там, вдалеке. Я верил и не верил случаю. Из оцепенения меня вывел тихий стон. Я посмотрел на волчицу и понял: это предсмертный стон. Глаза зверя превратились в щели, волчица дрожала. Мгновенно до меня дошло: люди, которые

едут сюда, наверняка убьют её!.. Решение пришло немедленно — его мне определённо подсказал сам Бог. Я расцепил пальцы и освободил язык. Глаза волчицы расширились... Она вяло пыталась встать на ноги, падала, снова поднималась.

— Беги, подружка, — хрипел я, — спасайся! Они тебя пристрелят..

Забыв об опасности, об инстинкте хищника, потеряв всякий контроль над собой, я стал подталкивать обессиленное тело к склону горы. Потом резко столкнулся по крутому спуску. Волчица, совершив несколько кульбитов, вдруг вскочила на ноги, словно вдохнула целебный нектар. Сделав пару нерешительных прыжков, она остановилась и долго смотрела в мою сторону. Потом пошла...

И я с непонятным чувством смотрел вслед уходящей в темноту хищнице, с которой провёл ночь в морозной таёжной глухомани. Из этой рассеянности меня вывел длинный гудок вездехода.

ОТ АВТОРА

К этой документальной повести я вернулся четверть века спустя — она написана в 1980 году. Тогда представители цензуры и партийные боссы посоветовали мне сжечь рукопись. Более того, взяли с меня подписку о неразглашении всего негативного, что я видел на строительстве Байкало-Амурской магистрали. «В твоей книге, — гневался чин из ЦК, — волки бросаются на людей, комсомольцы не умеют управлять транспортом, кого-то убивают, а поселковый Совет это скрывает! Твоя повесть всех строителей распугает! А мне новые молодёжные отряды формировать надо... Или вычёркивай негатив, или визу на издание книги не получишь...»

Олег МИХАЛЕВИЧ (Рига, Латвия)

БОМБА

Рассказ

— Не клюёт, проклятая!
Отложив спиннинг, Турунов подошёл к раскладному походному столику, возле которого примостились шеф крупной московской газеты Сергей Степняков и известный финансист Витя Граков, ради которого, собственно, и была затеяна рыбалка. Ещё один член их компании, Вова Симов, главный редактор степняковской газеты, возился у самой воды с аквалангом, на котором красовалась нанесённая краской подпись самого Жака Ива Кусто. Всем им было под сорок, все имели чуть поплывшие фигуры бывших спортсменов, и каждый успел кое-чего достигнуть в жизни. Хотя и в разной степени.

— Тост имею, мужики! — зычно сказал Турунов и взял наполненный водкой стакан. Двое местных, караулящих бесполезные удилища, сразу повернулись на зов, полагая, что под определение «мужики» они точно подходят. Один из них, сухонький бодрячок шестидесяти пяти лет от роду, приходился Гракову родственником, кем-то вроде двоюродного дяди, о котором Витя вспомнил, едва речь зашла о рыбалке, и предложенное им место было тут же безоговорочно принято, хотя и пришлось затем гнать сюда на двух машинах целых три часа. Но цель оправдывала средства.

Родственник Гракова и его пятидесятилетний напарник Петя, не заставляя себя просить дважды, мигом оказались у стола, и даже Симов, бросив акваланг, переместился поближе. Все они с чрезвычайным вниманием уставились на Турунова, и он вдруг понял, что задуманный им довольно-таки витееватый тост о женщинах вряд ли будет понят всеми в достаточной степени, а потому и не совсем уместен, и ему захотелось сказать нечто более значительное. Выдержав паузу, он широким жестом повел рукой со стаканом вокруг себя и постарался вложить в голос как можно больше душевности:

— Друзья! Главное на рыбалке — не то, сколько рыбы удастся выудить из воды. Хотя она, скажем прямо, не помешала бы. И не то, в какой компании ты на эту рыбалку отправился. И даже не то, куда ты приехал. Главное — во всём вместе взятом. И когда такая компания, как наша, приезжает в такое место — а я хочу отдельно сказать за это огромное спасибо нашему Вите — то она, компания, просто обязана выпить за поразительную красоту русской природы!

И «мужики», дружно крякнув, быстро опорожнили тяжёлые круглые стаканы, сконструированные для питья виски так, чтобы толстое стекло подольше удерживало температуру охлаждённого льдом напитка; но и водка, кристально прозрачный краснонаклеичный «Smirnoff», пила из них неплохо, о чём красноречиво свидетельствовали уже две порожние бутылки, составленные под столом. Пили все одно, а вот закусывали по индивидуальному плану: кто задумчиво прожёвывал бутерброд с красной икрой, кто изящным движением отправлял в недра желудка самососкальзывающий огур-

Олег Михалевич (1951, Рига). Работал штурманом дальнего плавания, журналистом, редактором литературного журнала «Родник», был издателем ряда газет и журналов. Возглавляет латвийское книжное издательство «Континент» и является генеральным секретарём Международной ассоциации писателей и публицистов. Автор книги «Шанс» и многочисленных публикаций стихов, рассказов и публицистических работ в различных сборниках, журналах и газетах. Живёт в Риге.

чик, кто вгрызлся в увесистый бочок копчёной курицы... Витя Граков ловко выловил в пол-литровой банке последний маринованный шампиньон, мгновенно втянул его в себя и сожалеюще чмокнул:

— Хороший тост. Оторвались мы от природы. А красотища-то вокруг — ох, загля-день!

И все тотчас, словно только теперь осознав до конца значение тоста, с восхищённым видом оглянулись вокруг. Да и посмотреть, надо сказать, было на что.

Речка, да скорей речушка просто, метров десять всей ширины-то, а вода в самом глубоком месте не поднималась выше пояса, неспешно струилась между убегающих вдаль холмов. Редкий вблизи, залитый солнцем лиственный лес сливался на горизонте в сплошную синюю полосу. На ближних подступах к невидимой с этой точки деревни хорошо различались заросшие высокой травой проплешины полей, тонкой змейкой сбегала с них почти к самому месту рыбалки просёлочная дорога, на обочине которой пристроились чёрный шестисотый «мерседес» Гракова и серебристый BMW-530 Степнякова. Но запах нагретого металла и бензина плотно перекрывался терпким настоем свежескошенной травы. Тишину нарушали только стрекот кузнечиков и неутомимое вжик-вжик — на ближней поляне, совсем рядом, не переключаясь и не поднимая голов, неутомимо косили траву шесть плотно сбитых баб в пёстрых ситцевых платках.

Вжик-вжик.

Степнякову было скучно. Водку он не пил, так как сегодня ему еще предстояло везти назад в Москву всю компанию за исключением Гракова — тот никуда не спешил и собирался остаться до утра у своего родственника, чтобы вспомнить годы молодые и хорошенько отоспаться на сеновале, — а пиво успело основательно нагреться и превратилось в противную, лишённую признаков пены бурду, которую он брезгливо подносил ко рту, трогал кончиками губ и отодвигал обратно. Перед поездкой он надеялся, что клёв будет хороший и можно будет властью поколдовать над костерком, блеснуть кулинарным мастерством, а уж затем под ушницу, под запечённого в фольге окунька или шучку исподволь подвести дело к разговору о финансировании газеты.

Однако пока всё было не так, рыба не шла, мужики в азарт не входили, и начинать запланированный разговор не стоило — такие вещи он чувствовал тонко. И сейчас ему было просто скучно.

— Хоть бы шашки у вас были, — скрыв рукой зевок, сказал он.

— О, блин! — оживился вдруг родственник Гракова. — Точно! Есть у меня одна шашка! Дома припрятана.

— Да что толку — с одной?

— Как что?! Рванём — вся рыба наша!

От внезапного возбуждения Витя Граков вскочил на ноги и оглушительно захохотал.

— Каков дядя Миша, а? Граковская порода! Шашка — так тротиловая! — он победно оглядел оживившуюся компанию. — Ну, теперь дело будет! В деревне, говоришь, дядя Миш? Давай, сгоняем.

Когда они вернулись назад, вся компания в нетерпении прогуливалась по берегу, обсуждая предстоящее развлечение. Граков сам примотал синей изолентой отрезок бикфордова шнура к тротиловой шашке, поджёг шнур, размахнувшись, швырнул заряд на середину речки и ничком нырнул за толстый ствол ближайшей берёзы. Остальные уже осторожно выглядывали из-за схожих укрытий.

Полминуты прошло в напряжённом молчании, прерываемом лишь работой бабьих кос.

Вжик-вжик, вжик-вжик.

Потом над водой взметнулся небольшой фонтанчик, раздался негромкий хлопок, и вновь все стихло. Только вжик-вжик, вжик-вжик.

Выждав, рыболовы выбрались из укрытий, подошли к воде и стали напряжённо всматриваться в поверхность. Прошло несколько минут. Ни одна рыба не всплыла.

— Слабовата шашка, — заметил Турунов. — Только пукнула. Ладно, чёрт с ней, давайте лучше ещё по рюмахе.

На этот раз выпили без тостов, разочарование переросло в неловкость, натянутость. Да и закуска подходила к концу — надеясь на рыбу, её хорошенько не рассчитали. Впору было сматывать удочки.

— У меня покрепче есть, — внезапно подал голос молчавший до сих пор и неясно с какой целью взятый сюда Петя.

— Самогонка, что ли? — хмыкнул Вова Симов. Выпил он заметно меньше других, так как не меньше часа провёл под водой, пытаясь разглядеть что-либо на илистом дне, заигрывание с Граковым ему не нравилось, но надо было терпеть, и он тоже начал скушать. Возможность врезать покрепче, чтобы день не прошёл совсем уже зря, и заодно посмотреть поближе, что за гусь этот Граков, его немного оживила.

— Зачем самогонка? — Петя неторопливо обсосал последнее куриное крылышко и обтёр пальцы о пучок травы, не обращая внимания на толстую пачку красных бумажных салфеток. — Бомба.

— Что ещё за бомба? — не понял Симов, предполагая нарваться на очередной эфемизм. Если для местных «шашка» — это просто тротильный заряд, то «бомбой» вполне может оказаться какая-нибудь горячительная смесь, покруче самогонки.

— Обыкновенно, какая. Самолётная. На огороде в позапрошлом году нашёл, схоронил на всякий случай. Рванём, може?

— Конечно, рванём! — Граков и сам ощущал некую ответственность за выбранное им место, прямо сказать, не самое удачное. А неудач он не любил. Зато любил говорить, что из любого поражения надо уметь выклевывать зёрна победы (сам, кстати сказать, применял эту формулу давно и удачно), и теперь вновь оживился. — Где она у тебя? Давай, Серёга, сгоняем.

— Ну уж нет! — Степняков протестующе поднял вверх сразу обе руки. — Тут я пас. Вы что, ребята, не хватало ещё бомбы в машине возить. Давайте искупаемся лучше.

— К чёрту! Сам повезу! Кто со мной?

Упрямо набычившись, Граков, не оглядываясь, двинул к своему «мерседесу», за ним послушно засеменил Петя, а секундой позже, с виноватой улыбкой бросив, что надо малость подсобить племяншу, к машине поспешил и дядя Миша. Нетерпеливо рыкнув, «мерседес» взметнул из-под колёс облако пыли и быстро запетлял по ухабистой дороге.

— Охота пуще неволи, — Турунов проводил взглядом скрывающуюся за поворотом машину и, шурясь от солнца, повернулся в другую сторону. — А эти-то, эти, гляньте, как пашут!

Мужчины заворуженно уставились на косарей. Вжик-вжик. Платки скрывали лица баб так, что определить их возраст было невозможно, и только фигуры говорили о том, что их обладательницы далеко не девчонки. Платья их взмокли, плотно облепив крупные, плавно покачивающиеся в такт движениям груди, могучие ягодички, широкие, не женской силой налитые плечи. Вжик-вжик. Неспешно размашистые, но и не останавливаемые ничем движения. Казалось, окажись на их дороге лес, с той же неодолимой силой снесут женские косы, как траву, стволы берёз, всё, что окажется на пути. А когда закончат они свой труд и, стянув пропахшие потом платья, войдут в реку, та, ожегшись о раскалённые тела, зашипит, выйдет из берегов...

Вскоре на дороге показался «мерседес». На этот раз он едва полз, тщательно обходя ямы на дороге, мягко переваливаясь через ухабы.

— Везут! — вдруг пересохшими губами прошептал Турунов.

Никто и не заметил, в какой момент остановился могучий автомобиль — настолько плавным и осторожным было его торможение. И только когда опустилось стекло со

стороны водителя и Граков хриплым голосом позвал на помощь, все кинулись к медленно открывающейся дверце. На заднем, пахнувшем дорогой кожей диване сидели красные от напряжения Петя с дядей Мишей и, как ребёнка-переростка, плотно прижимали словно впечатанный в их животы свёрток, завёрнутый в байковое одеяло. Турунов и Степняков осторожно подхватили увесистую, килограммов на сорок, ношу, перенесли поближе к речке, развернули и усталились на чёрную стальную капсулу с мягким стабилизатором. На корпусе неразборчиво проступали готические буквы.

— Вот это штука! — то ли с восхищением, то ли с осуждением сказал Степняков и подумал, что рыбалку и впрямь ещё можно спасти. — Дальше-то что делать будем?

Граков показал на участок пообрывистей и предложил:

— Отсюда бросим!

Турунов вернулся к бомбе и на миг остолбенел. Петя пристроился над бомбой, зажав её между коленей и налегая плечом на рукоятку ручной дрели. Сверло упорно соскальзывало с круглой поверхности, но Петя не сдавался.

— Т-ты, ты что?!

— Да я дырочку просверлю, будет куда шнур вставить, — невозмутимо ответил Петя, продолжая работу. Сверло царапало корпус, искрило.

— Прекрати немедленно!

Турунов с трудом оттащил Петю от бомбы и вытер вспотевший лоб. Ох уж эта деревенщина! Припомнив навыки сапёрной работы двадцатилетней давности, он взялся за бомбу сам. Когда минут через пятнадцать работа была закончена, от хмеля, похоже, не осталось и следа.

Подняв снаряжённую бомбу на руки, Турунов вместе с Граковым подошли к намеченному месту у обрыва и опустили её на берег. Турунов достал зажигалку и огляделся. Остальная компания столпилась всего в двух метрах, у самой воды. Во всём этом была какая-то неправильность.

— Э, нет, мужики, — сказал он, — так не пойдёт. Спрячьтесь где-нибудь. А то ж, неровён час...

Он шёлкнул зажигалкой, и огонёк, слегка зашипев, побежал по бикфордовой дорожке к бомбе. Подхватив её тулово с двух сторон, они с Граковым дважды качнули бомбу и изо всех сил метнули в воду. Пролетев метра три, она бултыхнулась, подняла фонтан брызг, и Турунов, истошно заорав «Ложись!», рванул за руку Гракова, отбежал на несколько шагов к деревьям и, прикрыв голову руками, упал. Но ничего не происходило.

Подумав, что бомба вновь, как и полсотни лет назад, не сработала, он поднял голову и в тот же миг увидел, как над речкой взмывает огромный водяной смерч. Словно могучий гром пророкотал на небе и тугая волна ударила по ушам. Вслед за смерчем зелёным облаком взлетели сорванные с деревьев листья. С гулким шумом, ухнув, обрушилось рядом что-то тяжёлое, накрыв Турунова зелёной пеленой.

Когда он, царапаясь об острые сучки, выбрался из-под кучи облепивших его ветвей, вновь мирно светило солнце. Вокруг было пусто, и ни один звук не нарушал мертвящую тишину. Сердце Турунова наполнилось ужасом. С мгновенным прозрением он понял, что жизнь его уже никогда больше не будет такой, как прежде. Его, как человека с явно выраженными восточными чертами лица, и без того за три-четыре последних года добрый десяток раз укладывали на асфальт или прижимали к стене с поднятыми руками доблестные московские милиционеры, или ОМОН, или камуфляжные формирования с малопонятными названиями, подолгу изучали документы, перепроверяли и втихомолку, а иногда и не очень, выражали изумление по поводу того, что узкоглазые ещё доверяют такие ответственные посты в уважаемой газете. Легко предположить, что будет, когда выяснится, что из всей компании остался один он, бывший сапёр... И мысль эта пришла к Турунову даже раньше, чем чувство скорби по старинному другу Сергею

Степнякову, блестящему журналисту Симову, ко всем остальным, так нелепо оказавшимся вместе в ненужном месте и в ненужное время.

Ему остро захотелось выпить. Он повернулся к столику, но его даже не было видно, не говоря уже о стоявшей на нём посуде. БМВ, повернутый к реке носом, устоял, а огромный «мерседес» опрокинуло на бок. В остальном пейзаж был вполне мирным, и Турунов услышал, как где-то позади запела, зачирикала что-то привычное первая птица. Он повернулся, чтобы её увидеть, и заметил, как зашевелилась густо осыпанная листьями земля среди сразу поредевших деревьев, вздыбилась резко и, отряхивая прилипшие листья, на свет Божий явился закадычный друг Степняков.

На призыв первой птицы откликнулись две другие, и тотчас, в унисон с ними, из-за ближних берёз показались Граков, левую щеку которого пересекала длинная царапина, и его родственник дядя Миша. Пропела своё «ку-ку» кукушка, и к компании присоединился потрясённо улыбающийся Симов. Он смотрел не на Турунова, но куда-то вбок, мимо левого плеча. Не было только Пети, владельца бомбы. Но, кроме Турунова, никто пока не обратил на это внимания, и вся компания вслед за Граковым рванулась к воде.

Речка изменилась. Водяной столб, взметнувшись, осел широким радиусом, и теперь вода сбегала с отлогого берега обратно мутными ручейками. По поверхности кружили обломанные ветки, листья. Вода перемешалась с медленно оседающим илом, и речка больше напоминала сточную канаву. По поверхности плыли несколько целлофановых пакетов, невесть откуда взявшаяся бутылка из-под шампанского.

— А рыба, рыба-то куда делась? — возбуждение Гракова ещё не прошло, и он пока не замечал ни царапины, ни случившегося с «мерседесом».

— Да её и не было тут, — неожиданно для всех сказал Симов.

— То есть как это?

Граков уставился на главного редактора так, словно это он был виновником всех, пока еще не прояснённых, бед. И Симов, усугубляя ситуацию, виновато улыбнулся:

— Да так. Я в воде час пролежал — ни одна мимо не проплыла.

— Точно! — вспомнил вдруг дядя Миша. — Нет тут рыбы. Раньше была, а как в верховьях спиртозавод поставили — все, звиздец ей пришел. Да я ж, Витёк, писал тебе про то, ещё в прошлом году. Думал, ты начальник большой, порядок наведёшь.

— Писал, говоришь? А Петя? Петя где? — побледнев от нехорошего предчувствия, Граков повернулся и увидел свой автомобиль. Откуда-то сбоку, перекидывая что-то с руки на руку, шёл Петя. Турунов облегчённо вздохнул. Петя поднял ладонь, показал лежащий на ней кусок зазубренного металла и сказал:

— Горячий ещё. Вот это рвануло, мля, а! —

Турунов подумал, что Граков сейчас ударит неказистого мужичка, и шагнул вперёд, чтобы оттеснить Петю от греха подальше, но вдруг понял, что не хватает ещё чего-то. Ощутили это и другие. Не все звуки вернулись к жизни.

Мужики повернулись в сторону косовища и увидели, что бабы-косари стоят, застыв, как грубо вытесанные из большого камня статуи, и смотрят в их сторону. Но не на них, а выше, вверх, в безоблачное небо, так внезапно прокатившееся громом и порывом ветра, взметнувшим только что скошенную траву. Ничего, однако, больше не происходило. И бабы-статуи, словно повинувшись единой, неслышной отсюда команде, ожили. Медленно повернулись к мужикам в профиль. Взмахнули косами. И природа наполнилась привычным.

Вжик-вжик.

Александр КАЗАКОВ (Псков, Россия)

НЕВЕЗУХА

Рассказ

Гоше Чудакову в жизни не везло. Правда, так только он считал; все же прочие жители небольшого райцентра, в котором с момента рождения и почти всю свою сознательную жизнь прожил Гоша, были просто убеждены в том, что он, как в народе говорят, родился в рубашке, а во всех своих жизненных неудачах виноват исключительно сам.

И то сказать: из Афганистана Гоша вернулся живой и невредимый, без единой царапины, — хотя, по его рассказам, иногда в такие передраги попадал, что куда там героям киношных боевиков! Может, Гоша, конечно, и привирал, — что при его говорливости, особенно когда он лишку выпьет, и неудивительно, — но, с другой стороны, все по телевизору видели, и не раз, что там творилось... Да и две медали — «За отвагу» и «За боевые заслуги» — никто ему, Гоше, за просто так, за красивые глаза, на грудь не повесил бы.

Или взять, к примеру, случай, когда Гоша на своём «запорожце» прямо с моста, метров эдак с восьми, в реку нырнул. Лёд, правду сказать, тогда, в начале декабря, ещё слабый был, так что машина его пробила запросто. Пробила — да тут же под воду и ушла, поскольку стёкла в её дверях Гоша, несмотря на мороз, зачем-то опустил; наверно, побыстрее протрезвиться таким образом хотел, на сквознячке-то, а может, и по какой другой причине. Да разве у пьяного спросишь?

Ну, как только машина под воду ушла — тут и началось! Бабы, кто трюк этот Гошин видел, завизжали, закричали: дескать, люди добрые, спасайте — Гошка тонет! А заодно и судачить принялись: и что ж это, мол, за зима такая проклятая выдалась? То возле Сокольского рыбак какой-то приезжий в озере утонул, то где-то возле Быковки машина с мужиками, что тоже на рыбалку приехали, под лёд провалилась... Мужики-то, правда, выплыли, а машина-то — того; тю-тю, словом; и как они её доставать будут? А теперь — гляньте, люди добрые! — и Гоша туда же!

Но пока народ к мосту сбегался, да к полынье, что в том месте, где «запорожец» под лёд ушёл, с опаской подбирался (а как без опаски, если Гоша аккурат посреди реки умудрился угодить?), минут, наверное, пять прошло. Думали, всё — каюк Гоше: кто ж столько под водой без воздуха выдержит? И только, было, мужики, кто посмелее, к полынье подобралась, как Гоша и вынырнул: открытым ртом воздух хватает, хрипит, а глазами своими вытаращенными на людей уставился — да ещё удивлённо так: дескать, чего это вы тут собрались-то? По какому такому поводу? Случилось чего али как?..

Мужики ему: плыви, мол, сюда, придурок! Поможем, мол, на лёд вылезти... А Гоша головой мотает и хрипит: не-е, дескать, не могу! У меня там, в машине, бутылка осталась... И вроде как опять нырнуть норовит. А глубина там, на середине реки, метра три, если не больше. Мужики на Гошу — матюгами: ты что, мол, совсем сбрендил?! Хорошо ещё, что Васька Слепнёв к тому времени багор с пожарного щита, что у самого бе-

Александр Петрович Казаков (1954, Смоленск). Окончил дирижёрско-хоровое отделение Псковского культурно-просветительского училища и исторический факультет Псковского государственного института. Работал в учреждениях культуры Новгородской области и Пскова. Член Союза писателей России. Стихи и рассказы неоднократно печатались в псковских альманахах и сборниках, в журналах «Всерусский Соборь», «Север», «Сибирские огни» и др. Живет в Пскове.

рега, на спортивной школе, висел, успел притащить. Ну, мужики тем багром Гошу за мокрую телогрейку и зацепили. И на лёд выволокли, да ещё и пендалей едва ни надавали. А то бы он, как пить дать, за бугылкой нырнул...

А в другой год, тоже где-то в начале зимы, Гоша подрядился крышу на школе-интернате шифером крыть. Здание школы — старое, сразу после войны построенное, и хотя и всего-то двухэтажное, но высокое, так что от края крыши до земли-матушки путь неблизкий. Как уж там Гоша, который, как обычно, для храбрости слегка «на грудь» принял, на крыше оскользнулся, непонятно, однако он сначала от самого «конька» до края крыши на заднем месте проехал, а потом и в свободный полёт плавно перешёл. Как лыжник с трамплина. Но и тут Гоше повезло: как раз в том месте, куда он приземлиться должен был, дня за три до этого уголь разгрузили — поближе к котельной. Кучу эту за ночь слегка снежком припорошило; кто не знал, что это уголь, точно бы подумал — сугроб. Ну, и Гоша, видно, так думал, пока вниз планировал, матерясь на весь Медянск. А это и не сугроб вовсе оказался...

Но и тут Гоше повезло: приземлился он всё равно удачно — ни единой царапины! Хотя нет; царапины всё же были: руки Гоша об уголь немного ободрал. Но и всего лишь: нишибов тебе, ни переломов. Руки, ноги, рёбра — всё целым осталось!

А он после всех этих своих приключений — опять своё: вот, дескать, невезуха! Ну что ты будешь делать?!

Вот дурак-то...

— Ты б женился, сынок, что ль... — жалостливо глядя на сына, вздыхала Гошина мать, Зинаида Петровна. — Глядишь, и ума бы поднабрался. Может, и невезуха бы твоя кончилась...

Гоша в ответ только хмурился, но матери не перечил: он ей сроду не перечил — ни в детстве, ни когда уже взрослым мужчиной стал. Даже когда крепко выпивши бывал, и то слова поперёк матери не осмеливался говорить: один он у неё был, единственный, и она у него — одна...

И, видно, правду в народе говорят: капля камень точит. Вот так и Зинаида Петровна: капала, капала Гоше на мозги — до тех пор, пока он и сам ни стал над этим делом — женитьбой то есть — задумываться.

И вправду, что он — хуже других, что ли? Вон, все его ровесники уже давным-давно переженились, а кое у кого из самых ушлых, что сразу после армии, и не погуляв как следует, хомут на шею надели, уже и внуки родились. Витька Иванов, например, бывший Гошин одноклассник: идёт на днях по улице с коляской, а морда от удовольствия сияет, что твой самовар! Будто кто ему задарма стакан налил... Гоша, было, удивился: вроде бы и не видел он, чтобы Светка, жена Витькина, беременная ходила, хотя и живут они на одной улице. Да вроде и поздновато как-то, в сорок-то лет, бабе рожать. Или это он, Гоша, просто спьяну не замечал ничего — про Светку-то?

А это, оказывается, Витька с внучкой променад по главной улице устраивает. Дедом стал — и радуется! Вот, понимаешь, дед — в сорок лет...

Гоша за приятеля, конечно, порадовался — искренне порадовался, от души. А как только разошлись они в разные стороны — Витька — в центр посёлка, чтобы внучкой похвастаться, а он, Гоша — домой, — вдруг загрустил. Да что там загрустил — затосковал, как старый одинокий волк в зимнем лесу; и не от зависти к Витьке (Гоша, к слову сказать, вообще никому не завидовал — просто не умел он людям завидовать, и всё тут! Такая вот натура у него интересная, у Гоши Чудакова), а от жалости к себе затосковал: вот, мол, живут же люди! Вот и детей вырастили, и внуков уже дождался. Только он, Гоша, болтается по посёлку, как... георгин в проруби. И никому-то, кроме матери, он не нужен...

— Эх, невезуха! — вздохнул Гоша, после чего совсем расстроился и, понутив голову, пошёл домой. Но — через магазин: надо же чем-то грусть-печаль залить! Тем более

что получку сегодня получил, которую два месяца в их шараге не выдавали, и потому — немаленькую; а завтра так и так выходной...

А в магазине — продавщица какая-то новенькая; поначалу Гоша на неё так, мельком, глянул — и тут же на полку с бутылками уставился. Но пока пошло себе выбирал да пока в очереди за ним стоял, на продавщицу ту почему-то исподтишка посматривать стал; вроде бы и не было у Гоши причин на неё смотреть, но глаза его будто сами по себе в её сторону поворачиваться стали. Гоша их от продавщицы отведёт, а они, помимо его воли, снова — зырк за прилавок! Ну что ты будешь делать?!

В общем, взял Гоша бутылку и пошёл домой; пришёл, бутылку на стол поставил, руки вымыл, а заодно и физиономию свою небритую после работы ополоснул — и уселся за стол. Взялся, было, за бутылку, стакан поближе к себе пододвинул, но пить ему почему-то вдруг расхотелось. Ну, не то чтобы совсем расхотелось, а так — временно: да и куда она теперь от него денется, выпивка-то?

Посидел Гоша, поёрзал по табуретке, а потом вдруг встал — и ну из угла в угол по комнате шастать! Будто шило ему кто-то в то место, которым он только что на табуретке сидел, воткнул — только что пятернёй своей по нему не скребёт. А вот на душе...

А вот на душе у Гоши отчего-то вдруг заскребло: то ли встреча с Витькой так на него подействовала, то ли размышления Гошины о своём одиночестве, этой встречей вызванные... А может, другое что-то? Или — кто-то? Уж не продавщица ли эта новенькая?

«Да на что там смотреть-то? — с недоумением думал Гоша, вспоминая продавщицу. — Ни кожи, как говорится, ни рожи... Маленькая, белобрысая. И нос, кажись, курносый...»

Уселся Гоша опять на табуретку, посидел, глядя то на непочатую бутылку, то на пустой стакан, и решил закурить. Достал из кармана мятую пачку «Примы», а там — пусто. В другой какой раз он, конечно, выматерился бы как следует и обязательно бы вздохнул: вот, дескать, невезуха! А тут вдруг обрадовался.

— А схожу-ка я за куревом! — сказал он и встал из-за стола.

Встал, мельком глянул на себя в зеркало, что над комодом висело, и остановился; постоял, посмотрел на свою небритую физиономию, на торчащие в разные стороны спутанные, с заметной проседью чёрные волосы, крикнул досадливо и пошёл к умывальнику...

А ещё минут через двадцать, кое-как выбритый станком с тупым лезвием («Вот заодно и лезвий куплю!» — думал Гоша, собираясь в магазин), но зато на километр вокруг себя благоухающий одеколоном Гоша, принарядившись по такому случаю в почти новые джинсы и рыжую вельветовую рубашу в мелкий рубчик, бродил, поскрипывая до зеркального блеска надраенными гуталином туфлями, по, как назло, пустому в этот час залу магазина, при этом бессмысленно-сосредоточенным взглядом рассматривая набитые всякой всячиной — от колготок и зубной пасты до лопат и гвоздей — прилавки и стеллажи и исподволь бросая осторожные взгляды на продавщицу, которая от нечего делать читала какую-то книжку в яркой обложке.

Продавщица была одна: по двое продавцы в этом магазине, насколько помнил Гоша, сроду не работали — тут, бывает, и одному-то часами делать нечего, особенно в то время, когда народ на работе.

«Ей, поди?, лет тридцать, не меньше... — посматривая на продавщицу, думал Гоша. — Или тридцать пять. Стало быть, моложе меня она лет на пять. Или на десять... И куда лезу?! Тоже мне — жених! Конь в пальто!»

Окончательно отчаявшись, он уж, было, засобирался уходить — даже и про сигареты забыл, и про лезвия для бритвы! — как вдруг продавщица подняла на него глаза и спросила, смешно рассыпая по пустому залу магазина горошинки картaviнок:

— Что, Георгий Фёдорович, глаза разбегаются? Не знаешь, что взять?

Услышал Гоша эти картaviнки — и вздрогнул. И заулыбался во весь рот. Вздохнул с облегчением и пошёл к прилавку, удивлённо мотая головой.

— Ну, Нинка!.. Ну, ты даёшь! Во, блин!.. Как же это я тебя сразу-то не признал? Ну, дела?-а!

— Так лет-то прошло — у-у! — усмехнулась Нинка — с горчинкой усмехнулась, не с радостью.

— Да-а... — протянул Гоша и затоптался на месте, не зная, как вести себя дальше. Спросил первое, что на ум пришло:

— Давно вернулась-то?

Нинка пожала худенькими плечиками.

— Да с месяц уже... Пока осмотрелась, да пока матери с огородом да по хозяйству помогала; то, сё... Вот, видишь — на работу устроилась; первый день сегодня... А ты-то как? Всё, говорят, холостякуешь?

Гоша от такого вопроса совсем, было, застеснялся, но тут же взял себя в руки и захорохорился:

— А то! Рано мне жениться — не нагулялся ещё!

И игриво стрельнул глазами на Нинку.

— Это ты у нас скороспелка, после школы — да и замуж, — хохотнул он. — А мы — люди степенные, неторопливые; нам спешить некуда, успеем ещё хомут-то на шею напялить!

И спросил — в упор, но как бы между прочим:

— А мужик-то твой куда устроился?

— Да я почём знаю? — снова невесело усмехнулась Нинка. — Он — там, во Владике, а я, как видишь — здесь...

Помолчала и тихо добавила:

— Дома...

— В каком Владике? — не понял Гоша.

— Во Владивостоке, — пояснила Нинка. — Это мы его там так называем: чего языком зазря выламывать?

Она поправила выбившуюся из-под белой «докторской» шапочки белобрысую чёлку и небрежно махнула рукой.

— Да и не муж он мне теперь: развелась я с ним...

И игриво посмотрела Гоше прямо в глаза.

У Гоши — то ли от этих Нинкиных слов, то ли от её откровенного взгляда — вдруг ёкнуло в груди, а на лбу выступила испарина, будто он из предбанника да сразу в парную шагнул.

«Вот-те на! — подумал он. — Знать, не сложилось у них... Ну, теперь, небось, проще будет!»

Но что будет проще, словами даже самому себе сказать Гоша не решился...

На том первый их с Нинкой разговор и закончился: в магазин, как назло, один за другим повалили покупатели, и Нинке стало не до Гоши.

Небрежно бросив на прилавок «пятидесятку», Гоша купил пачку «Мальборо» (хотя сигарет с фильтром не курил вовсе: не накуривался он лёгким табаком, хоть ты три штуки подряд выкури — и всё тут!) и вышел из магазина. Постоял с минуту на крыльчке, пытаясь заскорюзлыми, грубыми пальцами поймать тонюсенький хвостик целлофановой ленточки, опоясывающей красную пачку. Так и не сумев исполнить этот трюк, оглянулся по сторонам, поднёс пачку ко рту и, нащупав хвостик языком, сорвал тонкий прозрачный поясок зубами.

— Понаделают всякой хрени, мать их так... — пробормотал он, выплёвывая прилипшую к губам целлофановую полоску. — То ли дело — «Прима»: раз! — и всё...

В эту ночь Гоша долго не мог уснуть; впрочем, он не очень-то и пытался: лежал с открытыми глазами и напряжённо думал, как бы это ему ещё раз подкатиться к Нинке, да так, чтобы сразу, за один раз ей свои намерения и изложить. Ну что они — дети, что ли, в конце-то концов?! Он — холостой, она — разведённая: чего тут рассуоли-

вать-то? Вон, другие-то: глядишь, раз, два — и сошлись. И живут себе вместе. Ну, почесет народ языками неделю-другую, да и перестанет: подумаешь, невидаль — мужик с бабой вместе жить стали! Так ведь то и есть, что мужик с бабой, а не малолетки какие-нибудь! И чего в этом такого-то?!

Только как бы всё это... ну, это — вот о чём он думает сейчас... Нинке-то препода-нести?? Слова-то нужные — как найти? Эх, невезуха!

На следующий день, в субботу, Гоша поднялся рано и первым делом кинулся скоблить пластмассовым станком отросшую за ночь щетину. Лезвие в станке, само собой, со вчерашнего дня острее не стало, но Гоша, морщась и шипя от боли громче, чем закипавший на старой электрической плитке чайник, упрямо продолжал скоблить щёки и подбородок, при этом проклиная себя за то, что какое-то паршивое — вот дурак-то! — «Мальборо» купил, а лезвия — ну начисто из головы вылетело!

Народу в магазине было немного, однако у кассы, рассчитываясь за покупки, всё время кто-нибудь стоял. Нинка, увидев появившегося в дверях Гошу, улыбнулась ему и кивнула. И потом, пока Гоша в ожидании подходящего для разговора момента слонялся по залу, переходя от одного прилавка к другому, часто посматривала в его сторону, и когда их взгляды встречались, снова улыбалась.

«Ну вот, может, и объяснять ничего не придётся, — думал Гоша, с замиранием сердца ловя Нинкины взгляды. — Чего тут объяснять-то? Не дура же она, в конце-то концов...»

«Может, в кино её пригласить?» — напряжённо думал он, вертя в руках взятое с прилавка топориче. Но тут же эту мысль и отбросил: вот смеху-то будет — на весь Медянок! Вот скажут — жених с невестой в кино идут! Под ручку-то ни он Нинку, ни она его, конечно, не поведёт — не муж и жена. Вот если бы они мужем и женой были, тогда да, тогда — другое дело: иди хоть в обнимку — никто и внимания не обратит. А так, под ручку, у них в посёлке не принято. Ну и как идти — на пионерском расстоянии, что ли?!

Но Нинке ничего объяснять не пришлось: улучив момент, когда у кассы никого из покупателей не было, Нинка рукой поманила Гошу к себе и, наклонившись через прилавок, тихо — так, чтобы никто не услышал, — сказала:

— Приходи в гости, Георгий Фёдорович! Здесь нам с тобой, всё одно, поговорить не дадут. Приходи вечером...

И, как-то по особенному улыбнувшись, добавила:

— Если, конечно, хочешь...

«Да хочу! Хочу!» — чуть не крикнул Гоша, однако сдержался и, сглотнув слюну, только хрипло спросил:

— Когда?

— Да сегодня и приходи, — улыбнулась Нинка. — Вот я в девять закрою... Ну, а ты часикам к десяти и приходи: посидим, чаю попьём... Дорогу-то помнишь?

— А то! — заулыбался Гоша. — Как не помнить...

В тот, первый раз, Гоша к Нинке припёрся с бутылкой: ну не с цветами же ему через весь, почитай, посёлок было тащиться! Его, букет-то, в карман не спрячешь — не бутылка. Увидели б его с цветами — засмеяли бы, и ещё сто лет потом смешки за спиной слушать пришлось бы. А то и в глаза бы смеялись: ну что, мол, Гоша, — прикадрился? А бутылка — не букет: бутылку сунул в карман пиджака — её и не видно. Если, конечно, пиджак не застёгивать. А чего его застёгивать? Чай, лето на дворе, не зима...

Правда, как пришёл он тогда на свидание с бутылкой, так с ней и ушёл: Нинка, как водку увидела, так и помрачнела сразу — даже будто бы с лица спала. И глаза её синие почему-то как-то сразу потускнели.

Гоша, было, сначала ничего не понял, а когда понял, обозлился. Но не на Нинку, а на себя: нашёл, с чем на свидание к женщине идти, придурок! В общем, так он креп-

ко обозлился, что, едва дойдя по пути домой до поселкового парка, взял да и жакнул ту бутылку со всего размаха о толстый ствол старой липы — метров с десяти запустил и не промазал. Это ночью-то! Только осколки брызнули...

И вдруг почему-то вспомнил, как прихотилось ему и гранаты вот так же, в крошечной тьме, бросать, от «духов» ночью отбиваясь, — там, в Афгане...

В тот раз у Гоши с Нинкой ничего такого-эдакого не было; так, попили чаю, поговорили по душам — детство вспомнили, друзей-приятелей, учителей. Хотя и была между ними разница в шесть лет, а знакомых-то общих — вон, весь посёлок!

Ну, и про жизнь свою друг другу порассказали, что могли и что считали нужным. Гошина-то жизнь — что: вон она — вся, как на ладони. Любого в посёлке про него спроси, так всё тебе про Гошу Чудакова расскажут, ничего не утаят. Да и от себя ещё приврут — будь здоров! А вот про то, как у Нинки жизнь складывалась (да, как видно, не сложилась), Гоше узнать было интересно.

Нинка вернулась домой, на Новгородчину, с Дальнего Востока. Гоша даже название города, куда она с мужем после свадьбы уехала, сам вспомнил — ещё до того, как Нинка его произнесла — Спасск-Дальний; это ещё Мишка, Нинкин старший брат и лучший Гошин друг как-то говорил — царствие ему Небесное! Эх, вот и Мишки уж два года как нет... Да будь он проклят, Афган этот! И война эта тоже; вон как теперь про неё говорят: ошибка, мол, советского руководства. Хороша ошибка, мать их так: сколько ребят там полегло! Или, как Мишка, калеками вернулось... Да что теперь говорить!

А замуж Нинка выскочила, когда в Новгороде училась, в кооперативном техникуме, — за какого-то морячка выскочила, что в отпуск оттуда, с Дальнего Востока, домой приезжал, когда ещё срочную служил. Перед самым дембелем приезжал: видно, неплохо будущий Нинкин муж служил, коль уж ему предложили на сверхсрочную остаться. Вот туда-то, в Спасск-Дальний этот молодые сразу после свадьбы и укатили; Нинка даже техникум свой бросила, года до диплома не доучившись. Укатила она с мужем в такую-то даль и ни разу с той поры домой и не приезжала. Оказывается, муж-то её, как Нинка Гоше рассказала, только полгода на сверхсрочной и прослужил, а больше не выдержал: не те времена для армии и флота настали, чтобы там оставаться; офицеры — и те косяками шли рапорта подавать, а уж ему-то, мужу Нинкиному, и вовсе никакого резона оставаться на службе не было, с такой-то зарплатой да при новых на всё ценах. Вот и подался он в торговый флот, да, как видно, не очень-то удачно устроился, раз уж у Нинки за пятнадцать лет ни разу денег не нашлось, чтобы домой съездить, мать с братом навестить. А потом, по словам Нинки, муж её и вовсе без работы остался...

Вот и всё, что рассказала тогда Нинка Гоше про свою семейную жизнь, и ничего другого к своему рассказу добавлять почему-то не стала. Гоша же тоже попытаться, что да как у Нинки с мужем дальше было, не стал: чего пытаться-то, если сама Нинка больше не желает на эту тему говорить? Может, просто тяжело ей всё это вспоминать, вот и всё. Ну, ничего: захочет — сама расскажет...

Так вот и проговорили они тогда, в первую свою встречу, тет-а-тет, почти полночи; а ничего другого промеж них в ту ночь больше и не было...

Ну, а потом, как-то само по себе и без лишних слов, всё у Гоши с Нинкой и сладилось. Гоша, правда, поначалу, перед самой первой своей близостью с Нинкой, в своих мужских силах особенно уверен не был: давно у него, кроме бутылки, других подруг не было. Да и трезвым Гоша в последние годы бывал, прямо сказать, не часто; а кому, какой хоть немного уважающей себя или просто нормальной женщине такой ухажёр нужен, от которого за версту перегаром прёт? Однако всё у них с Нинкой получилось, как положено, как и должно было быть. А может, даже и лучше, раз уж Нинка, когда Гоша вечером зашёл к ней в магазин, посмотрела на него из-за прилавка такими восторжен-

ными, такими сияющими глазами, что Гоше показалось, что в магазине вдруг прожектора зажглись. У Гоши же рот сам по себе вдруг растянулся до ушей, а грудь стала распирать такая гордость за самого себя, что ему даже дышать трудно стало.

И ещё открылось Гоше в этой его поздней — да поздней ли?! — любви нечто такое, о чём он раньше не только не подозревал, но даже и не догадывался, как не догадывался о том, что вот такая, наполненная светлыми и радостными чувствами, а не почти постоянным желанием нахрюкаться от безделья и покурлесить на виду у всех, жизнь и есть жизнь, которой и стоит, и надо жить. И никак иначе.

И всё лето Гоша, можно сказать, будто летал — и наяву будто бы летал, и во сне; ему даже однажды, почти в самом конце августа, такой дивный сон приснился, какие никогда в жизни не снились: что будто бы вдруг выросли у него на спине крылья, и расправил он их, белые и огромные, как десантные парашюты, да и взлетел на них куда-то высоко-высоко, к самому поднебесью.

И будто бы посмотрел он оттуда вниз — на посёлок, на пересекающую его речку, сильно обмелевшую с тех, уже давних теперь, времён, когда он, Гоша, со своим другом Мишкой руками ловили в ней килограммовых налимов, вытаскивая этих сильных и скользких рыбин из их нор под большими валунами; посмотрел на окружавшие посёлок сосновые боры, в которых, стоит только выйти за околицу, и до сих пор, несмотря ни на что, грибов можно было набрать — немерено, если места грибные знаешь (а как их не знать, если и родился здесь, и почти всю свою жизнь прожил?); вот посмотрел будто бы на всё это Гоша из поднебесья — и понял, что ничего другого, кроме как вот это всё, что сейчас под ним там, далеко внизу проплывает, для него на свете дороже нет. И никогда не будет.

А людей-то сколько он там, внизу, увидел, людей-то! И друзей его давних, и просто знакомых — и старых, и новых, и пожилых, и молодых; вон, и мама там, внизу, в огороде копается, грядки пропалывая; и сосед, дядя Федя, опять что-то во дворе у себя мастерит, по ходу дела большую спину на солнышке грея — то ли опять табуретку какую-то чудную, то ли ещё что... Вон, сколько их, людей-то — Боже ж ты мой!

Только Нинки своей Гоша в том сне почему-то не увидел, хотя и очень этого хотел, очень; помнится, тогда же, во сне, подумал, что она, наверно, в магазине сидит да книжку читает, пока покупателей нет. А через крышу-то — как разглядишь?

А на следующее после той ночи утро решил Гоша по пути на работу заскочить к Нинке в магазин — и на Нинку свою (он её так про себя и называл — «моя Нинка») посмотреть, и сон ей свой чудный рассказать. Ну, и сигарет заодно купить.

Пришёл он в магазин, а там за прилавком вместо Нинки Людмила Ивановна стоит — Нинкина соседка, которая в этом магазине до выхода на пенсию (как раз перед возвращением Нинки) лет, наверно, двадцать проработала, если не больше; она-то, кстати, Нинку в этот магазин и устроила — вместо себя.

«Может, заболела? — забеспокоился о Нинке Гоша. — Или, не Дай Бог, ещё что случилось? А может, с матерью её что-нибудь, с тётёй Наташей?..»

— А Нинка-то где, тётё Люсь? — забыв поздороваться, спросил он.

— Где, где... — почему-то отводя от Гоши глаза, проворчала Людмила Ивановна. И усмехнулась: — Я вместо неё — аль не нравлюсь?

— Да нравишься, нравишься... — заулыбался было и Гоша. — Так где Нинка-то?

— Нинка, Нинка... — погасила вдруг улыбку Людмила Ивановна; помолчала, перебирая на прилавке какие-то накладные, а потом вскинула на Гошу глаза; посмотрела на него сквозь очки каким-то непонятным — то ли печальным, то ли жалостливым взглядом — и тихо сказала:

— Не работает она здесь больше, Гошенька: уволилась вчера...

— Как — уволилась? — удивился Гоша. — Вроде бы и разговора у нас об этом не было...
— Было, не было... — вздохнула Людмила Ивановна. — Не буду я тебе ничего объяснять, Гошенька, сынок: сама ничего толком не знаю. Из райпо утром прибежали: выручай, мол, Ивановна, а что да почему — не сказали. Так что езжай-ка ты лучше к ней домой, там и узнаешь. А меня не пытай: не знаю я ничего...

И снова отвела от Гоши жалостливый взгляд...

Предчувствуя недоброе, Гоша выскочил из магазина, тормознул первый попавшийся грузовик и уже минут через пятнадцать переступил порог Нинкиного дома.

— А уехала Нинка ночью — вот и весь сказ! — усадив Гошу на табуретку, сказала Нинкина мать. — Приехал за ней муж её, Серёжка; ворвался, как бешеный, не поздоровался даже... Ну, и проговорили они часа два — там, в спальне; я и не слыхала, о чём... Ну, а потом она вещички собрала, меня чмокнула и — фьють! — только я их и видела...

— Какой муж? — изумился Гоша. — Она ж в разводе!

— А ты паспорт-то ейный видел? Это тебе да мне она сказала, что в разводе, а сама-то и не в разводе вовсе: как была замужем, так замужем и осталась...

— А чего ж врала-то мне? — захолопал глазами Гоша. — Врать-то зачем было?

— А думала, что не приедет он, Серёжка-то ейный — ни к ней не приедет, а уж за ней-то — и подавно! Так там и останется, во Владике-то своём... Но, видно, думать-то — думала, а... надеялась, видать, на что-то... А он, вишь ты, взял да и вправду приехал; явился — не запылится, да ещё и с билетами на самолёт. Да ещё и на такси с самого Новгорода прикатил; на нём они и обратно уехали, прямо в аэропорт. Вишь ты, богач какой: такси-и, самолё-ёт...

И дальше Гоша узнал то, о чём ни в первую их встречу, когда они с Нинкой полностью просидели на этой же кухне, ни потом Нинка ему так и не рассказала.

По словам тётки Наташи, Нинка с мужем и не разводилась, а просто уехала от него, устав ждать, когда тот устроится на работу; накопила потихоньку от мужа денег на дорогу — и уехала. Детей у них, как Гоша знал, не было: сперва сами заводить не хотели, поскольку без конца маялись по общежитиям да по частным квартирам, а когда — уж к тридцатому Нинкиному дню рождения — всё же купили себе девятиметровую комнатушку в квартире на окраине Владивостока (они к тому времени перебрались туда из Спасск-Дальнего), то, вроде бы, и задумали ребёночка завести, да Бог уж не дал. А может, потому у них с ребёночком не получилось, что не раз Нинка, приплясывая возле своего лотка на городском рынке, где она торговала, работая на одну ушлую разбитную бабёнку, промерзала до костей от яростно дувшего с побережья жгучего тихоокеанского ветра. И простужалась сильно, но на работу всё равно ходила, даже с температурой; а как не пойдёшь, когда на твоё место уже очередь стоит? А уж про «больничный» у них на рынке никто из таких, как Нинка, и не заикался никогда: попробуй только заикнись — враз с работы вылетишь... И — гуляй себе, Вася! А жить тогда на что, если муж дома сидит?

А муж у Нинки потому дома сидел, что прежняя шарашкина контора, для которой он крабов в Японском море ловил, попала на браконьерстве, и её, контору эту, само собой, быстренько прикрыли. Начальство же её вместе со всеми документами — в том числе и с паспортами работавших в этой шараге рыбаков — куда-то так же быстренько и по-тихому смылось, даже не рассчитавшись со своими работниками. А куда тебя без паспорта возьмут? Пока он, Нинкин муж, паспорт восстановил, пока работу искал, путина закончилась, и работу вообще стало не найти. Уж ходил он, ходил по разным конторам, да всё без толку...

Правда, однажды встретил Нинкин муж одного из своих бывших, ещё по военному флоту, сослуживцев, и тот пообещал работу ему найти — на торговом судне, где он сам старпомом был. Дескать, служили вместе — вместе и в «загранку» ходить будем. И работа, мол, хорошая, интересная, и деньги хорошие платят. Только подождать просил, пока он из плавания вернётся: они как раз в тот день, когда его Нин-

кин муж встретил, в плавание уходили, далеко куда-то. Однако время шло себе и шло, а друг этот его всё не возвращался и не возвращался. Месяцев уж семь или восемь прошло после их разговора, а муж всё друга своего ждал, дома на диване сидючи. Ну, и выпивать стал время от времени, от безделья-то. Вот и начались у них в семье споры-раздоры да взаимные упрёки. В конце концов, Нинка плюнула на всё, поднакопила денег да и уехала домой, к матери, оставив своего мужа ждать у моря погоды. А друг-то мужнин, вишь ты, не обманул...

— А чего ж он, друг-то этот, так долго не возвращался-то? — спросил Гоша.

— Да корабль ихний, как Серёжка-то давеча рассказал, в ураган где-то попал, аж где-то возле Африки. Ну, и потрепало их сильно: винты, вроде, поломало, ещё чего-то там... уж и не знаю, не могу сказать. Они там же, в Африке-то, и на ремонт где-то встали, да ремонтировались долго, чуть ли не полгода, а потом вроде как сколько-то ещё месяцев ждали, покуда ихняя компания деньги за ремонт перечислит.. Да пока назад оттудова плыли; путь-то, Гошенька, сам понимаешь, не близкий: эн она где, Африка-то!..

Вышел Гоша на крыльцо Нинкиного дома, постоял, опустошённый, с минуту, глядя поверх покосившегося, поросшего мхом деревянного забора на залитую солнцем улицу и вздохнул.

«Нету Мишки — и забор поправить некому, — подумал он. — Был Мишка — и забор стоял, как надо; а не стало Мишки — вот и все пироги?!..»

У себя-то, вокруг своего дома, Гоша за это, трезвое, лето и забор отремонтировал, как надо (а ведь такой же был, как у тёти Наташи сейчас: только на честном слове и держался), и палисадник, о котором его давно мать просила, перед домом сделал из нового штакетника. Мишка-то, когда жив был, ещё кое-как за хозяйством приглядывал; хоть и на одной ноге, а иногда чего-то и делал — правда, только тогда, когда они с Гошей не квасили. А квасили они — у-у! Можно сказать, что только и делали, что квасили — по любому поводу. И без повода...

Гоша почесал затылок, прикидывая объём работы, потом обернулся и крикнул в открытую дверь:

— Тётъ Наташ! Забор-то, гляди, — завалится скоро!

— Ау, брат, — отозвалась с кухни Нинкина мать. — Знамо, завалится; дак кому ж его поправлять-то? Некому теперь...

— Приду в воскресенье, поправлю, — крикнул Гоша. — Инструмент-то у тебя есть какой?

— Да есть, есть; от Миши много чего осталось — там, в сарае. Хошь, так сходи, глянь, чего там есть...

Гоша посмотрел на наручные часы и заторопился.

— Некогда мне сейчас — на работу надо: я и так уж... А в воскресенье приеду. На машине. И инструмент свой привезу: где я там Мишкин буду искать? Пусть себе лежит.. Жди с утра, часикам к восьми...

— Ох, спасибо тебе, сынок! — обрадовалась тётя Наташа, выходя на крыльцо. — Дай тебе Бог здоровья!

— Да ладно... — махнул рукой Гоша. — Чё мне, трудно, что ль...

Тётя Наташа помялась, видимо, не зная, как посочувствовать Гошину горю, а потом тихо сказала:

— Ты уж, сынок, зла-то на Нинку не держи: кто ж знал, что этот-то... мужик-то ей-ный... заявится... Знать, не судьба вам с ней...

— Всё, тёть Наташ! — оборвал её Гоша. — Молчи! И так... кошки скребут...

И сбежал с крыльца. У калитки обернулся.

— Ну, так жди: в воскресенье подъеду, — сказал он. — Часикам к восьми. А потом и на кладбище съездим, к Мишке...

И заторопился прочь...

Вечером, возвращаясь с работы (да какая уж там работа была! Всё у него в этот день из рук валилось...), Гоша зашёл в магазин, но не в тот, где ещё только вчера Нинка работала, а в другой, хотя и пришлось для этого сделать изрядный крюк, и купил бутылку водки.

«Приду сейчас домой и... и буду поминки справлять, — думал он, торопливо (так ему вдруг поскорее выпить захотелось!) шагая к дому. — По нашей с Нинкой несостоявшейся семейной жизни... Вот нажрусь в доску — и гори оно всё синим пламенем! И Нинка, и всё... Может, ещё бутылку прихватить? А то вдруг одной мало будет...»

Войдя в дом, Гоша поставил бутылку посередине стола на кухне; потянулся было к буфету за стаканом, однако передумал.

«Руки сперва надо помыть, — решил он. — Вон, в нигроле все; воняют, как... Ну, Самохин, ну, гад! Солярки пожалел... У самого целая бочка на складе, а он — нету, нету! Жмот сивый...»

Мать, увидев бутылку, не сказала ни слова; только тяжело вздохнула и ушла в свою спальню.

«Видно, знает уже... — подумал Гоша и горько усмехнулся. — Видно, насвистели уже товарки...»

Пока он руки щёткой со стиральным порошком оттирал, пока лицо ополаскивал да пока потом переодевался в чистое — всё на бутылку посматривал; с нетерпением посматривал, даже с вожделием, уже порядочно им подзабытым. Когда же все дела свои, наконец, справил, ему вдруг курить захотелось — ну просто жуть! Вышел он во двор, сел на завалинку и закурил. И задумался.

«Эх, Нинка, Нинка! — думал Гоша, часто и глубоко затягиваясь сигаретным дымом и не ощущая его вкуса. — Как она меня, а?! Как пацан?... Поигралась, потешилась да и... А я-то, дурак! Эх!.. А теперь-то — что? Теперь-то — как? Как мне теперь жить-то — как прежде?..»

Мало-помалу успокоившись, но продолжая лелеять свою обиду на Нинку и жалеть себя, Гоша вернулся в дом и сел к столу; посидел, глядя на водку, вздохнул тяжело и потянулся к бутылке. И даже в руки её взял, чтобы открыть, но передумал и поставил обратно.

«Да что я, алкаш — одному-то пить? — подумал он. — И не с похмелья, чтоб в одиначку-то. Вот завтра — да: завтра с похмелья башка трещать будет — только держись! Вот тогда и одному можно; и одному-то лишь бы хватило, похмелиться-то... А так-то — что?»

Но к кому сходить, с кем составить компанию, чтобы печаль-тоску развеять, придумать Гоша, как ни старался, почему-то так и не смог. А куда перебирал в памяти своих дружков-приятелей, живущих поблизости, пить ему почему-то и вовсе расхотелось.

Да и забор он обещал тётке Наташе послезавтра, в воскресенье, поправить. А там, глядишь, и картошку копать время подойдёт; кто ей, кроме него, Гоши, поможет-то? Мужиков ей, что ли, за бутылку нанимать? Так там одной бутылкой не отделаешься... А на какие такие шиши? она водку-то покупать для них будет — с пенсии своей? То-то!

И когда ж тут ему, Гоше, пить, горе своё заливая? Выходит, что и некогда...

И вот о чём Гоше подумалось: а что, собственно говоря, уж такого страшного случилось-то? Что, жизнь для него после бегства Нинки кончилась, то ли? Так вроде нет: вот он, Гоша Чудаков, сидит себе за столом — живой, нормальный и... трезвый. И вроде как трезвому-то ему как-то даже и лучше, чем пьяному, — и сейчас, и вообще. И вообще, за эти почти три месяца, что он с Нинкой пробыл (или, лучше сказать, Нинка у него была) как-то по-другому у него всё стало — и дома, и на работе. И вообще. А главное — в душе по-другому стало: светлее там стало, чище; будто подмёл кто её, душу, пыль да всякий прочий мусор из неё вымел да ещё и тряпочкой протёр — так, как ма-

тушка запотевшие очки протирает; протёрла стёклышки — и видит всё вокруг себя по-другому: и ясней, и чётче. А запачкаются стёклышки или снова запотеют — и опять ничего через них не видать, муть одна; это как трезвому человеку глаза водкой залить — ну точь-в-точь!

И вдруг припомнился Гоше вчерашний — или сегодняшней? — сон: как летал он над посёлком, что видел под собой и как всему этому — и тому, что летал, и тому, что видел с высоты — радовался; Гоша даже глаза прикрыл, чтобы всё это ещё раз увидеть и почувствовать.

И у него получилось...

Он открыл глаза и вздохнул:

— Эх, Нинка, Нинка! Вот невезуха-то...

И снова задумался.

А что — Нинка? Да, бросила она его; даже можно сказать — предала; обидно всё это, слов нет, но... Но и — и это было для Гоши весьма неожиданно — и благодарность к ней он вдруг почувствовал, а не злобу, какая у него первоначально, сразу после Нинкиного бегства была. За что благодарность? Да за то, что Нинка — сама, наверно, того не ведая — будто бы глаза Гоше на этот мир открыла — на тот мир, в котором он вроде бы всю свою жизнь прожил, а по-настоящему этого мира так и не видел, пока с ней ни встретился: а как его увидишь — ослоневшими-то глазами? Ведь как вернулся Гоша двадцать лет назад из Афгана, так, почитай, все эти годы чуть ли не каждый день и гудел с дружками-приятелями почём зря: первое время всё друзей своих погибших поминал, а после втянулся в это дело — и пошло-поехало... Он и подружек-то всех своих бывших, кои у него по молодости были, за эти годы порастерял, а жениться и не пытался даже — всё думал, что рано ещё, что погулять ещё надо. Вот и догулялся до того, что никому не нужен стал. А Нинка...

— Эх, Нинка, Нинка! — снова вздохнул Гоша и вдруг улыбнулся. — Ну, Бог тебе судья, Нинка; а я зла не держу..

Он вышел на крыльцо и снова закурил; постоял, по-хозяйски оглядывая двор, и вдруг подумал, что надо бы мать в лес свозить: давно она в лес съездить хотела — самой-то теперь и не дойти, — да Гоше всё как-то недосуг было; он и сам-то сколько уж лет в лесу не был — ни за грибами, ни просто так: то водку с дружками пил, а потом вот... за Нинку зацепился... А теперь-то — чего ж не съездить? Самое время и ехать: август кончается, а потом и вовсе поздно будет — отойдут грибы, вот и все дел?. И будет тебе невез?ха...

Он бросил окурочок и придавил его кроссовкой; посмотрел, прищурившись, на безоблачный закат и подумал:

«Завтра, видать, ведро будет. Ну, и славно: самое время, по грибы-то...»

Потоптался во дворе ещё с минуту, улыбнулся чему-то, а потом крикнул в открытое окно кухни:

— Мам, готовь лукошки! Завтра в лес поедем...

Игорь ИЗБОРЦЕВ (Псков, Россия)

ОГУРЕЧНЫЙ ТРАКТ

— Сын, купляй огурчики. Свеженькие, чуток с грядочки, — баба Вера улыбается, борозды-морщины на её лице движутся, приоткрываются, обнажая свою исподнюю бледность, отчего лицо её, до черноты выдубленное солнцем, начинает светиться беспомощными розовыми лучиками. «Сын» — седой мужчина лет шестидесяти — едва достаивает её мимолётным взглядом и хлопает за собой дверью переливающейся перламутром серебристой иномарки. Через несколько секунд машина исчезает в дрожащей перспективе плавающего от полуденного зноя шоссе...

Иван попытался подсчитать, сколь раз, начиная с утра, баба Вера произносила эту фразу? Вышло, что не менее двадцати. Причём, женщин она старалась не замечать, только мужеский пол, «сынков»... Он вспомнил давешнего седовласого пенсионера и про себя усмехнулся: тоже мне, сынок... Впрочем, баба Вера могла себе это позволить. Сколько ей стукнуло? Восемьдесят пять? Нет, пожалуй, поболее, скорее к девяности. Он скovyрнул тяжёлый пласт памяти, проросший длинными рядами нулей в новых многорублёвых купюрах, перестроечной трескотнёй и советскими пятилетками... Ему лет семь-восемь, а баба Вера — она такая же, как сейчас: безжалостно выжженная солнцем, выстуженная морозом, с истончённой бесконечными трудоднями плотью и похожим на геодезическую карту лицом — вот она, её горькая топография... Наша мамушка... Ведь так её, кажется, называли? И не только дети и внуки, но и многие селяне... Однако давно уже её никто так не зовёт. И почему, спрашивается? Э-э-эх... Иван оттолкнул от себя груз тяжёлых мыслей и посмотрел на стоящий рядом пакет с огурцами. Что толку в том, что было раньше? Сегодня вот огурчики бы продать. С утра он сбыл шесть килограммов по пятнадцать рэ, итого — девяносто рублей. И вся недолга! А бабе Vere, можно сказать, повезло: у неё ушло килограммов двенадцать. Народ, видимо, полагал, что со старушкой легче договориться. И не без основания: часа два назад какой-то плюгавенький мужичонка из красного джипа сторговался с ней на три килограмма по семь с полтиной за кило. Вот гад! — Иван в сердцах сплюнул на асфальт. — Это же литр бензина для его заморского коня. Баба Вера поняла его жест по-своему:

— Истомился, сынок? — спросила, и морщинки участливыми светлыми лучиками скользнули по её лицу. — Кваску испей, вон баночка у меня в кошёлке.

— Спасибо, баб Вер, не хочу, — Иван отрицательно качнул головой и опять сплюнул. — Вот ведь жизнь! Сидим мы тут с тобой у магазина почитай уже полдня на жаре, говорить — и то сил нет. Димыч вон только пьяный и болтается. Но ему и других дел-то нет. А мы всё сидим. И какой прок? Летит мимо чужое сытое счастье, и что? По пятнадцать целковых выложить жмотится. А ведь в их городских магазинах в два раза дороже огурчики-то стоят. Да и какие там огурчики? Химия! А жизнь-то мимо летит. Мимо, баб Вер!

Игорь Александрович Смолькин (1961, Псков), псевдоним — Игорь Изборцев, прозаик. В 1984 г. окончил инженерно-строительный факультет ПФ ЛПИ. Член Союза писателей России. Председатель Псковского отделения СП РФ. В различных издательствах Москвы, С.-Петербурга и Пскова вышли в свет восемь книг прозы. Печатался на страницах журналов: «Наш современник», «Всерусский Собор», «Москва», «Православный паломник», «Благодатный Огонь», «Русский дом», «Литературная учеба», «Балтика» и др.. Лауреат Всероссийской литературной премии им. Св. кн. Александра Невского.

— Жизнь, она завсегда так, — охотно согласилась баба Вера; она задвигалась, зашевелила своими мешками и кошёлкой. — Пойду, однако-ть, корове пить дам. Как там, Вань, твоя Галина, детки? Вы ведь в райцентре таперь?

Вот память, — удивился Иван, — и меня, и жену помнит. В девяносто-то лет!

— Нормально, устроились, — он машинально смахнул со лба к виску горячую струйку пота, — я электриком в райпо, Галка пока без работы, трудно работу найти. Не только у нас всё позакрывали, там тоже хорошо постарались. Вот по выходным материны огурчики продаю, как ей отказать? Она-то хворает.

— Слыхала, — баба Вера перекинула через плечо мешки с остатками непроданного товара, — ты ей кланяйся, я Анну-то еще девчонкой в церкву водила, Херувимскую учила петь. Доведётся ль таперь свидеться? Ну, ладно-ть, слава Богу за всё! — она перекрестилась и тяжело заскребла по асфальту бесформенными, задубевшими от времени ботами.

Иван провожал её рассеянным взглядом, так же рассеянно слушая, как блажит где-то за ларьками местная кликуша Дарья; как с глухим гулом взрывается над шоссе воздух, пронзаемый торпедами авто; как гудят колёса, скрипят тормоза... тормоза... Что-то там на шоссе происходило: движение вперёд застопорилось, и постепенно выстраивался длинный хвост из машин... Но Иван не обращал пока на это внимания, все ещё не отпуская взглядом изломанную фигурку бабы Веры, покуда не истаяла она окончательно в дрожащем от зноя полуденном мареве...

Из-за угла магазина вывернул Димыч, ошалело огляделся, подтянул сползающие, побуревшие от грязи зеленые трико и, выписывая ногами кренделя, двинулся к Ивану. Тот в сердцах сплюнул, заранее зная, что сейчас услышит.

— Эх, душа горит, Рассея плачет! — дурашливым фальцетом вывел Димыч (Ивана коробило от этой его всегдашней глумливой приговорки). — Налей сто грамм, Ванёк.

— Обойдётсяя! — отмахнулся Иван. — Загнёшься скоро от своего пойла. Ты же младше меня, а тебя уж жена успела выгнать, дети голодают. Освинел совсем!

— Сволочь я, гад! — не стал спорить Димыч и, обтирая спиной стену, опустился рядом на корточки. — Под расстрел меня! Я готов! Но налей сначала, душа горит. Вон слышь, как Дашка мычит? Тоже болеет. Но ей не треба сто грамм, а мне позарез. Налей за неё, будь человеком.

— И было бы — не налил, — жёстко отрезал Иван. — Дарью-то чего приплёл? Человек не в себе. За чужие грехи, быть может, страдает. Отец Никон так и говорит: грешат все, а отдувается она одна, одну её бесы мучат. А ты охолонись, куда катишься?

— Ну, говорю же, что сволочь я! Но всё, что халтуру по дворам, Нинке отношу. На эти не пью, мне лучше попросить. Да и вообще, — Димыч потряс в воздухе кулаком, — не я это придумал — пилораму закрывать, и фермы не я закрыл, и стадо колхозное не я продавал. Я хоть и гад, но работал всю жизнь. А теперь где?

— Давай в район, я помогу найти что-нибудь, — Иван вздохнул, выходило, что тут Димыч был прав по всем статьям: работы действительно в округе не имелось никакой.

— Обмозгую, — пообещал Димыч и, указывая на шоссе, замычал: — Глянь, что творится!

А ситуация и вправду накалялась: хвост из машин вырос, утянулся влево и там затерялся. Гудели клаксоны, кричали, перекрывая шум моторов, водители, пассажиры выскакивали из раскалённых душных коробок и расползались по площади у магазина.

— Пойду, поработаю. Эх, душа горит, Рассея плачет, — Димыч тряхнул на ходу нечёсаными сивыми лохмами и метнулся в гущу разрастающейся толпы. Через минуту его высоченная сгорбленная фигура замаячила среди ожесточённо жестикулирующих и орущих обитателей этого странного, неожиданного здесь автопоезда...

По обочине, объезжая застывший ряд машин, на площадь вкатился большущий «Мерседес», за ним огромный, как вагон, чёрный джип. Из него выскочили наружу четверо откормленных, грозного вида, парней в чёрных костюмах, при галстуках. Они про-

фессионально быстро огляделись и тут же взялись выталкивать всю шумящую публику ближе к шоссе. В руках одного из мужчин Иван с удивлением разглядел короткоствольный автомат. Вскоре площадь опять опустела, оттеснённый к своим авто народ тихо оттуда поругивался, но более просто зыркал в сторону «Мерседеса». Его дверь со стороны водителя откупорилась, появился высокий русоголовый энергичного вида мужчина в ярком зелёном пиджаке. Он быстро обежал машину и открыл заднюю правую дверь... Сначала асфальта коснулась нога в остроносом чёрном, без малейшего признака пыли, ботинке, брезгливо шаркнула, словно испытывая земную твердь на профпригодность, убедившись, что всё — более-менее, вызвала наружу свою вторую половину, а ещё через миг показалось и всё остальное: смуглолицый среднего роста человек в шикарном в крупную полосу костюме. Хозяин!

Губернатор или министр какой? — подумал Иван, но, приглядевшись, понял: — Нет, губернатор наш помоложе будет, да и как-то попроще видом. Значит, министр?

— Яков Львович! — к хозяину подскочил нервный полный субъект мелкого, от горшка два вершка, роста. — Куда прикажете звонить? В областную администрацию? В областное собрание? Или сразу в администрацию президента?

— Чёрту лысому звони, Арон, но чтобы через полчаса я был в этом долбанном райцентре, — хозяин говорил уверенным, дребезжащим, как треснувшая телефонная мембрана, голосом, и, хотя на его холёном долгоносом лице не дрогнул ни единый мускул, Арон испуганно присел и стал совсем крохотным. Он отскочил в сторону, выхватил из кармана телефонную трубку и стал что-то истерично орать. Слов Иван разобрать не мог, поскольку Арон отвернулся к стене и как-то ловко обволок телефон своим желеобразным телом; он мог слышать только неистовые, с сумасшедшинкой, выкрики. Кликуша, ей Богу, подумал он, и перевёл взгляд на хозяина. Тот, зажимая платочком нос, мерно вышагивал по асфальту, с четырёх сторон его прикрывали дюжие охранники.

— Почём огурчики? — от неожиданности Иван вздрогнул и увидел перед собой присевшего на корточки зеленопиджачного шофёра.

— Что? — он попытался сосредоточиться и вспомнить, в какую цену весь день держал этот дар материнского огорода; с трудом припомнив, доложил: — пятнадцать за кило.

— Рублей, что ли? — широко улыбнулся водитель, обнажив ряд сверкающих, как на рекламном плакате, белых зубов. — У вас тут прямо огуречный тракт. Пока ехали из города, устал вас, огуречных торговцев, считать. Откуда вас столько? На, возьми, — он протянул десятидолларовую банкноту и поднял из пакета самый маленький огурчик. Хватит? Меня, кстати, Павлом зовут.

Иван назвал своё имя и попытался вернуть деньги назад:

— Возьми так. А огурцов много оттого, что уродились. В том году грибами все торговали. Вот и весь секрет. А деньги-то забери.

— Обижаясь, начальник, — ещё шире улыбнулся Павел, — мне достаточно платят, — он кивнул в сторону хозяина. — Да уж, заварилась каша, — он осторожно откусил от огурчика и тут же сплюнул: — Тьфу, ну и горечь! А папка-то наш явно на взводе! И что у вас тут творится?

— Авария, я слышал, — Иван всё ещё переминал в руках десятидолларовую купюру, не решив окончательно как с ней поступить, — впереди лесовоз опрокинулся прямо на шоссе.

— Да это-то я знаю, — нетерпеливо махнул рукой Павел, — только папке-то от того не легче. Его в райцентре нашем захолустном Глава дожидается и депутаты. Впрочем, и это чушь, а вот то, что самолёт у него через три часа. В Лондон. Его собственный самолет, — Павел ухмыльнулся, — ваши-то кукурузники дальше губернаторского носа не летают. А мне баранку до Москвы крутить. Впрочем, это не вопрос — я профессионал, каких мало! Да, кстати, а ведь Яков Львович и ваш папка.

— Это как? — не понял Иван. Отчего-то ему было тяжело и неловко находиться рядом с этим лощёным, моложе его не менее чем лет на пять, парнем в зелёном с иголки пиджаке и картинной рекламной улыбкой. — Это как, не понял? — переспросил он, ощущая тревожно-сосущую боль под ложечкой.

— Да так, — Павел спокойно взглянул ему прямо в глаза, — Яков Львович купил всю вашу волость: и деревни, и этот посёлок, поля, луга, лес — в общем, всё. Теперь он ваш благодетель и хозяин.

— Как это? — Иван осёкся. — Мы думали, нашу волость списали под корень, народ прочь подался. Школу закрыли, больницу закрыли, клуб, библиотеку. Что ещё? Пилораму, мастерские, все фермы, скот продали, трактора на запчасти... Зачем тогда всё это разрушили? Что, ему назло?

— Лох ты, Ваня, не в обиду тебе будет сказано, — Павел иронично улыбнулся. — Кто Якову Львовичу будет что-то делать назло? Он сам всё это и устроил. А зачем ему, подумай, эти ваши школы и больницы? Да и вы ему ни к чему. Он тут заново всё устроит, по-европейски. Китайцев завезёт. Они, знаешь, как работать умеют? Огурцы станут экологически чистые выращивать. Яков Львович с друзьями будет тут раз в год отдыхать, благо — до границы с Европой два шага; будут и огурчики эти самые кушать.

— Огурчики? — Ивану показалось, что он теряет рассудок. Или Павел над ним просто смеётся? Да нет, в этих безмятежных серо-голубых глазах не просматривалось никакого подвоха или лукавства. Неужели всё так и есть?

Где-то совсем рядом громко заблужила Дарья. Яков Львович услышал и нервно вскинулся:

— Кто там орёт?

Один из охранников побежал выяснять. Не ко времени появился Димыч со своей неизбывной болью:

— Душа горит, — артистически трогательно воскликнул он, — Рассея плачет!

— Эта баба чумная за клумбой кричит, наверное, пьяная, — с ходу доложил хозяину подбежавший охранник и мимоходом двинул промеж лопаток Димыча. Тот откатился вдаль, трагически рыдая:

— Рассея плачет!

— Заткните ей рот, пусть заткнётся! — повышая тон, скомандовал Яков Львович, и лицо его на мгновение прорезалось чёрными молниями...

Но тут кавалькада из машин вздрогнула, струнулась с места и медленно поплыла...

— Всё, — Павел резко поднялся на ноги, — мне пора, прощевай, не поминай лихом. Впрочем, может быть, ещё и увидимся, — он подмигнул Ивану и метнулся к машине.

— Постой! — Иван тоже вскочил. — погоди!

— Ну? — Павел остановился и вопросительно кивнул.

— Неужели это всё из-за огурцов? Неужели, чтоб выращивать экологические огурцы, вывели под корень целую волость? Да мы бы задаром вашему хозяину по вагону в год отгружали...

— Да зачем ему ваши огурцы, чудак-человек? — белозубо улыбнулся Павел. — Да он и огурцов-то с роду не ел. Так что мотай на ус. А волость ваша... Что волость? Тут бери выше. — Павел вытянул подбородок вверх, к небу. — Ну ладно, всё, давай, — он прощально махнул рукой и уже через несколько мгновений хлопнул за собой дверь «Мерседеса».

Иван видел, как по-царски степенно усаживается на свой автомобильный трон Яков Львович; как благородно попирает остроносый ботинком принадлежащую ему земную твердь.

Сердце у него занемело и перестало чувствовать жару...

Джип взревел клаксоном и, оттирая к центру дороги поток машин, прямо по обочине рванулся вперёд. «Мерседес» устремился за ним... Всё это железное месиво смялось в кучу, покатилося, поползло к горизонту. И оттуда, уже втянув за собой хвост из последних машин, всё еще рычало и гудело, пугая не привычных к такому шуму поселковых птиц.

— Огуречные дети огуречной страны... Ну уж нет, не дождётесь, подавитесь, — прошептал Иван, чувствуя, как взбухают на лбу капельки пота: сердце оттаивало, требуя себе жизни и пространства для неё...

— Что ты там бормочешь? — Димыч опёрся на его плечо и устало вздохнул. — Слушай, я завтра и впрямь рвану в райцентр. Здесь с ума сойдёшь. Руки-то — вот они! — он вытянул перед собой огромные мозолистые ладони. — Я любое дело потяну.

— Потянешь, — кивнул Иван, ухватил его за руку и с силой сжал. — Не огуречные мы с тобой люди, будем работать, а если что, постоим за себя.

— О чём ты? — Димыч оглянулся по сторонам. — Перегрелся на жаре?

— Может быть, — неопределённо пожал плечами Иван. — Ладно, завтра жду тебя. Где меня найти, знаешь. И еще... Вот, это для Нины, — он вложил в руку Димыча скомканную десятидолларовую купюру. — Донесёшь?

— Да, — тот согласно качнул головой, подтянул повыше буровато-зелёные трико и побрёл прочь от магазина, в сторону своего полузатерянного дома.

А Иван тут же забыл о нём; он увидел бабу Веру. С полными мешками за спиной сменяла она к своему законному торговому месту, царапая асфальт чугунными истоптанными ботами. Когда она совсем приблизилась, Иван улыбнулся и вполголоса попросил:

— Мамушка, научи меня петь Херувимскую.

Псков, апрель 2006

Татьяна ЧЕКАСИНА (Москва, Россия)

ОБЛУЧЕНИЕ

(Батальонная любовь)

«... Чтобы, испытывая желание, она пылко отдавалась любовному наслаждению и оно пронизывало её насквозь»

(Марон Публий Вергилий.

«Георгики» — «Земледельческие стихи»);

«... и завидовать мёртвым»

(Из библейских пророчеств)

ПРОЛОГ

Раскалённый шар упал возле неё в казахстанской степи. Жаром тянуло от него. Рыжий-рыжий жар... Золотое сквозь веки свечение. «Я счастлива», — сказала она. «Пока нет», — ответили. — «Неужели можно быть ещё счастливей?»

Когда её подобрали, никакого шара: зрение вернулось; никто не поверил: «Голоса?! Ты перегрелась — не удивительно, если идёшь без шляпы под палящим солнцем из Кызыл-орды в Кызылжар...»

I

Мы с Кукурузовой, как всегда, сидели рядом за плотно сдвинутыми столами. Зашла Дуськова, а с ней та, которая до зимы будет главным предметом наших разговоров, загадок и открытий. День — мощно солнечный, апрель.

— Познакомьтесь, новенькая...

— Лёка Воробьёва! — так представилась, со вкусной звонкостью «пролёлёкав» интимное, как мне слышится, «ё». (У нас зовут по именам за редким исключением — принято по именам-отчествам, воинским званиям, у кого имеются).

Нас вообще-то огородили: навязали кадр, архаическую белоручку; вскоре подтвердилось: хлеб режет безобразно; а видок — кукольный: лицо из чего-то неземного отлито, гладкостью облитое, светится молочно-фруктовой пропиткой; кудри — устремлённые ввысь антенны; тряпки у непривычных вызывают косоглазие, иные дефекты зрения; запах — куст райских цветов: воздух в «спецчасти» (так именуется помещение) разрядился лёгкой грозой, и на серой стене у портрета навечно застывшего вождя блеснула радуга; тут же прозвали «генеральской дочкой», что, в общем, соответствовало действительности.

— Работа у нас несложная, но требует знаний пунктуации, орфографии. — Я, прогнувшись гувернанткой (она же, свободная, повелительно наблюдает за объяснениями: нужны-то не мне — ей); на только утром впёртом столе, добытом завхозом, отмытой ротой солдат, покорно раскладываю бумаги: — Вот, пожалуйста: ди-сло-ка-ция, де-марка-ция, ре-ко-гнос-ци-ров-ка...

— А кто-то может неправильно написать эти слова? — Наивно выплеснулось из жеста рук, сверкнувших ногтями: длина и декантентская окраска ввергли меня в лёгкий ступор, ощутив который Кукурузова задышала (пыхтит, сопит, выдаст):

— Дома хорошо сиднем сидеть?

— О, да! — кивнула новенькая, словно иностранка: не понимая, о чём, но боясь показаться невежливой.

— Я бы побездельничала, — продолжила Кукурузова, — да денег нет..
— О! — Лёка неприятно удивилась, будто к ней в трамвае пристал пьяный.
— Без матери-отца я с пятнадцати лет, почту разносила, потом — техникум, институт заканчивала с трудовым стажем, — неостановимо уже пыхтит Кукурузова.

— А целина, Казахстан, — напоминаю о её главной гордости.

— На целине я трактор водила, — (с небрежностью аса). — И теперь не чураемся лёгкого дела на земле: почва оттаёт — пахать поедем, без огородов никак — дети. А вы, стало быть, не знали радости труда?

— Да-да-да! — прозвенела Лёка, будто механически подхватив последний слог, будто кнопку нажав, перейдя в некий «автоматический» режим... — Извините!

Мы усталились на неё заворожённо.

Так отпала «тема труда», но впереди другие темы...

Нам бы, уразумев, с кем имеем дело, не держаться стереотипа: молодая-глупая, нигде не работавшая, мы, немолодые, научим (дети от нас натерпелись немало добра), так нет — второе дыхание обрели, произнося рекомендации от сердца нашему общему как бы ребёнку — сотруднице, скоростно освоившейся, благодаря (так определили, но позже выяснилось — неверно) прилежанию, не встреченному в средней школе мной, отбарабанившей три года учителем русского и литературы.

Изготовясь полюбить эту девицу материнской любовью, подняли, несмотря на неудачу «темы труда», вопрос о «внешнем облике молодой труженицы»; пример перед ней — мы, одетые в старо-безобразные юбки и блузки (если прохладно, — поверх такие же кофты, жакеты). А в чём ещё? Территория воинской части, где каждая особа женского пола на виду! Причём скромно-мерзковатые: у Кукурузовой — химическая завивка из мелких кудряшек, делающая её огромное лицо толще; у меня — хвостик на затылке, стянутый аптечной резинкой (при тонковатом носе — вылитая крыса). Никакой косметики.

С нашими замечаниями Лёка согласилась («спасибо-спасибо»); на другой день — юбка ещё уже, серьги ещё длиннее, глаза подведены, о волосах не говорю — фейерверк; а тут как раз майор Толя Звягинцев, начштаба, для нас вроде подружки (попросим: «Вывези на природу!» — «Есть», — подан его «москвич» с ним за рулём; минуем город, шоссе, располагаясь на поляне для солнечных ванн; сами себя захватившие врасплох, без купальников в неприглядном бельишке, «подружка» в стороне, сняв китель, выкатив пузо, подставив лысину свежести ветерка; отдохнули часок — пора и обратно на рабочее места).

— Это — Нефертити? — разглядел серьги сквозь очки.

Другие офицеры, забегающие, рады поболтать (жалуем лишь давно служащих) — без вопросов, онемев. Подобного не бывало никогда. Слово «никогда» звучит, как «воинский устав», лимитируя, создавая приятную чёткость.

Придётся ещё одну тему — духовной жизни: легкомысленная внешность — результат её полного вакуума.

— Вы чем заняты на досуге? — врубаю «учительскую улыбку» — по определению Кукурузовой, подсказывающей с профессиональной осведомлённостью воспитателя детской исправительной колонии (прежнее место работы):

— Танцуйки, киношка: индийские фильмы...

Лёка игнорирует сказанное обеими, будто мы без тел, душ — тем более, провоцируя говорить громко, словно перед классом:

— Рекомендую чтение серьёзной литературы: «Как закалялась сталь» Николая Островского, Макаренко «Педагогическая поэма»...

... с Пушкина, — гудит Кукурузова. — Я, если нужен ответ на важный вопрос, смотрю: а что он рекомендует? Учитель жизни.

Тут Лёка, для нас новово, отключилась от действительности, войдя в «автоматический режим». Сие явление (вообще-то) — хохот.

— Ах, простите! — И закатилась.

Смех её особенный до сих пор звучит, будто не во мне, — под куполом цирка, который жизнь (одним — с метлой на арене, другим — полёты в вышине); и не смех, иной язык, на него переходила, улетаая, о чём мы, к сожалению, получили сведения довольно поздно.

Побаиваться стали, уж не только потому, что родня начальственная, а — странная, непредсказуемая.

Из дневника:

«Разбилась реторта», — они послушались Ашота Меружановича: сенсорная недостаточность, отсюда эти состояния; наконец-то выход...

Сон: будто я в центре стеклянного шара (пробирка гомункулуса?), и — звон (пугаюсь осколков, летящих мимо); между острых зубурин — открытое пространство с ландшафтом, напоминающим гоголевский: краски яркие, чудные. Проснулась радостно. Толкование вдовы: посуда бьётся к счастью не только наяву, но и во сне.

2

Мы с Кукурузовой день начинаем проклятьями: она ругает, поносит, обкладывает, потом я: сволочу, клян, посылаю подальше; закончив, приступаем к вычитке. Новенькую не берём во внимание: глухонемая, взирающая на обычных людей без сожаления, что не слышит.

— Зарраза, кто придумал — номера на руках...

Очереди в советской стране, где мы живём, за мебелью, коврами, холодильниками, импортной одеждой, обувью. С продуктами не легче.

Сочувственно вытягиваюсь, напрягая плоское тело навстречу пациентке (я в этот миг целитель).

— Встала засветло, прибегаю, а там уж пишут; мне достаётся триста двадцать шестой, с ним возвращаюсь собирать в школу Димку, который зря время не терял: на новый палас гуашь пролил; давай отчищать, забылась...

Простонала я в ответ сочувственно: мне ясна трагедия уничтоженного номера.

— В магазине толпа; мой номер (видишь, рядом с большим пальцем цифра «три» сохранилась?) на втором закруте от прилавка (крайние — на улице). «Надо было беречь!» — орут. Не пустили! Заняла снова. Не жизнь, зарраза!

И я поведала, как в молочную пришла за солёным маслом, а продавец, «не расслышав», к несолёному разворачивается... Вы что даёте, — воплю, — оно прогорклое, вчера купила — зря деньги потратила, мне того, что привезли свежее!

Увлечись, не засеки: девушка-то не как слабо слышащая: на личике фарфоровом (маска театра Кабуки) нет эмоций, но флюиды (парапсихология, — да простит по «диамату»¹ профессор, считавший меня в пединституте лучшей студенткой).

— Вы читаете «Литературную газету»? — спрашиваю без надежды на утвердительный ответ — не «Мурзилка»².

Выщипанные брови чуть поднялись.

— В одной из статей о «телефонах доверия». И, не дожидаясь, пока у нас в городе заработает эта полезная служба, применяем на практике (сидим рядом, не видя лиц друг друга: похоже на разговор с терпеливо слушающим абонентом); лекарство наподобие инсулина для диабетика, чтобы не оказаться в коме. — Вдалбливаю (так в своё время образ Рахметова).

— В какой... ко-ме? — Кажется, оторопела от столь научного обоснования.

1 Диалектический материализм.

2 Название детского журнала.

— Психологической! (Господи, до чего далёкое от земных тягот существо!). — Мы готовы и вам помочь, если расскажете об огорчениях (какие у тебя огорчения, не жизнь — малина, — злобствую тайно); вдруг вижу: мелькнуло в этом лице замкнутом (от тупости — решили огульно, за что поплатились в скором будущем) близкое мне, умудрённой опытом (смерти родителей, свои болезни, не говоря о детских детей), страдальческое выражение (или почудилось?); в следующий миг глаза, как заведённые, округляются неостановимым весельем:

— Ах, простите! — И — переключка.

Да, зря «не брали во внимание»!

Отсмеявшись, продолжила работу; мы опозорены. Почему? Не знаю. Посрамлены.

— А коллектив? Как быть с нашими «пациентками» при такой «свидетельнице»? — Подумали мы с Кукурузовой: информация о «психологической помощи» давно просочилась — клиентки потекли (основные темы процедур: «Муж пьяница», «... загулял на стороне»); жена такого мужа приходит злая и тихая, иногда буйствующая и в слезах — зависит от её характера, возраста и степени пьянства и загула; у нас, в «кабинете доверия» (так окрестили постоянные пациентки) обстановка располагает: садись на гостевой стул, — «свет в морду» и «докладай» (из лексикона подполковника Дуськова); остальные сотрудницы в «казарме» (название соответствует функции этого помещения в прошлом); даже главная канцеляристка Дуськова с инспектором «особого отдела» Недостреляной Ираидой Исидоровной за перегородкой, но там же; мы с Кукурузовой, хранящие грамотность в документах (пунктуация, орфография), отдельно, но теперь, вроде, нет: Лёка.

Не успели ничего решить насчёт коллектива, ба, на порог с плачем-воем лейтенанта Подзаборина жена, закрывшая на ключ квартиру с мужем, чтоб не смог уйти в магазин, купить бутылку и напиток, что тот исполнил, слазив к соседу по балконам, но на обратном пути, уже не будучи хорошим эквилибристом, одеревенел от страха на перилах (вызов пожарных и принудительный переезд этой семьи с пятого на первый этаж офицерского дома).

— Говорит: «Пью, как другие».

Мы с Кукурузовой (местные психоаналитики) работаем слаженно, два автоответчика.

—... значит, ему надо меньше других, — резюмирует моя коллега, в этот момент — нарколога.

— Другие, — (присоединяюсь), — не ходят по балконным перилам и по карнизам...

Общий вердикт: «Защить!». Офицерская жена приободрённой покидает исповедальню, но её сменяет капитанша Ухарева, шипя гадиюкой:

— На службу утром пошёл — майка под кителем (точно помню) была на правую сторону, вечером вернулся — на левую: у соперницы среди дня побывал! Отравить бы стерву да уехать в Мелитополь...

Травить не надо, а уехать с детьми на юг обязательно! Напоминаем: в прошлое лето тотчас последовал за семьёй, отпросясь у начальства.

— Детей любит, — светлеет лицо офицерской жены.

Батальон, где мы служим, — орган, искусственно вживлённый в тело города, — проходной двор; им протаскиваются офицерские семьи (канцеляристок набирают чаще из жён), увлакиваясь за черту нашего специфического в их судьбах участия. Прибывшие из учебных заведений, из более глубокой провинции старательные служаки, часто неказистые (пример — майор Звягинцев, подружка наша), это — «глядящие в загранку», на боевом пути препятствия: выпивка, женщины (иные сдерживают натуру из последних сил); «не глядящим» провинности навсегда отрезали туда путь; прибывшие из самой «зэгэвэ» (Западная группа войск) имеют лоск, внешне соответствуя идеалу военного, если не считать отражённой в глазах побитости: у одних проходит, у других — никогда: в итоге скатываются вплоть до отправки в отдалённые гарнизоны (Чирчик), а там и Кандагар...

Когда уходит следующая «клиентка», мы с Кукурузовой, получив заряд счастья, не в силах управлять порцией новой энергии, бьющей наружу, давимся смехом, вынужденным оборваться: перед нами — Лёка с видом свидетельницы не помощи людям, а неловкости, не замечаемой человеком воспитанным; от нашего смеха у неё краткий нервный тик, но мимика вновь заковывается; сама на вершине, а мы в помойке, роемся в своём и чужом дерьме. Итог — желудок светло, кислотность подскочила, хлынула кислота, обжигая внутренности.

Из дневника:

О, сколько лиц! Человеческая комедия (она же трагедия)... А меня явно принимают за кого-то другого, нечто от гоголевского ревизора. Самочувствие великолепное! Если так пойдёт, можно ответить на вопрос некоторых пессимисток: «Зачем тебе этот батальон?».

3

Первого мая по традиции всем коллективом в лес!

На разостланном брезенте — пакеты с варёной картошкой, колбасой, банки с домашними соленьями, квас, минералка... Мы с Кукурузовой, доставая посуду, замечаем капитан Морковников без жены; Лёка, будто сумасшедшая.

— Какая звёздочка зажглась в «спецчасти»!

— Не на вашем погоне, товарищ командир!

— Насчёт погон ещё посмотрим...

— «Капитан, никогда ты не будешь майором»...

— Кто так режет хлеб, сал-лага! — ласково отбирает из её руки огромный тесак, раньше времени появившийся реквизит предстоящей вендетты.

Разгорается, нарастает беготня пыльным лесом. Мы на бревне, как в театральной ложе: поляна с костром среди жухлой травы и новой, остренько зеленеющей; берёза (добытки запивают соком водку); Сергей Морковников, настойчиво глядящий на свои кеды, отводя тяжёлый взгляд из-под чёлки цвета грибов-лисичек (экий «вьюношь») от главного «объекта по курсу» — Лёки в узких жёстких голубых брюках (все с катушек: джинсы! У меня дома вой, по воскресеньям — на толкучку, последние рубли, дико обтянутый зад; дочери пошли — я такой не была, да и теперь денег накопила на новые туфли югославского производства, купить не решаюсь).

— «Где ж ты мой сад, вешняя заря!» — отчаянно завыли наши женщины; пение прогнало от костра всю (более или менее) молодёжь для игры (я тоже в молодости любила: пальцы «в замок», голову закинешь — небо, откуда снижается мяч обещанием скорого счастья).

В ельнике — снежные остатки, над поляной — солнце (катастрофически радиоактивное), но офицеры, молоденькие жёны и Лёка охвачены общим азартом, в котором мы распознаём индивидуальный: мяч-заряд, попадая в Лёку, возвращается к Морковникову, ударяя его. Электричество. Оба под напряжением: когда приблизились друг к другу метра на два, как не скрутила их некая космическая сила в один клубок и не унесла с земли...

До раздевания дошло: парни — по пояс (только не Серёжа, стеснительный в синем спортивном костюме, — волейболист на тренировке); стянула свитер Лёка, оставшись в маечке, проделав «стриптиз» с решительным видом; его качнуло не от пойманного мяча, от белого сияния голых плеч и рук. Теперь пасовал осторожно, будто она, разоблачившись, предстала хоть и живым, но (под одеждой незаметно) бьющимся предметом.

Все выдохлись, а Лёка играла с Морковниковым (у костра и на бревне решили: спортсменка); но что творилось на обратном пути сумеречным лесом к поджидавшей у дороги бортовой со спящим, но разбуженным солдатом! Серёжа свою куртку набросил ей на плечи! А когда расселись по лавкам, привинченным к полу кузова, — уж обнимал, поддерживая, чтоб, значит, меньше толкало на ухабах, имея лицо отворённое, прося-

щее коллектив не настучать... Они пошли рядом (нам с Кукурузовой не туда: свернули в свою сторону — накрапывало, они — в свою).

Гроза грянула первая (в «начале мая»): сверкало, грохотало. Я — без сна.

... Морковников прибыл из военного училища длинный, худой (новенькая охровая форма: недозрелая морковка бледного цвета, фамилия казалась подходящей), за десять лет превратясь, пардон, в хрен, не в старый (ему нет сорока). Но — такой же стеснительный (главная черта): не орёт песен в подпитии, не рассказывает пикантных анекдотов, говорит мало... Поверхностная характеристика: в стыдливости с целым спектром покраснений от рыжего до терракотового — странность, не зная раньше, ляпнем (не скабрёзное, а так, маленькая фривольность), а он, терновый куст, вспыхнет. После супруга поведала некоторые тонкости интимного характера, приведшие нас с Кукурузовой в девичье смущение, и — шутки в сторону.

Едкая кислота отчаянья меня затопила под ехидный шёпот дождя; в голове: пасовка по кругу, «генеральская дочка» с высоко поднятой молодой грудкой, капитан Серёжа... Она — покорная, он — опасно-робкий... Н-да... «Звёздочка» слетела...» На кухне окно скрипит! Закрывает со злобой, поранив палец о ржавый гвоздь (тут не только ногти лаком, лет двадцать назад маникюр в последний раз...) Вовка спит, вечно развалился, место занял, кровать пора другую... И... месячные (опять задержка? О, только не это!) Дождь косой с ветром в стёкла долбанул...

Из дневника:

Мы шли (хлынул дождь), я промочила ноги; у нас во дворе лужа, угодила и в эту; смеялись, напугав охранника (высунулся). В лифте зеркало на стене: растрёпанные, словно два ученика спортивной школы (сегодня вспомнила тренировки, соревнования, призовой кубок, дрожащий в моей детской, но капитанской руке); под мужской курткой — в коротеньком пальтишке — девчонка, которую не отпускали, но она стащила куртку брата (у меня нет брата, я никуда не сбегала; мне разрешили «от сих и до сих»; возвращалась, как солдат, сменяющий другого на посту). Едем на третий этаж три минуты, но это — перемещение во времени. Дверь под коричневой кожей, перетянутой крест накрест ремнями (портупея на груди гигантского вояки); медная табличка сверкает золотом денищицкого труда. Мраморная площадка устлана зелёно-красным ковром, напоминающим фуражку пограничника, заставу среди песков и скал, живых маму и папу; здесь — полоса демаркации, через неё перевозжу своего спутника. Хватит описывать лужи у дома, лифт, дверь, ковёр, надо звонить, чтоб открыли.

Мы входим. На бесстрастном лице вдовы майора Турсина лишнее выражение на миг: «О, вы с мужчиной». Тут же вымуштрованное: «Как хорошо, что вы с гостем».

Смотрю ей в глаза чуть дольше.

— Тим Кузьмич в штабе, — сообщает нужное.

В моей комнате есть ванная за перегородкой, — личное удобство, подмеченное гостем. Вдова вкатывает горячее молоко и булочки; но мужчине надо поесть и выпить, — вкатывается целый гастроном (взгляд спрашивает: «Неужели вы будете тоже что-нибудь из этого есть и пить?») Когда едим (я тоже), с ногами плохо: синюшно-фиолетовые, пробую растирать, движения замечены. Садясь на ковёр у дивана, берёт ступню, — подобранную на дворе в мороз птичку (умещается в длину: его ладонь плюс средний палец, и это нас смешит); греет обе попеременно. Его глаза делаются упавшими (от цвета моих ног?):

— Что с вами, товарищ капитан?

— Дверь закрыть? (Не из-за ног, ура!)

Делаю вид, что слушаем магнитофон, «Битлз»; смотрю в глаза, ничего не желая совершать самостоятельно; доверяю, доверяюсь, отдаю свои ноги, руки, которыми распоряжается по своему усмотрению.

— Ты — хороший руководитель...

—... с таким подчинённым...

Передо мной не врач, но не стесняюсь (врачей — до сих пор). Повторяю за ним движения, разделяя его интерес; в этом — спокойствие, естественность; для меня, ставшей его зеркалом, важно не исказить реальности, которой является он, действующий: не умею быть чьей-то, боюсь в дуэте исполнить не свою партию. Иду по карнизу: неточное движение погубит обоих, выведя из сна, лунатиков, не достигших слухового окна; он побаивается — сорвусь — и осторожен: мы ведём диалог обрывочных фраз, слов, движений; я не имею Я, но в этом высшее проявление моего Я: сейчас, когда нет отдельно моей жизни, отданной другому, пусть играет мной (на мне, как на инструменте); я тоже учусь играть на нём, у меня получается всё лучше.

— ...Together! — возвещает магнитофон.

Новое облучение состоялось (сверкание было); раскалённый жар его глаз, его тела, шёлкового от рыжих волос. О, радостное земное облучение, распечатавшее мою жизнь, превратившуюся в консервы для космического употребления.

— Ты совсем девочка... Никогда бы не подумал, такая весёлая девица...

Такая весёлая девица проводила его в четыре утра в переднюю спящим, а, скорее, в ужасе затаившимся домом. Такая весёлая девица сама впервые отворила дверь в такое время суток на лестничную площадку, отразившую его безжалостно во всех зеркалах; ношенные кеды протопали нейтральной полосой, которую переступил. О, милый преступник, ломающий застарелые льды! Промчалась к окну ванной комнаты: он шёл двором, тень впереди; вышел за ворота... Я счастлива. Разве можно быть ещё счастливей? Легла спать.

Проснувшись, увидела на полу полотенца голубые и розовые и два халата на ковре в обнимку, из окна — пионеров у забора, целый отряд; засмеявшись, отворила дверь в коридор...

...Они бросились ко мне, сделав вид, что хотят пригласить к завтраку (такого не водилось, чтоб человека целой толпой звали к столу!) И говорят: «Иди, остынет». Им хватило ответа в одном моём взгляде! Как я их люблю!

4

Мы с Кукурузовой после праздника на работе, поджидая Лёку в нетерпении.

— Извините, заспалась! — Праздничная: белая блузка, кружева (как невеста).

И «жених» влетел, слишком смело и небрежно; бумаги в руках дрожали, будто сердце — компрессор, вроде того, что за окном долбит асфальт (каждую весну на том же месте).

— Здравия желаю! — нам, и — к Лёке. Что сказал — не слышали: заглушил треск с улицы.

Её ответ в промежутке работы отбойного молотка:

— Оставили в живых!

Он — к дверям. Мы с Кукурузовой:

— Документы, Сергей Григорьевич!

Швырнул папку на край моего стола. Лёка — следом. Мы — к окну: парочка порознь (но близость крайняя) — двором к клумбе, где проросла вольная трава. Остановившись, жестикулируют: она — обеими руками, он — скованно одной (вторая — неприлично (!) в кармане брюк, да и против устава: если старший по чину — нечем отдать честь); у них всё произошло — переглядываемся, — скорость космическая.

Возвратясь с перерыва, слышим:

—... он такой... шикарный... Мне давно надо было в батальон.

Всё великолепно. Позвоню вечером. Милка, не плачь.

Ей «давно надо было в батальон»... «Милка, не плачь» (подружка, видимо, тоже чья-то дочурка: делать обоим нечего, только висеть на телефонах, и домашние к их услугам; нам — шиш поставят). Кукурузова (её все боятся) — паровоз, готовый к отправке:

— Сергей Морковников прочно женат.

— О, да! — И Лёка испугалась, а, может быть, притворилась в надежде, что отвяжется?

Ишь, чего захотела! В конце концов, мы несём моральную ответственность за то, что происходит на пространстве «спецчасти»! В нашем тандеме я — амортизатор:

— К СОЖАЛЕНИЮ (надо бы — к счастью, да оговорилась), он любит жену. Она — идеал женщины. Во всём военном округе — первая красавица. «Сдобная»: здоровье, мощь.

— О, да... — повторила Лёка, но с ученической покорностью.

Вдохновившись реакцией (в душе я наставник молодёжи), описываю детей: девочку, похожую на Инну Викторовну, «красивенькую булочку», мальчика, — копия Сергей Григорьевич («Мой папа — товаЛишь капитан»). Кстати, и его зовут Серёжей.

— Дети без отца — наполовину сироты. Вот я потеряла родителей рано... — заводит суровую песню Кукурузова. (В мои обязанности входит управление этим асфальтовым катком.)

— Конечно, — одёргиваю взглядом. — Дети — цветы. И ни к чему разрушать крепкую офицерскую семью, тогда как есть холостые. Эдуард Носырев, например, молодой лейтенант.

— Счас пожалуйет за своей писаниной, — обещает Кукурузова.

С этим не вступаем в разговоры, и без того болтлив, на сей раз интересуюсь:

— Как успехи, Эдуард Трофимович, попали на концерт Магомаева?

— Да! Были трудности, которые удалось преодолеть, выйдя с честью, но я всегда, если надо ради великого искусства; понимающие люди, как я, в своё время учившиеся в музыкальной школе на фортепианном отделении; бабушка, помню, взяла за ручку, отвела, и недаром... — Так может долго. Взгляд смастерил «не армейский»; красив, единственное: нос — клюв глупой птицы.

Лёка не узнала (на поляне вместе играли, не один же Морковников... Этот даже прокричал: «Лёка, вам не взять мой пас!» На что та отбила, и Эдуард в поисках мяча надолго пропал в кустах, развеселив нас, зрительниц).

—... билет продала старушка. Её мужа-старичка перед самым концертом увезли на «скорой» с приступом стенокардии, но он умолял, чтоб пошла, ведь такие гастролы... Моя бабушка...

— Чем же кончилось? — Лёка разглаживала на крышке стола дерматин, тиснённый мелкими ромбиками.

— Арией Фигаро.

— Нет, со старичком.

— С... каким?

— С тем, по чьему билету вы были на концерте, сами же сказали: приступ; умер или жив?

Оцепенение лейтенанта Носырева; а Лёка — в автоматический режим:

— Ах, простите! — откинулась на спинку стула: дёрнулись, включая хохот, руки; брызгами с них — сверканье колец и браслетов.

Офицер Носырев удалился обиженно.

— Бу-бу-бу, гу-гу-гу, ду-ду-ду, — громоподобно просмеялась Кукурузова (хорошо: кратко), добавив непедагогично: — Такой зану-ну-да...

— Эрудит, холостой, — напоминаю нашу цель.

—... грамматика у него в полном порядке: пунктуация, орфография.... — опоминается она.

Лёке подсунили нарочно: пусть поймёт девушка, каков предмет её воздыханий. Смотрим: корпит, а мы рады (померк в глазах!). Он лёгок на помине: дверь — настезь, плечи — вразброс, китель — нараспашку:

— Где тут моя сводка по стрельбам заваялась?

— Дочитывают, — киваю на Лёку.

Он от меня отвернулся (посадили её тут: не работа, бардак).

— Что ж вы так медленно, надо по-военному: раз-два... — басит ласково.

— Все предлоги слитны у вас, товарищ капитан...

—... но «с водка» написано правильно: «с» отдельно. — Наклоняется, «интересуясь текстом», на стол положив руку, покрытую с внешней стороны кисти волосами, будто выкрашенными хной. Не могу отвести взгляда от этой «шикарной», по Лёкиному определению, к которому неожиданно присоединяюсь, руки, убранной на спинку её стула, а может быть, на спину, на замок лифчика под блузкой...

— Только одно слово вы написали верно, — Лёка смеётся тонко, от щекотки: рука там, где я подумала.

— Какое? — («ищет»). — Не может быть, неужели нецензурное проскочило?..

Она опускает глаза.

— Какое слово, Лёка? — таким тоном! Невозможным в «спецчасти»!

— Потом скажу. — Поднимает на Морковникова взгляд, в нём — распластанность перед ним, мужчиной.

Из дневника:

Не чувствую ни малейшей вины, хотя источник любовной энергии в женщине, но её поражает нечто свыше; мужчина становится заложником силы, охватившей женщину, но и она — заложница. Себе на радость.

5

Мы с Кукурузовой следуем привычным маршрутом за колбасой русской по два де-вяносто. И Дуськовой, и Толе Звягинцеву обещали, чтоб это начальство нас и дальше отпускало во время рабочего дня шастать по магазинам. Ещё — Морковникову.

— ...На тебя взять? — спросила: шёл коридором навстречу.

— Возьмите, — сделал одолжение.

— Ты ему — бюро добрых услуг? — ворчит Кукурузова по пути в «стекляшку», куда завезли сегодня свежий товар.

— А Инна Викторовна? — изворачиваюсь: мол, Серёжка ни при чём, его жена — наш единственный блат. — Безграмотный казак... — Дополняю ни с того ни с сего.

— «Г» произносит фрикативно, — соглашается Кукурузова, — гора; руки кажутся маленькими и вывернутыми, выпихнутыми мясом боков.

Мне неловко: брякнула. Опустив голову, вижу мостовую под обутыми в потрёпанные босоножки своими ногами в матовых старушечьих колготках.

Очередь. Духота. Лезут фронтовики, используя привилегии; прут ненасытные пенсионерки; мы — плечом к плечу, озлобляясь; когда втиснулся кудрявый громкоговорящий еврей, завопили: «Этот не стоял!» Но откуда-то вынырнула старушка, и я узнала в ней ту, за которой занимала лично, мамаша, видно... На обратном пути вопрошала: разве национальность имеет значение: русский, еврей, турок — жрать хочется на равных...

Кукурузова — стыдливо:

— Они редко в очередях, немудрено ошибиться.

Входим в «спецчасть»: капитан Морковников — прыг от стола, где Лёка с ножками под взлетающей юбкой не вместе, а врозь! Смущённо соскочила, а герой исчез с места происшествия, не спросив про колбасу. От Кукурузовой трубный пыхтёж (астма грянет!), а потому скрепила себя:

— Погодка хорошая, прямо лето.

— Ещё черёмуха не цвела, — взяла и она себя в руки.

— Всё уж отцвело. — Реплика из пьесы, сама Лёка в облаках, на дереве... птичка на ветке. Тоскливо опершись головой о кулачок, другой рукой — по крышке стола: дерматин натянут слабо, под ним — доски.

— Вы что, любви не знали?.. — мой материнский вопрос.

— В общем, да. — Пальцы проминают борозды между досок, образуя «киветы» вдоль «дорог».

Кукурузова, готовая атаковать, надула щёки: лицо — шар с нарисованными глазами, носом, вялыми губами, большими; всё безразмерное: никогда не была девочкой, сразу — тёткой, такой родилась, живёт:

— Вы что же, девушкой ему достались? — Прямой наводкой в цель.

Лёка смахнула продавлины на столе, ставшем гладким, и — на свежий воздух.

В окно видим: походка беззаботная, но перед будущим цветником (почва вспахана, разбросан неестественный для округи, серовато-каменистой, жирный влажный чернозём, похожий на театральный бархат) останавливается, с ненормальной сосредоточенностью глядя в клумбу: ждёт, что ли, — «занавес» раздвинется и на волшебной опрокинутой навзничь сцене явятся цветы, какие-нибудь существа.

— Медитирует, — усмехается Кукурузова. — Самовнушение. Помнишь Иноземцева? Его жену встретила: йога, говорит, «пытался выйти в астрал». Теперь в психушке. Давай пожуём колбасы...

Меня трясёт, чуть не плачу; едкая кислота отчаяния: что Лёка делала, сидя на самом краешке? Тебе работать поставили стол, а не вытворять на нём... Она в колготках. А, случайно, не в чулках ли с поясом? Если в них... А Морковников (его руки у неё на бёдрах) стоял близко ... Он был одет... полностью? Конечно: слишком резво отскочил! «Всё отцвело!» Нахалка!

— Плевать! — бодрится Кукурузова, самой тоже не по себе: съела, тихо шевеля подбородками, маленький кусочек; может за раз триста граммов с белым хлебом, а торт «Наполеон» (когда чей-то день рождения или по случаю звёзд): «Мне четверть»... Я мало ем: желудок, а потому мы с ней, как «толстый и тонкий».

Обсудили бывшего сокурсника: и раньше был придурком с «идеалистическим мировоззрением», невозможным ни у кого в нашей атеистической стране. Провели процедуру, начав с меня:

— Соседи опять залили: потолок с пятном, словно пододеяльник с круглой дыркой для одеяла. Ремонт делали прошлым летом; как ты знаешь, Вася организовал (Вася — муж Кукурузовой). Вызвала инженера из домоуправления, а та говорит: «Мы ничего ремонтировать не будем!»

— Надо на этих верхних соседей подать в суд; у нас пенсионерка отсудила у алкашей, но когда заплатят... — предлагает не слишком оптимистично Кукурузова и, чтобы чуть разрядить мрак, смешит: — До двенадцати не могла уснуть: в подъезде подростки с гитарой. Говорю: как котят повышвыриваю — не верят; взяла одного под мышки и вынесла во двор. «Молодец, «Жеботинская!» — дружно проорали.

— А Вася?

— Васю приберегала для решающего удара, он уж спал, да и послушались.

— Будить Васю сложно! — Напоминаю семейный пикник, который он проспал у костра.

Мы работаем, вычитываем тексты, но ещё какое-то время улыбаемся общими улыбками нашей похожей жизни. Кислота нейтрализовалась.

Из дневника:

Лежала у окна, глядя в небо: плыли облака, подавшие «Знак». Стараясь жить в диалоге с Высшей Силой, которая, конечно, Бог, сделала попытку расшифровать: ещё какое-то время будет очень хорошо, а после... солнце уйдёт за плотную (чёрная дверь) тучу. И не вернётся. Никогда.

Из книги (притащила Милка) под названием «Записки у изголовья» (автор — древняя японка Сэй-Сёнагон): «Однажды слуга, посланный придворным, принёс мне ветку сливы. Цветы с неё осыпались. К ветке была привязана записка: «Что вы скажете на это?» Ответила так: «Осыпались рано». Придворные, толпившиеся возле Чёрной двери, принялись

скандировать китайскую поэму, из которой я взяла мой ответ: «На вершине горы Даюй сливы давно облетели»...»

6

Мы с Кукурузовой по аналогии с первым мая ожидали событий и от следующего праздника — Дня Победы, отмечаемого позади военной территории, где оживлённая улица представляет из себя подножие горки, поросшей берёзами и кустарником, на самой вершине с широкой поляной, «обставленной» плоскими камнями, на которых, подложив газеты и куртки, можно сидеть, как на скамьях.

Весь день небывалая жара, а тут прохлада, сумрак... Выпиваем, закусывая купленными в кафетерии бутербродами: на кусочке хлеба — пласт колбасы, сверху тонкий ломтик крутого яйца, а поверх него — широкий «листик» солёного огурчика.

Офицеры в парадных цвета морской волны мундирах (торжественную часть отвели в актовом зале), женщины принарядились: на мне выходное единственное платье синее, в котором я менее «синий чулок». Морковников подсел немного сзади (камень полукруглый), держа в руке начатую бутылку; вижу, если скосить глаза, его одно колено (второе — ноги широко расставлены, — уже не в поле зрения); чувствую тепло за своей спиной; близко улыбающееся слегка лицо, ровные зубы (когда улыбка в полную силу, ещё та улыбочка...)

— С победой вас!

— И вас, Сергей, с победой.

— С «победами» у тебя всё «хоккей», — не удержалась Кукурузова.

— Мы пьём за победу нашего народа, за его доблестную армию, — спешу исправить, поднимая стопочку над своим праздничным платьем и над его парадкой.

Стемнело в этом небольшом леске, ставшем похожим на сказочный, но я храбрая: рядом мужчина — стена. Мы с Кукурузовой имеем успех: смеются над рассказанным ею, принесённым Васей из стройуправления, где он прорабом, анекдотом: персонаж — копия Подзаборин. Общий гомон, наш комбат подполковник Дуськов в обнимку со своей половиной (против неё он — треть), произнёс тост за крепкую офицерскую семью. Весело! Главное: Лёки нет. Что-то голова пошла кругом от десяти граммов, принятых с отвращением лекарства, и камень приобрёл наклон, и я с ужасом падения начала сползать по его поверхности к Морковникову, готовая натолкнуться на него плечом, но обнаружила: я на краю, опереться не на что: сбежал! Радость праздника выключили. Уходим!

Спуск по тропинке к улице преодолеваю почти бегом, за мной стадом рогатого скота Кукурузова. Выйдя на тротуар, столбенею: под ярким фонарём капитан Серёжа, у него на шее — Лёка в кремовых брюках и в коротенькой блузочке, задравшейся до груди, обнажив верх белого живота (жара, конечно, но здесь — не только): и ничего не видят, нас не заметили, прошедших мимо. Транспорт поджидают? К ней ехать в центр, где все видные здания нашего города: оперный театр (во время войны, в эвакуации, здесь пело немало знаменитостей, да и до сих пор гастролируют на радость Эдуарду-меломану); обнесённый металлической цепью, протянутой в кольца чугунных болванок со шпилем «Дом офицеров», напоминающий огромный танк, пушку которого запроектировали не на том месте, и, конечно, тихий кварталчик из капитальнейших домов за непроницаемым ограждением, — «дворянское гнездо». Я не верю! Морковников разудалый, но не до такой степени: другая должна быть дислокация!

Через пятьдесят метров оглядываемся: там же! (трамвай пробренчал мимо); вот и военный забор; за ним наш батальон: казармы, офицерская пятиэтажка из белого кирпича...

Батюшки-светы, женщина в тапочках на босу ногу, в плащ-палатке, волосы космами; мы — к ней: Инна Викторовна Морковникова, до мужа в обнимку с Лёкой шагов двадцать!..

— Девочки, милые, не выдержу! — Никакая не «сдобная» нынче, серая квашня. Из-под чёрной полы её военного одеяния (прямо часовой на посту, заметивший нарушителя границы) падает тесак для резки хлеба.

Прогнувшись, чуть не подняла, вовремя спохватилась — отпечатки пальцев! Но Инна Викторовна стыдливо и сама подобрала орудие замышленного убийства (мужа? соперницы?).

К убийствам ей, конечно, не привыкать: косая с «косой» в абортном отделении, операции по удалению человеческого плода (конвейер смертей), хотя могла бы как заведующая не делать, но рук не хватает (народ в стране Советов плодиться способен, да вырастить большое количество детей не под силу; предохранительных нет).

— Эта дочка генеральская ему жизнь испоганит. О-о! Не могу: реву третьи сутки. Я маршалу напишу!

— Какие маршалы, Инна Викторовна, — забурчала Кукурузова.

— Ничего особенного не предвидится: дело обычное. — Сказав так, засомневалась, будто включив в голове магнитофон, а на нём Лёкин беззащитный, но и достаточно твёрдый почему-то голосок: «Милка, не плачь...». Господи, голова — стиральная машина, куда побросали чёрное с белым вперемешку: какое отношение имеет эта Милка к чете Морковниковых...

— Вы думаете: и на этот раз, как всегда? — переспросила офицерша с надеждой.

Киваю, сама онаю потеряв.

— Убедите её, — дала задание Инна Викторовна (для нас — генерал).

— Попробуем, — соглашаюсь нетвёрдо.

— Так убедим — поймёт! — Самоуверенность Кукурузовой меня насторожила.

— Если надо, звони, и ты звони, — зоркость врачебная вернулась к врачихе, властное «ты» слетело с поджимаемых после каждого словечка губ, ещё чуть: вместо плащ-палатки забелеет профессиональный халат.

Речь о смерти и жизни; наш выбор до конца нашей жизни — смерть.

Не допустив ненужного столкновения, проводив до подъезда благодетельницу, идём, обсуждая (не приказ, который, понятно, надо выполнить) — метод.

— Думаешь — убедим?

— Всё выложить, — отрубает Кукурузова.

— Может, не надо «всё»?

— «Надо, Федя, надо», фу, чёртова жара...

— ... и про... «инструкцию»?

— Про неё-то в первую очередь! — веско, но будто и не она, я сама внутренним голосом, резонатор которого в низу живота.

— «Инструкцию», — взвизгиваю жалобно (позор для капитана Серёжи!), — на крайний случай!

— Это и есть крайний.

— Тебе что... приспичило? — догадываюсь.

— Девять недель. — Трагический ответ.

— А этот «лисикурин», добытый племянницей? — Сочувствие к ней, рикошетом — к себе. (Одно лекарство пили, и результат, скорей всего, одинаковый.)

— От этих таблеток — пользы ноль, зато астма...

О, боже, рассказывала, бедная: Вася чуть не перевернул телефонную будку с бабкой (трепалась, но от страха выскочила), успел вызвать неотложку..

— И я всегда готова сделать доброе дело Инне Викторовне, — свои подозрения о задержке месячных, можно сказать, подтвердились.

— Тут не только «доброе дело» Инне Викторовне, фу, жара, тут ещё и Леонелле этой Аполлинарьевне, чёрт бы её побрал вместе с жарой. (Сии слова Кукурузовой легли в основу будущего «сценария»).

Насчёт «доброго дела» для Лёки я бы лично не торопилась: пусть крылышки немного обгорят. На её месте я... Какое «её» место? Я что, перегрелась, незажжённой свечкой, мечтавшей об огоньке (как и всякая) от костра, разведённого возле, начала плавиться, превращаясь в лужицу парафина?! Раньше такого не было, думала — не будет никогда.

... Первый батальонный роман Морковникова развернулся несколько лет назад; машинистка, нанятая из гражданского мира, мечтавшая, наподобие Лёки, о первой любви, угодила к тому, кто в этом знает толк, но о чём не подозревал коллектив, поражённый (не только мы) неизвестным тогда молодым офицером (дочка маленькая, сынишка родился, жена красавица). Завопили: скромный, застенчивый, мальчик... И вот те на!

К слову говоря, мы с Кукурузовой не родственницы военных; устроилась она случайно, потом я по её протекции; поставили себя так, что уважения побольше, чем к иным офицерским вдовам (есть тут одна, Ривьера Пименовна Чудакидзе — посмешище общевойсковое); мы умеем вести себя, знаем, что и где можно говорить; флирт, боже упаси, — потому и сидим за военным забором столь приличный срок.

Та дурочка проговорилась у нас на исповеди... Каков извращенец! — возмутились мы с Кукурузовой, срочно созвав руководство профячейки, состоящей из нас, особистки Ираиды Исидоровны Недостреляной и председателя этой самой Ривьеры, тогда немного уважаемой, так как её дочь Алёна ещё подрастала для своей позорной деятельности.

Из протокола заседания:

СЛУШАЛИ: о распространении обиженной женщиной, которой не удалось разбить крепкую офицерскую семью, сколько она ни пыталась, домыслов, порочащих имя офицера. ПОСТАНОВИЛИ: (лучше своими словами) — шугануть из батальона через наше «капэпэ» (контрольно-пропускной пункт). Приказ есть приказ.

Мы с Кукурузовой полюбили воинскую дисциплину, воинские порядки: нравится безоговорочное, необходимое в армии доверие к вышестоящему лицу; в этом — честность, тогда как в любой якобы демократии сплошная ложь: никакой власти демоса в мире нет и не может быть.

Узнав о принятых мерах, Морковников покраснел до самого тёмного оттенка, до корней волос, коротко остриженных, вспыхнувших, озаривших темноту «спецчасти» (прикрыв глаза, я ощущала это золотое сквозь веки свечение); выйдя на плац, лупил из пистолета по мишеням... Тогда-то Инна Викторовна и притащила «вещественное доказательство»:

— Вот, нашла в его воинских бумагах среди инструкций...

Мы с Кукурузовой ознакомились (ксерокс с фотографиями: «Сто позиций»). Срамота!

— Не могу я такое! — прошептала Морковникова.

— А кто может! — выкрикнули мы.

— Всё понимаю: я врач, но ещё мать: дети спят за тонкой стенкой...

— При чём тут дети, перед собой стыдно, — пробурчала Кукурузова, как о само собой разумеющемся.

Мы же с Инной Викторовной переглянулись.

— Нет, я и сама не могу, — исправилась Морковникова.

— И я! Пусть хоть на необитаемый остров уедем с мужем! — заверяю поспешно.

За окном лето, потянуло на природу; уговорили «подружку», майора Толю Звягинцева; когда у Дуськовой отпрашивались, особистка подслушала, выразив желание «проветриться», Ривьеру проигнорировали («москвич» и так перегружен — Кукурузова тонну весит, Толя её на заднее сиденье усаживает, — трудный для перевозки груз: «Посередке сядьте, Сталина Пантелеевна, чтоб не перевернуло!») И вот «в тени под дубом» вспомнила я почти «остров»: наш с Вовкой трёхдневный поход без детей, с которыми уломали остаться свекровь, более не остающуюся с ними никогда; деревья и кусты в проёме

палатки исчезли, земля, близкая, выехала из-под меня, из-под нас, и мне всё страшнее было её потерять; закричала от страха, но ничего не случилось: в теле заработала сама по себе машинка, вроде той, что аборт делают, но вместо боли возникло наслаждение (до этого не знала, после не испытываю никогда)...

Разговор с Инной Викторовной закончился так:

— Эта чушь, — поддела ксерокс Кукурузова толстеньким мизинцем, — инструкция для вакханок... «Любовь», конечно, «не вздохи на скамейке», но... есть народные традиции, в том числе — стеснительность, — и в подтверждение своих слов одышливо процитировала:

*«Ты предаёшься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва отвечаешь, не внемля ничему,
И оживляешься всё боле, боле —
И делишь, наконец, мой пламень поневоле»*

Мы с Инной Викторовной поддержали Кукурузову и Пушкина, разумеется, «учителя жизни». «Инструкцию» с тех пор держим у себя.

А Морковников... Патология — считает его жена, врач Морковникова. Отклонение. Больно признать, мол, но факт. Мы и сами замечаем: иногда тяжёлым горячим взглядом провожает он молоденькую офицерскую жёнушку, вырядившуюся в коротенькую юбочку: супруги коллег — табу. Я бы на месте комбата не допускала к работе в подобных нарядах. Об этом страстно судачим с Кукурузовой, иной раз зубами скрежеща: это всё равно, что на красный свет перед автомобилем, а вдруг у водителя откажут тормоза! С нами ему спокойно (и я горжусь этим!). Так и живёт между долгом, любовью к детям и жене, и любовью (если так можно назвать) ко всякой, если в его вкусе: чтоб при фигуре, при мордашке, да тряпки помоднее; сия неразборчивость также странность: в этом смысле трудно сыскать лучше его благоверной. При том — совестлив, стыдлив: быть таким не хочет, душа противится, а тело...

Почему-то ещё первого мая на поляне, сидя на бревне, подумала немного растерянно: невысоко ты, птичка, взлетела: был бы какой-нибудь принц неземной, а тут — как «сто позиций» откатает — на плац: стрельба по мишеням... (никем не инспирируемый финал). И зачем богиня-гинекологиня всякий раз «точит нож» (на мужа? на соперницу?), грозя «дойти до штаба округа» (как минимум), и мы в обмен на свою бабскую пользу спасаем карьеру её затейливого мужика, добиваясь, чтоб очередная партнёрша по «Камасутре», не дождавшись естественного финиша, с плачем покинула батальон.

Притаскиваюсь домой: осколки на полу (дети стекло высадили из кухонных дверей). Вовка спит крепким сном (вылитая свекровка). Наорала на всех (Вовка не слышал), накормила, отправила спать, вымыла посуду, пол, легла; перед глазами Сергей Морковников, его руки, сцепленные на Лёкиной талии.

А мы с ним? Я — с ним! До чего дружно сидели на камушке: тепло шло на меня от его горячего близкого тела в распахнутом кителе, а колено, обтянутое парадной брючиной цвета морской волны, готовой меня захлестнуть... Выбежала на балкон в ночной рубашке; внизу два мужских пьяных голоса. («Неужели нецензурное проскочило?») Рука размахнулась да как врежет по балконным перилам, и опять ссадина. Одиноко: пустыня... Пустынно — пустырьник. Выпила полфлакона: «Где ж ты мой сад, вешняя заря?» — спросилось с остервенением, с ведьминским азартом.

Из дневника:

Это новое отклонение, уже земное облучение...

От моих бывших «ухажёров» (говорит вдова Турсина), «кавалеров» (тётя), начитанных и эрудированных, не происходило «зажигания» (как в автомобиле, мотоцикле); точнее,

сама не вручала ключ, которым меня, игрушку, можно заводит; думала: фригидность — следствие главной моей проблемы, но, к счастью, нет.

7

Отсалютовали праздники, оттремели парады, мы с Кукурузовой ищем ответы на унылые вопросы: кто виноват и что делать.

— Он не виноват! — выпалила я.

— Ты сегодня в столбняке. — (Монотонным голосом психиатра). — А у меня Димка kota на цепь посадил после чтения («... там кот учёный всё ходит...»), осуществив на практике; пришлось освободить животное.

Улыбаюсь, мне легче.

... — Извините, заспалась!

— Что-то вы, прямо, сурок, — Кукурузова с добродушием.

— О, да! Ночами бодрствую.

В запальчивости понимаю на свой лад — поддразнивает счастливая:

— У вас что, пьяные под окном?.. — (Генеральский дом, охрана).

— Я — сова, ночное существо, — объясняет миролюбиво, удивясь страсти, для неё, разумеется, не понятной.

Платье на ней яркое, абстрактный рисунок не отечественной выделки. Попугай ты разноцветный — злбствую про себя.

Вскоре звонит Лёке по телефону Морковников, просит выйти на прогулку: в скверик, где берёзы, или на плац (учит девушку стрелять в нарушение всех инструкций).

— Не могу, сверяю ваш текст, теперь у вас все частицы отдельно... — (Жаль, ответ не слышно). — ... Справлюсь сама... Ваше руководство здесь не поможет... Я не говорю, что вы плохой руководитель. Но здесь я подчиняюсь майору Звягинцеву... Нет, вы не правы, он «ориентируется». В своём деле. — Трубку кладёт, взявшись за голову, улыбается, ничего не видя.

— Любовь — это жизнь, — подстёгнутая двусмысленностями, приступает к выполнению боевого задания Кукурузова (веки тяжело нависают над глазами размером не меньше, чем у тёлки). — Я со своим Василием Константиновичем познакомилась во время трудового семестра; работали на равных: по очереди водили один трактор; свадьба в студенческой столовке, живём много лет, уважая друг друга, он ценит во мне личность.

Лёка прищурилась, — от высокомерия или оттого, что близорукая (читая, надевает франтоватые «стрекозиные» очки)?

— Мы давно знаем Сергея Григорьевича, — зашептала я, оглядываясь на дверь, — у него... как бы это выразиться поделикатней, есть одна... интимная особенность...

Лёка потеряла прищур не оптического назначения.

— Болезнь эта есть в медицинской литературе, называется...

— Кукурузова готова сообщать детали, но я пихнула её в мягкий бок: не время!

Сам «болящий», улыбаясь, вспоминая их недавнюю телефонную болтовню, садится на гостевой стул, развалился:

— Почему вы не поите меня чаем? — Во взгляде отблеск любовной лихорадки, предназначенный другой, иллюзия: мне.

— Ваша служба, Сергей Григорьевич, столь интенсивна, что нас в упор не видите. — Поспешно (вдруг передумает) под осуждающим взглядом Кукурузовой, экономящей на чае, покупаемом в складчину, сливаю всю заварку (он любит крепкий).

Взгляд поверх чашки, специально для таких чаепитий подаренной мной в День десантника (слегка ожёгся), на Лёку, открывшую один словарь, другой, но, очевидно, не столько работающую, сколько обдумывающую полученную от нас горяченькую информацию; не люблю двойных, тройных смыслов, признаю ясность: белый и чёрный — мои любимые цвета; но жизнь заставит иной раз намекнуть покруче, чтоб достало.

— Как поживает СеЛёженька, наш товаЛиш капитан? — Его ребёнок (рыженький) восхищает меня (мой старше и огорчений приносит больше, чем радостей).

— Ничего, растёт... стал выговаривать «р», играя в солдатики: «Ррота, стройся!». Ладно, я пошёл... — Чай не допит.

Почти сразу и Лёка следом.

— Выяснить побежала! — Кукурузова довольна.

Я — на разведку коридором, имеющим повороты; из тёмноватого уголка:

— Да не слушай их... — шёпот... — Какая ещё «интимная особенность»? Самый я обычный... Лёка, ну, Лёка...

Возня, её смех; и (едва успеваю скрыться за поворотом) — она, явно вырвавшись из объятий, несётся мимо, стуча каблуками; на коротенькой юбочке бантики; ноги голые, ровные и, как у статуэтки, сверхъестественно гладкие.

Заглядываю в «тамбурок»: Морковников на деревянном ящике для песка, прислонясь к длинному баллону огнетушителя. Наши глаза встречаются: у него шальной вид скатившегося с горы, но чувствующего себя ещё на высотке. Закуривает, будто для того и находится здесь (табличка: «Место для курения»; «Памятка»: «В случае возгорания...»); как правило, по кабинетам дымят без зазрения совести.

— Сигарету?

— Не курю, как вам известно, к тому же я — общественный инспектор пожарной охраны.

— Ну-ну.. Огнетушитель никто не спёр?

Какой же ты «обычный», — хочу крикнуть, — ты — лучший в нашей стране мужчина; слёзы откуда-то, просто град; убегаю (так бесславно закончился «подвиг разведчицы»); какая чушь о «лучшем мужчине», которого и знать не знаю; правда, свидетельства имеются.

В туалете плещу водой из холодного крана в разгорячённое лицо. Пузырёк с вальерьянкой (завариваю целые корни: пропах весь шкаф на кухне, весь дом) наготове в кармане жакета. Он болен! Ему надо лечиться! Диагноз поставлен Инной Викторовной, ох, до чего она права! Возвращаюсь решительной:

— До-ку-мент!

— Вначале дверь закрой покрепче, — балагурит Кукурузова, выбрасывая из ящика своего стола «Красную звезду»: между газетных страниц — сцепленные металлической скрепкой грязноватые бумаги.

Я, сидящая с краю, передаю Лёке:

— Ознакомьтесь, пожалуйста. Если кто войдёт, спрячьте.

Она, быстро проглядев, снимает очки, чтобы лучше воспринимать неожиданных для неё в сей миг сотрудниц.

— Его, — торопится Кукурузова, — и вас ждёт в самом скором будущем...

В лице оторопь, но не та, какой ожидали. Возвращает с лёгкостью, не пытаясь углубиться; другие уносили домой: Дуськова — та изучала в течение суток (всё же целых сто позиций, иные требуют от исполнителей невозможной с её комплекцией акробатики). Кукурузова брезгливо прячет «вещественное доказательство».

Отправляемся на обед нашим чётко ухоженным двором в соседнее здание:

— Думаешь, проняло?

— Расчёт покрупнее калибром, скандала жди! — обещаю вдохновенно я, ослепшая.

В офицерской столовой, где по полу на линолиуме звёзды и пушки (военная символика) и над каждым окном — лепнина (гербы страны), над раздаткой плакат: «Советские воины, берегите мирный покой...», Лёка нагло — за столик, где в одиночестве капитан Серёжа, порозовевший при её посадке. Не дай бог, начнутся выяснения прямо тут: еда в горло не лезла (у меня — мясо вываренное, маленький кусочек; у Кукурузовой — блинчики с творогом — двенадцать штук). Лёка доложила, нетрудно догадаться, о чём, он кивнул и — широкая улыбка (зеркало души Мор-

ковникова, в отличие от внешней робости, полна мужской самоуверенности); и ужас: смеются! Она — звонко, раскованно, он — низко, зажато (ему тут и нельзя иначе с чужой женщиной, хоть и в столовой, на службе, офицер); солнце блестит на его погонах, попадая в кольца и браслеты на её подвижных руках, игриво дающих понять, что умрёт она от смеха, ей богу, умрёт.

Просмеявшись, но (казалось), осмеяв нас, умчалась, в след и он походочкой десантника выбросился, бравый военный, впереди светит «зэгэвэ»...

Не достало! Права Кукурузова: случай крайний. Нечего сказать, удружили Инне Викторовне! А я вздрагивала — мера крута! Что ж, умеем покруче!

Идём двором обратно, догоняет Ривьера:

— Вы заметили, девочки, в столовой...? Не предупредить ли Инну Викторовну (мне то уж без надобности — старость), а вот Алёна в положении...

Запыхла Кукурузова, готовая высказать нелицеприятности по адресу Алёны (в прошлый раз мы организовали ей посещение больницы, потом Инна Викторовна укорила: «Одиннадцать недель! Пришлось рисковать!» (Ни в одной больнице не стали бы с таким сроком: надо не более восьми). Но то, что и Ривьера подметила, утвердило меня (а, была — не была!) провести «капитальное мероприятие», действующее всегда с большим эффектом!

Из дневника:

Ночью хлестал дождь, грохоча железной крышей лоджии первого секретаря горкома. Почему не заметила раньше, столько дождей пролилось... Самый настоящий барабан полинезийского племени; закрыв глаза, слышала ритм их танца, но видела нас. Прислушиваясь к дроби, думала о нём, ушедшем под дождь... Мы сходим с ума друг от друга на улице, на плацу, в коридоре штаба, в «спецчасти». И мои комната и ванная — чудо-остров: под душем, в воде, без воды... На земле и над землёй (жаль, не в тропиках: дождь не тёплый) Чудный барабан! Неужели можно быть ещё счастливей? Но... «нельзя судить: счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер» (Монтень).

8

Мы с Кукурузовой едва успели закончить организационную работу, появилась Лёка. Спектакль накатанный, в успехе нет сомнения, ожидаем выхода актёров. Волнуемся, конечно: хоть и верное дело, но от сегодняшнего зависело многое (плевать на Алёну — я тоже подзалетела).

Лёка тихо приятным голоском напевает, листая словарь:

— «Один раз в год сады цветут...»

Счас тебе будут сады, подумали мы с Кукурузовой (чтение мыслей друг друга; а её голос иногда принимаю за собственный, чревовещательный). Телефон. Лёку.

—... я счастлива, Милка: больше ни о чём не могу думать; будто летаю над землёй. Ладно, вечером позвоню, если... опять не буду занята. Ха-ха-ха! Милка, не плачь...

Тишина, но кратковременная. Стук в дверь. Я вздрагиваю в предвкушении радости от предстоящей акции... Кстати, Лёка никогда не входит без стука, зная (?) о тайных от неё разговорах; после «да-да!» — с извинениями: «...заспалась! Добрый-добрый день!» (голосок звонкий, ясный, в нём — учтивость робота и никакой теплоты).

Тут ждут ответа (наши вваливаются и вообще так). Кричим: «Пожалуйста!» и (запланировано) — на «сцене» Инна Викторовна, робкая, словно боясь получить сверху, что практически и произойдёт.

Оказывая высшие почести, выбираемся из-за столов (не только я, сидящая с краю), с лучшего места (но я не обижаюсь) — Кукурузова, грохоча мебелью и тарактя приветствие. «Дуплетом» (из лексикона особистки) наблюдаю за Лёкой, игнорирующей местных визитёрок, но на сей раз, предчувствуя неладное, остановившей взгляд на гостье, которую усаживаем спиной к свету (и зря!); похолодало (ночью шёл дождь и, видимо,

собирается новый): за стеклом беснуется вековая липа, немало повидавшая людских страстей на своём веку.

— Значит, Лёкой тебя звать? — переспросила (сегодня — богиня беломраморная) Инна Викторовна, несмотря на то, что я с улыбкой китайского дипломата представила соперниц по именам-отчествам.

Ничего, пусть: свойский тон бабьей солидарности в русле главной концепции.

— Леонеллой Аполлинарьевной! — отчеканила неожиданно Лёка; личико потеряло упругость (явление странное; Кукурузова постфактум: «Сплошная система Станиславского» — с чем я не согласилась, но другого объяснения нет).

— Извини, — грубовато (эх, не так!) отреагировала Морковникова. — Собственно, я о муже... Не разрушайте нашу семью. — И — в слёзы!

Подключаюсь, дабы главная актриса (она же клиентка, для которой мы небескорыстно взялись уладить семейные дела), не изгадила бы спектакля (нынешняя разборка имеет нюансы с учётом социального положения разлучницы):

— Ничто вашей семье не угрожает, опасность есть, но для другого человека! — Эти слова суфлёрские сопровождаю гипнотическим взглядом режиссёра, глядя Инне Викторовне в глаза, уже потёкшие слезливо краской для ресниц.

Она, вспомнив роль, исправляется: подняв голову, как из камня вытесанную, перевоплощается в счастливую женщину, помогающую спастись мотыльку, устремившемуся на жар огня.

— Психология (есть такая наука) мужчин отличается от женской: что для женщины всерьёз, для мужчины лишь забава, надо знать об этом, иначе для такой девушки, как ты, грустно кончится...

Тон жестковат, и я с иронической улыбкой (мол, не обижайтесь, Леонелла Аполлинарьевна, ведь Инна Викторовна — врач) хочу мягко вклиниться, не успеваю: над головой просветительницы падает фрамуга размером в пол-оконной рамы; наша лекторша как завизжит! (не по голове же — визг такой, будто по макушке!); напрасно усадили спиной к окну, фрагмент которого (так бывает при ветре), сорвавшись, висит на шарнирах безопасно, но пугая и тех, кто относительно далеко; только Кукурузова, находясь в непосредственной близости, способна на тихую просьбу: «Подними-ка эту зарразу»; вскакивая на подоконник, закрепляю до следующего срыва.

Так «грустно кончилась» лекция о различии психологий, а «капитальное мероприятие» в самом его начале приобрело оттенок фиаско.

Собирая снесённые сквозняком бумаги, пересаживая с извинениями Инну Викторовну, чуть, было, снова не взывшую рёвом обманутой жены, цепляю боковым зрением полу-улыбку на Лёкином лице, холодея от ужаса (так, наверное, поражает сдвигание искусной маски, принимаемой за кожный покров): да, ведь эта посильнее Кукурузовой! — мелькает в моей голове но, вместо того чтобы попридержать других за кулисами, на вопросительный звонок по телефону даю добро; и тут же занесла свой бюст Дуськова (строгие глаза матери-героини: у них с Иваном Егоровичем четверо детей, уже взрослых); просочилась худобой Ираида Исидоровна Недостреляная (информация о каждом; правда, насчёт Лёки показала себя так, что мы вспомнили о её партизанском прошлом, но, оправдывая старуху, рассудили: в конце концов, генеральская дочь, а мы, так сказать, даже и не титулярные советники); шумновато от особой открытости природы, ворвалась Ривьера Пименовна Чудакидзе (этой многое прощаем, зная трагедию в прошлом с мужем, ныне — кошмар с дочерью).

Расселись. Снова незадача: Лёка, выйдя из-за стола, примостилась на подоконнике в темноватом уголке (не та мизансцена: подсудимая должна быть на свету, чтоб в глазах её виноватых читать малейшее движение, при случае остановив действие или, наоборот, подбавив темпа и жару, но обратного хода нет: Дуськова (начальница!) уселась (может, по субординации верно, плану — осечка). Мало того, небрежно — Лёке:

— Извините, за вашим столиком посижу, — и понеслась: — Эти отношения с капитаном Морковниковым, перспективным офицером, для которого любые неприятности на личном фронте могут отразиться на представлении его к званию майора...

Господи, кто ей дал такие слова!? У неё какой текст: «Вы молодая-красивая, мы за вас переживаем, так как от одного известного нам человека вам грозит опасность!» Катарсисом ласка материнская! Всё катилось не туда! Вступила Ираида Исидоровна:

— Вы сами из семьи военного и знаете, что для женатого офицера общение на работе с девушкой может обернуться неприятностью по службе: ваши отношения (чистые и дружеские) могут быть поняты иначе...

Ривьера последовала примеру «старших по званию»:

— Девицы такого поведения становятся для мужчин переходным вымпелом! — (Идиотка: соцсоревнование по её части). На это все рассмеялись, включая Лёку.

—... в больницу они попадают, в абортное! — поддержала Инна Викторовна, вспомнив, как ей казалось, кстати своё место работы.

На сей раз никто не улыбнулся, кроме Лёки, залиvisto прохихотавшей (ни в каком не в «режиме», а так, если бы по её адресу отмочили комплимент). И подумалось запоздало: расчёт на созданный нами стереотип (неженка, избалованная) неверен. Она — зомби, способна выдержать намного большие нагрузки, чем живые люди.

— Он же ночует у тебя!

— Тихо-тихо-тихо! — выпаливаю пулемётно, желая просто физически заткнуть рот богине-гинекологине.

— За ноги никто не держал, — прогудела аварийно Кукурузова.

Но остановить поздно...

— А кто вам сказал, что... ночует?

— Сам! — мчалась экспрессом на красный семафор Инна Викторовна.

— Не может быть, — прошептала Лёка.

— Ещё как может! Пьяный был, а тут «женщина подвернулась, не знавшая земного счастья» (его слова; хочешь, позвоём, да спросим).

— О, нет, простите, — Лёка — не мягким юным голоском, жёстким, старческим. — Спасибо. — И — вылетела.

— Пусть генерал свою дочь держит в ежовых рукавицах! — С глупым протестом революционерки пропищала от страха Ривьера.

— Да заткнись ты, — Дуськова с досады пальцами обеих рук оттянула бретельки бюстгалтера (если эластичные, тянутся через трикотажную кофту), да как щелканёт ими себя по плечам в искреннем раскаянье!

Ну, тупоголовые! Как же просила помнить: Лёка не безродная, нанятая из гражданского мира, она — важная птичка, ей должно выказывать почтение и никаких дурацких нотаций! Да, это непривычно, но можно отойти от схемы? Ругать надо. Не её! И вообще никого конкретно! Не упоминая имён и званий! Ругать мужиков! Нещадно, но абстрактно: они, изверги, заманив девушку, иногда и умудрённую опытом женщину, в порочные сети всяких «камасутр», охладевают, если отношения, принимаемые ею за неземные, начнут угрожать карьере.

Так было всегда, на этом стоит мир мужчин и женщин и, в частности, мир созданного для войны батальона, где мужики-офицеры изнывают без войны! Что вы хотите — военные! И перестать быть таковыми из-за, пусть и миленькой, бабёнки — не по их правилам. В общем, не переходя на личности, планировалось составить истинный нашего героя портрет (устрашающий), тем самым охладив отношения, но (правильно подметила Кукурузова) сделав «добро Леонелле Аполлинарьевне», в результате той будет некого винить, кроме себя, которой «давно надо было в батальон», придя к мысли покинуть оный, что и произошло бы наверняка, если бы все, включая «понимающую» в психологии врачу Морковникову, следовали разработанному нами с Кукурузовой сценарию; удалось бы над Лёкой проделать кровавую операцию с большой

дозой обезболивания, обычно вливаемой по блату, на подобную и сами рассчитываем в больнице, где работает Инна Викторовна, а что вышло: стенания на весь батальон... Сотрудницы (кроме Кукурузовой, без особой причины неподъёмной, и убитой горем Инны Викторовны) — в коридор: Дуськова вынесла свои «боеголовки»; Исидоровна заскользила (боец невидимого фронта) с «беломориной» пылающей; Ривьера — с выпученными глазами от полной потери разумного начала кинулась к дамскому туалету; возле запертой двери — Морковников, несчастный и злой (жена не попала под горячую руку, правильно затаясь в «спецчасти» за чёрной дверью из сплошного металла).

— Прошу вас, пойдите же к ней! — попросил.

Лёка над раковиной, куда хлещет из крана вода: попытка умыться; вид невменяемый. Вывели покорную, препроводили на рабочее место; виновник представления, наверняка недопонявший случившегося, скрылся у себя в кабинете; а бабу — умастить эту куклу, чтоб папеньку не натравила: Дуськова — с лаской материнской (раньше надо было!); Ривьера — с похвалой «красивенькой кофточке»; Ираида — с заискиванием:

—... мы хотели, как лучше, — и с ехидством по нашему адресу: — Страсти в «спецчасти». — От её «Беломора» не проветришь, хоть сто фрамуг жухнет с высоты...

Лёка никого не видела, говорить не могла. Выкрикнет: «Извините» и — снова в плач. Наконец, позвонила:

— Неважно себя чувствую...

С «капэпэ» — доклад: прибыла машина. Покидав в сумочку пудреницу и помаду, сильно набелённая, прошествовала, делая вид, что ничего не случилось.

В трауре разбрелись: эти в «казарму», мы — провожать «клиентку» незадачливую до ворот (солдат на посту безмятежно глядел через стекло домика контрольно-пропускного пункта).

— Ладно, приходи в больницу всё равно, — пригласила Инна Викторовна.

Щёки Кукурузовой затрепетали от благодарности за обещанную экзекуцию; огромное желе её тела прошибла дрожь, будто уже всадили без анестезии эту машинку, вытягивающую эмбрион, жизнеудаляющую сволочь.

Погода продолжала: ветки на липе рвал ветер, бросивший нам в лица всю пыль со двора.

Из дневника:

О, боже! Приходили требовать уворованное. Неправимый скандал. Как всегда в бытовой ситуации, я на уровне своей бытовой сущности, то есть, не на высоте: истерику закатила. Видимо, уволюсь. Хотя не это главное. Любовь — нечто третье, появляющееся у двоих, как дитя, и, если не считаться с ним, вырастившь преступника; сила, изначально созидательная, станет разрушительной. Вот почему любовь можно предать, как человека, мужчины делают это чаще: они же, в основном, авторы глобальных разрушений: войн, убийств. Мужчина любящий — великий строитель, воюющий — уничтожитель всего, застреливший своё дитя — любовь.

Моё состояние: вплотную у Чёрной двери; жутко, но придётся переступить порог.

9

Она не явилась на службу; день выдался кипучим: собеседники менялись; одни считали — так их, господ советских; другие пугали: можно считать Морковникова разжалованным или сосланным (Чирчик, а там и Кандагар...); мужики сетовали: зря, бабы; бабы, наоборот, одобряли смелость неудавшейся попытки: Инна Викторовна тут для всех женщин богиня (такой профессии, как гинеколог, согласитесь, в батальоне нет). О Лёке судили-рядили, путая в запале: «Почему фамилия Воробьёва? У неё же не Воробьёва должна быть фамилия!» Генерала Вохрина видели, парад принимает: «Представительный, ни за что не подумаешь, такая дочь...» «Кто сказал — дочь? Она же не

Вохрина, а Воробьёва!» «Ага! Ненстоящая генеральская дочка, поддельная!» Лакейски восторгались: «Машина-то за ней чёрная прикатила из штаба округа!» Весь день, даже надоело: Кукурузовой не было... Через три дня на посту: похуевшая от боли. А вот так! Инна Викторовна «не проследила», и обезболивание практически не сделали (ну, как всем); она «расстроилась»: карьеру мужа считает законченной, жизнь загубленной.

— И я, вытерпев физические мучения, принимала психические атаки, отдуваясь за всех. — Потончевшим страдальческим голосом жаловалась Кукурузова.

Квалифицированное (не то, что с другими) обсуждение (материала много) слегка компенсировало весь этот негатив. Утвердились: любая пропесочка не произвела бы на Лёку ни малейшего впечатления, так и прохотела бы (нам и самим было смешно), но её заложил Морковников — единственный в батальоне, а может быть, и во всём мире объект, на который реагировала; в итоге образ вышел чересчур устрашающим.

Неделя кончилась, началась вторая, а Воробьёвой нет. Морковников всё на плацу да на плацу... (Это ж как после всех других «капитальных мероприятий»!) Шутим с Толей Звягинцевым:

— Стреляет?

— Ага.

— Долго палить будет?

— Пока патроны не кончатся.

— Там не одна обойма...

Зашла Дуськова: никаких распоряжений Ивану Егоровичу насчёт Морковникова не поступило (видно, поведение дочурки известно папе-генералу, и он решил не наказывать ни в чём не повинного младшего по званию...)

Переглядываемся, довольные полученным результатом, а эта клуша сообщает:

— Болеет она.

Как? Чем? — прямо стресс, а эта идиотка (лифчик пятьдесят восьмого размера) спокойненько:

— Не знаю диагноза, какая-то тайна, покрытая мраком.

— Надо навестить, — сказали мы с Кукурузовой.

Начальница поддержала. Для депутации выбрали Ривьеру Пименовну Чудакидзе, наиболее безобидную вследствие природной глупости, да и должность — курьер, с такой спросу мало. Собрали денег на цветы и фрукты. Вспомнив роковое отступление от «сценария», снабдили чётким инструктажем: отдаёт прислуге дары, спрашивает о здоровье госпожи и с поклонами исчезает. Если Лёка выйдет, опять — с поклонами и ментально на выход. Главное — реакция: если злобная, цветы и фрукты полетят вослед (не обязательно в прямом смысле).

Возвратилась с победой: в генеральскую переднюю вышла прислуга, также офицерская вдова, оставляла пить чай; о скандале, произошедшем в батальоне, — ни сном ни духом, а так как Лёка (туши свет — в больнице!), дала записочку.

— Захожу, — тараторила посыльная, — шикарные апартаменты: кресла, пальмы, туалет и ванная тут же (как люкс в гостинице, мы в таком останавливались с Максиком: тут — мы, а тут — наш генерал). — Её этот «Максик», то есть Максим Чудакидзе, во все неглупый, по словам нашего комбата, и очень красивый, судя по фотографиям, короткое время служил адъютантом, и бедняга Ривьера Пименовна вечно вставляет его во все разговоры. — Лёка приветливая, мне обрадовалась.

— Что сказала?

— Ничего, поблагодарила за цветы и фрукты (у неё и без наших полно: всюду вазы). Одетая — высший класс: кофточка с оборочкой, брючки с разрезами, босоножки на платформе (где такие достать, мне Алёне...); причёсочка, личико полненькое, курорт! А больница-то рядовая...

— Ничего себе! — Кукурузова всегда неровно дышит, когда про Максика, но готова задохнуться — когда про Алёну. — Уфф! Вы что-то не поняли...

— Всё разглядела! — заоправдывалась Ривьера и за себя, блаженную, за чудище — Алёну, за мало пожившего Максика, убитого среди мира во время счастливой заграничной командировки в Бангладеш. — Насквозь прошла отделения, где многоместные палаты (духотища и двери настезж), туалет один на этаж, больные в арестантских халатах, из пищеблока несёт, — как во всякой нормальной больнице для трудящихся! Но есть привилегированное отделение. Не успела ничего спросить, входит врач, сочный такой армянин: Лёка рядом — Дездемона; Отелло этот (в бороде и очках) потрогал лоб, потрепал по щёчке: «Всё гостей принимаешь, Лёкушка?..» Где это видано, чтобы так ласково обращались врачи? Мне сразу всё стало ясно, девочки!

На морщинистой мордёнке Ираиды Исидоровны Недостреляной промелькнуло скептическое выражение. Вот загадка свалилась в батальон, словно летающая тарелка грохнулась возле нашего «капэпэ»! «Лечат», когда сама захочет! В окружении цветов, в обществе шикарного мужчины!

Дуськова говорит:

— Странно: больничный опять продлён.

— Этот лечащий армянин её любовник! — в своём стиле прострекотала Ривьера.

— А Серёжа... — напоминаю.

— А что ей мелочиться, можно хоть с тремя! — Сама невинная, как лошадь, но дочь у неё... И не сходит с языка: «Алёна сумочку отхватила...», «Алёне шубку подарили...», «Алёна едет в Сочи (мы шутим: «на три ночи») с финном»; «Алёна едет в Ялту (на неделю) с финном, но уже с другим». Это такие финны завалившие на строительстве спичечной фабрики в какой-то Нижней Щекочихе. Вот уж где «переходный вымпел»...

Особистка проскрипела:

— «Не судите да не судимы будете». — И — в коридор со своей папиросой выветрилась.

Дуськова: бюст — туда, бюст — сюда, для всех желая быть какой-то всемирной матерью; нет чтоб прищучить Недостреляную, но, может, боится: Иван-то Егорович — знатный поддавальщик, потому и в качестве командира батальона на волоске.

Все свалили, мы погрузились в отчаяние, в кислоту едкую: кто выдумал, что женщину роды омолаживают? Самки некоторых живых существ умирают тотчас после... У меня от второго ребёнка и печень, и варикозное расширение вен, потому и летом в чулках: ноги, вроде, неплохие, но в синих жилах, на операцию боюсь (матери делали, близкий пример); у Кукурузовой астма, наболтали — после родов пройдёт. Прощла? После вторых — ещё пуще! И никто не лечит, хоть подыхай! Эта жизнь Лёкина нас допекла, да ещё неохристианка сексотская: «Не судите да не судимы будете»!..

Из дневника:

Я в больничке. Всё прекрасно. За окном цветут сады. Вернее, не сады, но в песне, которую жалобно поёт Анна Герман. Вдова говорит: я на неё похожа; они поспорили: тётя считает: я — копия Марика Рок. Диалог со вдовой:

— Вам звонил мужчина.

— Голос какой? Высокий?

— Нет, густой.

— Выговор? Южный? «Гхекает»? Речь мягкая?

— Да-да! Речь была мягкой, хоть и грубый голос...

Мягко стелете, капитан...

Перечитала «Солнечный удар» Бунина. Думаю, страх остаться одному, как перед пропастью, отвращает мужчин от любви, подстерегающей даже в адюльтере; они намного осторожней женщин, не умеющих прогнозировать, отдающихся чувствам от беспечности.

— Вам снова звонил этот мужчина. Спросил: «Кохгда я ещё могу позвонить?»

«Поверила, поверила, и больше ничего!» — поёт Анна. И я пою. Ибо — что ж ещё остаётся на этой, пока не покинутой, Земле?..

10

Не только Кукурузова жестоко расплатилась за чреватую разбираловку; Инна Викторовна, настроенная пессимистично («Да не уволится!» — о Лёке), хоть и сделала мне обезболивание, но операция прошла на грани прободения: стенки от постоянных скоблёжек истончились.

Выгоняя меня, еле стоящую на ногах, из отделения, где в десятиместной палате ни вентиляции, ни минимальных удобств, наедине в ординаторской опять завела:

— Две студентки с нашего потока заманили парня (тоже медик, гулял с обеими, врал и той и другой) да кастрировали. Жаль, срок дали: операцию сделали чисто.

До чего баба достукалась, ещё подпоит мужада «сделает чисто...»; одна надежда: запер бы дочку генерал, у них (высмотрела Ривьера) дверь — только противотанковым снарядом...

Возвращаюсь с больничного — и кого я вижу (права Инна Викторовна) — Лёка! У Кукурузовой взгляд: не взыщи, девушка вернулась. Разгар лета, на клумбе — маки; Лёка сама — цветок, в сарафане, красный жар которого обварил вошедшему Морковникову лицо до слёз; взгляд, намертво приклеившийся к открытым плечам цвета молочной сгущёнки, сверкнул безысходностью:

— Ах, так! — вместо приветствия (знал — она здесь, но не предполагал, что с видом победительницы).

— Здравствуйте, Сергей Григорьевич! — оглядела подготовленным безразличным взором, им принятым за чистую монету, да и нами: «Земфира... охладела» (молодец, девчонка, отомсти ему за всех...).

Стол, этот паршивый гроб, сколоченный каким-то неумелым прапорщиком, проходившим службу в ЧМО¹, стал магнитом для Сергея Морковникова; один из гостевых стульев теперь торчал возле стационарно; садясь верхом, отодвигал в сторону словари, чтоб видеть её лицо; она перекладывала, прячась:

— Здесь служебное помещение, прошу покинуть, вас ждёт ваша рота. Я вам не рота, не смейте мной командовать.

Будто во сне не стыдящийся, он отвечал, хрипя:

—... а счастье подчинённого?..

— Товарищ командир, мне довольно того «земного счастья», которое вы уже мне дали!

Получив, он уходил, не своей лёгкой походкой, а безвольной, штатской, еле передвигая ноги; однажды, похоже, чуть не отнялись: возвращаемся из магазина — он на коленях (Лёка посмеивается, вихляясь со стулом); к выходу проследовал, впрочем, уверенно; она, словно пьяная, поглядела на нас, вошедших, свысока.

После «капитального мероприятия» такого не бывало: пойдёт постреляет да и шабаш; а тут, став жертвой сам, тянулся в «спецчасть», делая вид — по службе, взглядывал на Лёку, с каждым разом потерянной. «Не позорился бы!» — вздыхала Кукурузова.

Но немного погода прояснело: коллизия другая, распределение ролей то же; моё, было, проклюнувшееся злорадство «мести за наших», сменилось разочарованием: играла с ним, на словах не прощая, но так кокетничала, что прощение было не за горами.

Комната напилась её любовью в форме отказов; он смущался (такого спектра давно не лицезрели), но, целеустремлённый, тоже играл, роль грешника, не устающего каяться:

— Ох, Лёка, ах, Лёка, эх, Лёка... — Имя её повторял однообразно: ритмичной монотонностью была его страсть.

¹ Часть материального обеспечения.

Если б мы с Кукурузовой не знали, что Инна Викторовна уехала в Шевченко (море, бахча с бабушкой и дедушкой Морковниковыми), подумали бы: нож, наточенный ею (или скальпель) на Сергея Григорьевича, оказался бумерангом.

В этих стенах разыгралась вспышка любви, невиданная здесь вообще, а для этих двоих наиболее сильная: дружно, словно молодожёны, уходили куда-то вдаль, это стало привычным.

Мы с Кукурузовой, обжигаясь чаем, наблюдаем из окна: посреди безлюдной улицы, называвшейся когда-то Новым тупиком (неплохое название), а теперь — Народной власти (тоже — ничего, особенно в сравнении со старым), Морковников в походной форме, сапогах, сутулится (Лёка средняя ростом), и они — почти одинаковы (любовь сближает духовно, но больше — телесно, недаром супруги становятся похожими друг на друга): она подросла, он уменьшился; подпрыгнув, сдёргивает с бойца фуражку, он в ответ её красную кепочку с козырьком, надевает себе на голову, но лишь миг, и вот уж шагают чинно каждый в своём головном уборе, он успеваает козырнуть Дуськову, тут же здороваясь с ним за руку; втроём смеются: подполковник, капитан и эта дочка генерала, поощряющего безнравственную связь (наше дело — сторона, пусть тешатся; им виднее — общее мнение коллектива от курьера до комбата).

— Всё! Разведётся с Инной, женится на Лёке, уедут в «зэгэвэ» — говорит Кукурузова (я говорю).

Да, сей горизонт углядели не только мы; «чем кончится» — одна из наиболее животрепещущих тем, поднимаемых в «спецчасти» в Лёкино отсутствие; мнения разошлись: мы прогнозировали женитьбу Морковникова на Лёке, его скачок в карьере; поддержала прогноз (для нас, умных, странно) самая глупая в коллективе Ривьера; Дуськова предположила: Лёке надоеет батальонная любовь, уволится, забудет Морковникова; и только особистка сохраняла твёрдость — он бросит Лёку первым («Когда из отпуска придет жена»). От нас с Кукурузовой теперь ничего не зависело, ситуация вышла из-под контроля; весь коллектив втянут; «страсти в спецчасти» кончились, выплыв за её пределы; мы — рядовые зрители; фильм многосерийный, хоть с работы не уходи (по телевизору, кроме надоевшего Штирлица, ничего не показывают); осталось ждать, теряясь в догадках; впрочем, развязка скоро: сентябрь придёт в срок, а там и последний акт представления — одиннадцатое ноября.

Несколько настораживало в сюжете, не давая поверить целиком в счастливый конец, подозрительное ускорение (и раньше заметное): то, что в земной любви тянется год, здесь — неделю: вот уж по лицам друг друга читали, угадывая желания друг друга, миновав ребячливую стадию молодого супружества, превратившись в зрелых мужа и жену, но не потерявших интереса друг к другу. Иногда их помрачневшие взгляды, бросааемые одним на другого, говорили, скорей, о ещё большей силе притяжения и о гордости, что они этой властью каждого над другим обладают.

Из дневника:

Нынче не видела Серёжу. День тянулся в сплошной скуке.

Сегодня видела Серёжу. Вошёл и будто запылся. О, как он меня любит!

Надо же: чем дольше живёшь с мужчиной физически, тем больше спрашиваешь с него духовно. А Серёжа... Один-то раз я «спросила»! Но — Серёжа! Ушёл в три утра.

Мне кажется, я всю жизнь двигалась к встрече с ним, потому-то всё и оттянулось (Ашот Меружанович ни при чём: у каждого свой срок).

Что болтают в батальоне... О, Серёжа! О, Дон Жуан, Казанова... Вы честны. И только вы любите, только вы любимы, только вы нравитесь «юной красоте бесстыдством бешеных желаний». Пушкин был из них, «страдальцем чувственной любви», так как «поэма никогда не стоит улыбки сладострастных уст»; и «в крови горел» «огонь мучительных желаний»; а «счастлив тот», «кто в страсти сам себе без ужаса признаться смеет»; и, наконец: «Пускай умру, но пусть умру любя!». Анатоль Франс в «Саду Эпикура» хотел бы

перевернуть пирамиду жизни, чтобы люди, как мотыльки, не старыми гусеницами умирали, а юными бабочками и сразу после любви.

Отбыла его жена с детьми. Встретились у «капэпэ» и пошли... Я вся зацелована. Дрожь по всему эпителию. Вся кожа — распаханная почва, можно засеивать. «Смертные перенимают жизнь один у другого и, словно скороходы, передают один другому светильник жизни» (Лукреций). Жаль, мне передать некому.

11

Мы с Кукурузовой, уже ни на что не надеясь, ни на какое улучшение самочувствия, проклинали с утра пораньше (пока Лёки нет) нашу житуху: всё тяжело — общий вывод. И куда ни кинь...

— У неё одних сумочек штук семь, — горестно хлопнула жабой Кукурузова.

— Посчитай одежду, — прожужжала я полупридавленной пчелой.

От такой «процедуры» не становилось лучше, и наше терпение лопнуло (плевать на этот батальон связи с его связями, уйдём в мотострелковый); первой я поражаю цель:

— Лёка, вы ещё молоды, любите поспать утром, но напоминаем: рабочий день не с девяти тридцати, а с девяти ноль-ноль.

— Молодость тут ни при чём: я и в шестнадцать лет не опаздывала на почту за корреспонденцией для доставки... — грохочет пушкой Кукурузова.

Вообще-то мы никакой реакции не ожидали, кроме банальной: «Ха-ха-ха»... Когда заговорила она, оторопели: впервые слышим не реплику, а членораздельную речь, обращенный к нам монолог; для доходчивости, видимо, расположилась у окна, опершись одной ручкой о подоконник (я в этом движении засекала родное, преподавательское, и вздрогнула предчувствием позорного открытия); другая рука ораторски принялась жестиковать; и мы узнали, что ручками этими она работала во время летней практики (совсем Кукурузова!), гоняла, с чем сопоставились её «кручёные» подачи, из одного посёлка в другой, снабжая кухню продовольствием, на мотоцикле (!), который однажды не завёлся в Кызыл-орде, и она пошла пешком в Кызыл-жар, и в результате (целина, Казахстан! Меня освободили из-за инвалидности матери) заболела лейкемией «под влиянием мутагенных факторов ионизирующей радиации», но не раком крови, от которого умирают в три-четыре года; её лейкемия не злокачественная, позволяет жить, сколько угодно, лишь подлечиваясь, правда, вредны отрицательные эмоции...

Кукурузова, не врубившись в главный смысл и в то, что это толковый ответ на наш перманентный вопрос, бубнит, мол, если вредно, оставь в покое капитана...

Проговорив это, про Казахстан, Лёка, нам уже знакомо, постарела за несколько секунд: глаза заводные потускнели, губы загнулись уголками вниз.

Получив по мозгам столь удивительной новостью (ладно: большая хронической болезнью, каких у всех полно, только не каждый сделает из болезни удобство, не каждый имеет условия превратить её в райскую жизнь), припёрли скрывающуюся под должностью особистки партизанку во вражеском тылу Ираиду Недостреляную, чуть не застрелив аргументацией: зря тайну хранит, создавая прецедент недостаточного уважения Леонеллы Аполлинарьевны!

Молодость Лёкина давно казалась неестественной: особая белизна кожи (не только лица, но и плеч, и рук, и статуэtkово-ровных ног), химия, алебастр; личико, будто глазурию облитое... Часто встречаются такие у молоденьких? А как, если у старух? Ладно, не буду пугать... Из особого отдела шли пружинисто от прозрения, и до конца дня пружинили внутренне, ловя момент; только Лёка из комнаты — сбрасываем пары: фантастика, умопомрачительно! Как сохранилась девушка-то? Ну, разумеется, безмужняя, бездетная... Но ещё что-то должно быть? Особистка тоже девица (видели бы вы это чудовище).

— Мы — замученные жизнью бабы, она прелестное дитя, — стонала я (дундела Кукурузова). Тонус от «процедуры» не повышался.

Удивление переплавилось в «отчаянье», да что скрывать — в тривиальную, разъедающую душу, как кислота язву желудка, зависть, предполагающую неполноценность завидующего и поразившую не только нас двоих (новость с нашей помощью быстро разнеслась), всю бабскую часть коллектива, словно инфекция.

И вот однажды перед сном озарение: её на-ка-чи-ва-ют. Препаратами, изобретёнными на Западе, чтобы иметь шикарный вид (а генерал-то достал); если прекратить, обернётся не на миг, на продолжительное время Кукурузовой: кожа обвиснет, посереет, под глазами набрякнут мешки, лоб разметится морщинами. Наутро догадка показалась не то чтобы нереальной, неполной. Медикаментозные вливания — само собой, но есть и основная причина. И она-то как раз главная. Всё дело в статусе женщины, низвергнутом до статуса ломовой коняги.

Вспомнила себя боевую-молодую (жизнь только начиналась), перед глазами — мать, обезножившая и облезлённая, отец, ею затурканный, «мало приносящий» в дом (а я считала — мне уготована другая судьба, знала бы, глупая: «социальность», как национальность, передаётся по наследству: если родился в самом низком общественном классе, так и останешься в нём); мечтая о другой участи, накатала некий «трактат» под названием:

Что есть бабство

... Бабство — состояние женщины, когда она не человек, а баба. Баба — не мыслящее существо; примитивная работа по нижней квалификации: стирка, кухарство, уборка помещений. В бабство влипаешь, как муха в липучку. Бабой становишься в результате собственной неприглядности (ты не мечта поэта), от безденежья, то есть отсутствия приданого. В итоге — избранник, вернее, тот, кто согласился быть твоим мужем, — менее развит, а любви изначально нет. Если и мелькнёт, — «улыбкою прощальной». Муж доволен: осчастливил тебя, избыточную невесту, заслужил заботу и может, сидя у телевизора и потягивая пиво, бодро орать: «Бей, балда, бить надо, мазила!»... Вскоре эта баба уже рабыня. Умнее те мухи, которые рожают ребёнка, а мужа выгонят, они не целиком прилипли (хитрость служанки, увильнувшей от одного из господ). Выход — превратиться в ведьму. Ведьмы сопротивляются, они — лучшие женщины нашей страны. Современная ведьма — не баба, и о ней надо написать другой трактат.

Выкопав этот «трактат» из старых своих бумаг, принесла прочесть Кукурузовой:

— Бу-бу-бу, гу-гу-гу, ду-ду-ду, не жизнь, зарраза!

Да, надо признаться, мы с Кукурузовой ведьмы. Под видом «психологической службы» честим своё существование, поднимаясь над ним, а над толпой баб — на разбираловках с выворачиванием кого-нибудь наизнанку в «исповедальне», где желающие «поделиться», — любимое бабье словцо, «докладают» охотно обо всём, что происходит с ними и мужьями на кухнях и в спальнях, не догадываясь (беспробудные бабы!), на какой сарказм способны мы, в их понимании «добрые девочки» (называть старых хрычёвок «девочками» — такой же дурной тон, как «поделиться»), когда очередная откровенница покидает «спецчасть», — истинно ведьминский хохот сотрясает нас за толстой, стерегущей «грамотность в документах» дверью!

Лёка — не баба и не рабыня, ей не грозит превратиться в ведьму. Она — барыня. Так раньше жили все образованные женщины; закончив гимназии или институты благородных девиц, отдыхали на балах, в театрах, устраивали приёмы и кавалькады, вели дневники... О, как их любили их прекрасные мужчины, как благоговели перед ними... Этого благоговения никогда-никогда не узнаем мы! Мы — прачки, мы — заготовительницы колбасы, жалкие и несчастные, и даже лишённые предохранительных средств, чтобы хоть пореже испытывать ту нешуточную боль физических мучений безо всяких анестезий! Так мы, советские женщины, живём в советской стране. Мы не можем быть молодыми, мы — тётки, мы опущенные бабы! Секрет молодости Лёки Воробьёвой — не химия,

не жратва (наши батальонские заклинились: «Одна чёрная икра!»). Стиль жизни, идиоты! Мы так не живём, так жить не будем... Мы на земле, мы ползаем по ней, а не летаем в небесах. И никогда летать не будем. Слово «никогда» звучит, как «старость», где мало радостей, зато много запретов.

Из дневника:

Мне двадцать один; меня все любят, обожают. И тот, другой, теперь знаменитый, навек ушедший; вернее, я, не успевшая в ответ полюбить, увозимая на военном «студебекере» по ужасной пустыне навсегда! О, Милка, как мы с тобой плакали: выверялась другая, прямая дорога, и какая ясная! Вдруг отклонение от траектории. И кто его допустил, неужели сама? А разве человек не сам выбирает? Иногда бессознательно (вот живёт некто, у него ноет зуб, но он не идёт к врачу, глотая вредные для здоровья анальгетики: он уже и на этом пустыке выбрал (и не жизнь, а смерть). Тётя считает: всё дело в шляпе...

Люди, у которых большое жизненное предназначение, пекутся о мелочах: у них отлаженно работает инстинкт самосохранения; а те, у кого нет дел на земле, уходят на небо, а потому бредут каждый своей Казахстанской степью без шляп под палящим солнцем (Кызыл-орда — Кызыл-жар...) Они открыты небу, ожидают с него вестей. И весточка приходит.

12

Мы расстались с Кукурузовой, отправившейся на огород, где фигурируют: «паразит-сосед-справа», «захватывающий воду», и «паразитка-соседка-слева», пускающая своих кошек по грядкам Кукурузовой, старательной огородницы; и я (как и всегда летом в пору отпусков) почувствовала себя одинокой без привычного двойника; раньше давали на подмогу Ривьеру Пименовну, способную довести до белого каления трескотнёй об Алёне, успешно продвигающейся в карьере проститутки, а потому обрадовалась, что вместо Чудакидзе — Лёка; с этой (следовало ожидать) — никаких привычных тем: о химчистке, испортившей плащ, домоуправлении, отказавшемся ремонтировать канализационную трубу, о колбасе, всё больше похожей на пластмассу, о служащих батальона с функционированием «исповедальни» (здесь — в коллективе поняли — перерыв). Как два запущенных на разные орбиты спутника, мы не рассчитывали на стыковку, но она почти состоялась.

— ... любовь равна таланту, посещает избранных; бойтесь любви, товарищ капитан: она заканчивается вознесением; Христов круг — это и есть круг любви: любящий бывает распят. Высшая сила, выхватывая из толпы намеченную жертву, делает её субъектом любви. — Лёка, кажется, не заметила меня, вошедшую: на линии моего рабочего стола её «четвёртая стена». Одета соответственно: театральный костюм, подходящий для монолога, не рассчитанного на бытовую реакцию, а лишь на зрительскую (овации, крики «бравва» и «бис»): посреди белого льняного полотняного поля вышит шёлком золотой крест (мишень на рубахе средневекового смертника).

Ко мне спиной, оседлав гостевой стул, вплотную придвинутый к Лёкиному столу, — Морковников, молчаливую реакцию которого сочла благоговейной; спрашиваю:

— По какому принципу эта Высшая сила «выхватывает» из толпы?

Заметив меня, улынулась («вежливый отлуп», чтоб не лезла в их интеллектуальную беседу?).

— Не знаю. — Говорит неожиданно серьёзно. — Думаю: происходит облучение: ненужные клетки погибают, необходимые остаются: чтоб любить, желательно не только иметь какие-то черты, каких-то лучше не иметь.

Можно сказать, аплодирую.

— И чего ты такая умная, Лёка! — С «галёрки» «свист» непонимания. — Я тебе говорил: книжки читать вредно (я не читаю). — Разворачивается ко мне — насмешливо-радостные жёлтые глаза с теплом близкого огня.

— ... кроме индийских, — весело напоминает Лёка («инструкция», «Камасутра!»).

Холодный ужас окатывает: эти двое приглашают смеяться над тем, над чем мы с Курузовой привыкли краснеть; в моей груди лопается что-то: клапан открылся, стало легче дышать; и я тоже... смеюсь! Мы смеёмся... Втроём. Липа за окном кивает своими ветками, листьями зелёными, одобряя.

— Любовь — чувство аристократическое, — робко соглашаюсь.

Они заинтересованными взглядами точно сдирают с меня чёрную кожу.

— «Трактат» сочинила в юности я под названием «Что есть бабство». — Пока говорю свой «монолог», неоднократно всхохатывают поощрительно.

— Современная ведьма! — восклицает Лёка. — Вы читали Плутарха «Застольные беседы»?

— Нет, — теряюсь (ученица, не выучившая урок).

— Тогда ваш «трактат» гениален.

Наутро продолжения не последовало: Лёка на глубине реки, но под вечер пришёл Морковников, и она вынырнула.

— ... о чём этот твой фильм? — Он обращает внимание не только на неё, но и на меня.

— Не мой, Тарковского. О жизни и смерти.

На Лёке опять странное одеяние: половина вдоль — чёрная, другая — белая, похоже на флаг. Руки раскидывает, охватывая стол (сейчас — кафедра): одна, та, что близко к Морковникову, отбивает ритм; браслеты названивают. — Человек живёт, страдает, радуется, умирает... Может, улетает... — Смолкла, склонив голову, ждёт внутренней подсказки, но приходит извне.

— ... «а превратились в белых журавлей».

— Не верю в животные перевоплощения, — шутивно щёлкает

Лёка, молодая учительница, по руке посредственного, но не противного ученика. — То, что происходит с душой человека после — необъяснимо; ответ в космосе: как две параллельные прямые, имеющие пересечение за пределами нами видимого пространства. Точка есть, но вне досягаемости; возможно, и тут математика будет первой, после — гуманитарный ответ (не исключено, он найден); а те, кто до сих пор не знают его, — гости, не понимающие порядков в доме: словно в психбольнице прогуливаются по территории (больные спокойны, им всё равно); в детстве и мы безмятежны (вот сад, вот ручей); с возрастом начинает удивлять забор: высотой, полным отсутствием ворот, калиток и дырок; но, более того, — нас могут забрать отсюда вопреки нашей воли, но иногда предупреждая о том, что посланный за нами корабль уже в пути.

Морковников слушает, его рука тянется к её ручке, трепещущей на краю стола. Наконец, тихонько сжимает её, будто пойманную птичку, но выпускает, томясь желанием снова сжать.

— Во вчерашнем фильме: «... и рыбы поднимались по реке, и вечность развернулась пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке...»¹ Идешь полем, тащишь ребятам семь банок бараньей тушёнки, вдруг теряешь сознание...

Щека Морковникова дёрнулась: к оголённому нерву притронулись иглой.

О, это не сразу было понятно: он изображал из себя «публику с галёрки», а слушал-то напряжённо: эти разговоры, наверняка, были горячим, питавшим его страсть.

1 Арсений Тарковский.

Со стыдом я вспомнила наше с Кукурузовой агитационное мероприятие по пропаганде «духовной жизни»: здорово прокололись! В отличие от нас, Лёка как раз и жила духовной жизнью, которой не мешала довольно чувственная любовь.

Для меня вновь наступило то НАШЕ время, когда мы, восторженные девочки, вслед за нашими восторженными мальчиками громили на коллоквиумах культ личности, и Кукурузова чуть не сменила имя со Сталины на Эллину, помяная репрессированных отца и мать, да Вася не позволил; тогда было больше воздуха, после захлопнули форточку — и ни ветерка! И вот мы втроём говорим открыто, честно обо всём: о своей задушенности, о закрытости от нас всего остального мира и о войне, которая началась...

Из дневника:

Смотрели «Зеркало». Провела Милка всё в тот же зальчик на киностудии. Немало пролетело здесь прекрасных часов моей жизни: Бергман, Антониони, Бунюэль, Курасава, Феллини, Годар... И на сей раз под впечатлением: не пригласила Серёжу домой. Дор?гой спорили: стихи за кадром, говорит, воспринимал отдельно от изображения, одно мешало другому. (А что? Тонкое замечание).

Придумала «трактат» о пользе свободного подхода к любви.

Трактаты — по части одной из моих канцелярских тётенок. Их двое: у одной фантастическая фамилия — Кукурузова, она огромная, толстая; вторая (с трактатами) — худая и, по-моему влюблённая в Серёжу, а может, мне показалось. Обе наивные и несчастные. Из недавнего разговора с Милкой. Я: у них разговоры только о продуктах, о том, как их трудно заговливать в очередях, да ещё (моё полное смущение, можно сказать, девичье) о том, что «хоть с мужем не живи» из-за отсутствия в аптеках особых лекарств. Милка: «Лёка! Ты живёшь по-другому, а у нас в ателье, да и в Доме моды, все почти так же живут, как твои сотрудницы». Просветила. Но вернусь к этой моей канцеляристке, сочинившей некий «трактат» про их жизнь, которую она именуется «бабством», где нет места ни женственности, ни нежности, ни любви... Она молодец — не ведаёт даже о своей вторичности (мы все вышли из греков и римлян); у Плутарха читаем: «...обабившиеся, это лишённые слуха, художественного вкуса и понимания прекрасного».

Насчёт любви: только свободной может быть любовь (от партийности, чинов, званий, прочих регламентаций сверху), но «седьмое ноября» — грустный «день календаря».

Чтение подаренной Милкой книжки про буддизм подвигло на оптимистическую космогонию: представим некий «океан» душ, выходящих то и дело на планеты, где они воплощаются в тела; выйдя из «океана» при рождении человека, душа огибаёт над «простором воды» дугу и, завершив земной путь, точно звезда, падает в море. И у каждой души своя траектория: у одной — короткая, у другой — длинная, и своя высшая точка — пик жизни. Тот, кто, выйдя, тут же плюхнулся в «океан», пожил мало, его высшая точка недалеко над водой. Вот моя — шестнадцать лет (сравнить с тем, кто проживёт сто, у него пик жизни — пятьдесят). Хоть и горько, сознаю: нынешний год — добавка, а потому спешка («Ещё один звонок и... уезжаю я»). Если верить устроенной Милкой медитации реинкарнации, моя душа воплощалась на Земле до новой эры в районе Греции (Пелопоннес, Коринф); в жизни нынешней я там не бывала, но, думаю, вернусь.

13

За эти дни без Кукурузовой я изменилась, ощущая непонятную лёгкость (раньше этого не бывало), подумала: что это я всё с ней, а не с... Лёкой? Во мне не тонна веса и один, а не множество подбородков. Если волосы распустить, джинсы, маечку молодёжную... Со стыдом от лёгкого предательства создалась: хорошо с ними без Кукурузовой.

Мы втроём, тёплый вечер: получил звание старшего лейтенанта Эдуард Носырев, наливший узкому кругу офицеров в кабинете главного, откуда Морковников пришёл навеселе (сам в таких случаях угощает весь коллектив).

Такого не ждала, столько лет не понимая: с его стороны расстояние между нами куда больше; смотрели в разные оптические прицелы: сквозь один (я) — близкая видимость, через другой (он), увы, далековато; и обнаруживаю с трепетом: его оптика различила меня, да так, что по теплоте взгляда оценка показалась мне, страдающей, завышенной.

— Девчонки, я не пьян, у Носырева не напьёшься. — (Это правда: пьяный Морковников зажатей трезвого, походка по одной половице, точно по карнизу). — Галка чаю нам заварит, я за пирожными... Кому каких?

Не сразу прошептала: мне эклер, ошарашенная (вместо «Галины Александровны»!) Я-то и раньше называла его без отчества, иной раз «тыкая» (мы почти ровесники), он раньше никогда. Сердце моё при имени (южно-русское «г» мягче северного «взрывного»...) задрожало, признав, рассудку вопреки, возрасту и всей моей жизни, что долгое время не носила я имени, и вот вернулась мячом из юности, упавшим в руки долгожданым счастьем. С этого дня валерьянку хлестать прекратила: вспомню на сон грядущий: «Галка», и скорее засыпаю, чтоб и завтра услышать...

Наши чаепития стали, можно сказать, ежевечерними (как бывает в нормальной жизни: люди после работы идут в кафе, но таковых в нашей стране для простых людей нет, и остаётся неизменное «место встречи» — «спецчасть»). Как-то выходим вдвоём: Лёка не дождалась, пока Морковников запрет дверь (перекосило, не одолеть мне, только Кукурузовой); раньше замечено (считали ошибочно — каприз): при всей энергии Лёкиной (впоследствии стал понятен её неестественный источник): «Не хватает воздуха!» — вымолвит и — на волю, где маки на клумбе сменили астры, более холодные цветы.

В коридоре свободно, все разошлись. Наконец, замок поддался; опечатывая дверь наподобие сейфа, слышу:

— Уволят меня, блин, из армии нахрен.

Пальцы вздрагивают, печать криво; повернувшись по какой-то игре магнетизма, смотрю в глаза напротив: недавно купившая туфли на каблуках (волосы уже выкрашены и распущены), кажусь высокой. Дотрагиваюсь до его погона, желая сильнее закрепить на остром металлическом плече.

— Всё пройдёт, — шёпотом (так только в постели шепчут).

— Инка приедет и опять... — смотрит в пропасть и будто туда его тянет.

Готова, прижав его голову к себе, как ребёнка к груди, успокоить, утешить...

— Пройдёт? — (Недоверчиво).

— Да... Серёженька...

Мы вдвоём — безлюдным коридором; неожиданно его рука обхватывает меня за спину, сжимаясь на плече:

— Спасибо тебе, только думаю: нет...

К сожалению, любовь поразила обоих, но по-разному: Лёка парила, отплывая от распянутого на высоте окна, возвращаясь на подоконник, норовя утянуть в полёт любимого. Он летать не умел (может, ему было рано), ходил по земле; она же была инопланетянкой.

На улице я поскорее — в трамвай, под впечатлением: его рука тяжело на моих худых податливых плечах; радость непосильная закончилась естественно ночной истерикой, заваркой валерьяновых корней... Как быстро мы прошли коридор! Одна мечта: разлюбит генеральскую дочку, и мы как-нибудь... Пусть в «спецчасти», по пьянке... Неужели — никогда?

Ехать в отпуск (неизбежное с выходом на работу Кукурузовой) не хотелось — в дальнюю деревню вкалывать на свекровкином огромном огороде. Единственная отдушина — с закатом сесть у реки, вспоминая «спецчасть», наши чаепития втроём, шёпот доверительный, руку на плече...

Выйдя, застала тишину. Не потому, что Кукурузова без меня — мебель: отношения этих двоих перекочевали в следующую фазу, более закрытую ото всех. Ко мне переме-

нились: Лёка, сняв телефонную трубку, рассеянно пролепетала: «Кукурузову? Пожалуй-ста...» Заметив, что я не спешу: «Ах, простите (извинение предназначалось больше мне, чем абоненту), её нет, здесь Клецких, не хотите ли с Клецких поговорить?»; показалось: шевелит губами, запоминая, чтоб в следующий раз не перепутать. Общение с ней (да и с ним), превратилось в нервотрёпку. Он, мрачный, не спрашивал советов, не нуждался в подсказках. О том, чтоб «Гхалка» и почти объятия в темноте — забудь... Значит, не повторится? Никогда? Слово «никогда» звучит, как «смерть»...

Посмотрела сбоку на Кукурузову, монотонно бубнящую про Васю, Димку и Наташку, про урожай огурцов, позавидовала: ей, наверняка, не снятся такие сны... Опять увидела Морковникова голым, таковым почти и не вижу своего законного в проходной комнате за шкафом. Серёжа просит, чтоб я сняла платье. Голос, как с Лёкой — ласковый, настойчивый; дёргаю подол, — выше колен никак: ткань приросла к коже. Просыпаюсь с тоской: не только не увижу наяву мужского тела, но и своего. Никогда.

Из дневника:

В Библии — текст для «современной ведьмы»: «... Что скажешь, дочь Сиона? Ты надеялась на ложь. За то будет поднят подол твой на лице твоё, чтобы открылся срам твой. Видел я прелюбодейство твоё и неистовые похотения твои...» (Иеремия, Ветхий завет). Ещё оттуда же: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Добро, истина, надежда, вера, любовь — высшие проявления человека неразделимы: либо всё — либо ничего: имея одно, можно вытащить всю цепочку; у кого злая душа, того не посетит любовь, ему не на что будет надеяться, и не во что верить. Молюсь и слышу ответ, мне отвечают. И это, конечно, Бог. Я не устаю молиться, это помогает мне жить... И — умирать.

14

Мы с Кукурузовой поразились (лето к финишу) — Инна Викторовна загорелая (вот отпуск у человека — три наших!) вернулась из Шевченко и, как бывало, заскочила поболтать... Девять тридцать — время появления сотрудницы («Извините, заспалась»), не исправившейся после выволочки, закончившейся новым с ней знакомством. Десять... Мы о детях (наши дочери — одногодки); Кукурузова нервно шуршит бумагами с вычиткой.

Удалилась жена Морковникова, оставив после себя запах свежих духов и таинственную радость победительницы, а мы одновременно:

— Куда делась Лёка?!

День прошёл в догадках. Под вечер Дуськова:

— На больничном. Опять. Звонила от них Лида Турзина, помню её мужа, умер от инфаркта на боевом посту...

— А-а, — сказали мы с Кукурузовой в нетерпении, еле выслушав абсолютно неинтересную нам историю генеральской служанки.

Просто забавно: что, Инна Викторовна (самоуверенность во взгляде) подцепила на бахче какого-то мужика, охладев к мужу с его надоевшей ей «странностью»? Или они сговорились поделить Серёжку?! Наверняка, знала эта, что та сегодня не выйдет на работу... Надо навестить!

Дома Лёки не оказалось, опять в больнице; из гематологического отделения ринулись мы в «научно-исследовательское» (под такими благородными вывесками скрывается социальная несправедливость); проскочили коридоры и коридорчики: в одно помещение заглянули — никого, в другое... Небольшой зал с непонятными механизмами, посреди — операционный стол, на нём кто-то лежит под простыней до дико-синего лица, в носу трубки. Эксперименты над мертвецами (живой бы подал признак жизни!). Поглядев от порога, обратно — в холл: цветы держу огорчённо венником, у Кукурузовой сетка с фруктами провисла в ослабевшей руке.

— Вы как сюда попали? — Откуда-то вывалилась толпа врачей: конвоировали нас до запасного выхода, передачу не взяв.

В батальоне от Ривьеры запоздалое разъяснение: свиданий и приёма передач в этот день нет, нашу больную могли отпустить домой (на свободном режиме: звонок из палаты в гараж — автомобиль подан).

Мертвец напугал... А Лёка... Звонит на другой день ленивым голосом: заспалась, мол (ну, как обычно); нельзя ли Морковникова (его телефон не отвечает)?

— Скажи: не сводни мы, — даёт верное направление Кукурузова, но зачем же так просто? Отвечаю по-ведьмински:

— К Сергею Григорьевичу пришла супруга; наверное, отпросился и вместе отчалили.

— Спасибо. — Совсем увяла.

А Серёжа-то — на порог (я еле успела трубку кинуть), безрадостно сосредоточенный (таким стал по приезду жены):

— Вы навещали в больнице Воробьёву?

— Нет, — соврала, было, Кукурузова, и напрасно (все в курсе, если в курсе Ривьера).

— Как она? — надеясь увидеть Лёку сквозь непроницаемость наших лиц (два испорченных дисплея — включение есть, картинка отсутствует).

— Там покойник был... в реанимации, — выдала один кадр этого кино Кукурузова.

—... в реанимации? — вцепился: и не о чужом мертвце, а допуская, что именно Лёку мы и застigli в столь плачевном состоянии.

— Как наш маленький Серёженька, как наш «рротный командир»?

— (Надо же человека отвлечь от порочащей его связи, вернув в лоно семьи.)

Не ответив, вышел.

— Довела его генеральская дочка! — просипела Кукурузова.

Из дневника:

Рыдала о том, что «медовый месяц» когда-то кончится. Серёжа утешал.

Какой дядя! А какая тётя! Какие они добрые, хорошие и настоящие! Я их всех люблю! Милка отдала свои новые модели, самой носить нечего.

Лил холодный дождь, показалось — кончилось наше лето. Но ещё нет!

О, господи, тяжело! Молила Бога скорее прекратить мои земные страдания. Когда Серёже рассказала, не удивился, будто знал (откуда?). «Аэлита моя», — проявил советский офицер «эрудицию».

«А сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой...» Поняла: конец. До чего быстро! Как так можно!

Утром солнце, и я благодарила Бога за то, что тут побывала, и за такое счастье (Серёжа). «Считай всякий день, что тебе выпал, последним, и будет милым тот час, на который ты не надеялся» (Гораций).

15

Это, второе возвращение Лёки, не назвать триумфальным: будто весенний розовый шарик увял после праздника; во всегдашнюю бодрость добавилось нездоровой суеты, её причину поняли не сразу, удивляясь сменой дислокации в рабочей обстановке: выйдет она за дверь спецчасти — и нет её.

Посетив кабинет, где сидит Морковников, подозрительно не забиравший который день от нас свои бумаги, обнаруживаю с неприятнейшим чувством Лёку, ибо такое, чтоб канцеляристки шатались по офицерским кабинетам — боже сохрани; войдя, кладу на край стола папку с надписью его почерком: «сводка по стрельбам» («с» — маленькая, все восторгаются этой рискованной для нашего военного общества шуточкой), разворачиваюсь «кругом» и «вперёд с песнями»; Лёка, оставшаяся, продолжает что-то гово-

рять быстро, и понимаю вдруг: не авторитетно; по настроению других двоих офицеров, один из которых странно молчаливый Эдуард Носырев, улавливаю: я не одинока в том мгновенно возникшем во мне чувстве стыда, до конца не осознанном и не обоснованном пока; разгадка близко.

Буквально на другой день холодина (в сентябре — запросто, но, чтоб густой унылый снежище, несвоевременный, нелепый!..) Лёка спела опереточным голосом, подсмеиваясь (над собой? над погодой?..):

*«Мой самый близкий человек,
Смотри со мной на этот снег...»*

И... разрыдалась. Плакала, парализовав работу до обеда. В столовой мы со своей «подружкой» (и начальником) майором Звягинцевым. И этот женатый стеснительный служака говорит тихо, чтоб не услышали за другими столиками:

— Галя и Сталя (так зовёт нас тет а тет, выговаривая слитно, будто одно имя на двоих), вы побеседуйте с Леонеллой: неудобно, сегодня (старший лейтенант Носырев доложил) **он** опять её выгнал...

— Как «выгнал»? — чуть не заорали мы с Кукурузовой.

—... сказал, чтоб уходила, за руку дёрнул... Вы с ней по душам, Галя и Сталя...

— Хорошо, Анатолий Иванович!

— Есть, товарищ майор!

Поспешно принялись за добычу для нашей исповедали: выполнив задачу, погощем в отсутствие «пациентки», на сей раз не добровольной, а навязанной для принудительного лечения.

— Надо вам послать его... — с поддельной проникновенностью начала Кукурузова...

— А я бы на вашем месте, — подключаюсь радостно (это «место» Лёкино под жарким, облучающим рыжим солнцем, олицетворением коего у нас Сергей Григорьевич, похоже, становилось вакантным), — я бы на вашем месте закрутила роман с Эдуардом Носыревым, да и замуж бы за него... — Как-то запамятовали: перед нами не баба; посмеяться, увы, не удалось.

— Ах, простите!

С ужасом смотрели на неё хохочущую: в ответ — ни тени улыбки на ещё более расплывшемся лице Кукурузовой; моё от кислоты свело в один мускул (ни дать ни взять — временный паралич). Нет, зомби и в горе зомби! Поверх жизни. Общаться с нами напрямую без Морковникова не хочет, а может, навыка нет контактировать с людьми, утратила от долгой ненадобности. Когда назвала её так впервые, сама себе удивясь, вспомнила: по чьим-то народным поверьям, зомби — это воскрешённый (искусственно, посредством колдовства) мертвец.

Догадка подползла стыдом: да Лёка — та единственная собеседница, которая, и не исповедуя нас, знала нашу подноготную, вытаскивая из запасника любую мерзость, чтоб разразиться хохотом... Кукурузова отвергла, мол, дела нет до нас. И это правда: мчалась Лёка мимо нашей жизни (да и своей), глядя из окна убегающего в дальнюю даль стремительного поезда, но не замечая ни меня, ни Кукурузову (сперва — за своей любовью, потом — за своим падением).

Она падала у нас на глазах.

Серёжа-то перевернулся (такое народное слово считаю здесь наиболее подходящим, в нём нечто от оборотня, уместного тоже, но слишком негативного): не вбегал, не вступал в разговоры, а тем более, не стоял на коленях. Очевидно: охладел. Как всегда, как и с другими не однажды. Глядя с ленивым спокойствием, на щебет ласковый, всё более интимный при свидетелях, отвечал зевками, шутливыми вздохами; видимо, грубил ей по телефону: страдальчески мертвело Лёкино лицо, делаясь похожим на «покойника» из института (научно-исследовательского) «Крови и лимфы».

В последнюю неделю в «спецчасти» Лёка Воробьёва докатилась: ежедневно смех и слёзы, радость и горе... Мы, большие поклонницы чужих неприятностей, ценимых в

качестве добротного театрального зрелища, признались: слишком! То лихорадочно весёлая, то жутко мрачная; весь коллектив, все шарахались от неё, укрываясь работой, только бы не слышать её смеха, восклицаний о «Серёженьке», а то и всхлипов, переходящих в рёв; уж ненавидели её, шипя злорадно по углам, заметив: бежит она за «Серёженькой», а тот отмахивается, прячась у комбата (туда без разрешения не войдёт); прекратив заходить в «спецчасть», передавал и забирал документы через других, но Лёка подкарауливала возле укромного закутка-«курилки», куда он её более не затаскивал; нарочито бойкий голосок слышали, ужасаясь и злясь:

— Сергей Григорьевич, что же вы не зайдёте! В слове «рекогносцировка» проскочила ошибочка! — начинала официально, но быстро сползала на «Серёженьку», на жалобы, что давно не видит его, думает о нём. Голос делался совсем детским, беззащитным, но раздавался на весь батальон!

— Стыдобище, — сопела Кукурузова.

... — Почему ты не мог прийти, милый? — вопрошала по телефону. — Ты же говори: постарайся вырваться... Я прождала до десяти, «не отходя от двери»; села в передней с книжкой, прислушиваясь, боясь, что ты столкнёшься с дядей...

... — Серёжа, родной... Ладно, не буду называть тебя «родной», в этом есть что-то глупое. Прощу, не сердись же! Хорошо, не буду тебе надоедать и звонить не стану. Ты сам знаешь, сам позвонишь...

Но, не выдержав до конца дня, снова:

— Серёжа, ну, что такое, наконец! Мне же неловко заходить к тебе в отдел! Может, прогуляемся до парка? Мне надо сказать тебе нечто важное. Не могу по телефону. Серёженька, это невозможно по телефону! Ну, хорошо-хорошо. Только ты знай: я люблю тебя. Бесконечно люблю...

Иногда после такого общения надолго умолкала, тихо плача; листы с её вычиткой коробились от слёз...

Теперь не нам, мы жаловались заходящим и вбегающим офицерам; канцеляристки сами притаскивались, держа нашу сторону, жалея нас, оказавшихся на линии огня. Надо было что-то предпринять, и Дуськова практически дала боевую вводную (исходила от самого Ивана Егоровича) попросить Морковникова «не быть таким жестоким»; я с удовольствием взяла на себя миссию провести конфиденциальную беседу.

И вот мы вдвоём на ящике для песка, и я, поглаживая длинный красный огнетушитель, смотрю преданно в глаза, глядеть в которые хотела бы вечно:

— Она больная, и жалость... — Никогда ещё не чувствуя себя столь здоровой, покачиваю ногой, перекинутой на другую; обутая в новенькие туфельки, ловлю скользнувший заинтересованно-удивлённый взгляд.

— У меня есть жалость. — Сцепив зубы, не желая что-либо объяснять, всё-таки пробормотал, что он не *может* с ней... (и далее по-мужицки грубо); краснею в цвет противопожарного инвентаря (какое-то облучение, обжигание солнцем, возгорание...). — ... понятно тебе, Галка? — Его рука ложится на моё колено, плохо прикрытое недавно укороченной «официальной», потерявшей это назначение юбкой, тяжело его придавливая.

Молчу в полнейшей каталепсии — девочка, получившая урок по мужской физиологии; положенная на спину загипнотизированная курица... Он понимает... Да, он знает, узнал даже раньше меня самой! Мне делается легко: передо мной не врач, но я его не стесняюсь (врачей до сих пор...) Ухожу, улетаю, стуча каблуками с надеждой, ощущая спиной тяжёлый горячий взгляд.

Насилу мил не будешь, — развёл руками коллектив, набравшись терпения. Оставалось немного.

Задолго до седьмого ноября (но так уж близко к одиннадцатому!) Лёка принялась за пошив бального платья («К празднику»): на службу приволокла материал; всем показывая, не обошла даже особистку, «щеголяющую» лет двадцать в пиджаке, похожем на

френч, сохранившем отпечатки споротых погон. Впрочем, не в стиле Лёки интересоваться мнением, да и хвастовство отсутствовало: самоутверждалась под предлогом, нет ли мастера (у самой, как мы уже знали, какая-то кузина — директриса «Дома моды»). Заказ приняла Дуськовская подружка, офицерская жена, общивающая батальонских модниц, но тут её сочли камикадзе. В итоге (по Лёкиному первому мнению) испортила. Принесённое Дуськовой одеяние примерила в «спецчасти», ослепив нас импортным бельём; сшито броско и непонятно: зачем столь пышные рукава, так много складок; Лёка пояснила: этой моделью (Пьер Карден) «предвосхищает грядущий стиль» (смотрела в завтрашний день). После демонстрации у нас и в «казарме» ринулась к мужикам... У Морковникова изделие это явно имело успех; и Лёка, не ворча на портниху, отсчитала сумму, равную месячному окладу.

— Шикарная жизнь, шик, блеск, — загудосила Кукурузова. — В пассаже блузка сатиновая в горошек за пятнадцать рублей фабричного пошива; моего размера, конечно, нет, а заказывать денег нет. Не жизнь, зарраза...

Из дневника:

Сегодня (такой ужас!) пошёл снег! В сентябре! Вот «Знак» так «Знак»!

О, как бы я хотела положить руки ему на погоны! (Фраза, подходящая для сентиментального дневника дамы, соблазнённой гусаром.) Мой идёт мимо, не любит... Мне кажется, любит. Просто помертвел.

Сегодня поймала за рукав на плацу — капитан стрелял по мишеням. И что же? Вряд ли придёт! Но главное... как он смотрит! Не притягивающе, — мигает, смигивая каждый мой взгляд, каждый наш общий, несостоявшийся!

Полдня ревела. «Хватит валять дурака в этом батальоне», — сказал дядя за ужином. О, добрый дядя! Я люблю их всех!

Сон. Чёрная адская лаборатория: много приборов, которых смертельно боюсь, словно они (колбы, шланги, приводные ремни, какие-то колёсики, шестерни и вращающиеся ножи) — орудия моих будущих скорых пыток. Кончился гоголевский, полный чистых красок ландшафт, я снова в «колбе», эта новая реторта непроницаемо-черна.

Моя жизнь... Не хотела записывать... Тётя с дядей думают, что не догадываюсь.

Проплакала полдня. Себя жалко: мудрости-то нет. Почему так бывает, что одного мстит провидение? Ничего не ожидаешь, идёшь степью под палящим солнцем, вдруг коллапс... (Гравитационный коллапс: катастрофически быстрое сжатие тела звезды с возможным превращением в чёрную дыру.) Люди — звёзды? Неужели смерть — сжатие до состояния чёрной дыры?

О, Серёжа! О, милый, Серёжа! Сегодня (Кукурузовых не было) вбежал, лицо такое... Такое же! И весь такой же! Говорил быстро, но чётко (готовил слова заранее, а главное, хотел, чтобы я их запомнила): «Мне тебя не хватает!» И что особенно ценно: «Мне тебя не хватает вообще». Как заклинание. Пока мы в «спецчасти» обнимались, повторил не раз, произнося моё имя на все лады.

Отдала шить платье, которое в Доме моды никто не взялся шить.

Платье сшила. Милка, не плачь. Лёка.

16

Конец октября нам ещё подарил несколько тёплых, расцветенных листьями старой липы деньков, а Лёка опять в «Центре крови...» ...

«Терминальная стадия» (злокачественная) началась в середине августа (смотри приезд Инны Викторовны из Шевченко, встречу, о которой мы не знали, с «Ашотиком», в ординатуре учились вместе). И мы позднее побывали у него в кабинете, и Ашот этот Меружанович пояснил, что, как правило, «развёрнутая стадия» продолжается четыре года, но, написав на Лёкиной болезни диссертацию, продлил ей жизнь; больше для современной науки пока невозможно.

К седьмому ноября — повышение температуры до «фебрильных цифр», кровоизлияние в мозг — и всё кончено. После праздников — последний акт драмы: Лёка на «сцене», и этот монолог самый удивительный...

Милка, то есть Эмилия Тимофеевна Вохрина, настоящая генеральская дочка, Лёкина двоюродная сестра, не плакала, — рыдала...

Над Лёкиной головой, неподвижно, чинно лежащей затылком на маленькой подушечке, жёсткой, сделанной не с той целью, с какой обычные пуховые и перовые подушки (в них можно с наслаждением зарываться лицом, подвёртывать под себя руками и вообще всячески мять и приспособливать для своего сладостного живого состояния), — её улыбающаяся фотография. Она же оказалась старше нас с Кукурузовой (перевоплощение пугало, вызывая недоверие к происходящему): по «бальному» платью, надетому как-то напоказ (сборки выплеснуты поверх белого покрывала), её только и можно было теперь узнать.

Постояли в актовом зале, поглядели и вернулись в «спецчасть». Не работалось. Смотрели в окно.

На улице Народной власти закрутилась метель, снег липкий нёсся к земле («А снег идёт, а снег идёт» — услышала в ушах её опереточный голосок, песенку нашей с ней общей юности, общей в том смысле, что современницы, почти одногодки). Мы с Кукурузовой считали себя в тридцать пять старухами. Лёке осталось навечно тридцать три: «Христов круг» в возрасте Иисуса был завершён; кто бы поверил, что можно так маскироваться...

Ворота распахнули двое солдатиков, подали катафалк. Во двор вывалился, сверкая трубами, военный оркестр; на него тотчас нападало полно снегу, заиграл зловеще; мне хотелось заткнуть уши, но комментировал Кукурузовский голос (не другого существа, мой внутренний):

— И кто она такая, чтоб её так хоронить... Шикарные похороны. Шик! Блеск! Вся жизнь шик-блеск...

Мы надели шубейки неприглядные: не пропустить бы выноса да в автобус, на кладбище...

Морковникова не было: гарнизонное начальство угнало многих офицеров на полигон. Вернувшись, стал молчать; казалось — умирает; Инна Викторовна с облегчением: «Выздоровел». Тоже мне, болезнь! Этим же «страдали» Дон Жуан, Казанова, да и Пушкин был из них... Но ей видней, гиперсексуальность, говорит... Он резко постарел, пройдя как мужчина свой взлёт.

Через несколько месяцев застолье в честь майорских погон, после заглянул к нам в спецчасть специально, чтобы прервать молчание:

— ... Служба дурацкая, так и уйдёшь на пенсию! Офицеру без войны нельзя; офицер без войны — даже не милиционер. Напиться бы да пострелять... — Глядел мимо, в своё скорое будущее: Чирчик, а там и... Кандагар. — Мне её не хватает... — Посмотрел затравленно.

— Войны? — будто не поняв, по-ведьмински отреагировала Кукурузова.

— Лёки! — врезал с размаху по столу, за которым не столь давно сидела она; крышка треснула: чёрная дыра меж досок, прорванный в ромбиках дерматин.

Поднялся, не замечая пораненной руки, зашагал на выход слишком прямо; как обычно, если пьян, словно по карнизу...

ЭПИЛОГ

За ней явились. Лежащая без сна с искусственным питанием, увидела знакомое золотое сквозь веки свечение (Пелопоннес, Коринф?..) «Нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока не умер». Чёрная дверь, порог; «Хорошо, что это ночью: не так жарко в вышине», — подумала она, покидая Землю, оставляя внизу своё немощное тело и свою первую любовь.

И. ШУХОВ (Калининград, Россия)

НАПАРНИКИ

— Ну что ты делаешь? Вообще долбанулся. что ли? Ну кто так делает? Противно... — Противно, — не смотри, — мокрыми, слипающимися варениками губ пробулькал Давид.

Осклизлыми пальцами-щупальцами он нашарил в картонном углублении упаковки второе яйцо, надбил его алюминиевой столовой ложкой и разломил над разверзнутой пастью... На этот раз по небритому подбородку растёкся не только белок, но и приличная часть желтка. Давид спокойно, согнутым указательным пальцем, согнал в рот с крыльев носа и подбородка липкую массу, плюнул прямо перед собой ошмётками яичной скорлупы и потянулся за следующим. Казалось, рука не коснулась яйца — оно само сигануло навстречу «своему счастью».

Николаю, чтобы избежать встречи со скорлупками, пришлось проделать акробатический номер. Штормило — чуть не упал.

— Додик, прекрати! Так яйца не едят.

Давид замер на секундочку:

— А как их ещё есть? — Он не шутил, был сосредоточен, настроен получать удовольствие дальше, он просто не знал, как по-другому можно употреблять в пищу сырые яйца, он всегда делал так — разламывал яйца у себя надо ртом. Просто и быстро. Пошло третье. Коля как раз собирался с мыслями, чтобы объяснить, как следует есть яйца, и не успел уклониться от очередного смачного плевка...

— Урод! Прекрати харкаться!

Но Давид делал это не назло — не глотать же скорлупу. Действительно, а как ещё?

Михаил Иванович Полищук (псевдоним — И. Шухов), 16.05. 1948, Москва. Прозаик, член Союза писателей России с 2006 года.

Детство и юность прошли в областном центре северного Казахстана в городе Кустанае. Затем Ленинград. В 1967 г. поступил и в 1972 году закончил Ленинградский гидрометеорологический институт. Специальность — инженер-океанолог. В том же 1972 г., получив распределение в Управление «Запрыбпромразведка», прибыл в Калининград, где живёт и работает до настоящего времени.

Ходил в море в должностях инженера, помощника капитана по научной части, начальника экспедиции. Основной район работ — Антарктическая часть Атлантики. В 1987 году защитил диссертацию — кандидат географических наук. С 1991 года работает в ФГУП «АтлантНИРО» в должности старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией промысловой океанологии, начальника отдела морских экспедиций, заместителя директора по флоту. Опубликовал более 40 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях. Литературной деятельностью занялся совсем недавно — в 2004 году. За это время отдельными книгами издано две повести «Один день Денисовича» (2005), «На заклатие» (2006) и повествование в рассказах «Трижды моряки» (2007), а также несколько очерков, рассказов и миниатюр в периодических изданиях Калининградской области.

С творчеством И. Шухова, с его опубликованными и не опубликованными работами можно познакомиться на сайте www.ivan-shuhov.narod.ru.

— Всё, последнее, — успокоил товарища Давид и совсем промахнулся — почти весь белок загулял по лицу, потёк в нос, большая часть желтка свалилась в чёрно-белые заросли на грудь и дальше потекла на мохнатое пузо...

Собрать всё это согнутым пальцем было уже трудновато. Выходит, всё пропало? Но только не для Дода: он быстро ухватил алюминиевую ложку и заскрёб в шерсти, выколуывая остатки вкуснятины не только с пуза, но и ниже. Ложка бодро засновала в шорты и обратно в рот. Трудновато было добраться до всего временно утраченного сверху, поэтому Давид оттянул левую штанину нечистых шорт и попытался дотянуться до желанного снизу. Но, по-видимому, всё уже впиталось, и Давид разочарованно облизал ложку и рыгнул.

В море круг общения ограничен, а в научной группе особенно, ну а два ихтиолога в их общей ихтиологической лаборатории, хочешь — не хочешь, контактируют постоянно. Куда деваться-то?

И контактировали, хотя вряд ли същутся на Земле ещё два настолько разных человека, как Николай Валентинович Кругликов и Давид Аронович Гальперин. Ну ничем они не похожи друг на друга, и никогда бы не общались, не сведи их вместе Море.

Николай — высокий красивый шатен в расцвете сил. Его голубые окаймлённые длинными чёрными ресницами глаза заставляли трепетать прекрасных дам. Он обладатель спортивной фигуры, сильный, мужественный. Его портрет, или почти его (очень похожий), украшает популярный в восьмидесятые годы мужской одеколон «Саша». Может быть, поэтому от Коли всегда «вкусно» пахнет, он опрятно одет, у него приятная улыбка и чудесный смех.

Давиду Ароновичу перевалило за пятьдесят. Это маленький, совсем маленький, человек, с непропорционально большой головой. По крайней мере, она кажется большой, потому что стрижется Давид редко, а чёрные с проседью волосы растут не то чтобы густо, но как-то уж очень беспорядочно, и оттого у него на голове всегда копна. Его тело, с короткими кривыми ножками и узкими плечами, с длинными обезьяньими плетями рук, можно было бы назвать детским, если бы не почти сплошной волосяной покров. Давид сам выбирал границу между грудью и шеей, и оттуда вверх, через расплющенный безвольный подбородок, до самых глаз, драл щетину безопасным лезвием. Однако брился он крайне редко, приурочивая это нелёгкое занятие к ежедекадным судовым баням со сменой постельного белья. Но вот менять бельё Давид не любил, поэтому всячески старался уклониться от этого хлопотного, с его точки зрения, дела. Подумать только! Надо переворачивать тяжёлый матрас, выдирать из «ящика» простыню, разыскивать по каюте и лабораториям свой полотенца, снимать наволочку и тащиться на бак в бельевую для обмена всего этого, а потом засовывать обратно под матрас простыню, напрягаться — это мука какая-то. Фигура у Дода необычная. Её особенность — практически полное отсутствие задницы. То есть, что-то там, конечно, имелось, но при осмотре вертикально стоящего тела в профиль спина плавно переходила в ноги и — никаких выпуклостей, а при взгляде анфас боковые линии тоже без зигзагов, почти вертикально опускались от плеч до коленей. Этаким неровно заточенный карандашик. Поэтому носить брюки было просто не на чем, и это очень досаждало Давиду — штаны, если их постоянно не поддёргивать, непременно сваливались. Понятно, что с женщинами этому парню не везло, по молодости он просто стеснялся себя, а после непродолжительной семейной жизни стал смертельно бояться всех представительниц прекрасного пола.

И характеры у наших ихтиологов разные, и темпераменты, и привычки. Таких привычек, как у Дода, просто ни у кого больше нет.

Коля же, как и большинство членов экипажа, любил банные дни. Какая бы ни была погода, обязательно отправлялся в «самопальную» носовую баню, где и в хорошую погоду штивало так, что со слабыми коленками не суйся. Парился Николай только собственным веником, долго, основательно и, хотя жлобом он не был, веник не давал никому.

— Лошадь, трубку, жену и веник не дам никому, — декларировал Коля всем в начале рейса, а в конце никто уже не просил.

Единственная, пожалуй, странность, к которой, впрочем, все давно привыкли, это его зимние ватные штаны, которые Николай Валентинович всегда надевал после сауны, и долго сидел в них в раздевалке, истекая потом.

— Зачем?

— Нравится, — кратко отвечал Коля.

Будто бы так делал его дед — донской казак.

— А дед для чего?

— Нравилось.

И всё тут. Грубый, приземлённый реалист, как его характеризовал тонкий идеалист Давид Аронович, гидролог Хоронин, пытался объяснить, что, мол, органы мужские заваривает вкрутую, чтобы потомство крутым получалось, но... шутка не прошла. Коля не смеялся. Дело в том, что у него были уже четыре дочери... Двух первых никто из наших не знал, жили они где-то на юге со своими мамами, то есть каждая со своей. А недавно у Николая Валентиновича и его последней (были основания надеяться, что последней) очаровательной жены Олечки появились ещё две дочурки сразу — два рыженьких ангелочка. Коля обожал их, с трудом переносил разлуку, тосковал. Обычно смешливый и лёгкий, стал иногда «пылить».

Когда хрустящий от острого пара, ватных штанов и «берёзовой каши» Николай, в отутюженных брючках и обтягивающей модной тенниске появлялся в лаборатории для вечерней «пульки», Дод догадывался, что уже надо идти. Мытьё собственного тела — это было страшное наказание для Давида Ароновича. Если бы не угроза расписать без него и решительные действия Хоронина (мог и пендала дать), Давид никогда не пошёл бы мыться добровольно.

«А зачем?»

В бане вообще лучше не мыться.

Помоешься — потом голова чешется...

Нет, ну, первые два месяца ещё ничего, а потом жутко чешется...»

Сергей Владимирович Хоронин — спец из полярников-практиков. Давний выпускник ЛАУ (Ленинградского арктического) прошёл суровую школу жизни — зимовал и на СП, и на Молодёжной в Антарктиде, такого не разжалобишь:

— Дод, быстро в душ — воняешь, сука!

Подскуливая, Давид Аронович начинал тут же в лаборатории медленно выползать из полушерстяной серой рубашки с длинными растянутыми в ширину рукавами, тёмно-коричневые шорты, понятное дело, падали сами. И Давид дарил своим товарищам необычайное зрелище. Чёрные мужские носки нормального размера выглядели на нем, как гольфы, в сочетании с чёрными же сатиновыми трусами, которые, несмотря на тугую резинку, необходимо было придерживать, нижнюю часть тела скрывали без просвета. Давид кокетливо задвигал свою одежду ногой под раковину, бросал укоризненный взгляд на присутствующих, садисты, мол, и, накинув на шею казённое полотенце, тащился в ближайший «комсоставовский» душ.

Иногда от дверей он просил:

— Ну, сдавайте пока, я шас...

— Давай-давай, мойся себе, не спеши, сегодня тралов больше не будет, наиграешься ещё.

Давид Аронович Гальперин очень любил преферанс. Так бы и сгнил от грязи, наверное, если бы не любимая игра. Эта любовь была сильнее ненависти к водным процедурам. Иногда Дод пытался всё же обжудить коллег, как ребёнок...

Однажды, когда Давид поплёлся в душ, Коля чего-то резко выскочил из лаборатории и чуть не смял тщедушную фигурку. Давид прятался за дверью лаборатории, сидел комочком на корточках, покуривал в ладошку — выжидал.

— Додик, ты что? Мочалку забыл?

— Не-е-е... Я всё. Я мылся. Уже помылся. Видишь, вот, мокрые, — и страдалец продемонстрировал влажные засаленные патлы.

— Дод, иди сейчас же, не тяни, а то вместо тебя Ваню играть позвоём.

— Не, Коля, не зовите. Я уже бегу, — пугался Давид и трусил по коридору.

И смех, и грех. Вообще, честно говоря, какая пулька без Давида. Этот нелепый человечек не только любил, но и умел играть в преферанс. Игра с его участием всегда доставляла удовольствие. Его партнёры, все преферансисты со стажем, ни раньше, ни потом, когда Гальперин отбыл на постоянное место жительства в Израиль, не имели такого интересного, серьёзного противника.

После «экзакуции», на ходу вытираясь, Давид почти бегом возвращался в лабораторию и, поскольку сменной одежды в море у него никогда не было, вползал обратно в рубашку и шорты. Свернув ноги под себя калачиком, тут же завладевал колодой.

— Давид, ты же завшивеешь и нас наградишь, — укоряли коллеги.

— А нет у меня ничего больше. Хотите — голый буду сидеть? Получите удовольствие. А, то-то... Обещаю, честно, завтра постираю, — оправдывался Дод, а карты веером уже рассыпались по пластику.

Однажды, когда Давида выпроводили в душ, Николай взял да и замочил быстренько в тазике его рубаху и шорты. Что тут было... Не найдя на привычном месте у мусорного ведра своей одежды, Давид заплакал:

— Что вы наделали!...

На лице ужас, вроде сожгли лягушачью шкуру Василисы Прекрасной.

— Как же я теперь играть буду? А как я теперь в кают-компани появлюсь? Как я теперь есть буду? — и слёзы обильно полились из-под бровей.

Всем стало не по себе. Стыдно стало, будто ребёнка обидели, причём сильно и незаслуженно...

Даже Сергей Владимирович не стал язвить, а предложил пострадавшему свою «Приму». Давид тут же взял. А ещё полярник подарил ему старенькую, но чистую фланелевую в мелкий цветочек рубашку нормального размера. Так до конца рейса Додик и щеголял в ней после бани, словно в махровом халате. Тем временем Коля достирал шмотки, добавил в тазик своего личного, ароматного, порошка, прополоскал, как положено, и быстренько развесил в сушилке. Только тогда Давид успокоился, шмурыгнул, проглотил содержимое носоглотки и забрался на своё законное место у иллюминатора. Пулька получилась интересная — Давид был в ударе. Отвечал, как всегда, горячая голова — Хоронин. К последнему чаепитию Коля притащил высушенные вещи Дода. И вот что интересно: рубаха оказалась белоснежной, а шорты — нежно-бежевыми.

Шло время. Отбухал Давид Аронович в морях лет двадцать пять уже, да и Коля Кругликов — лет пятнадцать. В работе они хорошо дополняли друг друга. Николай — сильный, не нуждается в помощи напарника, сам быстро нагребёт корзины рыбой, сам же играючи перетащит их к рабочему столу или в цех. Давид — слабый, зато не допустит ни одной ошибочки в расчётах, вся «камралка» на нем. Когда в конце семидесятых на судах «разведки» появились производственные планы и «науку» стали привлекать на подвахты, оба и тут оказались востребованными. Сильный и ловкий Коля любую операцию выполнял: что на аппараты станет, что на выбивку — одним словом, универсал. Но и Давиду нашлось непростое дело, которое он, и только он, делал с блеском, лучше и намного быстрее всех. А дело было такое. Прежде чем упаковать десятикилограммовые брикеты мороженого кальмара в картонные короба, требовалось надеть на них полиэтиленовые пакеты, которые в судовых условиях от вибрации и перепада температур склеивались намертво. К каким только ухищрениям ни прибегали, чтобы рас-

крыть пакет: сыпали тальк на руки и пакеты, использовали лезвия безопасных бритв, мяли, слюнявили, давили резиновыми кругляками — всё равно упаковка тормозила скорость выбивки аппаратов, то есть уменьшала производительность фабрики. Пришлось ставить на операцию расклеивания и закатывания (наворачивание края пакета) отдельную единицу. Старались ставить женщин (легкотрудниц), но и они, хотя и работали в напряжении, успевали только-только. Операцию метко, как обычно на судах, окрестили «залуплением». Вот тут-то и проявил себя Давид Аронович Гальперин. В силу необычайной гибкости и липкости пальцев Доду не потребовалось никаких дополнительных приспособлений — он делал трёхчасовую норму за час, что называется — одной левой. Давиду, единогласно, было присвоено звание «Лучший залупляльщик рыболовного флота!»

Ещё одной серьёзной проблемой была проблема проживания. Конечно же, чистюля Николай и откровенный, принципиальный грязнуля Давид не могли жить вместе, как положено по расписанию двум ихтиологам. Да кто это вообще выдержит — совместное проживание с Давидом... Жена, и та выдержала меньше месяца (медового).

— Да нужна она мне больно, — говорил Аронович в редкие минуты откровения.

А с женьбой дело было так. Тридцать семь стукнуло Давиду, когда родственники подобрали ему подходящую, по их разумению, половину. Девушка была лет на десять моложе Додика, то есть достаточно взросленькая, пришло время — намерения её были серьёзными. Ах, если бы она до того, как принять решение, посоветовалась с кем-нибудь, знающим соискателя, ну вот хоть бы и с Николаем. Уж тот честно рассказал бы про особые привычки напарника. Например, Давид Аронович, у которого всегда першило в горле, очень громко «шмурыгал» и, в лучшем случае, сглатывал, но когда забывался, то плевал куда ни попадя. Ночью в каюте Дод не мог заставить себя вылезти из «ящика» и плевал прямо оттуда, стараясь попасть в раковину. Понятно, что попадал не всегда, а убирать — боже упаси, это вообще не его. Присохшие к переборкам «украшения» потом отваливались сами. А ещё ночью он очень басовито, не по габаритам, храпел и издавал прочие звуки так громко, что в соседних каютах жаловались. Софья Фраимовна, не будучи сама писаной красавицей, с особенностями внешности жениха смирилась, но не могла она предугадать, что её ждут ещё и такие сюрпризы. Кто же её осудит, что не выдержала и месяца? Но, поскольку с репродуктивной функцией у Давида Ароновича, как оказалось, всё обстояло благополучно, Соня, неожиданно для всех и для себя самой, родила сынишку, Мишку. Ну очень маленького — ни у кого сомнений в отцовстве Давида, по одному только размеру, не возникало, но Дод не афишировал наличие сына. Обидно для Сони — сомневался.

Несмотря на быстро оформленный развод, «жена» регулярно встречала «мужа» из рейсов. Во как! И он оставался в лоне семьи до получения расчёта за рейс... Продолжительность «счастья» зависела от бюрократических проволочек в системе «отчёт-расчёт-касса». Далее его выставляли за дверь, отобрав все денежки до копеечки, а последнее время и побивали... У молодой жены появился дружок... И это тоже было понятно и, наверное, правильно, но жалко как-то.

Беда в том, что на берегу Давида Ароновича никто не видел трезвым. Пил он постоянно, но не так, чтобы завалиться совсем. Нет, всё путём. Каждый вечер он добирался к себе, в маленькую клетушку коммунальной квартиры старого немецкого дома, самостоятельно. А каждое утро начиналось с визита к «столу коммунистического труда». Это чудо существовало в привокзальном ресторане «Гудок» в семидесятые-восьмидесятые годы, конечно же, не для пассажиров, а для таких, как Дод — бледных личностей, с выраженным утренним тремором. Сто грамм с «прицепом»! Всё то, что оставалось с вечера, доходило за ночь до нужной кондиции в холодильнике — и на стол, это называлось «остатки». В принципе, можно было сносно позавтракать. После «приличной публики» к обедкам «остатков» допускались бомжи. Давида Ароновича, как завсегдатя, совершенно не капризного клиента, в «Гудке» знали и относили его, безусловно, к

«приличным», которых интересовали в основном сто грамм, в тяжёлых случаях даже ссужали в долг. Это было признание. После «коммунистического стола», придя во временно адекватное состояние, Давид обычно отправлялся в городской парк культуры и отдыха, если, конечно, не было «отхода-прихода-отчёта» (то есть официального повода для возлияния). В парке он играл на деньги в шахматы. Ну, какие там деньги — так, мелочь. Шахматы он любил, наверное, даже больше преферанса, участвовал в городских турнирах и как-то даже выполнил норму мастера спорта, но так и не оформил. Как только что-то наскребалось, знакомые пацанята бежали за «маленькой». И Давида посещало чудесное лирическое настроение, он продолжал играть со всеми желающими (и даже с пенсионерами бесплатно). Сидит себе верхом на скамеечке под деревцем, в завязанные узлом ноги вставляет заветную бутылочку и прихлёбывает периодически из неё водку, словно нечто ужасно вкусное, и — кайф...

В родной СМЭ (служба морских экспедиций) никто даже и не спрашивал у Давида Ароновича, готов ли он пойти в следующий рейс. Дод был, как юный пионер, всегда готов! Настоящая его жизнь, вследствие практической недосыгаемости спиртного, начиналась только в море за пулькой или за шахматной доской. Он любил проводить сеансы одновременной игры: количество досок ограничивалось только их наличием на пароходе. При этом выигрывал Давид всегда — нет проблемы. Но одна проблема всё-таки была — приходилось не только думать, но и ловить сползающие штаны.

Таким же, как Дод, постоянно устремлённым в море, был и Коля Кругликов. Нет, что вы, Николай не пил, практически. У него были свои проблемы. Половина рублёвого заработка уходила на содержание «родных южанок», или «ошибок молодости», как, в зависимости от настроения, отец называл старших дочерей. Молодая жена не работала, и семья нуждалась, поэтому, как ни хотелось Коле понянькать, потискать своих ангелочков, он тоже, по первому предложению, был готов идти в рейс.

Вот и попадали напарники частенько в одну научную группу. Ну ладно там на БМРТ или, тем более, на суперах проблему расселения решали: хоть самую малую каютку, но находили для Давида Ароновича, а Коля поселялся с кем угодно, лишь бы не с Давидом. В тот раз попали они вместе на старый СРТМ — бортовичок. Куда деваться? Время зимнее, да ещё на северо-западе Атлантики. На палубе спать не будешь... Вот и пришлось Доду «бомжевать» на пароходе. То в одной лаборатории приткнётся, то в другой. Так и перебивался, претензий не предъявлял: сам понимал, что в одной каюте с ним жить невозможно. Экспедиция была нестандартная, кто-то из институтских делал «диссер» и пробил дополнение к программе — непрерывные наблюдения с помощью ИПФ (импульсный проточный флюориметр). Непрерывные наблюдения, суть мониторинг, конечно, хорошо, но когда старенькие насосы, которые должны были прокачивать через прибор забортную воду, один за другим благополучно «гикнулись», начальник экспедиции принял решение: через каждый час черпать ведром забортную воду и пропускать её через прибор.

«С паршивой овцы — хоть шерсти клок».

Сказано — сделано. Поделили сутки. На каждого члена научной группы, независимо от основной специальности, досталась дополнительная вахта. Запускать прибор старались ровно через час. Пока ИПФ ведёрочко «отсасывает», можно покурить минут пять-десять, и занимайся дальше своим делом. «Новый» прибор дружно переименовали в «ведрометр». Бездомный Давид Аронович вызвался вахтить ночью. Заснуть в лаборатории на узких прирундучных диванчиках было даже ему, при его невеликих габаритах, всё же трудновато. Рассказывал, как он по ночам «аутогенной тренировкой» занимается:

— Беру, значит, в правую руку гантель, на голову — наволочку и воображаю себя на поле битвы с противником. Ну, когда как пойдёт. Если наволочка — шелом,

то гантель — булава, а противник — татары — стрелы так и сыпят, но я под колпаком, и не достать меня им... и, кайф — засыпаю. А если наволочка — каска, то гантель — граната, а противник — немецко-фашистские захватчики, значит, пули так и сыпят, но я под колпаком и не достать меня им... и, кайф — засыпаю. Ну, там, с вариантами: дождь, или огонь, или ручной пулемёт, но я всегда под колпаком...

В связи с ведрометром вырисовалась у Давида проблемка одна: сколько его ни учили, сколько ни тренировали, набрать ведро воды на ходу судна ну никак не получалось. Сила и сноровка в число его талантов не входили. Да и, вообще-то, это дело не из самых простых, тут нужно очень чётко бросить ведро по ходу судна и непременно успеть его выбрать, пока оно не окажется за кормой, как на буксире. В момент, когда конец полностью вытравлен, происходит сильный рывок (динамический удар), тут или конец не выдержит, или дужка ведра, короче — могут быть потери. Но никто и не предполагал, что потерять можно не только ведро. В конце концов, решили вопрос так: ночью заставили матроса-рулевого черпать Додику водичку. Матрос ведро на палубу — и пошёл к себе на руль, а Дод дальше уж сам худо-бедно волочёт воду в лабораторию. Несколько суток прошло спокойно, а в ту ночь случилось следующее.

Рассказывает матрос-рулевой:

— Без пяти четыре я включил на палубе свет. Смотрю, Ароныча ещё нет. Ну, я — в гидрологичку, где он кемарил, толкнул его и на минуточку заскочил в гальюнчик. А что? Не имею права, что ли?

Рассказывает Дод:

— Вася меня пнул. И поспал-то всего минут десять, а уже час прошёл. Я на палубу, Василия нет, а время вышло, ну, думаю, как же дискретность?... Видел же, как он это просто делает. Взял ведро и кинул, а верёвка как даст, не успел ничего сообразить. В воде. Холодно. Понял — конец. Руки сложил на груди, дёргаться не стал. Погружаюсь.

Рассказывает матрос-рулевой:

— На палубу вышел — Ароныча нет, а по борту ведро колотит. Я сначала ведро достал, а потом уж сообразил, что это, значит, того — что Ароныч-то за бортом. Я в рулевую, а там пусто — второй со старпомом, как раз вахту сдают, журнал пишут в штурманской. А пароход убежал уже от того места чёрт-те куда! Я телеграф на «Стоп», значит, и «полный назад». Сам обратно побежал на палубу, думаю — может, замечу. А что? Что? Опять не так?

Рассказывает Коля Кругликов:

— Проснулся я ночью от звука постороннего, как будто по борту что-то скребануло. Чувствую: главный в натуге. Короче, обулся и на палубу. С левого борта у «ведрометра» Васька топчется, ко мне кинулся сразу и говорит тихо так: «Давыд Ароныч утопли...». Смотрю на воду — пусто, машина назад молотит. Штиль практически. Луна. Далеко видно. Старпом сверху кричит — не разобрать. Взял я полное ведро и со всей силы киданул его за борт, в общем-то, без надежды, так, на всякий случай.

Рассказывает Дод:

— Погружаюсь, значит. Мартин Иден. Да долго так, оказывается. Начал разбирать свою партию с Полугаевским. Ну, помните, когда я с дуру на ничью в выигрышной позиции согласился... (про эту партию с гроссмейстером Дод рассказывал всем и каждому, и даже в свой последний час не забыл). Уже хотел воду в лёгкие вогнать, приготовился, а тут меня в грудь что-то толкает. Я и ухватился.

Рассказывает Коля Кругликов:

— Начал ведро вытаскивать. Тяжело идёт. Я побыстрее, смотрю, висит на ведре Дод, неподвижно, как соленая селёдка. Конец был десятиметровый, так что он метров на пять-шесть уже погрузился. Во, пруть!... Аккуратно так его за загревок — и на палубу. Ватник стянул, а он внутри ещё сухой, не промок даже, сволочь. Ну, пруть!... Ему всегда — туз в прикупе...

Такое чудо могло произойти только с Додом, попробуйте прикиньте вероятность случившегося... То-то. Проще найти иголку в стоге сена.

Случай этот наутро на пароходе обсуждали все, но официально ничего такого зафиксировано не было. А Дод даже не простудился. Его отстранили от дополнительной вахты на «ведрометре», оказалось проще обучить Васю включать/выключать прибор, чем Давида доставать ведро воды. Решили не рисковать драгоценной жизнью Давида Ароновича, а то вдруг ещё и ветер...

Сколько всякого-разного происходило с Додом: попадал он в ситуации совершенно невероятные, не только в море, но и на берегу. Однажды такой с ним случай вышел. Как уже говорили, трезвым Давид Аронович на берегу не был никогда, но и конфузы, чтобы уж совсем ничего не помнить, редко с ним бывали, но всё ж таки бывали. Отмечали как-то день рождения одного из студентов-практикантов. Студент денежный: после рейса, поэтому, как всегда, начали в кабаке, потом переместились в общежитие, как положено — и песняка кидали, и байки травили. А Дод, когда наливают, конечно, не мог отказаться. Народу было много, на десерт вытянули из-под кровати заранее припасённое «жигулёвское». За окном висела низка вяленой плотвы, и люди нормального размера спокойно дотягивались до неё, отрывали желанную тушку и получали удовольствие по полной. А Додик тянулся-тянулся, пока не дотянулся... Мелькнули его кривые ножки Черномора в оконном проёме, и — тишина... раз, два, три... и смачный шлепок тела об асфальт... Народ почти сразу протрезвел. Посыпались на улицу. Давид Аронович лежал вниз лицом, такой маленький-премаленький, ещё меньше, чем всегда.

— Говорил, пойдём ко мне, — не к месту вспомнил своё предложение Валера Носач, житель первого этажа, — а вам всё воздуха больше на пятом, воздуха, воздуха, вот теперь и дышите без Дода уже.

Скорая в этот раз быстро подкатила, тело отклеили от асфальта, переложили на носилки и сунули в машину.

— Доктор, какие шансы?

Ответа не последовало. Мрак.

Утром, несмотря на дождик, на месте падения собралась кучка матёрых общежитских дам, слушали подробности невероятного события — последнего полёта Давида Гальперина.

— Он летел и кричал: «Убили, убили!».

— В машину его по частям складывали.

— Головы-то совсем нету, я сама видела.

— Умер хоть сразу — не мучился.

В это время к группе переживающих, прихрамывая, подошло маленькое существо в накидке из болоньи и характерным отрывистым голосом поинтересовалось:

— Кто умер?

Удивительно, как действительно после этого никто со страху не умер? Бедные «очевидицы» визжали очень громко и звонко... Давид понял, что это про него, и, желая доказать, что он натурально жив, откинул мокрую накидку, демонстрируя слегка только поцарапанный лоб, двинулся к женщинам. Но он не угадал — свидетелей его гибели «сдуло» немедленно.

Давид Аронович крайне неохотно вспоминает этот случай. Когда он очухался в скорой помощи, совсем ничего не помнил: ни полёта, ни падения. И только зажатая в ла-

дошке плотва наводила на смутные воспоминания... Врач изрядно удивилась, когда упавшее с пятого этажа тело, сплюснутое, совсем без попы, начало подавать признаки жизни, то есть харкаться... Ни переломов, ни вывихов, ни ушибов, все внутренние органы на месте, симптомов сотрясения нет. Замазали лоб йодом и наутро отпустили.

Так и хочется спросить: «А вам слабо?».

А вот у Николая Валентиновича вся береговая жизнь была связана с любовными страстями и переживаниями. Проходу дамы ему просто не давали. Видный парень был этот Кругликов, да ещё с деньгами иногда после рейса. Романы у него случались очень бурные, но скоротечные: то актрисы ему попадались, то художницы, но всё как-то не по его инициативе. Раз влюбилась в него без памяти известная в городе светская дива — диктор местного телевидения, дама очень красивая, сексуальная, изысканная барышня. А у Николая, как всегда, — серьёзные намерения, ничему жизнь не научила. Такой вот «генетически честный» парень или глупый. Дали им комнатку небольшую в общежитии. Любочка на свой вкус превратила её в обитель любви — такой шикарный будуар получился, что все мужики, кто в гости к Коле приходил, возбуждались ещё на пороге. Но хорошо ещё, что брак не регистрировали: Любочка не спешила. Деньги кончились, и Коля рванул в очередной рейс... Вот тут-то и выяснилось, что Любочка без мужчины обойтись не может, ну не виновата она, ну просто как без рук... Общежитие много видело неверных жён, много чего происходило на улице Курсантаской, и, естественно, всё немедленно становится известно. Местные кумушки, хоть уши затыкай, расскажут и что было, и чего не было, одно слово — общага. Но такого ещё не было: Любочка не отказывала никому. Впервые общежитие посетили и отцы города, и деятели искусства, и спортсмены, и тёмные личности какие-то... Особые опасения женской части вызывали попытки несанкционированного посещения кругликовской комнаты местными мужиками. Делегация «честных женщин» общежития добилась-таки справедливости — не прописанную Любочку, через партком и профком, выселили из комнаты инженера Кругликова. Да она уже и сама собиралась съезжать: приближался приход «мужа». Последние дни и ночи «открытых дверей» были показательными...

— Не тушуйся, Ник, — успокаивал Колю бывалый Хоронин, — если мы — не моряки, то наши жёны — не б.ди.

Но Николай Валентинович был сангвиником, поэтому пережил произошедшее, как подобает мужчине — спокойно. Пришлось, правда, побелить комнату своими силами, так как все стены некогда «шикарного будуара» были жирно расписаны стихами и философскими изречениями, и потом внести обратно в очищенную от скверны комнату казённую общежитскую мебель. Теперь Коля виделся с Любочкой только по телевизору, но и это длилось недолго: несовместимый с принципами строителя коммунизма образ жизни диктора советского телевидения стал широко известен, и она исчезла с экрана.

Прошло ещё немного времени, Николай готовился к очередному рейсу и вдруг влюбился... Это не было хорошо знакомое ему мужское всепоглощающее чувство страсти, замешанное на биологии, когда каждая клеточка организма дрожит от желания, когда нет ничего на свете важнее сиюминутного обладания. Он впервые ощутил нечто совершенно новое и признаться не мог никому, потому что он влюбился не в женщину.. Ну нет, не подумайте ничего такого, с ориентацией у Коли было всё устойчиво. Просто он полюбил образ, картину, вернее, фотографию... Из-за стекла киоска «Союзпечать», с обложки журнала «Огонёк», его поразили глаза, удивлённые, широко распахнутые глаза девушки, почти девочки. Глаза были голубые, и в них Коля прочёл всю свою будущую жизнь.

«Где ты был до сих пор, Коленька?».

— А меня и не было ещё, — отвечал Николай вслух.

И он уже не мог жить без неё. Если бы киоск был закрыт, пришлось бы бить стекло, но окошечко было открыто, и Николай без криминала воссоединился с журналом.

Оставались сущие пустяки — воссоединиться с оригиналом — со своей судьбой. Ну, это были уже детали. Дрожащими руками он перевернул страницу и узнал, что будущую жену зовут Олей и что она учится в техникуме на Кубани, далее шёл адрес, но сразу прочесть его было невозможно, слишком тяжело было так долго не видеть лица своей единственной, и Коля перевернул страницу назад.

Впервые Николай откачался от рейса. И рванул на юг. Отыскал и покорил. Никто, кроме их двоих, толком не знает, как это было. Известно только, что Коля в вагоне поезда ни есть, ни пить не мог, из рук не выпускал заветный журнал, и вдруг, как в зеркале, увидел другого такого же парня, с бледным лицом и журналом в руках, и цель у него была та же. Это был серьёзный, но несчастливый соперник. Коле удалось убедить парня, что Оленька создана только для него. До конечной цели добрался один.

Это была удивительно красивая пара. Он — само мужество. Она — сама чувственная девичья красота. Наверное, всё-таки, браки действительно совершаются на небесах.

Когда в начале девяностых страну залихорадило, потрясло маленько да и разорвало по живому, развалился и этот удивительный «тандем». Лёд и пламень. Чёрное и белое. Давид и Коля.

Коля в порядке. Помыкался, конечно, с начала «перестройки», не без того: и вагоны грузил, и воду по этажам таскал, и таксовал маленько. Сейчас — «капиталист», у них с Оленькой туристическая фирма «Круг» (от фамилии, что ли). Возят по Европе средний класс, живут очень дружно, работают слаженно, а в составе семьи долгожданное прибавление — появился самый младшенький, Николай Николаевич. Добился Коля своей цели — не зря в ватных штанах высиживал.

Давид исчез из поля зрения бывших коллег в девяносто первом. Он уж совсем без работы доходить стал, когда появилась сестра из Израиля и напористо занялась оформлением отъезда брата. Продала его каморку вместе с небогатым убранством — как раз на билет и хватило. И вперёд... Вскоре после отъезда прошёл слух, что не доехал Дод. Очень правдоподобно рассказывали, как умер он в Москве при посадке в самолёт, но, к счастью, оказалось — всё это ерунда. Давид Аронович попал-таки на землю обетованную и стал, наконец, «русским». Нет достоверных данных, как он там устроился, на пенсии, наверное.

Сегодня, когда мелькают на волнах моей памяти образы соратников, представляется, как сидит Додик верхом на скамеечке за шахматной доской, только на его большой лохматой голове совсем уже нет чёрного, а скамеечка стоит не под парковой липой, а под пальмой, но скрюченные голые ступни Дода непременно сжимают «маленькую».

Александр АНАНИЧЕВ (Сергиев Посад, Россия)

РЫБАКИ

Б. Лукину

Друг ты мой, не шути бесшабашно,
Пряча смех в золотой бороде,
Оттого что ловлю я неважно
Карасей в заплотинной воде.

Рыжий вечер ползёт на задворки...
Ты уловом доволен вполне,
А в моём незавидном ведёрке —
Тишина серебрится на дне.

Карася, что поймал я случайно,
Лишь звезда расшелушит свечу,
В камышово-зелёную тайну
Из ладоней своих отпущу.

Пусть он к дремлющим братьям вернётся,
Про несладкий расскажет полон,
И про дом твой, который на солнце
Сторожит, без ошейника, Джон.

...Ты смеёшься опять, греховодник!
А ведь первую песню — ей, ей —
Сочинил невезучий охотник,
Возвратившись с охоты своей.

У огня иль туманной излуки
В тишине загрустил он слегка,
Извлекая волшебные звуки
Из пропахшего дымом рожка...

Вот и я загрустил, но не очень,
И, как сказочный тот дурачок,
Из души изумрудные строчки
Всё ловлю и ловлю на крючок.

* * *

Был мне другом, а нынче — не знаю;
Как-то вдруг приосанился весь,
И на донышке глаз примечаю
Неприметную ранее спесь.

Оттого ли, что зажил счастливо,
Что в газете престижной творишь,
На меня ты глядишь горделиво,
С неохотой со мной говоришь.

Если шуткой обидел пустою
Или что-то спросил невпопад —
Извини, виноват пред тобою...
Милый мой, я кругом виноват!

Мне изменчивой славы не нужно —
Ты газеткой своей не маши! —
Мне бы только по волнам жемчужной
Плыть твоей неспокойной души,

Александр Сергеевич Ананичев (1970) — поэт, прозаик, автор сорока книг для детей и 7 сборников стихов, кандидат педагогических наук. Член правления Союза писателей России, руководитель писательской организации города Сергиева Посада. Дипломант всероссийского конкурса «Золотое перо России», литературной премии имени С.А.Есенина и международной премии имени В.Крапивина за книгу «Моя Москва. Листая страницы истории» («Росмэн» 2006 г.).

Вспоминать о Варшаве и Ницце,
О стихах говорить до зари
И смотреть, как ласкают ресницы
Разноцветные очи твои.

Нас и так ожидают потери.
Лучше — в золото дружбу облечь!
Легче в Бога однажды поверить,
Чем потом эту веру сберечь.

Я с тобой — и в тайгу, и — в разведку,
И — в озёра ловить карасей...
Только ты озорную газетку
С глаз моих убери поскорей.

ДУЭТ

Я её не просил. Она спела сама
Эту песенку, мной сочинённую.
На эстраду вошла — и дохнула зима,
И луна замерла золочёная.

И осыпались первые звуки едва —
Будто травы качнулись тяжёлые —
На губах моих оцепенели слова,
Хоть слова были, в общем, весёлые.

Звук то плавно и гладко летит, то шурша,
С придыханием, с переливами...
А я вижу — на кончике жала душа
У певуны живёт горделивая!

И чем дальше камлание змеилось её,
От которого пихты сутулятся,
Тем сильнее на галёрке рыдало дитё
И собаки брехали на улице.

Я никак не пойму — ну, с какого рожна
В ней обиды вскипают полынные!
Рукавом повела — отлетела струна,
И друзья разбежались старинные.

Наконец, замолчала. На миг обмерла.
И раскинула руки в улыбочке...
Ох, как дорого мне обошлось «ла-ла-ла»
Этой алчущей славы артисточки!

ЖИВАЯ ВОДА

В половине июньского знойного дня
Ты водой ключевой напоила меня.
И струилась вода на ладони, пока
Я тебя разглядел в глубине родника.

Ты светла и чиста, как младенца слеза;
Встрепенулись, как бабочки крылья, глаза,
И такая под сенью ресниц глубина —
Не найдёшь, не качнёшь, не нащупаешь дна.

Обжигаемый солнцем дробится поток
О надводные камни, звенящий песок.
Отшумев, растекаются плавно струи,
Из которых уста серебрятся твои.

Чудотворный родник не забыть никогда —
Ледяная, летящая в руки, вода...
Я губами воды прикасаюсь живой —
Мне не нужно другой, мне не нужно другой...

СОБЕСЕДНИК

За окровавленные ели
Катилось солнце с вышины.
Ребята медленно хмелели,
Давно пришедшие с войны.

Костёр метался на поляне,
Звенели струны серебром...
И каждый думал об Афгане,
Ни слова не сказав о нём.

Я не служил под Пешаваром,
Мои — на севере полки.
И я спросил соседа справа:
«Что отмечают мужики?»

Друзей погибших поминают?
Былое жаркое житьё?..»
Он побледнел. «Что отмечают? —
Рожденье новое моё.

Я гнить обязан под землёю
Лет двадцать, в цинковом гробу.
А песни вот пою с тобою
И рассуждаю про судьбу.

Я офицер! — глаза блеснули, —
А тот, который рядовой,
В конце весны шагнул под пули,
Загородив меня собой...»

В закатных сумерках звенящих
Мой собеседник загрустил,
От уголька рукой дрожащей
Неторопливо прикурил.

У нас не вышло разговора.
И я решил стакан поднять
За капитана ли, майора —
Кого так страшно потерять.

ЗЕМЛЯ МОЯ

Л. Никитиной

Земля моя — зелёное безмолвье,
В хмельных лугах застывшая река.
Вокруг меня — великое раздолье,
В груди моей — великая тоска.

И нет причин особенных для грусти —
Ждут за рекой меня отец и мать —
А вот надеюсь в милом захолустье
С печалью в сердце тихо задремать.

Приснится мне, что нам пора расстаться:
За мною гости дальние идут.
И не дадут тобою надыхаться,
И наглядеться вдоволь не дадут.

Спаси Христос! На всё — Господня милость.
Целую клевер в жаркие уста...
В душе моей, как в речке, отразилась
Родной земли скупая красота.

Луна за тучи выбросила парус.
Летит страна за дальнюю версту.
Что русским был, лишь тем и оправдаюсь,
В краях иных вовек не пропаду.

БАЛЛАДА О ПРОПАЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Родился я на Волге,
В старинной Костроме,
Где северные волки,
Тюрьма где на тюрьме.

Родителей не помню.
И с теми не знаком,
Кто сдал меня в огромный
Окраинный детдом.

Услышал я впервые в те года:
«Гори, гори, моя звезда...»

В нас нянечка, сердчая,
Бросала табурет,
Когда мы ей кричали
В лицо, что Бога нет.

В священной укоризне
Попала раз в меня —
С тех пор иду по жизни,
Прихрамывая, я.

Звенела с крыш весенняя вода...
Гори, гори, моя звезда!

Вы будете смеяться —
Я жил одной мечтой:
Поближе перебраться
К столице золотой.

Москва меня ночами
Пьянила, как вино,
Своими площадями,
Своими казино.

Мне даже Кремль снился иногда!
Гори, гори, моя звезда.

С приятелем-аварцем,
С башкиром из Тувы
Сумели мы добраться
Однажды до Москвы.

Ах, вот она какая —
Вся в камне и огнях,
Хмельная, шептунья,
На разных языках!

Пусть я хромал сильнее, чем всегда, —
Гори, гори, моя звезда!

Не часто мне мерцало
В столице серебро...
Сначала на цыгана
Батрачил я в метро.

Бушлат мне выдал рваный,
Костыль и ордена,
А вечером карманы
Вычерпывал до дна.

Я не пропал, я повторял тогда:
«Гори, гори, моя звезда...»

Москвички — будто птички:
Кто — в школу, кто — в спортзал...
А я по электричкам
С гитарою хромал.

Как пальчики плясали,
Сбегая на лады!
Пока их не сломали
Вокзальные менты.

До лучших дней, до Страшного суда,
Гори, гори, моя звезда.

Я часто был в подпитье,
Грустил и тосковал
В чадающем общежитье
По имени — Москва.

Попрятались за стены —
Не люди, а — ата! —
Сплошные пизнесмены:
Долла`ры вместо глаз...

В судьбе моей единственно чиста —
Гори, гори, моя звезда...

На улице субботней
Зажёг я до небес
Ракетой новогодней
Понтовый «Мерседес».

И, верите, как будто
Оттаяла от льда
Над бездной бесприютной
Знакомая звезда!

...Летят, гремя, на север поезда,
Где догорит моя звезда.

БЕССОННИЦА

Спят города: и Архангельск, и Сочи,
Дремлет земля под небесным шатром...
Что же душа в эти длинные ночи
Не насладится забывчивым сном?

Словно неведомым зовом влекома,
Ради которого жизни не жаль...
Там её встретишь, где берег знакомый
И незнакомая дальняя даль.

Мир и глубокий покой привечаю,
Тихий покой своего шалаша.
Что же — на радость, на горе — не знаю —
Снова уходит из дома душа?

Что она ищет, чего ей не спится!
Бродит цыганкой над полем пустым:
Жаждет в небесном она раствориться,
Алчет насытиться вдоволь земным?

То натаскает стихов к изголовью,
То до речного дотронется дна,
То очарована зыбкой любовью,
То непонятной тоской смущена.

Мне бы в своём одиноком залесье
Душу заботой земной умирить...
Но не могу я топтаться на месте
И в безмятежной дремоте застыть!

Ну-ка, ямщик, по обветренным горкам,
По бездорожью гони, удалой!
Жизнь разгорается новым восторгом,
Новым желаньем и новой мечтой.

НОЧНОЙ РАЗГОВОР

Вере К.

Ко мне приходили сегодня друзья.
К ним вышел навстречу с улыбкою я.
Но, кажется, были не в духе они —
В глазах ледяные плясали огни...
— Ты вовсе не тот, кем считают тебя!
— Вы правы, — ответил бесхитростно я.

— Лукавый обманщик, коварный злодей!
По книгам твоим мы учили детей...
А сам и кресту, и жене изменял,
И мясом Великим постом заедал.
Сними поскорее личину свою...
— Простите... — смущенно я им говорю.

— Ты, помнишь, сказал: «Как река на заре,
Я душу хочу утопить в серебре...»
А сам только водку умеешь хлестать,
Такого пропойцу еще поискать!
На что золотые года разменял?
— Не знаю, — негромко я им отвечал...

— Пустые, как ветер, ронял словеса,
Старинных друзей осуждал за глаза.
Обиду копил и копейку берёг...
Кому-нибудь в жизни ты этой помог?
...Казалось, уже я — в крошечном аду,
Ведь правду друзья говорили одну.

Друзья напирали, шумели друзья,
Речами тревожными душу разя...
От этих убийственных гневных речей
Качнулась лампада на кухне моей.
Я, как на расстреле, прижался к стене,
Представив, что скажут враги обо мне...

— Ты пел о любви и о Родине пел,
А сам за границей годами сидел.
Зачем ты Христа поминаешь, чудак!
Ты даже Ему поклонялся не так...
— Пойдите! — вот тут уж не вытерпел я. —
Святая и правая Вера моя.

И кровь на руках, и блужданье во мгле
Есть время ещё отомлить на земле...
Но если неверная Вера моя,
Чем душу свою сберегу от огня?!..
Тоска без неё и рассвет — не рассвет...
Молчанье меня оглушило в ответ.

ВЕЗЕЛКА

Неся на себе отраженье луны
И ёлок прибрежных иголки,
Как будто бегут из волшебной страны
Весёлые волны Везёлки.

То дрогнет река, то блеснёт, как стекло,
То лентою вьётся из шёлка...
И сердцу всегда и тепло, и светло,
Что плещется рядом Везёлка.

Так часто бывает — метёт и метёт
Судьбы ледяная позёмка...
Я знаю и верю, что мне повезёт —
Меня обнимала Везёлка!

Проходит короткое лето весьма —
Живём мы на свете недолго:
Темнеет дорога, ветшают дома,
Не высохла только Везёлка.

И кто я, и что я на свете такой? —
Прохожий, пропавший без толку,
Когда в суете позабуду земной
Мою озорную Везёлку.

НЕ ЛЮБЛЮ

Я не знаю — с чего мне начать разговор.
Я дышу в телефон, словно пойманный вор.
Я давно эти силы по капле коплю,
Чтобы тихо сказать: «Я тебя не люблю...»

Слово «нет» — будто щелкнул затвор на устах,
Слово «нет» — так похоже на всех языках...
«Я люблю тебя! Слышишь? Душой не кривлю...
Но вот так, чтобы жизнь повенчать — не люблю».

Приговор в телефонную трубку трубя,
Я как будто внутри убиваю себя.
Столько раз на любовь наступали мою,
А теперь вот и я говорю: «не люблю».

Я — палач, я стреляю... Душа замерла.
Ты сама к автомату меня позвала.
«Легче сто раз услышать, — я в трубку хриплю, —
Чем однажды сказать: «Я тебя не люблю».

ТРИ ГЕРОЯ

Аркадию Мару

Где льётся карпатская песня,
Где пляшут гуцулы гопака,
Три улицы сходятся вместе:
«Петлюра», «Бандера», «Ковпак».

На мазанках треснула глина,
В которых бывали порой
Два верных украинских сына
И дважды советский герой.

Вот я по «Петлюре» гуляю,
Сверну на «Бандеру» потом,
Черешню губами срываю,
Когда прохожу «Ковпаком».

Завод замолчал безнадежно,
Лишь фабрика сушит табак...
Все трое зато незалежны:
Петлюра, Бандера, Ковпак.

Пошупаю бронзу Петлюры,
Бандеры послушаю грусть.
А возле ковпачьей фигуры
Я, кажется, нынче напьюсь!

Приснится мне звёздное поле,
А в поле — украинский флаг,
С которым воюют за волю
Петлюра, Бандера, Ковпак.

июль 2004 г., Борщев (Зап. Украина) — Москва

РУССКАЯ АМЕРИКА

Рыдайте, смешные узбеки,
Свободных напившись ветров,
Что с вами простился навеки
Мой друг — Александр Козлов!

Советская рухнула Троя —
Набросился век-изувер...
Теперь он в Америке строит
Мосты на реке Делавэр.

В Америке Саша — не первый.
Не он сюда тропы торил...
Веселая русская церковь
Стоит у казачьих могил.

Цветёт на горе земляника,
Озёрное око дрожит.
России ненужный Деникин
Под белым распятым лежит.

В неспешных, скупых разговорах
Мы горького выпьем вина
За тех... за своих! За которых
Отвергла большая страна.

А память и давит, и душит.
Что, Саша, задумался ты?
Никто к Фергане не разрушит
Твои золотые мосты.

ОТВЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ АМЕРИКАНСКОМУ ПОЛИТОЛОГУ

Был президент с утра обычно пьян
И нашей кровью по уши заляпан...
А вы тогда кричали: «Демократ он!»
И улыбались, глядя на экран.

Страна вот-вот рванётся на куски.
А вы нам песню пели: «Russia, Russia...»
И к самой шее подобрались нашей,
На югославах пробуя клыки.

Чего ж вы нынче лаете на нас?
Что вор — в тюрьме, что не горит Кавказ?
Что, наконец, кремлёвское оконце
Позолотило царственное солнце...

Дай Бог, от злобы вечной не пропасть
Вам в Бирмингеме, Хайфе, Миннесоте!
Чем нашу власть вы яростней клянёте,
Тем, значит, наша праведнее власть.

ОРЕКЕ

Сестра моя, Ореке,
О чём ты грустишь вдалеке?
Твой дом от чужих обид
Великая степь хранит.

Зову тебя у реки...
Меж нами снега и пески,
Меж нами глобальный мир
Границы провёл пунктир.

Рахмет, Ореке, рахмет¹
За тёплый осенний свет,
За этот рассветный дым,
В котором уснул Ишим².

Мы все из одной страны —
Глаза мои тоже черны,
И топот порой во сне
Я слышу степных коней.

1 Рахмет — спасибо (*казах.*)

2 Ишим — река в Казахстане

Во мне иногда, сестра,
Рыдает твоя домбра,
Качают ветра шатры,
Кочевий горят костры...

Пока твои кони летят,
Пока твои струны звенят,
В тревожных моих очах
Закат неизбежный зачах.

СОНА

Где всю ночь таинственные чары
Льёт на горы сонные луна,
В тихом и далёком Мингачаур
Есть такая девушка — Сона.

Что она луны прекрасней даже,
Знают в Мингачаур хорошо...
Жаль, что к этой девушке однажды
Я уже повенчанным пришёл.

Взгляд её чарующ и беспечен —
В нём сама поэзия и жизнь —
Волосы тяжёлые на плечи
Чёрною рекою пролились.

Я хотел бы холить и лелеять
Девушку, похожую на сон...
Ведь Сона — по-русски значит — «лебедь».
Лебедь, я тобою окрылён!

...Чтобы я не мусорил словами,
Высоко на огненный закат
Пролетели лебеди над нами.
Наши души так не полетят...

Ах, Сона, самой весны прекрасней!
Шею гнёт пред девушкой луна.
Над рекой зелёною на счастье
Мне махнула крыльями она.

В МОЁМ САДУ

Деревья спят. Стемнело, наконец.
Встает луна над крышею несмело.
Прости меня, всевидящий Творец,
Что я живу на свете неумело!

Вон у соседа — полон дом огней:
Растёт семья соседская на зависть.
А я сажу под яблоней своей,
Щекой листвы серебряной касаясь.

Струится с неба огненная жидь,
И над крапивой звёзды пламенеют.
Такою ночью трудно не любить,
В такую ночь о прошлом не жалеют.

Всё предалось таинственному сну.
Лишь на болоте квакают лягушки.
А я гляжу, как пьяный, на луну,
Глотаю чай из порывевшей кружки.

Пусть я любви чужой не нахожу.
Пускай крыльцо избы моей просело:
Я у судьбы немногого прошу —
Я жить хочу всё так же неумело.

ЛИПЕЦК И ЕЛЕЦ

Ох, заснеженные липы,
Речки талой леденец...
Я хотел увидеть Липецк,
А его затмил Елец.

То ль гербом своим оленьим,
То ли спинами холмов,
То ли праведною ленью
Полупьяных мужиков...

Липецк — дело не плохое:
Заводской клубится дым.
А Елец... Елец — святое!
Русский наш Ерусалим.

От Ельца, грозой приструнен,
Тамерлан бежал ни с чем.
Там меня встречает Бунин,
Ну а здесь мне выпить с кем?

С кем обняться в снежной пыли?
Липецк чахнет у реки.
Глубину веков размыли
Маслянистые круги.

На серебряные липы
Лунный капает свинец.
Будь здоров, трудяга Липецк!
До свидания, Елец.

ЛЕЙЛА ИЗ ШЕКИ

Думаю, вы принялись бы смело
В тот же вечер сочинять стихи,
Если б вам застенчивая Лейла,
Улыбнулась Лейла из Шеки.

Где цветут таинственные ночи,
Путь шелковый вьётся среди скал,
Я её насмешливые очи
И на щёках ямочки узнал.

Лейла, Лейла, на браслет из яшмы!
Хочешь, сердце подарю ещё?..
А она ответила мне: «Яхши»,
Что по-русски значит — «хорошо».

Что же, Лейла, в чувствах и тревогах
Ты была неверной и в словах...
Впрочем, Лейла, знаешь, слава Богу,
Ты осталась дома — машаллах!

Я живу не близко от востока:
Снег вокруг.. Ни гор, ни чайханы...
Будешь ты тиха и одинока
Вдалеке от солнечной страны.

В час разлуки, светлый и печальный,
Чуть коснувшись трепетной руки,
«Никогда, — шепчу я на прощанье, —
Не забуду Лейлу из Шеки».

1 июня 2008 г., г. Шеки

ПОЭТ

Годже Халиду

Неужели вчера на морском берегу
Ликовал я, терзаемый ветром...
Неужели вчера в суетливом Баку
Я гулял с настоящим поэтом!

Чуть заметно виски седина замела,
Но глаза озорные сияют.
Никогда он дороги родного села
На асфальт городской не сменяет.

Его голос негромок, певуч и глубок,
Пахнут строчки землёю и сеном.
Где сверкает в горах огнеликий восток,
Он один — как Рубцов и Есенин!

Мы и спорили с ним, и смеялись до слёз,
И по чарке бодрящей махнули...
Он шутил: «Это я из Москвы, мол, привез,
Холода в середине июля».

Низами, Саабир, а еще — Физули,
А еще — оглушительный ветер...
Кроме них на краю прикаспийской земли
Ничего я тогда не заметил.

Разве город цветёт, как цветут Шамахи²,
И дробит ледяные потоки?
Города — это проза, деревня — стихи —
Лопухом шелестит у дороги...

Даль над миром опять и темна, и мертва,
Лунный лик снова жёлт и расколот.
Ничего! — если будет деревня жива —
Ни страна не погибнет, ни город!

1 Машаллах – слава Богу (азербайдж).

2 Шамахи — село, где родился поэт Саабир.

О ПОЭЗИИ АРТЁМА ТАСАЛОВА

*...Без руля и без паруса,
Без бортов и без дна,
Ты летишь, моя лодочка,
Голубая волна!*

*В этой скорбной юдоли
Демииурга блаженного сна —
Только мёртвые могут без боли,
Только лодка поэта без дна...*

Это одна из философских миниатюр поэта Артёма Тасалова.

Поэтическая лодочка нашего автора мечется между небом и землёй, явно уходя от тленной скучной земли в божественные небеса.

А куда должна возлетать, устремляться поэзия?

Только в небеса, ко Всевышнему?

Или к страждущим в земной суете-слепоте человека?...

Нашу литературу ныне охватил натурализм. В голодные и смутные времена люди больше думают о низких, близких курицах, чем о дальних призрачных журавлях. И кто осудит куриные души и страсти?

Смутное Время — это когда плоть побеждает дух.

Но наш поэт летит вместе с журавлями в бездонные дали, а там поэта ждёт хладная и равнодушная Вселенная.

Артём Тасалов — а я давно слежу за его творчеством — начал с космического символизма, а пришёл к духовной православной поэзии.

Быть может, его поэзии иногда не хватает земных деталей, земной пыли, но зато в его поэзии слышен плеск журавлиных, а, может быть, иногда и ангельских крыл.

Великая поэзия, как вешний бешеный глиняный ливень, соединяет Небо и Землю. Пожелаем же нашему талантливому поэту-небожителю Большого Ливня!

Завершим наше мини-эссе прекрасным четверостишием Артёма Тасалова:

*...Истомилась душа обживать равнодушье предметов...
Уведи меня, брат, в беспредельную даль бытия,
Где пасётся в молчаньи блаженное стадо поэтов,
На медовых устах золотые улыбки тая...*

Я кланяюсь своему собрату, одному из золотого блаженного стада!...

Храни и паси его, Господь!...

Тимур Зульфикаров.

Лауреат премии «Коллетс» за лучший роман 1993 года.

На поляне в Михайловском читалось стихотворение «Апофеоз осенних листьев» (печаталось в «Псковской Правде», в Антологии псковской литературы):

АПОФЕОЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ

Вот и первые листья —
Мои нежные братья,
Заломив свои кисти,
Кувыркаясь, летят,
А земля им навстречу
Раскрывает объятия,
И разводит им плечи
Упоительный хлад.

Мои нежные братья,
мои верные друзья,
вам навстречу объята
я раскрою и сам;
обниму напоследок —
перед болью разлуки
срываются с веток,
летят к небесам.

Заломив свои кисти,
уповая на ветер,
эти самые листья,
понадеясь на высь,
поднялись в поднебесье
и в рассеянном свете
с лебединою песней
выше неба взвились.

Раскрывает объятя
им трава золотая,
и они, мои братья,
боже! сколько же их!
усыпают поляны,
словно бабочек стая –
золотистых и рдяных,
но, увы, — неживых.

Кувыркаясь, летят
старики золотые,
расточая, сочат
желтизну, не скупясь;
и становятся светом
их души простые,
и, не зная об этом,
умирают, светясь.

И разводят им плечи
серебристые росы,
но уже не излечит
их живая вода;
и они не проснутся,
чтобы пить этот воздух,
и уже не вернуться
никогда, никогда.

А земля им навстречу
улыбается нежно,
и они, словно свечи,
догорая, умрут;
и умершую кипу,
как простую одежду,
обнажённые липы
равнодушно стряхнут.

Упоительный хлад
им подарит забвенье,
света лунного яд
разомкнёт их тела,
но в небесную твердь
проникая свеченьем,
их прекрасная смерть –
да пребудет светла!

Кстати, стихотворение интересно тем, что первая строфа является ключом целого: её 8 строк являются первыми строками последующих строф-восьмистиший.

Артём ТАСАЛОВ (Псков, Россия)

Некоторые стихотворения из книги «Утрата Пути» (2004—2006)

ПУТЬ КЛЕНОВОГО ЛИСТА

*Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.
Но Иисус сказал ему: иди за Мною,
и предоставь мёртвым погребать своих мертвецов.
(От Матфея 8:21—22)*

Сказал и посмотрел бездонными глазами
На суету миров, не знающих себя.
Он был совсем один, единственный, но с нами
Любовью был самой, неистово любя.

Артём Владимирович Тасалов (1957, Москва). В 1976 г. поступил на естественно-географический факультет Псковского педагогического института. Окончил институт в 1982 г. В 1986 г. окончательно переезжает в Псков. Женат, имеет двух сыновей. Член Союза писателей России.

И ненависти тень не смела прикоснуться
Его пречистых уст, его пречистых стоп.
Он знал, что всем дано когда-нибудь проснуться,
С любовью навсегда соединиться чтоб.

Пойдём! — он лишь сказал. — Возьми себя с собою:
Чело своё, и грудь, и руки для Креста.
И человек пошёл, растождествив с толпою
Себя — он выбрал Путь Кленового Листа.

...

...И Ветер прошептал единственное Слово
Кленовому Листу, и обезумел тот,
И вышел из себя, и Клён Златоголовый
Блаженно осознал блаженного исход.

В зияющий провал, в небытие как будто,
В могилу пустоты — он бросил сам себя...
И он уже не знал, что совершилось чудо,
Любовью став самой, неистово любя.

ВИДЕНИЕ БОМЖА В СНЕГОПАДЕ

В косых лучах таинственного света...

Е. Шешолин

В косых лучах таинственного света
Шёл пьяный бомж, похожий на меня, —
Живая тень, живой фантом поэта
В ретроспективе гаснущего дня.

И снегопад живописал в закате
Судьбу души, отчаянной давно.
Переплетались тени трех распятий,
Причудливо ложась на полотно.

Покрытый плащаницей снегопада
Растаял город в сумерках времён.
И пьяный бомж, как обыватель ада,
Смотрел вокруг, обозревая сон.

Пустыня необъятная и пламя
Заката — мёртвое, как памятник, стоит.
И мёртвая давно пустая память
Загробно и безжалостно молчит.

За горло ухватив бутылку водки,
Как ядовитую, но верную змею,
Он выдавил мычание из глотки,
И запрокинул голову свою.

Он зелье пил змеиное, как воду;
Он видел всё, он ведал всё, он был
Никем, ничем, он просто был. Без роду,
Без племени, без имени, без крыл.

Я сделал шаг, и сумерки сгустились,
Зажглись огни бессмысленного сна,
Забегали вокруг, засустились,
И вспыхнула, как лампочка, луна.

Я сделал шаг, другой, припоминая,
Кто я такой и как меня зовут.
О как сладка ещё тшета земная!
О как ещё огни её влекут!

* * *

Всю жизнь я учился у сна.
 Я сон золотого руна,
 Я лик на волне изумрудной,
 Я сень для пилы многотрудной,
 Я пони того самурая,
 Я вился под сакурой рая,
 Я воль молодая луна —
 Багряное лезвие сна

* * *

Чёрные птицы в разорванном небе сердца
 Тебя уже нет но ты ещё помнишь свет
 Мертвые звёзды перетекают в пальцы
 Удары небесных клавиш взрывают земную твердь
 Музыка смерти переполняет чашу
 Любовь выходит из берегов ума
 Это безумье распахнутое в сиянье
 Отчего Ока в разорванном сердце сна
 Чёрные птицы это живые буквы
 С пальцев поэта сходят в глубины книг
 Море сознания их поглощает жадно
 Неисследимы смыслы его игры
 Тебя уже нет и ты ничего не помнишь
 Музыка смерти мёртвые звёзды пыль
 Кружится ветер перебирая буквы
 Алые листья льются в могилу сна

ЭПИТАФИЯ

(в некотором роде)

Я приводил в порядок стол:
 Там сотни книг и письма друга.
 С похмелья разум чист и гол,
 А в сердце сладостная мука.

Обложка каждая тепла
 Теплом руки родного брата.
 Томов и томиков тела,
 В меня входили вы когда-то.

Искал я мудрости как мог,
 Я мудреца искал живого;
 Да что поделать: видит Бог —
 Предел мой писаное слово.

А между тем изнемогла
 Душа от книжного общенья,

Увы — не выросли крыла
 Для чаемого превращения.

И я тогда похоронил
 Свою надежду, став бескрылым;
 И эту книгу сочинил,
 Как сам себе могилу вырыл.

Обмыл себя и обрядил,
 Сказал напутственное слово,
 Перекрестился — и забыл,
 Кто я такой и что такого.

Поэтому — живая тень —
 Поэт, и нет ему союза:
 Он умирает в тот же день,
 Когда его коснулась Муза.

* * *

Сентябрь в зелёной поре.
Солнечный луч на дворе
Играет с ребятами в мяч,
Тёплый уже — не горяч.

Играет с ребятами в мяч,
А он убегает вскачь.
Мальчик за ним бежит,
Лучом золотым прошит.

Солнечный луч на дворе,
Мир заблудился в игре.
Время сходить с ума...
Скоро зима.

Тёплый уже, не горяч, -
Тает в закате дач;
Тает осенний день,
Всё превращая в тень.

Тенью руки тянусь,
Ночи лица коснусь,
И растворюсь в ночи...
Сердце, молчи.

* * *

Опять за старое — холодный ветер здесь,
Листва осенняя клубится.
За две недели облетает весь
Парад листвы и под ноги ложится,
Как те знамёна, брошенные в прах...
У населения вытянулись лица...

Не ведаю — в каких ещё мирах
Дано печали перевоплотиться.
Мне — всё равно уже почти, почти...
Я этот прах оплакивать не стану,
Не потому что вечность впереди,
А потому, что этим прахом стану.

ЯБЛОКИ

В.Антропову

Собираю яблоки
На заброшенной даче
Солнечный день
Октябрь

Преклонив колени
Собираю яблоки
И улыбаюсь

Трава ещё зелёная
Вся-вся усыпана
Стою на коленях
Удобней так

Господи здесь я
Где Ты поставил
Вечная осень
Солнечная плоть

* * *

*И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне еще когда-нибудь приснится...
Арсений Тарковский*

СИНЯЯ ДОРОГА

И это снилось мне, и это снится мне,
И это мне ещё когда-нибудь приснится...
И что тут говорить — ты удалась вполне,
Судьба провинциального провидца.

И всё я ухожу и не могу уйти...
 Осенних сумерек дождусь ещё, доплачу.
 Искомую слезу я вынесу в горсти, —
 Сгоревшей родины оплачивая сдачу.

Я сделал всё, что мог: я вышел из себя
 В пространство сна приснившегося Бога.
 Последний лебедь, крыльями гребя,
 Прокладывает синюю дорогу.

Закат уже упал, и сумеречный плен
 Объемлет всё, что есть влюблённостью ревнивой.
 Агония любви прольётся в русло вен,
 И вспыхнет память огненную гривой.

И пепла чёрный снег просыплется на лист
 И сложится в слова иноязычной речи...
 И будет её смысл невыразимо чист,
 И некому понять, и незачем, и нечем.

И только Божий Лик в бездонной тишине, —
 В безумии ума, как мир, отобразится...
 И это снилось мне, и это снится мне,
 И это мне ещё когда-нибудь приснится.

ТЕКСТ ДЛЯ ШАРМАНКИ

Мгновенна жизнь и призрачна весна.
 Как вдох и выдох лето растворится,
 И вот уж осень в раструбе окна
 Листовою траурной слоится.

Зима, зима... Скорей бы уж, скорей...
 Сомкнутся кукольные веки:
 Малиновые вспышки снегирей...
 Пустые контурные реки...

Казалось — жил, казалось — нет конца.
 Но ветер смерти сделал круг над бездной,
 Лицо спадает маской с мертвеца,
 Мильоны глаз сияют славой звездной.

* * *

Я слово вещее ищу
 В саду души своей осенней,
 И сам листовою трепещу,
 Встав на кленовые колени.

Губой листовяной шевеля,
 Шепчу бессмысленные звуки.
 Молчит тяжёлая земля,
 Молчит холодный ветер разлуки.

Холодный ветер бьёт меня,
 Земля тяжёлая терзает,
 И я стою на склоне дня,
 Который сам себя не знает.

И запредельная тоска
 На сад мой звёздами струится,
 И вьётся, бьётся у виска
 В любви сгорающая птица.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Московский снегопад, ты сердце моё рвёшь.
По слякотным полям бреду бомжом небесным.
Скажи, моя душа, как долго ты живёшь
В пространстве плотных тел изгоем бестелесным?

Доверчивый асфальт пружинит под ногой,
Вскипает слякоть чуть и тает так смиренно,
Что трудно мне признать, что я ещё живой,
Что город предо мной — коленопреклоненно.

Любовь, тебе одной печаль моя и боль.
Ау, ау, ау! — в толпу, в метель и стужу.
Раздует пламя сна послушный алкоголь,
И сам себя до дна я выверну наружу.

Зачем я здесь? Зачем? В пустыне мёртвых лиц?
Но каждое из них — моё отображение.
С последнею листвою я повергаюсь ниц
Оставив под метлой своё воображение.

В прозрачной пустоте — в потусторонней тьме,
Никем не видимый — мой путь не существует.
Бушует снегопад в бессмысленной Москве,
И Ангел в облаках колоду душ тасует.

26.10.05

Москва, снегопад

А.Ш.

...и жизнь прошла, как черновик,
за чтением премудрых книг...
как черновик, как сон во сне,
как тени тень в чужой стране...

Такое знание — хоть взвой.
Предупреждал Екклесиаст...
А впрочем, что же: ты живой,
ну а на бедность Бог подаст.

* * *

В морозящем сумраке, в сером свете
Выхожу из хауса на работу.
Про себя, сколь хочешь, на жизнь посетуй —
Чёрный тополь встретит твою зевоту.

А навстречу — вящие азиаты
Мельгешатся вялыми муравьями.
В сером небе плачет им бог распятый,
Копошатся души в себе, как в яме.

В арматуре сучьев сырые галки
 Гомонят цыганами в переулке.
 И гудит судьба в шепотке гадалки —
 Словно сбитый с толку пчелиный улей.

На семи ветрах продувных — Россия,
 Словно знамя кровью во тьму сочится.
 Сколько слякоть снежную не mesi я, —
 Всё равно с пути я обязан сбиться.

Вот и сбился, Отче, с пути давно я.
 Над волнами чёрного океана
 Я не голубь, — ворон святого Ноя,
 Что навеки сгинул в плену тумана.

* * *

*...и душа моя выпросит неба кусок,
 подбираясь в развалинах сна.
 Геннадий Кононов*

Первый снег утишает похмельный синдром:
 Улыбнуться, пожалуй, могу.
 А печаль Ихтиандром
 Ныряет в мозг.
 ...

Это тело потащится в снежную нежь
 Ублажать свою немощь вотще.
 Вот бери жемчуга и пригоршней ешь,
 В пустоту улыбаясь, вообще.

Там невидимый ангел-хранитель стоит,
 Соблюдая доверенный пост.
 Он замолит твой грех и обиду простит,
 Потому что он вечен и прост.

И поэтому, жемчуг хрустя ледяной,
 Я светло улыбаюсь, светло...
 Потому что стоит у меня за спиной
 Ангел-брат, поборающий зло.

Оказалось, надежды мои не сбылись,
 И уже никогда. Никогда.
 Обступила, как в детстве, небесная высь,
 Растворились, как призрак, года.

Я успею еще покачать головой,
 Забывая себя наяву.
 Прошепчу, лепеча: Боже мой, Боже мой...
 Я уж целую вечность живу.

Вспыхнет синее пламя — коснется очей,
 Талый жемчуг прольётся из рук.
 И придуманный мир разворотом плечей
 Уничтожится в гаснущий звук.

РУССКАЯ МАХАЯНА

Белые, белые, белые, белые храмы —
 Рамы блаженства, контуры Божьей любви.
 Поздно иль рано узнаешь, что жизнь — это рана,
 Руки хирурга в крови.

Вот и аукнулись нищие божьи сто граммов, -
 Угли живые теплятся, дышат в крови.
 Жизнь — это вечная вещая песня брахмана,
 Жертва любви.

Это — театр, это — старинная драма.
 Прихоть случайной с первого взгляда любви.
 Если сумеешь глаза оторвать от экрана,
 Значит — живи.

Белые, белые храмы —
 Контурсы Божьей любви.
 Русская Махаяна,
 Благослови...

МЕТАМОРФОЗА

Сон стоит, словно омут, и в омуте сна
 Синий сом под корягой живёт.
 Ему тысяча лет.

Он огромен и мудр, и ему не тесна
 Эта бездна немеющих вод.
 И не нужен ему белый свет.

Знает сом-старожил, что в неведомый час
 Сон растает блесной в синеве,
 Тело брызнет, как плеть.

Ослепительно яркий раскроется глаз.
 И в живой изумрудной траве
 Будет синяя бабочка млеть.

Несколько слов о стихотворении МЕТАМОРФОЗА от автора

Последнее стихотворение, которому я дал название, как всегда, после того как поставил точку, — МЕТАМОРФОЗЫ — вдруг побудило меня объяснить себе самому, как оно появилось и о чём оно, главным образом, сообщает читателю.

Побудило, вероятно, потому, что оно получилось интересным, несмотря на то, что я писал его так спокойно, как будто делал очередную табуретку, стуча по клавишам клавиатуры и поглядывая время от времени на экран монитора.

И вот этот контраст между прозаичностью процесса написания и таинственным для меня же результатом остановил моё внимание на себе и понуждает сказать следующее.

Явного вдохновения не было.

Первые строки пришли обыденно из моего постоянного внимания к образу жизни-сна, когда феноменальный мир суеты осмысливается в концепции сновидения.

Концепция древняя, как сама мысль, но когда подступаешь к ней сам — она оживает и завораживает своей глубиной.

Итак, «Сон стоит, словно омут, и в омуте сна».

Что же там мне надо увидеть?

Вспомнилось детство, когда в тамбовской деревне, куда я ездил на лето к тётке, ребята травили байки о том, что мужики ловили в речном омуте гигантского сома, вбив в берег рельсину, привязав к ней канат с гигантским же крюком, на котором была жареная курица. Сом должен был быть никак не меньше 4 метров. Вспомнил, как сам лет 20 тому назад сидел в резиновой лодке на одном из волжских затонов и вытягивал на

донку из чёрной многометровой глубины лиловых сомиков в полтора кг. Вспомнил, что рыба в глубине один из любимых образов поэтов-мистиков. Вспомнил, что сам во сне был гигантской мудрой рыбой...

Итак, «Синий сом под корягой живёт. Ему тысяча лет».

1000 лет — образ времени нашего эона. Сом — свидетель зарождения мира. Он ровесник омуту сна.

Первая строфа — трёхстишие, терцина. Не хотелось подгонять образ в прокрустов квадрат четверостишия. Поэтому и дальше пойдут терцины. Лаконичные, как обрубки фраз. Без лишней пиитической болтовни и тумана.

«Он огромен и мудр» — это очевидно. В некотором смысле, сом — демиург этого сна.

«И ему не тесна эта бездна немеющих вод».

Да, она ему впору — ибо мера его знания-забвения именно и есть бездна.

«Немеющих вод» — воды, как тело, как плоть мира сна, молчащих, как не имеющих слова. Камни — могут заговорить, и они говорят, ибо камень уже есть форма. Воды молчат. Они бесформенны. Они — материя-маерь сна.

«И не нужен ему белый свет», ибо сом-сон сам порождает свет в своем сновидении. Здесь сон порождает солнечный свет. Когда мы спим — мы можем видеть солнце.

Но мы — спим.

«Знает сом-старожил, что в неведомый час сон растает блесной в синеве».

Да, ибо тот, кто уснул, знает, что он спит и однажды проснётся.

Но не знает когда. Иначе сон не был бы сном.

«Блесной в синеве», потому что в образе блесны есть мгновенность метаморфозы: блесна-блеск-молния, блесна-смерть.

«Тело брызнет, как плоть».

Не сразу нашёл нужный глагол для того чтобы передать то, что произойдёт с телом в мгновении метаморфозы-смерти сна. «Брызнет, как плоть» — несомненная удача. Динамика и пластика вместе. Тело рыбы и плоть — одно.

Брызги, как тающий взрыв тела сна.

«Ослепительно яркий раскроется глаз» —

это солнце иного мира, это глаз новорожденного ребёнка.

И это же — мгновение осознания истины между двумя мирами, между сном и сном. Предвечное осознание, явь, которые потенциально присущи каждому сознающему существу.

«И в живой изумрудной траве» —

произошла смена характеристик материи сна. Теперь это — изумрудная трава.

«Будет синяя бабочка млеть» —

метаморфоза произошла: синий сом — синяя бабочка.

Синий цвет — опознавательный для объекта метаморфозы.

Возможно, это бабочка из гениальной притчи Чжуан-цзы, который долго не мог понять: то ли он Чжуан-цзы, которому снится, что он бабочка, то ли он бабочка, которой снится, что она — Чжуан-цзы.

В конце концов, это недоумение неустранимо.

В нашем случае кому-то снится, что это сом стал бабочкой. Бабочка млеет, ибо природа сна есть блаженство. Не будем забывать об этом в наших скорбях, дорогой читатель!

Стихотворение выросло само из себя безо всякого плана с моей стороны.

Вероятно, это то, что надо для того, чтобы поэзия пребывала сама собой.

Пусть поэт смиренно пребывает «частью речи», как верно подметил Бродский.

Вот так и получается: в этом мире ты честно делаешь табуретку, а в мире ином — происходит стихотворение.

И последнее — всё сказанное выше не имеет никакого отношения к самому стихотворению.

Юлия ИЗОТОВА (Кохтла-Ярве, Эстония)

УТРОМ

Открою окна, выгоню обиды,
И комнаты наполнит синева.
Потрясена знакомым с детства видом,
Шепну: «Жива!»

Вот так, поверив жизни, словно чуду
(Ведь что иное — чудо, как не жизнь?)
Я улыбнусь и сетовать не буду,
Шепну: «Держись!»

И Сила, та, что до поры таилась,
Восстанет, и смирит, и вознесёт.
И, всей душой сдаваясь Ей на милость,
Шепну: «Вперёд!»

2005

ПРОБУЖДЕНИЕ

Что-то совершается в природе:
Эка разгулялась круговерть!
Заплелись в едином хороводе
Тени, звуки, и земля, и твердь...

И, в смятенье, выбегу из дома,
Мир сомкнётся за моей спиной, —
Эту небывалую истому
На привычный не сменю покой.

Ветер — шальный, беспощадный, нежный,
Студит губы, увлажняет взор,
Под ноги мне стелет белоснежный,
Искрами мерцающий простор.

— Что стоишь? Иди! Покуда время
Не иссякло, не сгустился мрак,
Прогони недужных мыслей племя,
Утверди Любви и Веры знак!

Я ступаю — не забавы ради! —
В грудь стучатся отголоски бед.
Но страшнее на пречистой глади
Выглядеть свой нечестивый след.

И пока он чертит круг за кругом
Да петляет меж уснувших верб,
Неустанно исправляет вьюга
Белизны поруганной ущерб.

Не видать пути конца, ни края —
Ни тропинок, ни каких примет.
Только звёзды, темень проникая,
Шлют суровый неподкупный свет.

Но живей и чаще сердце бьётся
С каждым шагом. И понятно мне:
Очень скоро всё вокруг проснётся
И навстречу двинется Весне.

2005

ПОПЫТКА ПРОРОЧЕСТВА

Когда уйдёт беда, затянутся все раны,
И Новая Заря восславит Новый День,
Мы станем у окна с тобою утром рано,
И боль былых невзгод рассеется, как тень.

И груз былых долгов вдруг разлетится пухом...
 А толчеи обид уж и в помине нет...
 И очи углядят Неугасимый Свет.
 И Вечные Слова легко коснутся слуха.

14.01.2006

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ РИЛЬКЕ

«Задача наша — так глубоко, так страстно и с таким страданием принять в себя эту преходящую бrenную землю, чтобы сущность её в нас невидимо восстала. Мы пчёлы невидимого. Мы исступлённо собираем мёд видимого, чтобы наполнить им сокровищницу Невидимого.»

Из письма Райнера Марии Рильке

Собирайте жизни мёд, собирайте!
 Всё страдание, всю радость впитайте
 Чутким сердцем до мгновенья, до капли, —
 Чтобы души в суете не ослабли,
 Чтобы дни не обессилели втуне,
 Но звучали, словно времени струны
 Где-то в памяти от forte до piano.
 Этим мёдом будем сыты и пьяны.

Собирайте жизни мёд, собирайте!
 Смех и слёзы, пот и кровь замешайте
 Вы с дождями, и землёй, и лучами...
 И прекрасными земными ночами
 К вам усталость снизойдёт, как блаженство,
 И рассвет опять пронзит совершенством —
 Вечно новым, неизменно влекущим
 Приглашеньем, как на пир, в день грядущий.

Собирайте жизни мёд, собирайте!
 Не топчитесь на порогах, шагайте
 В заповедные сады и чащобы
 Сквозь дурман житейской скуки и злобы
 По дорогам непроходим доселе...
 Оглянитесь! Может быть, стрелки елей
 Путь укажут... За любым поворотом
 В Неизвестное открыты ворота.

Ничего, что мёд горчит, собирайте!
 Больно падайте и трудно вставайте:
 Горько-солono, а кожа — в лохмотья,
 И почти неистребим привкус дёгтя...
 Час урочный постучится в окошко, —
 Каплю мёда уроните в лукошко
 Вашей Вечности... Последняя. Точка.
 Но уже готова новая бочка...

Собирайте жизни мёд, собирайте!..

2005

Ольга ЛУЖИНА (Кохтла-Ярве, Эстония)

ПРОЗРЕНИЕ

На сердце тяжесть роковая,
 Душа изранена, больна.
 И мысль всё та же вековая:
 В чём смысл? Зачем мне жизнь дана?

Но есть вопрос и нет ответа...
 Ищу его я каждый миг!
 Прошу у Бога я совета,
 Он знает всё, Он всё постиг!

Его услышать я пытаюсь,
 Я тайну разгадать хочу!
 К нему с молитвой обращаюсь,
 Губами истово шепчу

И знаю я, что Он услышит
 Мой зов к Нему, мольбу мою,
 И грудь моя спокойно дышит,
 Когда пред алтарём стою.

Тревога сердце покидает,
 И на душе уже покой.
 Во мне прозрение наступает,
 И мысли обретают строй.

Вдруг всё на свете стало ясно,
 Как Божий день, как Божий лик.
 Искала смысла я напрасно, -
 Смысл жизни — в Жизни! Каждый миг!

МОЙ КРЕСТ

Я наконец свой крест подымяю
 И осветится грешный лик
 Благим и лучезарным светом,
 И зажурчит живой родник,
 К которому прильну устами,
 Чтоб мудрость истины испить.
 Я за плечами всё оставлю -
 Хочу я верить и любить!

Мечтаю снова жить Надеждой,
 Надеюсь снова жить Мечтой,
 Чтоб птицу счастья, радость жизни
 Не погубить мне злой судьбой.
 Ведь наша жизнь — ничто иное,
 Как то, что думаем о ней.
 Воздушный замок буду строить
 Иль дом без окон и дверей!

Не всё ль равно? Я буду грезить...
 Свой крест не стану я влачить.
 Его с терпением и молитвой
 Нести я буду и Любить!

* * *

Когда в глаза заглянет осень
 И иней ляжет на виски,
 Когда уж ни о чём не просим,
 Свои невзгоды сжав в тиски, —
 Тогда... приходит просветленье
 И осмысленье прошлых лет...

А в сердце — сладкое томленье
 И вера в то, что этот свет
 Своим немеркнувшим сияньем
 Сокроет тьму совсем, навек!..
 И осень с мертвенным дыханьем
 Уж не страшна... Как весел снег..

ПРОГУЛКА В ЁЫХВИСКОМ ПАРКЕ

Посвящается

Владимиру Александровичу Жилкину

Весна, торжествуя, и в наши широты
Пришла в свой назначенный срок.
А мы, позабыв про мирские заботы,
Зашли в этот рай-уголок.

Мы два собеседника, путника-друга,
По парку идём не спеша
И здесь понимаем, и тут ощущаем,
Ах, как же ты, Жизнь, хороша!

Здесь мысли светлее и дышится легче
Вдали пыльных улиц и шин.
Лишь тут понимаешь, нет — истинно знаешь,
Что ты с этим миром — един!

Ты с каждым листочком, ты с каждой травинкой
Незримо нитью скреплён!
Себя ощущаешь такой же былинкой,
Могучей, как дуб или клён.

Ты, как муравей, как комар иль песчинка
На лоне родимой Земли...
Как мал человек, ему небо с овчинку.
Прозри и не бойся, ты сердцу внемли

И мыслью раздвинь это синее небо,
В иные миры устремись,
Свой взгляд ты направь туда, где ты не был
Для истины новой родись!

О, друг мой, мой путник, мой добрый учитель,
Что в вечные тайны проник,
Мне с Вами светло, Вы — философ, мыслитель,
Который и сам ученик!

ВОСПОМИНАНИЕ

Посвящается

мужу Михаилу

Стоим на берегу Чудского...
Оно соединило нас.
Всё это, кажется, не ново,
Но *так* бывает — только раз!

Ах, это озеро Чудское!
Какая ширь, какая даль...
Как веет от него покоем...
О, милый, дай скорее шаль!

На плечи я её накину
И побредём с тобой в тиши.
Ногой отбрасываю тину,
Весь берег пуст, нет ни души.

И только сосны вдоль стоят,
С тобою нас благословляют,
И комары вокруг звенят,
Но нас, счастливых, не кусают!

Последний луч щеки коснулся,
Скользнул по берегу, угас...
Вдруг яркий свет души коснулся, —
То Бог навек венчает нас!

Александр МАРТЫНОВ (Кохтла-Ярве, Эстония)

* * *

Моя душа — как будто море,
И словно скалы — разум мой,
И вечно друг со другом в споре
Громады их, и жизнь — прибой,
Где среди стенаний, волн и пены,
Не замечая наготы,
Как Афродита, постепенно,
Являют плоть свою мечты.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Так тихо, так тихо, как падает снег,
В кроваточке спит и сопит человек,
И тихо, так тихо вздыхает во сне,
Что больше не слышишь других в стороне.

Так тихо, так тихо, как светит Луна,
Почти не касаясь, дотронешься сна
И тихо, так тихо ласкаешь его,
Что больше не слышно вокруг ничего.

Так тихо, так тихо, как будто в мечтах,
Качаешь его и лелеешь в руках
И тихо, так тихо ты шепчешь ему,
Что больше не слышать нигде, никому.

Так тихо, так тихо, как падает снег,
В кроваточке спит и сопит человек,
И тихо, так тихо вздыхает во сне,
Что нужно быть тише самой тишине.

ГЛАЗА МЛАДЕНЦА

*На проповедь отца Андрея
в Богоявленской церкви
г. Йыхви от 12.01.2003*

Глаза младенца — глаза Христа.
В них совершенство — и простота.
Они прозрачны и глубоки,
Взирают прямо и так легки!

И в каждом доме они как свет,
Как бы иконы, как бы Завет
О вере в Бога и в Святой Дух,
Для тех, кто внимлет, но всё же глух...

А в Божьем храме они для нас
Как оправданье и как наказ,
Как осознание, что здесь всегда
Вот так вот близко глаза Христа.

БАБУШКА

Одета неказисто, но прилежно,
Чуть сгорбившись, подавшись вперёд,
Она сидит, в руках платочек мнёт
И смотрит как-то сквозь, как бы в безбрежье...

Со взглядом тёплым тихое лицо
Всё бессловесной мудростию веет.
На пальце — обручальное кольцо,
Хоть много лет она уже вдоеет.

* * *

Я хочу умереть в декабре,
Когда мир целомудрено-белый
И Рождественский Пост на дворе,
И все молоды духом и телом;

Когда все день и ночь веселы,
Получают и дарят подарки,
А повсюду огни и балы
И, как в сказке, заснежены парки;

Когда осень и грусть позади,
Впереди же весна и надежды,
Когда воздуха свежесть в груди,
А снежинки — как в детстве, всё те же.

РОНДЕЛЬ

Вечнозелёные сосны
Невозмутимо стоят
В пёстрый, в огонь листопад,
В думах глубоких серьёзны.

И в беспросветах морозных,
В режущий льдом снегопад
Вечнозелёные сосны
Невозмутимо стоят.

Но они вовсе не косны, —
Тоже меняют наряд,
Золото ж в сердце хранят
Мерноживущие вёсны — вечнозелёные сосны.

ВИЛЛАНЕЛЬ

Бездонными часами у прибора
 Люблю смотреть, отслушивать волну,
 Её стремленье пенно-голубое,
 Понять пытаюсь: что меня такое
 То беспокоит, то влечёт ко сну
 Бездонными часами у прибора.

Волна бежит: то в страстной жажде боя,
 Так хочет берег приравнять ко дну
 Её стремленье пенно-голубое;
 То шепчет, гладит, манит за собою
 Куда-то вдаль тебя и в глубину,
 Бездонными часами у прибора.

В ней встретишь настроение любое:
 На дно то тянет, то ведёт войну
 Её стремленье пенно-голубое;
 И я, сливаясь с водами душою,
 С волною представляю суть одну
 Бездонными часами у прибора:

Её стремленье пенно-голубое.

* * *

Мой дом не крепость, но обитель,
 Но в ней живу не как монах,
 Пусть многих в жизни и обидел:
 Я — неудавшийся монарх;

И одиночества уродство
 Не потому в постах терплю,
 Что не любим никем, а просто
 Сам никого я не люблю.

ПОСЛАНИЕ ПЕТРА К АНТИОХИЙЦАМ

Апокриф

Апостол Пётр, раб Иисуса,
 Не устающий подвизать
 И весть нести, хоть безыскусно:
 Мир братьям всем и благодать.

Я ничего там не убавил
 И не прибавил ничего.
 Зачем мне быть, как брат наш Павел? —
 В Христа подоблюсь одного.

Меня вы просите, чтоб больше
 И обстоятельней писал,
 И разъяснил вам слово Божье
 Так, чтоб никто в нём не блуждал;

Ни Пётр, ни Павел и никто вам
 Не скажет лучше, чем Христос.
 Нести вам Слово мы готовы,
 Но перекапывать исток?..

И говорите про старанье
 Мне брата Павла в сих делах,
 Как он посланье за посланьем
 Шлёт находящимся в краях.

И не от множества ль посланий
 Вступаете друг с другом в спор?
 Немало лживых написали
 Не суть кто любит — разговор.

Однако неужели мало
 Что записал за мною Марк?
 Вам слов Христовых не достало?
 Для вас Евангелие мрак?

Прошу вас, братья, возлюбите
 Словесно чистое млеко.
 Его водою не мутите,
 Вкус разворачивается легко.

БЛЕДНЫЙ АНГЕЛ

Скрижали

I

*А я хочу, чтобы вы были без забот.
 Неженатый заботится о Господнем,
 как угодить Господу;
 А женатый заботится о мирском,
 как угодить жене...
 I Кор. 7, 32—33*

Мой брат! Пока мы воспаряем
 Над грешным миром, человек
 Нас олицетворяет с раем
 И говорит: «Белы, как снег!»

В своём привычном заблужденье
 Он забывает наше «но»:
 Лице Его зреть по рождению,
 Не по заслугам нам дано

И, обладающие силой,
 Мы тем позорнее слабы,
 Когда становимся бескрылы
 От унижительной борьбы.

Что бесы нам? Се враг достойный,
 С кем только в мыслях не равны;
 Мы с дьяволом вступали в войны
 Священной верою полны.

Но, брат, ты знаешь, в дольном мире
 Страшнее женщина, не бес.
 Превознося нас до кумира,
 Она свергает нас с небес.

Её любовь — сплошная ревность,
 Всепожирающий огонь:
 Сначала ласкою согрел нас,
 Затем сжигает, только тронь!

Её змеиные объятья
 Сминают крылья, душат дух,

И забываешь ты о братьях,
 Его не помнишь, слеп и глух!

И я, когда-то побеждённый
 Одной из них, уже не тот,
 Не светлый ангел окрылённый,
 Но бледный дух, смутивший свод.

II

*Бойся какъ геенскаго огня галокъ намазан-
 ныхъ (женщинъ) ибо они часто изъ воиновъ
 царскихъ делаютъ рабами сатаны.
 Изъ поучений прп. Серафима Саровскаго*

Дух устремленьями земными
 Свой переполнив — в духе пал,
 И пребываю так доньне —
 Сколь был велик — убог и мал.

Я позабыл слова Господни,
 Что будут двое плоть одна
 И сам обрѣкса преисподней,
 Земную сласть испив до дна.

Единожды увлѣкшись плотским,
 Я навсегда утратил свет;
 Содом покинул помнишь Лот с кем?
 Но в яму падший заведет.

Небесные поверив тайны
 Тем, кто земное не постиг,
 Я нищим дал не подаянье,
 Но меч, что пламенно блестит.

А нищий, в чьих руках оружие
И не имеющий еды,
Пойдёт пахать с другими дружно?
Нет, заберёт у них плоды;

И скажет так: он — нищий — пастырь,
Кто знаний света принял тьму,
Что меч вручил огнеопасный
Господь чрез Ангела ему.

И в доказательство предъявит
Он знаки, числа, письмена,
И возликует тихо дьявол:
«Взрастают плевел семена!»

Так было, будет, так бывает,
Не первый, не последний я,
Кто назначенье забывает,
Ночь возлюбив сильнее дня.

Елена ТОЙВОНЕН (Кохтла-Ярве, Эстония)

МАРТ. ЧУДСКОЕ

Луна и солнце противостояли.
Кричало солнце с берега: «Привет!..»,
Луна, в своей бледнеющей печали
Над озером шептала тихо: «...нет».

А я на белом покрывале снежном,
Не зная, солнцу верить иль луне,
Была меж ними... Всюду безмятежность
Теплом струилась, и казалось мне,

Что солнце, всё насквозь пронзая,
Не ведает, не знает глубины
Души взволнованной — когда она, нагая,
Спешит укрыться в холодность луны.

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ

Вымарать прошлое вряд ли получится,
И бесполезны страницы исписанные.
В памяти спрячь, поворотами ключика
Крепче запри застарелые истины —
Зёрна искать в перегное бессмысленно.

Лучше выращивай новое, светлое,
Просто отрезав от плоти безжалостно
Рану гниющую, свежими ветками
В жизнь прорасти, поначалу — без алого.
Не торопись возгораться пожарами —

Выжженный лес возрождается медленно.

* * *

Я любовь сложу не из букв
и заманчивых лестных фраз:
а совью венком с незабудками
из полыни и шёпота трав;
к ним ромашку, невольную спутницу
всех гаданий — сомнений пустых,
не заметив, без умысла впутая...
и сплету восьмистрочием стих.

ВЕСЕННИЙ БЛЮЗ

Ваш взгляд меня смущает — будоражит.
К чему он так пронзительно пытлив?!
Я не ищу знакомства с Вами — даже
Страшусь его. Я знаю, что отлив

Начнётся скоро, и отхлынут чувства,
Печалью обозначив зыбкий след;
И струи лучезарные прервутся
Страданием, трамбуясь в горечь бед.

Я искренне готова разрыдаться
От радости, проснувшейся во мне,
И отмотать бы время вспять, лет ...надцать,
Я б отдалась безропотно волне.

Зачем нам быть знакомыми? — Поверьте,
Пройдёт весна, как всякое поветрие.

ВИТИЕВАТОСТЬ БЕЛОЙ НОЧИ

Туманом стелется печаль
ночных полей —
Зовут и манят в забытьё:
«Душой болей!
Терзайся и тоскуй, как мы —
мечтой седой
Себя окутывай в ночи,
она след той —

Далёкой юности печаль,
как старый сон.
Вдали забрезжится рассвет —
растает он,
Померкнет в памяти мечта,
тоска по ней
Багряным озарит огнём —
живым — больней!»

НЕПРИКАЯННОСТЬ

Лунный нежный персик
В дымке облаков, —
Тешится наперсник
В мягкости оков...

Вот собака бродит
Под моим окном,
Чутко ухом водит,
(Не забытья сном),

Просится в подруги
— Псина, что не спишь?
Беспокойней вьюги
Летней ночи тишь.

* * *

Не жалея ты себя... Не жалея!
В тишине полутёмных аллей
Грусть приходит всегда «ниоткуда»
И свербит беспокойно — покуда
Свежий ветер, листву перебрав,
Не найдёт интересней забав,

Чем затронуть дрожащие губы
Так, как дуют на рану — не грубо,
Но настойчиво боль усмилив.
И другой уж на сердце мотив
Перебором пройдётся по струнам —
От дурмана очистит тропу нам.

ДУРЁХА

Всё гадала на ромашке — глупая,
Суть искала скрупулёзно — с лупою
Над растением молилась каверзным:
Лепесточки улеглись в равенство,
Плюсы-минусы сложились нуликом, —
Закаталась губёха руликом.
Не гадайте на ромашках!

Бабоньки,
 Расспросите всё у старой яблоньки:
 Вам поведаёт коряво деревце
 О цветении румяной девицы
 И плодах, налитых соком — спелостью,
 Перемешанных позднее... с прелостью...

...Изъедает душу червоточина,
 Если верить в то, что напророчено.

БЕЗУТЕШНОСТЬ

И снова дождь стучит в окно,
 На грусть настраивая скрипку,
 И понимаешь, что в одном
 Дыханье слишком много крику.

Пусть грохотали б небеса,
 Обрушивая сверху тяжесть
 На мир, в котором ты и сам
 Готов страдать и гибнуть даже.

Пусть остаётся навсегда
 В душе смиренной тихой болью
 След от бывшего. Но беда —
 Порой вопит, помимо воли.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА.

Разбейся вдребезги от ненависти! —
 Слова выслушивать невыносимо.
 Через край стекает пена истины.
 Осядет горечью вина. Но сила
 Ещё останется (умножена
 на десять заповедей праведных,
 вела вперёд). Войной не хожена
 Была доселе.
 К чёрту Правила!
 Разбиться вдребезги (пусть выстрадать!),
 СВОЁ отстаивая правило,
 Зубами рвать... хрипеть...
 Так быстрая
 Чума раздора в пекло правила.

* * *

Бездушный март две тысячи седьмого -
 В нём нет событий, ни весёлых, ни трагичных.
 В нём — боль, застывшая холодным февралём
 Под мерное отстукивание чисел.

Не стоит ждать от марта новизны,
 Когда он сам в плену, развитий
 Жадать от юнца. — Не наживши казны,
 Кто ж милость раздаёт. Не врите,

Будто сон всё, будто явь
Ещё не расцвела и понарошку — стужа...
Ненастья чередой пронесется стремглав,
След оставляя и подолгу вьюжа.

* * *

Безвременье в душе застыло страхом.
Сил плакать нет — молюсь. Который день
Не вижу продолжения. Не сахар,
А яд мне нужен. Сумрачная тень
Нависла пеленой: туманно солнце
И приглушён весёлый щебет птиц.
И не вздохнуть свободно — ярко, полно
Не ощутить Рождения.
Вертись,
Как прежде, Жизнь! Своею круговертью,
Водоворотом замани меня.
Весне по-прежнему свяшенно верю,
Сопротивлением не стану изменять
Начертанному Свыше.
Выпить яду
Для очищения — не более, чтоб дать
Душе движение цветеньем радуг
Воспринимать всей жизни благодать!

Александр КАЗИН (Россия, Москва)

ХРАМ, РЫНОК И ДЕРЖАВА

Слово «идеология» пришло к нам из советского прошлого. Может быть, оно там и осталось? Не совсем так. Свою идеологию имеет любая страна, каждый общественный уклад. Идеология — это реальное мировоззрение, которым руководствуются люди, классы, партии, государства. В 90-х годах прошлого века российскую идеологию определяли два слова — «обогащайтесь» и «берите суверенитета, кто сколько может». Правда, к концу того драматического десятилетия рейтинг произнёсшего эти слова Б.Н.Ельцина упал до 3–4 %. Совсем другую идеологию предлагает стране ныне действующая власть. Недавно, 21 июня 2007 года, на встрече с преподавателями истории в Кремле В.В.Путин заявил, что Россия не может жить навязываемыми ей извне представлениями о собственном прошлом и тем более будущем. Еще раньше, в феврале, президент встречался с молодыми писателями, подчеркнув при этом, что русский язык и литература — это государствообразующий фактор.

КАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ НУЖНА СЕГОДНЯ РОССИИ?

Действительно, Россия — не просто страна, а целый континент и даже отдельная цивилизация. Поэтому она не может проводить политику какого-либо этнического национализма — например, русского. Россия слишком велика и духовно значительна для того чтобы строить свою жизнь по образцу агрессивного этноцентризма малых наций. Но это не отменяет российского — и прежде всего русского — *патриотизма*, который заключается в ясном осознании народом и властью предназначения своей страны на великой шахматной доске планеты. Если Россия — это самостоятельная цивилизация (а так считали практически все крупные культурологи и историки, от Н.Я.Данилевского и О.Шпенглера до А.Тойнби и Л.Н.Гумилева), то и проблемы у неё свои, а не американские или китайские. Основная проблема российской цивилизации заключается в несовместимости России и либерального капитализма, и В.В.Путин, судя по его словам и делам, это понимает.

Крест, меч и золото (духовная, государственная и экономическая власть) — вечный выбор истории. У нас этот выбор совершался в XX веке, по меньшей мере, трижды — в феврале 1917 года, когда власть православного царя была заменена властью буржуазных демократов; в октябре того же года, когда «человек с ружьём» (идея коммунизма) оттеснил «человека с рублём»; наконец, в августе 1991 года, когда ориентированные на богатство либералы снова пришли к власти в Москве. Во всяком случае, сейчас в идеологическом пространстве России решается вопрос о господстве над человеческой сво-

Казин Александр Леонидович (1945, Смоленск). Доктор философских наук, заведующий сектором Российского Института истории искусств, профессор исторического факультета Санкт-Петербургского университета. Основные труды: «Последнее Царство. Русская православная цивилизация» (СПб., 1998); «Философия искусства в русской и европейской духовной традиции» (СПб., 2000); «Русская красота. Основы национального эстетизма» (СПб., 2003); «Россия и мировая культура» (СПб., 2004); «Великая Россия. Религия. Культура. Политика» (СПб., 2007). Член Союза писателей России. Член исполнительного совета Собора православной интеллигенции Санкт-Петербурга. Живёт в Санкт-Петербурге. Личная страница в интернете www.kazin.org

бодой и, следовательно, над страной. Дело в том, что принадлежащий к российской цивилизации человек осуществляет в своей деятельности глубинные принципы именно православно-русской идеологии. Это касается, прежде всего, его отношения к богатству и к свободе. Богатство и все его аксессуары воспринимаются у нас скорее как соблазн, чем как награда («не обманешь — не продашь»). Слово «свобода» по-русски звучит скорее как «с волей Бога», чем «даёшь права человека». Проще говоря, это означает, что построение в России либерально-буржуазного общества в принципе невозможно. Самые скрупулёзные расчёты на это оборачиваются жестокой утопией, колеблющейся между хаосом и мафией («500 дней» и т.д.). Чтобы преодолеть последствия либеральных экспериментов над страной, России в очередной раз придётся выделить из себя особый слой служилых людей — ответственных и образованных *государственников*, которые возьмут на свои плечи тяжесть работы с инновационными технологиями Запада с позиций национального ценностного выбора. Это трудная задача, но она в принципе выполнима, что подтверждает как опыт петровских реформ, так и отчасти опыт Советского Союза. Зло не в деньгах самих по себе — зло во власти денег. Зло не в компьютере — зло в подмене подлинной жизни её виртуальной симуляцией. Зло не в общении народов — зло в глобальной американизации мира, которая вежливо называется новым мировым порядком. Зло не в самом по себе налоговом номере — зло в той манипуляции людьми, ради которой может быть (но может и не быть) использован этот номер.

В России отношения Церкви, государства, общества и человека всегда носили (и носят до сих пор) иной характер, чем на Западе. Православно-русская цивилизация не вырывала непереходимой пропасти между Церковью, государством и народом. Власть и народ в русской исторической традиции — это части единой духовной паствы, каждая со своей миссией на этой земле. Великие московские соборы XVI—XVII веков и были практическим разрешением вопроса о свободе, государстве и обществе в России. На всём протяжении отечественной истории идея соборного единства (под разными именами) остаётся центральным образом Руси, в отличие от образа страны как банковской корпорации (Америка) или изящного салона (Франция). Даже в современных условиях приходится признать, что властная онтология на Руси с трудом меняет свою сакральную принадлежность, будь то имитация парламентской республики или просто олигархическая «малина» с гимном без слов. Что касается гражданского общества (по-русски — «земли»), то оно, как обычно, разворачивается между вертикалью государственной дисциплины и горизонталью финансового самоутверждения. В этом социальном пространстве и должна формироваться национальная буржуазия, ориентированная на внутренний рынок и державную поддержку, а не на «крышу» из Вашингтона или Брюсселя.

Капитализм — это рыночные отношения, распространённые на все уровни жизни, от религии до похоронной процессии («вы купили себе место на кладбище?»). При либеральном капитализме в России продаётся и покупается *всё* — тела, души, учёные и воинские звания, министерские должности, государственные секреты, дипломы любых вузов, медицинские диагнозы, мигалки на машину.. На учёном языке это называется системной коррупцией. Если на Западе протестантское отношение к денежному успеху фактически оправдывает (и в определённом отношении упорядочивает) культ Маммоны, то православное сознание России внутренне противится «золотому богу» («от трудов праведных не наживёшь палат каменных»). Если всеобщая продажность — особенно в форме олигархической круговой поруки, «банократии» — продлится ещё лет десять, то к 2017-му «дорогие россияне» продадут кресты на куполах, звёзды на башнях и разойдутся допивать оставшуюся у них водку, а их территорию займут другие, более жизнеспособные народы.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС

Исходя из сказанного, можно сформулировать задачу державной политики России на современном этапе. Политический класс Российской Федерации должен сохранить, прежде всего, сам принцип государственности, причём с опорой на духовную власть — Церковь — в союзе с национально ориентированной буржуазией. Это единственно возможная в посткоммунистической России стратегия, нацеленная на дальнейшее существование и укрепление страны. Нужно понять, что сама идея разделения власти (духовной, политической и экономической) и отчуждения государства от капитала и информации — для нашей страны непригодна. Сила и богатство, деньги и контроль за информационным полем должны у нас, в конечном счёте, принадлежать носителю державного авторитета (а не владельцам денег), хотя и через посредство ряда промежуточных звеньев. Меч и золото должны находиться в России под охраной организованного общенародного Целого — в противном случае они превращаются в нечто псевдосамостоятельное и начинают служить чужим силам. Иными словами, у нас должна быть обеспечена значительная «идеологизированность» экономики и культуры, то есть признание высших религиозно-нравственных целей общественной и культурной деятельности. Это и есть суверенная демократия. Об этом говорил митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл в своей известной речи на X Всемирном Русском Соборе в Москве в июле прошлого года.

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

«Переходя на личности», следует подчеркнуть, что В.В.Путин является сегодня наиболее яркой в стране политической фигурой, которая осуществляет, в конечном счете, именно государственную программу устроения России после коммунизма. При всех ошибках, слабостях и компромиссах (особенно в плане взаимоотношений между богатыми и бедными, использования пресловутого Стабфонда и т.п.) он, без сомнения, стремится сохранить державную доминанту русской жизни, не дав ей окончательно упасть в рыночный тоталитаризм. Судя по делам президента и его команды, к исполнению принят корпоративный проект организации российского общества, объединяющий в единой социальной системе все ключевые сословия, классы и нации страны, и тем самым как бы синтезирующий в себе отечественную историю (имперский герб, демократический флаг и советский гимн). Не случайно правящая партия носит название «Единая Россия». Что касается духовных истоков указанной программы, то надо признать, что нынешний президент — это первый руководитель страны со времени императора Николая Второго, который открыто признаёт себя православным христианином. В 2005 году он — с третьей попытки и опять-таки первым из «царствующих особ» России — побывал в знаменитом монастыре на горе Афон (Греция). Солдаты президентского полка в Кремле одеты теперь в традиционную русскую военную форму — очевидно, это не бутафория, а символика мышления нынешней власти...

Так или иначе, за последние пять лет Россия стала постепенно возвращаться к самой себе. Как бы ни старались либералы всех мастей («бархатные», «розовые», «оранжевые»), традиционный духовно-культурный и социально-политический уклад России воспроизводит себя (в разных вариантах) уже почти тысячу лет. Суверенитет страны — это не только нефть или ракеты, это, прежде всего, её духовная и интеллектуальная сила. Русские патриоты и верховная власть должны найти друг друга — иного им не дано. В конечном счете, государствообразующим народом России является именно русский народ. Совершенно прав политолог А.С.Панарин: «В русской истории действуют два тайных принципа — союз грозного царя с народом против изменников-бояр и союз пророчествующей церкви с «нищими духом» против сильных и наглых» («Иску-

шение глобализмом»). В этом плане знаменателен новый российский праздник — День народного единства 4 Ноября, символизирующий именно народную инициативу защиты своей державы, когда в ополчение пошли все, от торговца Минина до князя Пожарского, и всем миром (всем «гражданским обществом», если угодно) восстановили законный царский престол в Кремле. Это была та самая «обратная связь» народа со своей властью, о которой так пекутся нынче наши демократы. Идеальных людей, и особенно идеальных правителей, не бывает — тем более надо поддерживать органичные для русской цивилизации стороны их деятельности. Никто не может отрицать того факта, что сегодня мы имеем дело с первой после распада СССР попыткой выработки национальной геостратегии России. Среди наших правящих элит появились патриотически мотивированные сегменты — это очень важно. Что касается ярости либералов (представляющих на общественной сцене компрадорский капитал, ориентированный на внешний политико-экономический спрос) — она вполне в стиле их «игры на понижение», будь то политика или культура: даже намёк на восстановление вертикали российского бытия выводит их из себя.

Подводя итог своим размышлениям, замечу следующее. Если патриотические силы не поддержат в нынешней сложной социально-политической ситуации конструктивных тенденций политики команды Путина (или его «наследника»), они будут наказаны такой «бархатной» революцией, на фоне которой переворот 1991–1993 годов покажется детской забавой. Со своей стороны, властвующая элита тоже должна пройти свою часть пути навстречу русскому народу. В противном случае народ может быть спровоцирован на очередной «русский бунт» (одновременно социальный и национальный), а действующая власть лишится поддержки собственного народа. Американский конгресс уже выделил миллионы долларов на поддержку «оранжевой революции» в России — это серьёзное предупреждение. Сходите на какой-нибудь «марш несогласных» — вы увидите его последствия на деле. Русскому человеку нужна верховная власть не потому, что он «раб», а потому, что в глубине души он хочет служить чему-то более высокому, чем польза, комфорт, плюрализм и т.п. Запад поверил в эти сказки, по существу перестав быть христианской цивилизацией (страна «happy end»). Нынешним «интердевочкам» и «интермальчикам» с утра до вечера внушают, что жизнь — это карнавал, на котором надо успеть повеселиться. Собственно, в этом и состоит главный соблазн «оранжевой» идеологии. Россия, со своей стороны, до сих пор живёт мыслью, что власть и культура в государстве должны исходить не от пошлой «одиноким толпы» и не от хозяев спекулятивных капиталов, а от высшего, доступного данному народу, идеала. Вопреки потугам всевозможных инженеров и каменщиков человеческих душ она до сих пор помнит, что «блаженны изгнанные за правду». В этом заключается её миссия.

**Впервые опубликовано:
Санкт-Петербургские ведомости, 24.8.2007**

Капитолина КОКШЕНЁВА (Москва, Россия)

ДЫРА НОВОГО АТЕИЗМА

О романе Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик»

Последний роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» привлёк внимание самых разных кругов: его поддержали католический сайт и Агентство религиозной информации Благовест-Инфо, популярные газеты и телевидение, наконец, победа в гонке за национальную литературную премию «Большая книга» завершила масштабное внимание к автору.

Меня не удивили ни «высочайшие оценки» сочинения Улицкой протоиерея-неообновленца Александра Борисова, ни ныне покойного священника Георгия Чистякова, считающего роман «абсолютно художественным произведением», ни восторги прессы, вызванные «парадоксальностью личности Штайна». Но смутили некоторые «простодушные» наши писатели и критики, увидевшие у Улицкой намерение написать «христианскую книгу». Прежде всего, им, как и нашим читателям, я и адресую свою статью.

НЕСВОБОДНОЕ МНЕНИЕ

Конечно, судьба главного героя Даниэля Штайна (в реальности Даниэля Руфайзена)¹ многое диктовала автору романа. Но сам выбор именно такой судьбы чрезвычайно симптоматичен. Упоминаемому выше о. Александру Борисову показалось, что «фамилия Штайн, которую писательница дала своему герою, напоминает об Эдит Штайн (еврейке, немецком философе, монахине-кармелитке, погибшей в Освенциме и канонизированной Католической церковью) а также, что «штайн» в переводе с немецкого — камень» (ассоциация с апостолом Петром), как слово «переводчик», помещённое в название книги свидетельствует, по его мнению, о том, что герой «переводил на язык современных людей понятия, которые являются основными в христианстве — Бог, любовь, жертва». Действительно, ключиком, которым «открывается» роман, является «современность», и она просто вопиет о себе как «дух века сего».

На встрече с читателями во Всероссийской государственной библиотеке им. М.И.Рудомино писательница говорила о многом, в том числе и о «преодолении нетерпимости, ксенофобии, о возвращении толерантности», и, возвращаясь к своему герою, переводчику, подчёркивала: «Мы очень нуждаемся в переводе. Мы плохо понимаем друг друга, а не только язык Бога. Только любовь и та мера доверия, которой обладал Даниэль, может дать связь и понимание между людьми». Вот и названы «ключевые слова», обеспечивающие уверенный успех проекту Улицкой:

толерантность, политкорректность, ксенофобия, мультикультурное христианство. Не хватает только антисемитизма. И было бы странно, если он был забыт. Но нет, конечно же, Улицкая по этому поводу высказалась: «Её спрашивали и о реальных прото-

¹ Мы отнесёмся к герою Улицкой, естественно, как литературному персонажу, несмотря на его реальный прототип.

Капитолина Антоновна Кокшенёва (Москва), член Союза писателей России, литературный критик, искусствовед, доктор филологических наук, заведующая кафедрой одного из московских вузов, заведующая отделом культуры журнала «Москва», до недавнего времени – завлит московского МХАТ им. А.М.Горького.

типах её героев, — продолжает свой репортаж со встречи в библиотеке журналист, — о названии и об обложке, о перспективах государства Израиль и о корнях антисемитизма. «Антисемитизм — удобная и давняя форма ксенофобии, и не единственная», — в связи с этим Улицкая с тревогой говорила о новом витке ксенофобии в современной России, об антигрузинской кампании. «Это вопрос управления ситуацией и нашей собственной сопротивляемости. Мы не должны быть управляемы», — подчеркнула писательница». Не Христа ради писалась эта «христианская» книга, но ради всех тех идеологических клише, с помощью которых и управляют нашим сознанием, продавая в очередной раз ходкий на мировом рынке товар: антисемитизм и ксенофобию, терпимость и толерантность в элегантной упаковке «лучшего понимания друг друга». Да, я опиралась на «комментарий» Улицкой к своему сочинению, но и сам роман нас убедит в том же. Об антисемитизме в книге Улицкой говорится слишком часто для «художественного» произведения, а именно: на страницах 57, 88, 100, 124, 126, 178, 179, 183, 274, 323, 355, 372, 379, 470, 479 в издании «Эксмо».

«ОБ УСИЛИЯХ ПО ВЫКОВЫРИВАНИЮ БОГА...»

Даниэль Штайн — странный христианин. Даниэль Штайн — маргинальный герой. И Улицкая тут вполне вписывается в концепцию «нового гуманизма» с его особенным вниманием к проблемам меньшинств — религиозных, этнических, сексуальных, социальных. Штайн — еврей, но при этом католик. Штайн католик, но при этом далёк от традиционного католицизма. Нетолерантный настоятель монастыря всё время пишет на него доносы в связи с неканоническим поведением и рассуждениями о вере брата Даниэля (Штайна). Впрочем, проблемы католического большинства автора никак не интересуют, потому и выбрана такая компрометирующая форма защиты со стороны большинства как донос-рапорт. Ведь Штайн оставляет за собой право не признавать догматов о непорочном зачатии и Святой Троице. «Говоря об особенностях богословских воззрений брата Даниэля, которые многими принимались в штыки и не могли не привести к сложностям с «церковным начальством», писательница разъясняла: «Он полагал, например, что Троица — это поздняя идея, греческая, что она **никогда не была свойственна иудаизму**. (Выделено мной. — *К.К.*). У него с Троицей были сложные отношения. При этом он не отрицал Святого Духа, не отрицал Спасителя. Он эти сложные умственные построения, над которыми столетиями изощрялись достойные богословы, — он просто отодвигал их в сторону, считая, что это не имеет практического значения в жизни... Он стремился к раннему христианству, к той Церкви, которая была основана Самим Спасителем... «Во что веровал мой Учитель?» — вот что было важно для Даниэля прежде всего... Даже проблемы разделения западной и восточной Церквей его не очень волновали...», — отметила Л. Улицкая. Такая постановка вопроса («Во что веровал мой Учитель?» или, как в телепередаче вопрошала сама Улицкая — «Во что веровал Христос?») для христианина никак иначе не может быть названа, как абсурдной и богохульной. Ставить такой пошлый вопрос перед Христом, **Который есть Истина и Воплощённый Бог**, — значит вообще не иметь никакого реального и подлинного религиозного воодушевления. Это вопрос атеиста, которому дорог не Христос, а его «земные услуги», — чудесность же их в свою очередь объясняется будто бы совершенно научно. Впрочем, в той же передаче Л. Улицкая ссылалась на некие такие «исследования и разыскания», которые доказывают иудейское вероисповедание Христа. Правды ради стоит сказать, что такое же понимание Христа свойственно и некоторой части наших атеистических патриотов, не понимающих, что участвуют они в дроблении веры, неизбежно приводящем и к дробности национального сознания. Бунт атеистического сознания продолжается — только теперь под видом «художественно-религиозной» реакции.

Итак, мерой веры Штайна остаётся «свойственное иудаизму»: отрицание Троицы (умонепостигаемого) для такого героя вполне естественно, ведь в вере для него важно толь-

ко то, что имеет **практическое значение**. Весь роман строится именно на этой идее — отвержения догмата (ортодоксии) ради практических добрых дел (ортопраксии). «Хочешь служить Богу — служи миру», — говорит Штайн. Такое усечённое до опыта, такое **понятное** христианство — удобно веку сему. Так что вопрос «во что веровал Учитель» тоже закономерен — в Христе брат Даниэль видел прежде всего человека «доброй воли» и «добрых дел». Божественная природа Христа была для него закрыта (несмотря на все чудесные избавления от смерти, которые и сделали его монахом). Христос — Сын Божий, пожалуй, что и не нужен Штайну, «не узнаётся» им точь в точь так же, как не нужен и не выгоден Он был синедриону, как не признан Он был первосвященниками иудейскими. Штайн — весь на земле, он хлопочет о земном, он погружён в земное, он «переводит» священную реальность в плоскость жизни. (Ведь не случайно при всём критицизме Улицкой в адрес католической Церкви она готова принять (и не поленилась составить тщательную хронологию) практические результаты, что дала встреча Даниэля с Папой Римским: Папа посещает синагогу в Риме (впервые с апостольских времен); Ватикан устанавливает с Израилем дипломатические отношения; Папа просит прощения и признаёт вину Церкви за преследование евреев; Папа едет в Израиль и молится у Стены плача.)

Штайн — монах-реформатор. Он совсем не аскет, а ведёт достаточно вольный образ жизни, развозя экскурсии по Израилю. В общем, он всегда «несколько не тот», кем он должен быть, называясь ли монахом, евреем, католиком. Он всегда — вне традиции, требующей от монаха, католика, еврея вполне определённого осознанного принятия её правил, устоев, обрядов. (За право называться евреем с записью о том в паспорте Штайн судился с государством Израиль, проявив удивительное настойчивое законничество при своем свободомыслии.) Впрочем, «он был не полностью самим собой» и тогда, когда сотрудничал с гестапо и белорусской полицией; и когда жил в партизанском отряде или сотрудничал с НКВД. (Оставим на совести писателя байки про «добрых начальников» в гестапо и вдумчивых партизанах, узнававших правду о Штайне и отпускавших его из своих рук, так же оставим на суд читателя признание Штайна, что сначала он «принимал присягу — давал клятву верности фюреру». Позже «как русский партизан, я давал клятву верности Сталину». Но, естественно, клятвы не были истинными, просто такой ценой герой спасал жизнь других людей, прежде всего — евреев из гетто. Цель оправдывает средства.) Таково странное для нас правосознание еврея-католика Штайна.

Для Штайна Христос — фигура **историческая**. Только историческая, и прежде всего историческая. Именно поэтому проповедник «добрых дел» пустился в тягчайший утопизм: решил «воссоздать» древнюю иудео-христианскую Церковь Иакова, вернуть Самого Христа «из греков — назад, в иудеи». (А, как известно, все сильные практики столь же сильные утописты.) И неважно, что Церкви такой не было: иудей, принявший таинство крещения, становился именно христианином. Но с помощью свободных манипуляций автор романа из маргинального факта (общины, собранной Штайном, в которую входили иудей, поляки-католики, православный и даже мусульманин, а вернее сказать, не совсем иудей, придурковатый православный, чудные католики и не менее чудной мусульманин) утвердился в мысли, что «христианство ведь очень разное; огромный спектр возможностей есть в самом христианстве... Есть Серафим Саровский и Сергей Радонежский, Франциск Ассизский и блаженный Августин. Христианство предлагает разные пути, каждый из которых серьёзный, наполненный ... и мы должны выбирать. Важна идея, что ничто не запрещено, что мы свободны, что христианство — совсем не узкий путь в интеллектуальном смысле...». Да нет, «широкое» христианство по Штайну — это именно очень «узкий путь», духовно усечённый. Это — горизонт (где старательно наводит «мосты понимания» брат Даниэль), но это не вертикаль веры — которая являет себя в человеке как высшая реальность. Проблема веры в романе — это проблема понимания в границах земного горизонта. И только. «Старики не понимают молодёжь, а молодёжь — стариков, друг друга не понимают соседи, учителя и ученики, начальники и подчинённые, государства не понимают свои народы, а народы — своих

правителей... И главное непонимание — человек не понимает Бога...» Церковь брат Даниэль понимает только, и именно только, как общину, из чего логично вытекает мысль о «непонимании» человеком Бога. Если в Церкви нельзя рассчитывать на богообщение, то, естественно, остаётся только доброе *человеческое* общение.

В сущности, Даниэль Штайн создал свою, **индивидуальную** церковь (давно любимая интеллигентская затея), где допустимы любые реформы: усечённая месса в собственном переводе, богослужение в полчаса с текстом на двух страницах — пожалуйста, служба на иврите вместо «Символа веры» чтение «неположенных молитв на иврите» — милости просим. Ведь для Штайна все религии равны — а догматы, разделяющие Церкви, разделяют и людей, то есть для поклонника «вопроса непонимания» являются источником бесконечной войны между их приверженцами. Вот и нужно их приспособить к реальным условиям — здесь и сейчас отбросить всё лишнее, создав экуменический котёл с простотой, что хуже воровства («христианский союз всех номинаций» — по Штайну). И правда, «почему Его (Христа) надо искать в церковных учениях, которые появились через тысячу лет после Его смерти?» — рассуждает Штайн. Рассуждает в такой «простоте», что будто и не было Вселенских Соборов, первый из которых был созван в 325 году в Никее! Так о каких тысяче лет идет речь?

В этой церкви Штайна (клубе добрых людей) не нужно «напрягаться» и «париться», соблюдая церковные догматы и обряды («церковный мусор»), но только поступать по совести, «так, как хочешь, чтобы с тобой поступали» другие. Совсем не умаляя важности совести в человеческой нравственности, заметим всё же, что совесть без догмата — это совесть анархиста: своеволие и произвол ведь тоже допускаются «по совести человеческой», не нуждающейся в **высших санкциях**. Читатель вправе возразить: ведь нельзя же назвать бессовестной еще одну маргинальную героиню Улицкой — немку Хильду, добровольно отработывающую в Израиле «грехи нации» за геноцид евреев. Но вспомним, что её роман с женатым арабом сопровождается весьма практичной репликой Штайна: «Любишь — люби, только будь осторожна». Толерантность брата Даниэля превосходит все мыслимые степени свободы: ведь он, в сущности, каждому разрешает создать свою собственную систему ценностей, комфортно разложив в ней по местам (как это получилось у Хильды) грешную любовь к женатому, переложив грех на этого женатого («он брал на себя обет», а «женщины в любви почти всегда жертвы»)... Да, собственно, и несколько киношная (авария, машина летит в пропасть) смерть главного героя сопровождалась всё тем же индивидуальным обрядом: над его гробом были исполнены еврейская молитва-кадиш, христианские псалмы и заупокойные молитвы.

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ТЕРАКТ, ДЛЯЩИЙСЯ ПОЛТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...»

«Непроходимую пропасть между иудаизмом и христианством Даниэль закрыл своим телом, и пока он жил, в пространстве его жизни всё было едино, усилием его существования кровоточащая рана исцелилась. Ненадолго. На время его жизни», — красиво рефлексировал Людмила Улицкая. Но, спрашивается, какая нужда «закрывать» пропасть? Какая нужда в «единстве» иудаизма и христианства? И кто реально сегодня видит тут проблему «кровоточащей раны»? Очевидно, прежде всего, сама писательница, поддерживающая старый миф о «гонимом народе» и «врождённом» антисемитизме христиан: «Никуда нельзя уйти от факта, что двухтысячелетнее официальное христианство хотя и руководствовалось заветами христианской любви, но несло в себе неистребимую ненависть к евреям».

Для автора, вслед за Штайном, важна *историчность* веры, *первенство иудаизма*, период первохристианства. Но тогда и Бог — фигура истории, и Его существование тоже оказывается *«историческим»* (что вообще-то есть плевок в Бога!). Мало того, у Улицкой Бог в Сыне Своём кровно связан с иудеями: для брата Даниэля принципиальны размышления о генеалогическом древе Христа. Вопрос Его национальности заслоняет при-

роду Христа как Сына Божия («Ииусус был настоящим иудеем...», «мне же надлежит искать на этой земле, в среде народа, которому я принадлежу, Христа-иудея», так как Он был «в **исторической реальности** именно иудеем» (выделено мной. — К.К.) — утверждает Штайн, а автор предисловия к книге, вспоминая некоего Рабиновича, организовавшего в конце XIX века иудео-христианскую общину в Кишинёве, говорит о том, что и он, и Даниэль Штайн-Руфайзен «искали во Христе подлинного Мессию, обетованного Израилю».

Несмотря на кажущуюся современному читателю «оригинальность» отца Даниэля и «колоссальность» авторских усилий Улицкой, мы должны напомнить, что и герой, и автор примыкают к давно существующей интеллектуальной тенденции, возникшей еще в XIX столетии под названием «исторической школы» (в том числе и в догматике) — школы и её метода, давно осмысленных как **поражение**, ведь «исторический метод» не способен «выявить центральную истину христианства, существенно метафизическую, трансцендентную всякой «истории»» (В.Ф.Эрн. «Борьба за логос»). А поскольку этот синдром исторического позитивизма в отечественной культуре был блестяще осмыслен Н.П.Ильиным (в статье «Держащийся за полу. Маргиналии к «догматике» Карла Барта), мы приведём аргументы из его работы.

Карл Барт (протестантский теолог XX века, считающийся в определённых либеральных кругах «выдающимся»), как и скромный герой Улицкой, считал, что «христианин обязан «переводить» язык Церкви на «язык времени», обязан «говорить по-мирски». Без такого перевода, пугает Барт, Церковь становится «Церковью молчания»; хуже того, она, «как в Германии 33-го года», может стать «Церковью молчащих собак» (Ильин Н.П.). Для автора романа о Штайне Германию 33-го года «спасает», очевидно, немка Хильда своим служением государству Израиль, но вот роль «Церкви молчания» (о правде) отводится Русской Православной Церкви. «Разве Сын Человеческий в поношенных сандалиях и бедной одежде принял бы в свой круг эту византийскую свору царедворцев, — вопрошает Улицкая, — алчных, циничных, которые сегодня составляют церковный истеблишмент?»

И хотя в романе нет ни России, ни православных христиан, зависимый от толерантности автор высказывается весьма решительно в одном из «писем подруге», входящих в повествование о Штайне: «В России церковь отвыкла за советские годы быть победительной. Быть гонимой и униженной ей больше к лицу. Но вот что произошло — с переменой власти наша церковь пала на спину и замурлыкала государству: любите нас, а мы будем любить вас. И воровать, и делиться... И церковный народ принял это с ликованием». Что и говорить — прав был Г.Чистяков: сильный художественный образ! Вместо «молчащих собак» мы видим «мурлыкающих котов»! Но вот я, честно сказать, не видела такого ликования церковного народа. «Что касается требования, чтобы Церковь говорила «языком времени» — продолжает Ильин, — то ведь тогда нужно и разъяснить, что это за язык? Какое из множества наречий, на которых говорят люди, соединённые национальностью, общим трудом, политической системой, научными и философскими школами, — больше всего соответствует «языку времени? Не должна ли именно поэтому Церковь говорить на *своём* языке, а не усваивать тот или иной *жаргон* эпохи? Язык веры, даже в большей степени, чем язык философии, выделяет *вечное* в языке каждого народа. Такой язык не нуждается в переводе на язык партийно-политических пристрастий, чтобы быть понятным народу».

«Главный вопрос» для брата Даниэля, повторю, — «во что веровал наш Учитель? И веровал ли Он в Отца, Сына и Святого Духа? В Троицу?» «Последующая (после крещения. — К.К.) проповедь Учителя вся посвящается жизни, её ценности и смыслу». Жизнь — вот кодовое слово для брата Даниэля. Вопросы же о Воскресении, Боговоплощении, Искуплении, Спасении столь же мало волнуют героя Улицкой, как и его предшественников — апологетов «исторического метода». «Сверхисторическое», то есть «метафизическое содержание христианства» брату Даниэлю попросту ни к чему, ведь он занят воссоздани-

ем такой общины, что «связывала» бы человеческую историю с историей богоизбранного народа (не в Польше или в Белоруссии, где жил и родился, а в Израиле он собирает свою церковь Иакова. А известная уже нам героиня Хильда прямо называет эту церковь «еврейской». Сам же Штайн говорил, что, сознавая кафоличность Церкви, «практически мы имеем дело с этнорелигией»). Полагая себя христианином, герой Улицкой, в сущности, тяготеет к дохристианской религиозности, иудаизму, ведь, по его убеждению, «апостолы образовали особую группу **внутри иудаизма**, наряду с другими иудейскими сектами» (выделено мной. — **К.К.**)! Католицизм, по брату Даниэлю, «находится в состоянии болезни», поскольку порвал с «иудейской традицией».

Отрицание Штайном Троицы свидетельствует о том, что «прокладывает» он путь не вперёд, а назад — к **иудейскому монотеизму**, сильному ветхозаветному богу (См. у Н.Ильина о превращении протестантом Бартом Троицы в «двоицу», где Св. Дух «теряет равный бытийственный статус по отношению к Отцу и Сыну»). Впрочем, есть в романе и встречное иудейскому монотеизму движение — один из героев Исаак Гантман утверждает: «Действительно, мы можем рассматривать современную (имею в виду христианскую) историю как логическое (Нойгауз полагает, что метафизическое) продолжение идей иудаизма в европейском мире».

Два вектора определяют роман Улицкой: один из них связан с идеологией-экспансией (продолжение идей иудаизма в других культурах и верах), а другой — с закрытой идеологией Торы, откуда вытекает «еврейская избранность, исключительность и преимущество перед всеми прочими народами, а также изоляция в христианском и любом сообществе» (Исаак Гантман).

«ИЗ ЗЕМЛИ ТЫ ВЫШЕЛ И В ЗЕМЛЮ ВЕРНЁШЬСЯ»

Как брат Даниэль прокладывает дорогу к иудейскому монотеизму, так сама Л.Улицкая торит тропу к новому диссидентству — теперь откровенно религиозному (о необходимости создания в России варианта обновлённого «советского диссидентства» накануне выборов в Думу беспрестанно талдычили на радио «Свобода»). Впрочем, ниточка в советское время автором тоже протянута. Вся история с «инакомыслящим» священником отцом Михаилом из Тишкино (лично мне напоминающая о. Александра Меня), у которого были установлены связи с Даниэлем Штайном, письма матери Иоанны (1980-х годов) отцу Михаилу, письма Терезы к Валентине Фердинандовне так или иначе свидетельствуют о связи некоторых лиц РПЦ с Израилем. И их готовы поддерживать официальные израильские власти, поскольку им «нужна такая христианская церковь, которая не ведёт тихой подрывной работы против нас». Впрочем, и сам отец Михаил пишет «книжечки», как, например, присланная матери Иоанне «Чтения о чтении», в которой высказывает «критические мысли о патриархах», рассматривает их поступки «с точки зрения сегодняшней морали» и мыслит при 25-ти годах священства (сидя в деревне, он сохраняет высокий уровень интеллектуальности!) об «эволюции идеи Бога в истории». Таким образом, в РПЦ тоже есть «свободомыслящие» сторонники «исторического Бога».

Имя Христа накрепко соединяется героями Улицкой с Израилем, ведь брат Даниэль считает: «Христианские народы вовсе не Новый Израиль, они — Расширенный Израиль...Израиль расширился на весь мир. И речь идёт не о доктрине, а только об образе жизни». Почему «образ жизни» обязательно исключает «доктрину» — понять довольно трудно. Он же продолжает: «В современной церкви нет места еврейской церкви... В церковь должен быть возвращён её изначальный плюрализм... из-за отсутствия евреев христианство теряет свою универсальность. Греческая, византийская составляющая во многом исказили сущность первоначального христианства». Профессор же Нойгауз, консультирующий своих студентов, вторит брату Даниэлю: «В первом веке новой эры ... между иудеями и христианами ещё нельзя провести чёткой границы... Невозможно представить себе христианство без Торы. Новый Завет родился из Торы». Все

эти размышления совершенно очевидно направлены на то, чтобы как у героев, так и у читателей возникла мысль, что требование евреев **особенного** к себе отношения (а Штайна — к своей церкви) — и законно, и оправдано. В таком случае, **любая критика «народа, избранного Богом» будет практически критикой Бога**, а потому антисемитизм носит богоборческий характер, — упоминаемый интеллектуал Нойнауз не сомневается в антисемитском характере «некоторых христианских текстов, в особенности периода Страстной недели, то есть кануна Пасхи». Наверное, автор имеет личное право на юдофильство, но все же заявления романых героев так агрессивны в искажении сущности христианства и настолько чрезмерны, что неизбежно породят юдофобство. Улицкая тут напрочь забывает о толерантности и терпимости, возводя «проблему Штайна» (иудеохристианство) и проблему избранного сверхнарода в степень проблемы **бытия** вообще любой христианской Церкви и любого народа (ведь «из-за отсутствия евреев христианство теряет свою универсальность»).

ОН — НЕ ВАШ

Людмила Улицкая настойчиво предлагает читателю увидеть в своих героях (в Штайне, прежде всего) **позитивное и особое** отношение к Христу. Но как-то удивительно ловко (и, в сущности, спекулятивно) обходит вниманием другой принципиальный вопрос (заметим, в том числе тоже исторический) — **негативного, отрицательного** отношения к Нему «богоизбранного народа», ведь «народ Израиля ответил на проповедь Христа «исполненным ненависти *Нem!*»» (К.Барт, цитируется по Н.Ильину). Распятый Христос не нужен и забыт. Но если Барт в своих догматических спекуляциях шёл до конца (Христос *заслужил* своё страдание, осудившие Его фарисеи всего лишь *выполняли* «волю Божию», но поступили совершенно *правильно*, и они, убившие и оклеветавшие Христа, были только лишь *исполнителями* «юридической акции», *соответствующей* «гневу Божию и Его приговору» — цит. по Н.Ильину), то Улицкая позволяет себе вопиющее игнорирование Распятия и Искупытельной жертвы Христа. Игнорирование умолчанием, которое так не нравится ей в других.

Автор спешит провести читателя мимо самого трагичного места Евангелия и земной жизни Христа. Она так беспокоится о столь особенной **связи** иудеев с Христом, что совершенно «забывает» о столь же (не известном другим народам) глубоком **разрыве** их с Ним. Это уже какая-то мошеническая бухгалтерия, какой-то особый мозговой приём уничтожения неудобного. Но, очевидно, это и есть проявление особенной психологии «особенного народа» с его ветхозаветной «мудростью», полагающей «угодным Богу» только «выборку» в земной жизни. Евангельская истина понижается до уровня «национального самосознания», которое, как считает другой герой Улицкой, Исаак Гатман, «...в наше время обретает устойчивость не в почитании догматов, а в кулинарных рецептах, покрое одежды и способе мытья, а также в несокрушимом заблуждении, что именно традиционалистам принадлежит вся полнота истины». Из земли ты вышел и в землю вернёшься — так зачем размышлять о догматах, тайне Воплощения и Кресте?! Так зачем утверждать, что вера и любовь — полны и абсолютны?!

ТЁМНАЯ ЦЕРКОВЬ

Выше было уже немало сказано о критике автором и её героями христианской Церкви. Но всё же для Улицкой существует разница в восприятии католической и русской православной Церквей. Даже своеобразная гримаса добра в адрес Запада ненадолго появляется на авторском лице, когда она делает сравнения Церквей. «...Ничего не поделаешь, на Западе церковь слита с культурой, а в России — с бескультурьем, — вздыхает обречённо Улицкая. — ...В России церковь гораздо слабее сцеплена с культурой, она гораздо больше связана с примитивным язычеством. Тут все антропологи мира вцепятся

мне в задницу — как я смею недооценивать языческий мир! Но все-таки, если использовать способ вычитания — интересно посмотреть, что останется в России от самого христианства, если вычесть из него язычество... Бедное христианство! Оно может быть только бедным: всякая торжествующая церковь, и западная, и восточная, полностью отвергает Христа».

Действительно, «ничего не поделаешь», если автор слеп для правды, если время Церкви — всегда т2мное, если сама Церковь — не сакральна, а русская классика — начисто освобождена от православного своего ядра. И в речевом своём потоке, **вычитая** из мира **страдающего Распятого** Христа, проявляя снисхождение к тем, кто «верит как хочет», освобождая духовный ландшафт русской культуры для пустословия (нельзя же всерьёз воспринимать размышлизмы автора о «примитивном язычестве» как сущности нашей культуры и веры), пифически погружаясь в уравнивание Церкви и исключительно жадных церковных властей, не пренебрёг автор и провокацией.

Множество (возможно, что около полусотни) героев романа (в основном еврейско-го происхождения), разбросанных по всему свету, так или иначе «объединяет» в общую историю брат Даниэль. Но устраивает настоящий погром церкви брата Даниэля именно русский (одержимый) послушник некий Федор (насколько я помню, именно из деревни Тишкино, где практиковал другой герой — отец Михаил). Целью его «паломничества» в Израиль служила одна-единственная мысль: «Они, евреи, обманули весь мир, бросили миру пустышку христианства, оставив у себя и великую тайну, и истинную веру. Нет в мире Бога, кроме еврейского». Но ему помешал раскрыть эту тайну явившийся не вовремя сторож (пришлось убить). Эта сцена практически завершает историю Штайна: в ночь погрома брат Даниэль не вернулся в свою церковь, так как его, погибшего, уже отпевали «в арабской церкви». Не узнал он и о том, что запрещён католическим начальством в служении... Так, что называется наглядно, композиционно Улицкая продемонстрировала действия тех тёмных сил церкви, что не поняли «малого христианства» брата Даниэля, воспевающего «Иешуа на его родном языке», проповедовавшего «личное, религию милосердия и любви к Богу, а не религию догматов и власти, могущества и тоталитаризма». Эта реальная Церковь — тёмная, мрачная, тоталитарная. Что такое невидимая, сакральная Церковь — не доступно авторскому пониманию. Видимая, реальная община Штайна — вот побеждающая ценность автора. Впрочем, как точно сказал Н.П.Ильин, весь этот идеологический и религиозный позитивизм отражает одно: *«наглое ликование фарисея, решившего, что уже одержана окончательная «историческая победа» над всем, что препятствует поглощению христианства — иудаизмом, Церкви — синагогой».*

* * *

Книга Л.Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» совсем не христианского корня — перед нами очередная чёрная дыра атеизма и новая атака на христианскую Церковь и веру. Но в то же время она и бодрит: мы ещё раз убедились, что Истина христианства всегда остаётся неповреждённой, — не могут до неё добраться «переводчики» с их бесплодием сухой смоковницы, с их механической производительностью текстов. Однако это совсем не означает, что у нас нет современных задач, что мы должны «почивать на догматах» и не размышлять о вере своей со всей степенью напряжённой ответственности, что необходима для соработничества человека и Бога. Язык времени, работающий на понижение и унижение подлинных смыслов, новый «интеллектуальный атеизм» стоит различать, чтобы не увлечься «свободолюбивой» подделкой под христианство писательницы Улицкой. Ведь, как сказал Н.П.Ильин о Барте, можно и не заметить, как бежишь, ухватившись «за полу иудея», а думаешь, что «спешишь навстречу Христу». Так не будем же спешить «держаться за полу» героя Улицкой, увлекаясь его «личной» религией и «малым христианством».

Николай ПЕРЕЯСЛОВ (Москва, Россия)

«НА МНЕ СКАЗАЛСЯ КРАХ СОЮЗА...»

О поэзии Николая Дмитриева

Для того чтобы понять значение творчества поэта во всей его величине, нужно обладать неким специфическим «панорамным» зрением (термин академика Д.С.Лихачёва), дающим возможность увидеть одновременно все леса, горы и низменности его поэтического ландшафта — от тихой лирики до пламенной гражданственности и озорной сатиры. Именно тогда становится понятным, о чём у поэта болела душа, чем он её врачевал и как защищался от злобы века.

Казалось бы, уж кого-кого, а Николая Дмитриева к «замолчанным» поэтам отнести невозможно — о нём и его творчестве довольно много писали и при жизни, и после его неожиданной смерти. Соблазнительная для любителей эффектного цитирования, его поэзия представлялась многим весьма простой и лёгкой для понимания и чаще всего сводилась к разбору ранних лирических стихотворений с почти хрестоматийными строчками о молодом учителе литературы, приехавшем работать в сельскую школу: «И девчонка (вы учтите), / лишь под вечер свет включу: / «Выходи, — кричит, — учитель, / целоваться научу!»

Но не случайно сказано: «Большое — видится на расстоянье», — вот и поэзия Николая Дмитриева с каждым новым погружением в неё открывает читателю всё новые смысловые уровни и новые философские глубины, показывая нам его поэтическую мощь во всей её полноте и неординарности. Читая сегодня стихи Н. Дмитриева, собранные в его посмертной книге «Очарованный навек» (М.: Издательский дом «Московия», 2007), отчётливо видишь, как сильно ранили поэта происходящие с Россией в перестроечное время перемены, превращавшие горячо любимую им великую Родину в подобие бедной нищенки. «Свобода слова, говоришь, / и всяческой приватизации? / Москва похожа на Париж / времён фашистской оккупации», — с беспощадной точностью писал он в стихотворении «Москва. 1999 год». «— Опять с тобой одни несчастья, — / ты сам себе торопишь гроб, / ты распадаешься на части, — / жена мне правду тычет в лоб. — // Как ты, твоя в запое муза, / и я ей дверь не отворю! — На мне сказался крах Союза, / распад державы! — говорю», — с горечью признавался он в другом своём предельно исповедальном стихотворении.

Да только вот российская столица в это время никаких стихов уже не читала...

Не входя в число тех, кто за брошенные им с барского стола подачки в виде дармовых поездок на франкфуртские или парижские книжные ярмарки усыпил свою совесть и на все лады воспевал достоинства импортированной с Запада демократии да сомнительные прелести «общечеловеческих ценностей», Николай Дмитриев с максимальной прямоотой и обнажённостью говорил в своих стихах о том, что видел вокруг себя в бездумно реформируемом ельцинской командой Отечестве. «И узрил я: клубится пар. / Резвятся бесы, и угар — / привычно отроки вдыхают. / В почёте смертные грехи; / и те в том сонмище плохи, / кто плохо Русь святую хает...»

Николай Владимирович ПЕРЕЯСЛОВ (1954, Донбасс) — известный русский критик, литературовед, прозаик. Член Союза журналистов и Союза писателей России, Петровской Академии наук и искусств, секретарь правления Союза писателей России. Лауреат юбилейной Шолоховской премии 2000 года и Международной литературной премии имени Андрея Платонова за 2001 год.

Хаять то, что он искренне любил, Николай не умел и не хотел, да, честно говоря, если что-то и заслуживает порицания поэта, так это как раз наша сегодняшняя действительность, оставляющая после себя не великие культурные памятники и шедевры, а только... Впрочем, лучше, чем сказал об этом сам поэт, всё равно не скажешь: «На ладони зябнувшие дующий, / что увидит археолог будущий, / наш культурный слой разбередив? / Пулю, жвачку и презерватив?..»

Материальное обнищание народа — плохо, но всё-таки терпимо. Развал экономики страны — это трагедия, но всё же поправимая. Даже невиданное в истории России убывание народа по одному миллиону человек в год — и то представляется восполнимым в будущем за счёт рождения новых поколений. А вот измельчание культуры, подмена высоких и чистых заповедей бандитскими законами — это в понимании поэта явление катастрофичное. «В ходу теперь по всей Руси / заветы урок умудрённых, / приметь трёх козырей краплёных: / «Не верь», «не бойся», «не проси». // Они годны в любом углу / среди всесветной мглы и стужи. / Попросишь — влипнешь в кабалу. / Сробеешь — то же. Или хуже. // А если во поле глухом / поверишь чьим-то горьким вздохам — / смотри! — очнёшься лопухом / или маслиной дикой — лохом...»

Поэт живёт не в изолированном мире, он видит то же, что и все мы, просто его душа воспринимает всё острее и больше — и нищих на московских улицах, и процветающих мафиози, и торгующих своим телом красоток, и безостановочно льющиеся с телеэкранов ложь, пошлость, цинизм и развращение духа. Может, это сбывлась сказка Василия Макаровича Шукшина и бесы вправду захватили Россию, как оставленный стражником монастырь? И что теперь — простить им это надругательство над Родиной? «Глянь: из полированного ящика / в душу, словно в нишую суму, / сыпят, сыпят стукоток изященько / сто чертей в клубящемся дыму. // Знаю: бесам выпадет, что следует — / мне об этом звёзды говорят! / Не прощай им, Боже, ибо — ведают, / ведают, собаки, что творят!»

Самое страшное для бесов — это обнажающий их сущность свет правды, поэтому они и стараются опутать человека ложью, называя белое — чёрным, а чёрное — белым. Поэт же не приемлет их лжи и называет вещи своими именами, вступая тем самым в борьбу со злом и накликаая на себя гнев мировой нечисти. Не всякая душа способна на такой подвиг. И не всякое сердце в состоянии выдержать эту борьбу и не разорваться...

Не случайно в первые годы горбачёвско-ельцинской перестройки нас всеми правдами и неправдами (причём неправдами — во много раз больше, чем правдами) старались оторвать от героического прошлого нашей Родины, охаивая победы наших отцов и дедов и превращая великую российскую историю в некое вселенское посмешище и страшилище. Архитекторы и прорабы перестройки понимали, что без этого никаких кардинальных перемен в стране им осуществить не удастся, так как народ, в котором живёт память о величии его Родины, не позволит превратить эту Родину ни в сырьевую базу, ни в публичный дом, а вот когда он сам начнёт брезгливо кривить губы и говорить о своей Родине «эта страна», тогда с ним можно делать всё что угодно — распустить его армию, грабить недра, вывозить за границу золотой запас, учёных мужей и лучших красавиц.

В отношении Николая Дмитриева этот циничный приём был заведомо бессильным, потому что он, как, может быть, никто другой из представителей поколения 1950-х, был связан своей душой и поэзией с Великой Отечественной войной, напитавшей кровью советских воинов не только российскую землю, но и его собственную память. «В пятидесятых рождены, / войны не знали мы, и всё же / все мы в какой-то мере тоже / вернувшиеся с той войны, — нисколько не позируя, писал в одном из своих стихотворений, когда ему был ещё только 21 год. — С отцом я вместе выполз, выжил, / а то в каких бы жил мирах, / когда бы снайпер батьку выждал / в чехословацких клеверах?!»

Ему незачем было слушать никаких экономистов, рисующих преимущества рыночной экономики, и не было необходимости читать высокоумные рассуждения о том, «как нам обустроить Россию», потому что у него был другой собеседник — из тех, кому не нужны никакие изощрённые аргументы, потому что он насквозь видит их лживую сущность, и от кого не заслониться никакими витиеватыми словами о демократии и гласности. Этот собеседник — его умерший отец, тот самый, что проливал свою кровь в «чехословацких клеверах» ради того, чтобы сын жил в свободной стране и не зависел от чужеземной воли. «Осталось уж не так и много / скрипеть до смертного конца. / Я знаю: у того порога / увижу хмурого отца. // Увижу орденские планки, / увижу ясные глаза. / Он заставлял чужие танки / коптить родные небеса. // И спросит он не без усилия, / вслед за поэтом, боль тая: / — Так где теперь она, Россия, / и по какой рубеж твоя?..»

Питая свою душу такой памятью, предать свою Родину невозможно.

Питая свою душу такой памятью, очень трудно вот так запросто взять — и соврать себе, сказав, что всё вокруг хорошо, когда на самом деле на твоих глазах погибает Отечество. Себе-то, может быть, соврёшь, но можно ли обмануть глядящего тебе в душу из прошлого отца? Он-то видит оттуда — правду..

Есть в поэзии Николая Дмитриева один тематический пласт, в который убегаешь, как в светлую сказку, хотя там вроде бы и нет никаких особенных чудес, и вообще всё очень обыденно и просто. Но там царят мир, любовь и покой, и это счастливое место называется детством. Чаще всего оно возвращается к поэту во сне, даря ему щемящие воспоминания о невозвратной радости бытия. «Снятся мне родины чёрные липы, / детство, болота полночные всхлипы, / ответ реки на стене. / Дым с огородов и утро цветное / снятся так ясно, что всё остальное / словно я видел во сне».

Детская память поэта удержала не многое — не потому, что остальное забылось, а потому, что его и было-то в жизни не очень много, но то, что в ней было — было настоящее, не поддельное, не купленное за доллары и не увиденное по телевизору, а потому и впитанное в самую глубину души. Поэтому память о нём и лечит поэта в его взрослой жизни, даря ему успокоительный и животворящий свет: «Успокойся, трудное сердечко, / вспомни в толкотне и суете: / ножиком скоблённое крылечко / дождиком пропахло в темноте», — со сладостью вспоминает он простейшие, казалось бы, вещи, а от этих простейших вещей так светло и горько замирает душа. Не вернуть... ничего уже невозможно вернуть назад, перенеся в эту жизнь из прошлого.

Но значит ли это, что вот так же навсегда осталась теперь в прошлом и Россия — и её уже никогда не воскресить для счастливых весёлых песен, для радостного общинного труда «всем миром» или боевого подвига? Оглядывая взглядом всё, что впитала в себя его поэтическая душа — от этого скоблённого ножом до белизны крылечка и до дымящихся чёрным дымом подбитых отцом вражеских танков, — Николай Дмитриев говорит: нет, Родина не погибла. «Силы есть для жизни, для стиха, / не сметёт век ни Чудь, ни Мерю, — / в то, что не воскреснет Русь, — не верю, / не возьму я на душу греха».

И ему, ни единого разу не совравшему и не сфальшивившему на протяжении всего его творчества, не поверить в сказанное в этом четверостишии просто нельзя. А значит, так всё на самом деле когда-нибудь и будет, и мы увидим однажды воскресшими и Чудь, и Мерю, и всю нашу Святую Русь. Как бы её кто-то ни хаял...

Виталий ШЕВЦОВ (Рига, Латвия)

АЛЕКСАНДР БЛОК. БЕЛОРУССКАЯ СТРАНИЦА ЖИЗНИ ПОЭТА

*Жизнь — без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
А. Блок. Поэма «Возмездие».*

Его величество случай! Благодаря этому самому случаю мы порою неожиданно для самих себя оказываемся непосредственными участниками странных и загадочных событий, которые на первый взгляд не имеют к нам никакого отношения. Но проходит время — и мы понимаем, какой удивительный подарок преподнесла судьба, выбрав именно нас в тот день и час.

Почти каждый год мы с семьёй навещаем наших родителей в Белоруссии. Живут они в деревне Лопатин Пинского района Брестской области. Лето в деревне для городского человека — время активного отдыха: рыбалка, купание в реке, охота, сбор грибов и ягод и, конечно, самое главное — хождение по гостям. И это не только обмен подарками и весёлые застолья, а в первую очередь — соблюдение традиций, поддержание родственных связей. Но самыми важными днями отпуска, на которые ложится главная нагрузка, являются день приезда и день отъезда. Слёзы радости и слёзы расставанья — ну куда ты от них денешься!

К чему я вам это всё рассказываю? А вот к чему.

Именно за день до отъезда и произошёл со мной тот самый случай, который заставил меня совершенно другими глазами посмотреть на давно знакомую деревню и лю-

Виталий Шевцов (Рига, 1952), в семье военнослужащего. По делам службы отца семья много переезжала по стране. Десять переездов за десять лет учёбы: Россия, Белоруссия, Германия, Чехословакия. Школу окончил в 1968 году. Первыми пробами пера были короткие рассказы и стихи, которые печатались в районной газете. В 1968 году поступил в Пинский технологический техникум, и был принят в Пинский народный драматический театр. За два года сыграл четыре роли в 175 спектаклях театра, за что в 1970 году ему было присвоено звание «Артист народного театра». С 1970 года проходил службу в армии, в ансамбле песни и пляски Белорусского военного округа и в ансамбле Центральной группы войск в Чехословакии. Во время службы продолжал писать и печататься в дивизионной и окружной газетах. После службы, окончив техникум, работал в молочной промышленности, затем в 1979 году был призван на контрактную службу в вооружённые силы. Проходил службу в ВДВ и ВМФ.

С 1986 года проживает в Калининграде. Женат, имеет двоих детей. В настоящее время работает в военном представительстве МО РФ.

С 2000 года печатается в региональной прессе: в газетах «Янтарный караван», «Маяк Балтики», «Калининградская правда», «Калининградский аграрий» и в журнале региональной культуры «Балтика». В 2004 году в калининградском издательстве «Кладезь» вышла его первая книга «Семейный форс-мажор», очень тепло встреченная читателями. Член Союза писателей России. В 2005 году стал лауреатом литературной премии «Справедливый мир» (г. Москва), а также лауреатом премии «За гуманизм и милосердие в литературе», учреждённой общероссийским движением «Россия». В ноябре 2007 года избран председателем правления Калининградского регионального отделения Союза писателей России.

дей, живущих в ней. А виной всему, в хорошем смысле слова, оказался мой девятилетний внук Никита. Вооружившись подарком родителей — новеньким цифровым фотоаппаратом, он подошел ко мне после обеда и предложил прогуляться по деревне.

— Пойдем пофотографируемся, дед, на память.

Память — странная штука. Часто она хранит какие-нибудь мелочи жизни, не сберегая того, что неизмеримо нужнее и важнее для нас.

Уже возвращаясь домой, мы остановились с внуком у здания сельского Дома культуры. И вдруг я, словно в первый раз, увидел на входе, слева от двери, небольшую мраморную доску: **«В августе 1916 года в деревне Колбы и Лопатин жил великий русский поэт Александр Александрович Блок».**

Удивительно, в 1986 году, ровно двадцать один год назад, я стоял на этих же ступеньках Дома культуры — здесь была моя свадьба. Ну ладно, тогда, как говорится, мне было просто не до того. Но потом, каждый раз приезжая в деревню, ведь я заходил в Дом культуры...

— Дед, ну пойдем за мороженым в магазин! — нетерпеливо напомнил внук данное ему обещание.

Вернувшись из магазина, я сразу обратился к теще с вопросом:

— Мама, скажите, неужели Блок в 1916 году жил в вашей деревне?

Моя теща, Надежда Владимировна Остапчук, сорок один год преподавала в Лопатинской средней школе. Преподавала русский язык и литературу, белорусский язык и литературу и даже математику. Вот какая у меня теща! Она-то мне и рассказала, что во время Первой мировой войны Блок в составе 13-й инженерно-строительной дружины Всероссийского союза земств и городов проходил в этих местах воинскую службу в должности табельщика.

«Ночь... улица... фонарь... аптека...незнакомка... скифы... двенадцать...» — вот, пожалуй, и всё, что я вспомнил из школьной программы.

«Александр Блок — это наше национальное достояние», — говорила нам, десятиклассникам, учительница на уроках русской литературы. А мы в это время думали, где достать плёнки с записями Владимира Высоцкого. Для нас это было почему-то важнее.

К большому стыду, готов признать, что значительную часть нашей нынешней молодёжи, так же как и их родителей когда-то, в лучшем случае беспокоит только то, что изложено в учебной программе по литературе. А на остальные подробности из жизни наших великих поэтов и писателей у них просто не хватает времени, а порой и желания. От этих грустных размышлений меня оторвала теща:

— Здесь рядом, в двух километрах, находится деревня Колбы. Там вместе с другими офицерами и с дружиной квартировал Блок. Хочешь, сходи, если тебе это интересно.

— Завтра с утра и отправлюсь, — заявил я.

— А не забыл, что вы завтра уезжаете? — улыбнулась теща.



А.Блок. Август 1916 года.



Деревня Колбы.

— Успею, — заверил я.

— В деревне спросишь церковного старосту, Александра Никитича Кочановского, — продолжила тёща инструктаж. — Он у нас как бы местный краевед. Всё о деревне и её жителях знает. Он и об Александре Блоке тебе расскажет.

Поблагодарив тёщу, я уже был готов отправиться к жене в летнюю кухню, где она вместе с сёстрами готовила обед, чтобы объявить ей о завтрашнем литературном походе, как вдруг ко мне обратился тесть, Николай Саввич. Всё это время он молча слушал наш разговор и теперь, как видно, решил тоже кое-что мне посоветовать.

— А ты знаешь, дорогой зять, что в деревне Колбы живут люди с фамилией Колб? Ну откуда мне было это знать! И в ответ я только пожал плечами.

— А ты вот попробуй, зятёк, — тесть хитро улыбнулся, — прочитай-ка сзади наперёд фамилию Колб.

— «Колб — Блок», — растерянный, я стоял перед довольно улыбающимся тестем и смог выговорить только одно слово: — Почему?

— Почему, почему! — Смеющееся минуту назад лицо тестя стало серьёзным. — Кто его знает, — вздохнул он. — Может, планида, то есть судьба, у Блока такая была. Я, правда, не сам слышал, но старые люди говорили: когда вот такая чехарда с фамилией у человека происходит, он как бы сам себя в другой жизни может увидеть.

— Вы хотите сказать...

— Ничего я не хочу тебе сказать, — перебил меня тесть. — Сходи завтра в деревню, с людьми поговори, сам всё посмотри и тогда делай выводы. Но деревня эта, Колбы, скажу я тебе, — он почему-то перешёл на шёпот, — не простая. Дуб там посреди деревни растёт, ему за двести лет. И в капличку — ну, по-вашему, значит часовенку — зайди. Ты ж крещёный?

— Крещёный, — ответил я.



Церковный староста деревни Колбы Кочановский Александр Никитич.

— Ну, вот и хорошо, стало быть, не помешает тебе. У нас-то, как видишь, церкви в деревне нет: в Отечественную войну фашисты спалили дотла. А капличку эту кто только ни пытался порушить, а она знай себе стоит. Святое, я тебе скажу, зятёк, место, намоленное, а значит, и чудеса там могут происходить всякие.

Мой тесть, Николай Саввич Остапчук, всю трудовую жизнь прокрутил шофёрскую баранку в родном колхозе. На его семидесятилетний юбилей мы и приехали. Рассказчик он первоклассный, я это знал давно. Но то, что он рассказал мне сегодня, не только удивило, а, наоборот, заставило задуматься.

Мы привыкли делить время на прошлое, настоящее и будущее. Но задумывался ли хоть раз кто-либо из нас: благодаря чему прошлое так прочно входит в наше настоящее и будущее? Народная память — вот что противостоит уничтожающей силе времени.

Позавтракав на скорую руку оладьями, которые тёща заботливо напекла в настоящей русской печке, и запив их кружкой ароматного домашнего молока, я, прихватив фотоаппарат, рано утром отправился в деревню Колбы.

Просёлочная дорога, сосновый бор, поле с торчащими ярко-красными чубами клевера, старая земляная дамба перед деревней... Кажется, стоит на миг закрыть глаза — и время потеряет свою власть над нами, позволив зримо, душой почувствовать луч солнца, крик птицы, горячую дорожную пыль под ногами. Если и изменилось что в этом мире, то это только мы с вами.

Перед самой деревней я посмотрел на часы: 7 августа 10 часов 10 минут.

Это уже потом, по приезде в Калининград, сидя в библиотеке и раскрыв второй том «А. Блок. Воспоминания современников», прочитаю: «7 августа 1921 года в 10 1/2 часов утра скончался Александр Александрович Блок».

Совпадение?! Не слишком ли много так называемых совпадений произошло в тот день — 7 августа 2007 года?

Дорогу к дому церковного старосты мне сразу показали местные мальчишки. Хозяйева встретили меня прямо во дворе, словно ждали. «Ну неужели тёща или тесть преду-



Дуб в деревне Колбы (200 лет).

Этот простой белорусский крестьянин, волею односельчан выбранный исполнять обязанности церковного старосты, задал мне свой вопрос неспроста. В погоне за «клубничкой» писательская братгья порою такого может напридумывать... А ведь это история. Пускай даже маленькой деревни. Но в ней живут люди.

«Мужество писателя — единственная категория, способная влиять на развитие окружающей жизни в лучшую сторону. Мужество в открытом диалоге и мужество перед чистым листом бумаги», — эти слова знаменитого белорусского писателя Василя Быкова недавно процитировал с экрана телевизора писатель-философ Чингиз Айтматов.

— Я член Союза писателей России и обещаю написать только о том, что вы мне расскажете, — произнёс я торжественно, словно клявту.

— Ну что ты, Никитич, к человеку пристал! — вступилась за меня хозяйка. — Это ж зять Нади и Коли Остапчуков с Лопатино, ихней Гали муж. Наш он.

«Наш» — это слово прозвучало как своеобразный пароль, поручительство. Ну разве мог я обмануть этих людей? Они ведь не торговали воспоминаниями, как это у нас сейчас модно стало, а, наоборот, помнили и берегли то, о чём им рассказали родители, а родителям — их родители. Из поколения в поколение простыми людьми пишется наша история. Бережно, по крупицам мы должны собирать её, не пропуская ни минуты. Ведь это так важно знать, кто ты есть на этой земле.

Поглядев друг на друга, мы все втроём громко рассмеялись.

— Ну, тогда идёмте сразу к капличке, — предложил Александр Никитич.

— А что это такое, капличка, и почему вы её так называете? — не удержавшись, задал я вопрос.

— Капличка — это наша часовенка, — ласково ответил он мне. — А назвали её так потому, что она сама, как капелька. Да вы сейчас только увидите её — и всё сами поймёте.

Удивительно, как это деревенские жители, в отличие от нас, городских, в каждом окружающем их предмете видят нечто неизмеримо большее, чем мы с вами, нечто сверхчувственное, говорящее о сокровенной тайне души мира. Недавно, листая старый семейный альбом, я на себе почувствовал, что такое зов предков. Фотографии деда и

предили о моём появлении в деревне?» Но я ошибся. Деревня — это огромный живой организм, его можно сравнить с пчелиным ульем. Здесь все и всё знают друг о друге. Здесь нет глупой зависти и злости. Рождение ребенка, свадьбы, праздники и похороны — общая радость и горе одно на всех. Чужих здесь не боятся, но и своих обиду не дадут никогда.

— Значит, хотите о Блоке написать? — внимательно выслушав меня и серьёзно посмотрев мне в глаза, спросил Александр Никитич. — Ну что ж, рад буду помочь. Но разрешите сразу уточнить. Вы из праздного любопытства или как? А то, знаете ли, приезжали к нам при советской власти несколько журналистов из Москвы. Праздник даже устроили — Блоковские чтения. Да всё как-то и стихло после их отъезда. У вас перестройка да реформы, а у нас свои заморочки. Видно, не до Блока. Ну, так как? Что вы мне ответите?

Я прекрасно понял Александра Никитича.

бабушки. Их уже давно нет с нами. Но воспоминания о них, о старом деревенском доме на Украине, в Винницкой области, куда почти каждый год мы приезжали с родителями, нахлынули на меня шемящей тоской. Мы все деревенские, и не надо этого стыдиться. Наши корни там, в маленьких и больших деревнях и сёлах, станицах и хуторах.

«Дом — это лоно, из которого вышла и вернётся душа, это юность наша прошлая и грядущая» (А. Блок). И если кто-то из нас позабыл свою семейную историю или, того хуже, вырвал из неё пару страничек ради удачной карьеры, он не только обокрал самого себя — он обрёк внуков и правнуков своих на то, чтобы звались они иванами без роду и племени. Потому и замечаю я часто такую странность среди людей: одни в этой жизни живут, а другие существуют.

Колодезный журавль, дедушкины сапоги — ходоки, небесное коромысло — радуга, ветер — болтун, луна — серп, солнце — блин... Эти слова я впервые услышал от деда с бабушкой и полюбил и запомнил их на всю жизнь.

— А это правда, что вашей капличке больше двухсот лет? — не удержался я.

— Как есть двести один год 6 мая этого года исполнился, — гордо произнёс Александр Никитич. — Ну вот и пришли, — перекрестившись, он неторопливо достал из кармана брюк связку ключей и открыл двери каплички.

Думаю, что именно здесь, в этой полесской деревушке, Александр Блок особенно остро почувствовал тот самый скрытый смысл жизни, её второй план, который он так безуспешно пытался увидеть в обыденных мелочах богемной светской жизни.

— Он маменьку свою звал «капелькой», — в очередной раз поразил меня Александр Никитич своими познаниями. — Дед моему отцу рассказывал, как этот Блок, словно ребёнок, вокруг каплички ходил, когда узнал, как мы её называем. Весьма верующий был человек. Не то что сейчас некоторые веру в баловство превратили. Думают, овцы заблудшие, что в Божий храм ради забавы ходить можно.

*Да, так любить, как вас любили мы,
Никто из вас давно не любит!
Забыли вы, что в мире есть любовь,
Она и милует, и губит!*

*А. Блок. Поэма «Скифы».
Черновик. 29.01.1918 г.*

Полесье! Художница-природа не пожалела зелёной краски для этого самобытного уголка Беларуси. Леса, рощи, дубравы, заливные луга. Узкими стёжками вьются реки. Синеего первозданной красотой озёра.

А пробовали вы когда-нибудь пить воду из деревенского колодца, прямо из ведра? Зубы ломит, такая ледяная, а оторваться невозможно. Вкусна полесская водица.

А аистов здесь! Почти на каждой деревенской хате гнездо. Добрые и простые люди живут на Полесье. И не удивительно — в какую деревню ни попадёшь, везде тебя встре-



Капличка (2001 год).



Икона Воскресенье Христово с клеймами двенадцатых праздников.

тят ласково, с улыбкой на лице. В дом пригласят, накормят, напоят, ночлег предложат. И никаких денег не спросят.

Почему? Да потому что живут эти люди на своей земле и берегут её и любят как дитя родное. А за любовь денег не берут! Дом, семья, любимая работа — вот такое вот счастье человеческое. А ещё вера и память. Эти два простых слова в трудный час всегда напомнят о том, что ты — человек. Хозяин своей земли. Той самой земли, которая дала тебе жизнь.

Сколько времени прошло после того, как мы с Александром Никитичем вошли в капличку, я не помню. Серьёзные и в то же время добрые лики святых на старинных иконах, ароматный запах горящих восковых свечей...

Не знаю почему, но вдруг вспомнилось детство. Мне было пять лет, когда бабушка в первый раз взяла меня с собой в церковь.

— Бабушка! А я не знаю молитвы, — испуганно прошептал я.

— Главная твоя молитва всегда с тобой, — ласково погладила она меня по голове. — Это правда. Делись с Богом своей радостью, обращай к нему за помощью, и он тебя услышит.

Сколько человек за эти два столетия посетили капличку, знает один Бог. Но теперь я знаю точно, что ровно девяносто один год назад стоял перед этими иконами великий русский поэт Александр Блок. О чём он говорил с Богом, нам неизвестно. Соприкоснуться с историей, пускай даже на миг, — дорогого стоит.

Я обратил внимание на одну из икон. Она отличалась от других тем, что была не рисованная, без оклада, в простой деревянной рамке под стеклом.

— Это печатная копия иконы «Воскресение Христово» с клеймами двенадцатых праздников, — произнёс почтительно за моей спиной Александр Никитич, — можно сказать, ровесница она самому Блоку.

«Сам всё посмотри и тогда делай выводы», — вспомнились мне слова моего тес-
тя.

Привстав на цыпочки, я с волнением стал внимательно всматриваться в икону.

«Как и почему она могла быть ровесницей Блоку?» Бумага от времени по краям пожелтела, а кое-где местами даже истлела. Но, что удивительно, время не коснулось изображённых на ней ликов святых. Такого чистого звучания красок, такой гармонии холодных голубых тонов с нежно-розовыми и золотистыми я не встречал ни на одной из знакомых мне древних копий картин знаменитых художников. Разгадка была в самом низу иконы. Я сразу не обратил внимания на этот мелкий типографский шрифт: «...духовн. комитет. печат. г. Москва. 14 октяб. 1886 г. цена священ». Вот и всё, что мне удалось разобрать, но и этого хватило, чтобы понять самое главное: воистину цена священна иконе этой.

Сто двадцать один год! Много это или мало для нас с вами, мой дорогой читатель? «Для вас — века, для нас — единый час», — так обращался к нам в своём знаменитом стихотворении «Скифы» Александр Блок. Прочитайте его ещё раз. И если ваше сердце учащённо забьётся и вы почувствуете, как гордость закипает в вашей крови, — вы достойны этих стихов, и они написаны именно для вас.

Александр Блок первый из российских поэтов начала прошлого столетия громко и открыто заговорил о подвигах, о доблести, о славе русского народа. Мы должны быть благодарны ему за это. Он верил в Россию и любил свой народ.

Не удивительно, что как только был объявлен призыв в армию сверстников-ратников ополчения, родившихся в 1880 году, Блок выбрал фронт, а не возможность благодаря родственным связям служить при штабе в столице. «Писатель должен идти в рядовые», — заявил он своему другу Вильгельму Александровичу Зоргенфрею в марте 1916 года.

Уже выходя из каплички, я спросил у Александра Никитича разрешения сфотографировать икону «Воскресение Христово».

— Сфотографируйте, раз уж вам для дела надо, — благосклонно разрешил он мне.

По укатанной колёсами автомобильного и гужевого транспорта деревенской улице мы вышли прямо к красавцу дубу. Двухсотлетний великан, устремив в небо свою пышную раскидистую крону, гордо возвышался посреди деревни.

— Ещё один ровесник Блока! — вырвалось у меня.

— По возрасту подходит, — согласился со мной Александр Никитич.

И словно в подтверждение его слов, дерево вдруг зашумело своей могучей кроной и осыпало нас градом спелых желудей.

— Ишь ты! — улыбнулся Александр Никитич. — Вот ведь говорят: дерево, дерево, а оно — как человек, всё слышит, всё понимает.

«И помнит», — подумал я, представив себе Александра Блока, стоящего здесь много лет назад, так же, как мы сейчас, перед этим величественным творением матери-природы.

Может быть, именно здесь и зародились знаменитые строчки «Скифов»:

Мильоны — вас.

Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.

Попробуйте, сразитесь с нами!

В марте 1916 года Блок пишет в своём дневнике: «Стихи мне писать не нужно, потому что я слишком умею это делать. Надо ещё измениться (или — чтобы вокруг изменилось), чтобы вновь получить возможность преодолевать материал».

Если кто-то из нас хочет по-настоящему понять Блока, то он обязан принять во внимание тот совершенно особый угол зрения, под которым Блок воспринимал реальность. Попробуйте хоть на миг в обычных житейских событиях, которые повторяются день за днём, ощутить поэзию жизни, её тайный смысл. Пусть вы не станете поэтом. Но зато вы поймёте главное: время — самое драгоценное из всех сокровищ.

Я прекрасно понимал, что за столь короткое время моего общения с Александром Никитичем не смогу получить все ответы на свои вопросы о Блоке. И будто услышав меня, Александр Никитич сказал:

— А вы, молодой человек, приезжайте к нам на следующий год. Мы с вами тогда обстоятельной побеседуем. Вам бы, конечно, надо было с Марией Ивановной Лемешевской поговорить. Ведь именно в доме брата её отца стоял на постое Александр Блок. Ну да вот незадача — нет её сейчас в деревне. Ещё вчера в город поехала к родственникам.

— Приеду, обязательно приеду, — заверил я Александра Никитича. — На следующий год ждите.

Говоря тогда эти слова, я ещё не знал, что буквально через двадцать два дня судьба снова заставит меня вернуться в эти края. Вот уж правду говорят: «Человек решает, а судьба располагает».

* * *

... Человек может достигнуть вершины славы, свершить много великих дел, может благодетельствовать человечество, но — горе ему, если на своём пути он изменит юность, или, как сказано в Новом завете, «оставит первую любовь свою». Неминуемо, в час урочный и роковой, постучит к нему в двери «Юность» — дерзкая и нежная Гильда в дорожной пыли. Горе ему, если он потушил свой огонь, продал своё королевство, если ему нечем ответить на её упорный взгляд, на её святое требование: «Королевство на стол, Строитель!»

А. Блок. Отрывок из статьи об Ибсене.

Всего один час сорок пять минут — и вот под крылом самолёта уже не белорусские поля и леса, а волны Балтийского моря. Самолёт полон солнца. Как же это здорово — возвращаться домой!

До конца моего отпуска у меня оставалось ещё пять дней. Почти все их, несмотря на неоднократные напоминания жены о даче, я провёл в читальном зале городской библиотеки. Читал и перечитывал стихи Блока, его статьи, письма, воспоминания современников поэта. С чего начать? Чем объяснить вдохновение, побудившее меня взяться за столь серьёзное и деликатное дело, как поиск новых биографических параллелей, по моему мнению, имеющих место во время пребывания Александра Блока в Белоруссии?

Ведь как же трудно бывает порой найти именно те самые нужные слова, которые дают нам возможность правдиво, по воспоминаниям нарисовать духовный, нравственный портрет прошлого! И тут мне просто повезло. Ответ на волновавшие меня вопросы я неожиданно нашёл в одной из статей Александра Блока, написанной в 1916 году: «Одним из главных моих «вдохновений» была честность, то есть желание не провраться «мистически». Так, чтобы всё можно было объяснить психологически «просто». События идут, как в жизни, и если они приобретают иной смысл, символический, значит, я сумел углубиться в них».

Итак, «честность и желание не провраться». Эти слова стали для меня главными в моём литературном исследовании.

История. Бережно хранит она в народной памяти, казалось бы, вполне обычные и знакомые каждому из нас слова: Беларусь, Первая мировая война, Александр Блок... Возможно, благодаря именно этим словам мне и удалось написать эту самую белорусскую страницу жизни великого русского поэта. И нет здесь никакого секрета, потому что за каждым из этих слов стояли и стоят люди со своими удивительными и неповторимыми судьбами. Я уже давно заметил, что изучение одной биографии неуклонно ведёт к знакомству с другой, и это соседство даёт возможность найти порой, казалось бы, навсегда утерянные звенья нашей истории.

С биографией и творчеством Александра Блока большинство из нас знакомится в школе. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русская литература 20-го века», одиннадцатый класс, часть первая, под общей редакцией доктора филологических наук В. В. Агеносова, рекомендован Министерством образования РФ, восьмое издание,

стереотипное, издательство «Дрофа», Москва, 2003 год. Биография великого русского поэта Александра Блока занимает в этом учебнике полторы странички.

«А ведь за плечами А. Блока стояла большая, сложная, высоким костром сгоревшая жизнь», — писал в своих воспоминаниях о поэте Всеволод Рождественский.

Признаюсь честно, меня особенно интересовало, а как же в учебнике отражено участие поэта в Первой мировой войне. Увы! Всего лишь четыре строчки: «Летом 1916 года он призывается в армию в качестве табельщика одной из строительных дружин и направляется на фронт, где, по его словам, живёт «бессмысленной жизнью, без всяких мыслей, почти растительной».

Скучно, сухо, по-казённому написал о великом поэте России кандидат филологических наук некто А.В. Леднёв.

Восстанавливать связь времён — задача каждого культурного человека. Я думаю, что многим из тех, кто берёт на себя ответственность сеять мудрое и вечное в душах подрастающего поколения нашей страны, стоит задуматься над значением этих слов. «Надо надеяться, что военный период жизни Блока будет освещён кем-либо из близких, его наблюдающих», — писал в своих воспоминаниях друг поэта В. А. Зоргенфрей.

...Двадцать шестого июля 1916 года Блок выехал в расположение дружины (ст. Лунинец Полесской железной дороги, в районе Пинских болот). Во время пребывания в дружине Блок жил то в расположении отряда в деревне Колбы, то в помещении штаба дружины — в усадьбе Парахонск местного помещика князя И. Э. Друцкого-Любецкого.

«...Когда по убийственной дороге через предательские болота я добрался ночью в деревню Колбы, в низкой полесской хате при скудном свете керосиновой лампы была произнесена фамилия Блок.

...Был в военной форме дружины. Внутренняя жизнь горит только в глазах.

... Мы строим окопы, блиндажи — всю сложную систему большой оборонительной позиции. На работу выезжаем по несколько человек верхом. Блок ездит великолепно.

...Один раз Блок сдаётся на уговоры прочесть стихи. В полесской хате звучат вдохновенные слова, произнесённые неровным, глухим голосом.

...Иногда где-то преподаёт. Пишет ли? Вероятно, в одиночестве ищет душевного равновесия.

...Общество наше довольно странное: рядом с поэтом Блоком молодой, симпатичный еврей-астроном И. И. Идельсон, талантливый архитектор Л. И. Катонин, потомок композитора Глинки К. А. Глинка.

...На службе Блок — образцовый чиновник. Он может теперь влиять на улучшение быта рабочих и делает это с усердием. Неслыханно аккуратен и симпатичен. Когда это вызывает удивление, говорит: «Поэт не должен терять носовых платков»».

Из воспоминаний Владимира Францовича Пржедпельского (литературный псевдоним — Владимир Лех. Поэт, журналист, сослуживец Александра Блока по 13-й инженерно-строительной дружине Всероссийского союза земств и городов).

«...В январе 1917 года морозным утром я, прикомандированный к генералу М., объезжающему с ревизией места работ Западного фронта, вылез из вагона на маленькой станции, в лесах и снегах. Мне было поручено взять в управлении дружины сведения о работающих в ней баширах. Меня провели в жарко натопленный домик. Через несколько минут, запыхавшись, вошёл заведующий, худой, красивый человек, с румяным от мороза лицом, с заиндевшими ресницами. Всё, что угодно, но никак не мог ожидать, что этот заведующий Александр Блок. Когда сведения были отосланы генералу, мы пошли гулять. Блок рассказал мне о том, как здесь славно жить, как он из десятников дослужился до заведующего, сколько времени в сутки он проводит верхом на лошади; говорили о войне, о прекрасной зиме...»

Из воспоминаний Алексея Николаевича Толстого.

О приезде А. Толстого Александр Блок писал своей матери в письме от 19 января 1917 года: «...Вчера приезжал генерал, остался доволен, благодарил нас (при нём состояли мои приятели Д. Кузьмин-Караваев и А. Толстой)».

Когда гремит оружие, музы молчат — любили повторять древние греки. Кто-то скажет, что это не совсем верное выражение. Но тогда почему, стоит только врагу напасть на нашу Родину, как её сыновья и дочери, все как один: поэты, писатели, рабочие, художники, крестьяне — презрев спокойную, тихую, безопасную жизнь, готовы пойти на самопожертвование, даже на смерть во имя жизни и счастья грядущих поколений? «Любовь к Отчизне и любовь к людям — это два быстрых потока, которые, сливаясь, образуют могучую реку патриотизма», — говорил В. А. Сухомлинский.

Семь месяцев на фронте. Это сто восемьдесят один день и сто восемьдесят одна ночь. Это целых 4344 часа войны. «...Война барахтается в болоте, как кошмарное чудовище. Но, несмотря на всё это, осень так прекрасна, как только она может быть на Полесье, и каждое утро звенит, как золотой червонец». (В. Лех).

«Все фронтовики — герои. Независимо, кто из них какого звания и должности, потому как на войне они делали одно общее дело — сражались за родину. А кто не вернулся с поля боя, тот дважды герой, и вечная ему человеческая память», — сказал мне когда-то, еще совсем безусому мальчишке, в День Победы мой отец. Войну он знал живую. В его словах я не сомневаюсь.

«...Он сказал, что не пишет стихов, потому что война и писать не хочется, что нужно быть на фронте и что он собирается ехать туда. Он говорил, что это долг каждого и что в тяжёлое время нужно быть не только поэтом, но и гражданином. Судьба России важнее всех судеб поэзии».

*Из воспоминаний К. С. Арсеньевой-Букиштейн
(литературный псевдоним — Клара Арсеньева,
поэтесса-драматург).*

Ну вот, кажется, и всё. Теперь дело за тобой, мой дорогой читатель. Решай сам, согласен ли ты с тем, что семь месяцев, проведённых на фронте поэтом Александром Блоком, были для него бессмысленной тратой времени. Можно было бы и закончить на этом белорусскую страницу жизни Александра Блока, если бы не одно «но»... Мне вдруг вспомнились слова церковного старосты Александра Никитича Кочановского, которые он сказал мне перед самым отъездом: «Вам бы с Марией Ивановной Лемешевской поговорить не мешало. Ведь именно в доме старшего брата её отца вместе с другими офицерами стоял на постое Александр Блок».

С детства я слышал от своей бабушки такие слова: «Слово и дело едины». Не хотелось мне откладывать разговор с Марией Ивановной до следующего года. Беларусь от Калининграда — е близкий свет. Но судьба приготовила мне очередное неожиданное испытание. Телефонный звонок родной сестры заставил меня срочно выехать по семейным обстоятельствам в Белоруссию. Мама! Самый родной и близкий человек на свете. До свидания и прощай. Одно слово звучит как надежда, а другое — как вечность.

Перед самым отъездом в Калининград я заехал к теще и тестю в деревню Лопатино. Теперь они для меня единственные родители на всём белом свете.

О встрече с Марией Ивановной я заранее не договаривался, потому и пошёл в деревню Колбы под вечер в надежде, что застаю её дома. По дороге решил, что сначала навешу Александра Никитича Кочановского. Как-никак, а ведь это он мне посоветовал встретиться и поговорить с Марией Ивановной. Александра Никитича, как и в прошлый раз, я застал во дворе.

«В деревне работу искать не надо, она тебя сама найдёт», — любит шутить мой тесть. Сидя на корточках перед огромной по городским меркам горой свежевыкопанной картошки, которую, как было видно, только что привезли с поля, Александр Никитич за-



Мария Ивановна Лемешевская.

нимался её переборкой. Поздоровавшись со мной и улыбнувшись, как старому знакомому, он с нескрываемой хозяйской гордостью проговорил: «Вишь, какой урожай у нас в этом году». Картошка и впрямь была загляденье. Крупная, сухая, чистая, без единого пятнышка парши на кожуре. Одно слово — царица белорусских полей. «Зачем её ещё перебирать?» — подумал я.

Через полчаса, переодевшись, Александр Никитич повёл меня уже знакомой улицей к дому Марии Ивановны Лемешевской. Признаюсь честно, я немножко волновался и поэтому надеялся, что в разговоре с хозяйкой староста поможет. Но стоило нам только войти в дом и поздороваться с хозяйкой, как Александр Никитич куда-то резко заспешил и, напоследок хитро подмигнув мне, быстро исчез за дверью. «Вот тебе раз», — только успел подумать я, как хозяйка обратилась ко мне с вопросом:

— Это вы, значит, аж из самого Калининграду к нам приехали?

— Приехал. У меня здесь тесть и тёща в деревне Лопатин проживают.

— Знаю, знаю, — махнула она рукой. — Писатель?

— Писатель, — ответил я односложно, не зная, с чего начать разговор.

— Александр Никитич говорил, о Блоке пишешь?

— Пишу, — покраснел я под её пристальным взглядом.

— Ну тогда садись за стол и записывай, — улыбнулась она мне. — Раньше наша деревня Колбы делилась как бы на две половины. Одна называлась «дворец», а другая — «шляхта». Кто придумал эти названия, не знаю, потому и врать тебе не буду. «Дворцовыми» называли селян среднего достатка — тех, которые не имели земли и коней. Домашний скот держали все — это не в счёт, попробовал бы кто прожить на деревне без коровы, курей да гусей! А на второй половине жила «шляхта» — люди богатые. Хозяйства у них были крепкие, избы добротные, одно слово — хозяева, — в её голосе я вдруг услышал нотки гордости за тех людей, о которых она мне только сейчас рассказала. —

Не с неба на них это богатство свалилось. Своим горбом заработали. По копейке копили. Пахали, сеяли, скот растили. Дорога к достатку через труд лежит. Не все клады находят, не все...

Она неожиданно умолкла, оборвав свой рассказ на полуслове, словно спохватившись, что вдруг рассказала мне о чём-то сокровенном, чего мне и знать-то не следовало. Природная человеческая осторожность приучила людей её поколения быть в меру искренними с незнакомыми им людьми. Но, разглядев в моих глазах неподдельное любопытство, хозяйка вздохнула и продолжила:

— Даже фамилии у тех людей были красивые, двойные: Колб-Селецкие, Колб-Лемешевские. У деда моего Фёдора Колб-Лемешевского было четыре сына: Адам, Якуб, Степан и Иван. Как ты догадываешься, наверно, писатель, — улыбнулась она, — младший Иван и был моим отцом.

Весь рассказ Марии Ивановны был похож на какую-то местную притчу, а может быть, даже и сказку. Я старался не пропустить ни одного её слова.

— Осенью это было, в 1916 году. Фронт в двенадцати километрах от нашей деревни проходил. У деревни Плещицы. Той ночью, — рассказывала мне бабушка, — дождь лил как из ведра. Дед с бабушкой не спали, у них корова заболела. Вот на свет в их оконце и заехали к ним два офицера на конях. Они их накормили да спать уложили. Один из этих офицеров и был ваш Александр Блок.

— А почему вы так думаете, что это было именно Александр Блок, а не кто-то другой? — волнуясь, спросил я.

— Мне это бабушка рассказывала. Она сама наутро отвела этих офицеров в дом к своему старшему сыну Адаму. Он давно отделился от родителей и жил своим хозяйством. У него уже стояли офицеры на постое. Не помню, то ли их там четверо, то ли пятеро было, бабушка говорила.

«Ура!» — еле сдержал я себя, чтобы громко не закричать, и вскочил со стула. Чуть ли не наизусть я был готов процитировать сейчас строчки из письма Александра Блока, которые он написал 21 августа 1916 года своей матери из деревни Колбы: «...В избе три комнаты, блохи выведены. В одной спят Попов, Идельсон и Глинка, в другой — Игнатов, Егоров и я, а в третьей (кухне) — хозяин, хозяйка и котёнок, на чердаке две милостивые девицы (загнаны нами на чердак)».

— А где стоял этот дом? Как звали девушек, то есть дочек Адама Колб-Лемешевского? — задал я, не удержавшись, один вопрос за другим.

— Это были мои двоюродные сёстры, — с теплотой в голосе произнесла Мария Ивановна. — Старшую, как и меня, Марией звали, а младшую — Сашей. А дом... — она вздохнула, — нет уже того дома, как и дедушкиного тоже нет.

— Как это нет?

— А вот так, нет — и всё. Из-за этих двух домов при советской власти наши семьи как кулаков чуть в Сибирь не отправили. Потому раскатали дома по брёвнышку да продали и построили дома поменьше, — горестно вздохнула она.

Выждав какое-то время, я попытался оторвать Марию Ивановну от горестных мыслей своим очередным вопросом:

— А что вы можете ещё рассказать о жизни Блока в вашей деревне?

— Я вот вам расскажу, а поверите вы мне? — ответила она вопросом на вопрос.

— Поверю. Расскажите, — взволнованно произнёс я, почувствовав в её словах какую-то тайну. Да и почему я не должен был верить этой простой деревенской женщине?

— Бабушка моя Анна рассказывала: хоть и война была, и фронт рядом проходил, но всё равно собиралась окрестная молодежь по деревням на вечёрки, песни пели, танцевали. Народу-то в деревнях прибавилось: военные, вольнонаённые. Все мужики молодые.

— А как эти вечёрки проходили и где? — не удержавшись, спросил я.

— Хорошо проходили, — улыбнулась Мария Ивановна, — можно сказать, чинно и благородно. Клубов в те времена не было. Молодёжь всёсама организовывала. Заранее в деревне договаривались с кем-то из хозяев о проведении в его доме гуляний, то есть вечёнок. Сами музыкантов приглашали, сами и за порядком следили. На таких вечеринках знакомились и женихались.

— Так что, и офицеры на вечеринки к местным ходили? — удивился я.

— А что им было делать после службы, чай со стариками пить? — задорно рассмеялась Мария Ивановна. — ни ведь все мужики были молодые, кровь с молоком. А наши девушки на Полесье самые красивые да голосистые. Ты жену свою тоже ведь из этих мест взял? Не прогадал? — глаза её заблестели по-молодому озорно, несмотря на её возраст.

— Не прогадал! — улыбнулся я в ответ.

— Ну вот и слава богу. Живите себе счастливо.

Эти слова она произнесла с такой неподдельной искренностью и теплотой, что мне вдруг тоже захотелось пожелать ей того же. Но то ли от волнения, то ли от растерянности — ведь не каждый день незнакомый человек желает тебе и твоей семье счастья, — я, густо покраснев, произнёс только в ответ: «Спасибо».

Слава благодарности. Они удивительно просты и незамысловаты по сути своей. Но вот что удивительно: от них всегда становится тепло и радостно на душе. Неискренние улыбки, ничего не значащие поцелуйчики, пустые обещания на все случаи, заученные слова поздравлений пожеланий — все это незаметно развращает наши души.

— На одной из таких вечеров они и познакомились, — продолжила свой рассказ Мария Ивановна. — А так как Блок квартировал в доме отца Марии, то об их отношениях сразу никто и не догадался.

— Вы рассказываете так, словно присутствовали при их знакомстве, — не удержался я.

— Я не присутствовала, — тут же обидчиво отреагировала Мария Ивановна на мои слова. — Но с какой стати, скажите вы мне, молодой человек, я не должна верить своей бабушке и родной матери?

— Но тогда поверьте мне! — теперь пришла очередь моих доказательств. — Я не нашёл ни в письмах, ни в воспоминаниях Блока, ни даже в его стихах никакого намёка на знакомство с девушкой Марией.

— Значит, плохо искали, — укоризненно посмотрев на меня, произнесла она как ни в чём не бывало и, вздохнув, добавила железный, иначе и не скажешь, аргумент в свою пользу: — Да неужто он глупец какой был, этот ваш Блок, чтобы матушке своей и друзьям расписывать о своих чувствах, коли женат был!

— Ну вот, — радостно воскликнул я, — вы и сами только что сказали, что Блок был женат.

— Женат, женат, — согласно закивала Мария Ивановна головой. — Только это ведь потом открылось. А так глядишь, может быть, что и получилось бы у них, не уедь тогда Блок из деревни.

«Действительно, в конце сентября 1916 года Блок убыл в отпуск в город Петроград, а 2 ноября того же года вернулся в расположение отряда», — писал об этом в своих воспоминаниях В. Ф. Пржедпельский, сослуживец Блока.

— Ну так вот, — дождавшись, когда я оторву голову от своих записей, продолжила Мария Ивановна. — Тут как тут после его отъезда через неделю сваты из соседней деревни Камень нагрянули. Стали Марию сватать. А та ни в какую, наотрез отказалась замуж выходить. Пришлось сватам от ворот поворот давать.

— Не может такого быть! — недоверчиво произнёс я.

— Нагляделись вы по телевизору там у себя в городе фильмов разных, а в жизни оно-то ведь всё по-другому бывает. Дядька Адам дочек своих любил и счастья им желал.

Мне после таких слов ничего не оставалось, как, виновато опустив голову, только развести руками, тем самым признавая её правоту.

— Да, все бы хорошо, может, и было, — вздохнула в очередной раз Мария Ивановна, — но нашлись-таки злые языки. Пустили слухок по деревне о том, что офицер женат. Скорее всего, это кто-то из его сослуживцев недобрую службу сослужил, а может, кто и по зависти или по глупости. Дошёл этот слух до дядьки Адама, тут он своё отцовское слово и сказал. Вернули сватов назад, в три дня свадьбу сыграли и увезли Марию из отцовского дома навсегда.

— И что дальше было? — у меня от волнения карандаш сломался.

— А дальше что... вернулся Блок в деревню, узнал о свадьбе и в тот же день уехал.

— Куда?

— А кто его знает, — пожалала Мария Ивановна плечами. — Правда, мне мама рассказывала, что заезжал он всё-таки в деревню Камень. Она-то сама из этой деревни родом у меня. Хотел Марию увидеть. Но та с ним разговаривать не пожелала. Хватило ей, бедолаге, и неправды, и позора. В Россию он ездил неспроста, я себе так думаю.

— А почему же вы так думаете?

— Потому и думаю, что хотел он судьбу свою изменить. Да видишь ты, как всё вышло, — не успел. Судьбу не изменишь, — вздохнула она, — с ней не договоришься. А Мария с мужем жили плохо — хотя она ему и двух сыновей народила, он ей так и не простил своего двойного сватовства.

— Так зачем тогда женился?

— Приданое за Марией отец дал богатое, вот и женился. Всё! — неожиданно закончила свой рассказ Мария Ивановна. — Всё, что знала, рассказала.

Аккуратно спрятав в нагрудный карман листки с драгоценными записями нашей беседы, я поблагодарил Марию Ивановну и вышел из дома. Ещё буквально вчера я даже подумать не мог, что здесь, в этой маленькой белорусской деревне со странным названием Колбы мне посчастливится узнать столько интересных и неожиданных подробностей о жизни Александра Блока.

Помните знаменитую фразу «искусство принадлежит народу»? Возможно, именно поэтому у многих из нас и сложилось ошибочное мнение, что и люди искусства так же принадлежат нам с вами, а не самим себе. И всё, на что они способны в этой жизни, так это только и делать, что создавать свои бессмертные творения и радовать нас ими. А ещё они просто обязаны быть для нас символом удачи, счастья, благополучия — в общем, вечным праздником души. Потому что мы так хотим. Потому что нам так нужно. Да, страшная это сила — всенародная слава. День и ночь, не уставая, она готова носить полюбившийся ей талант на руках. Но не дай вам бог отказаться от неё ради собственного счастья — не простит, безжалостно, с улыбкой на устах задушит в собственных объятиях.

«Писательская судьба — трудная, жуткая, коварная судьба. В наше время в России — особенно. Кажется, никогда ещё не приходилось писателям попадать в такое ложное положение, как теперь», — писал 2 февраля 1902 года Александр Блок в статье «Душа писателя». Не иметь права на собственное счастье и быть счастливецом для окружающих людей — крест гениев.

Печатью тайнства или трагедии отмечен уход из жизни многих русских поэтов 20-го века. Мы не знаем и никогда не узнаем, что думал Гумилёв перед расстрелом, что толкнуло Есенина, Маяковского, Цветаеву, да и не только их, к последнему решительному шагу. Мы не знаем точно, где находится могила Мандельштама. А могилы Ходасевича, Георгия и Вячеслава Ивановых отдалены от нас не только огромными расстояниями, но и государственными границами. На этом фоне кончина Блока, происшедшая вследствие болезни, в своей стране, в своей постели, может послужить едва ли не редким в 20-м веке благополучным примером. И, тем не менее, этот уход содержит свои тайны, разгадка которых таит в себе не меньшие сложности.

В этом году 16 ноября исполнилось 127 лет со дня рождения Александра Блока. «Не юбилей», — отреагировал один из местных журналистов. Да, юбилей — это модно. Это мероприятие серьёзное. Их заранее планируют, готовят — очередные праздники бездушия. Отдать дань памяти и забыть. Слава богу, не везде так.

16 ноября 2007 года в Брестской области, в деревне Лопатин, одну из новых улиц назвали именем Александра Блока. Улица небольшая, всего-то семь новеньких двухэтажных коттеджей. А память останется на всю жизнь.

Ещё по дороге в Калининград я понял, что одному мне будет трудно разобраться в том, что на самом деле произошло в последние месяцы пребывания Александра Блока в Белоруссии. Можно было бы, конечно, напустить «литературного тумана», выдать желаемое за действительное и всё это отдать на откуп читателю: мол, думайте сами, верить мне или нет. Но что-то мне подсказывало, что рано ещё ставить точку в этой истории. И интуиция меня не подвела.

Алексей Захарович Дмитровский — профессор Международной славянской академии, профессор кафедры зарубежной литературы Калининградского государственного университета, кандидат филологических наук, член Союза журналистов России, учитель в четвёртом поколении, исследователь в области поэтики литературных жанров, пушкиновед, блоковед — вот к какому человеку я решил обратиться за помощью. С Алексеем Захаровичем мы знакомы почти пять лет. Он, как и я, является членом Союза писателей России. Алексей Захарович любезно согласился встретиться со мной у него дома. Идя к нему на встречу, я очень волновался: а вдруг, выслушав меня, мой старший товарищ по литературному цеху скажет, что всё это выдумки местных жителей и они не имеют никакой связи с жизнью великого поэта. Пожалуй, за исключением лишь того, что именно в тех местах Белоруссии Блок проходил службу в армии — это факт, всем давно известный.

Выслушав мой сбивчивый рассказ и внимательно прочитав записи, которые я сделал в Белоруссии, он, помолчав какое-то время, сказал: «Вам необычайно повезло, мой друг. Шанса, который выпал вам, многие ждут всю свою жизнь».

— Вы хотите сказать, — голос мой задрожал от волнения, — что верите мне?

— Верю и не просто верю, — улыбнулся он в ответ. — У меня есть книга, которая поможет вам дойти до истины. Особо прошу обратить внимание на поэму «Возмездие».

Книги у Алексея Захаровича занимают всю его квартиру. Они на книжных полках, столе, подоконнике, стульях, диване. И это не беспорядок, нет. Книги просто живут в этой квартире вместе со своим хозяином. Они для него имеют такое же значение, как солнце, воздух, вода и хлеб. Можно любить книги, но жить книгами, считать их своими друзьями, к сожалению, доступно не каждому. Не в первый раз прихожу я в эту литературную квартиру, и каждый раз испытываю чувство гордости, что имею право называть её хозяина своим товарищем.

В автобусе я не удержался и раскрыл книгу, которую дал мне Алексей Захарович. Это был пятый том сочинений Александра Блока, поэмы 1911—1921 годов. В выходных сведениях читаю: сдана в набор 7.01.1932 г., издательство писателей, Ленинград, вторая типография «Печатный двор» треста «Полиграфкнига», тираж 5500 экземпляров, ответственный редактор И. Груздев. Это был не просто раритетный экземпляр, это была настоящая литературная реликвия.

Дома, удобно устроившись за столом, я, как мне и советовал Алексей Захарович, внимательно прочитал поэму «Возмездие». Начал с предисловия, написанного автором в июле 1919 года, и закончил черновиками ко второй и третьей главам поэмы, которые Блок также писал в июле, но уже 1921 года, за несколько недель до своей смерти.

Итак, позволю себе ещё раз вспомнить слова Блока: «...Честность и желание не провраться». Из предисловия к поэме «Возмездие» (стр. 31): «...В эпилоге должен быть образ ребёнка, которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чём не ведающая».

Позволю напомнить вам, что согласно Брест-Литовскому миру, который был заключён большевиками 3 марта 1918 года с Германией, территория западной Белоруссии отошла к Польше. На этой территории оказались деревни Колбы, Лопатин и Камень. А теперь предлагаю вам внимательно прочесть последние строки стихов, которые написал поэт за несколько недель до своей смерти. Не хочу делать никаких выводов. Сделайте их сами.

— *Мария, нежная Мария,
Мне жизнь постыла и пуста!
Зачем змеятся молодые
И нежные твои уста?
Какою думой...*

— *Будь веселей, мой гость угрюмый,
Тоска минует без следа.
Твоя тоска пройдет.*

— *Где мы? — Далёо, за предместьем,
Здесь нет почти жилых домов.
Скажи, ты помнишь о невесте?
— Нет, у меня невесты нет.
Скажи, ты о жене скучаешь?
— Нет, нет, Мария, не о ней.*

*Она с улыбкой открывает
Ему объятия свои,
И всё, что было, отступает
И исчезает (в забыты).*

И он умирает в её объятиях. Все неясные порывы, невоплощённые мысли, воля к подвигу, [никогда] не совершённого, растворяется на груди этой женщины.

*Мария, нежная Мария,
Мне пусто, мне постыло жить!
Я не свершил того,
Того, что должен был свершить».
(Черновики продолжения третьей главы
поэмы «Возмездие», стр. 107—108.)*

Не знаю почему, но мне захотелось закончить мой рассказ словами поэта: «Верен, сквозь всю свою неверность». И я верю — поэту и человеку..

Юрий МАЛЬЦЕВ (Таллин, Эстония)

РУССКИЕ ПАМЯТНИКИ ОСТРОВА ОСМУССААР

Из приблизительно 1500 островов, насчитываемых сейчас в Эстонии, подавляющее большинство составляют малые, безлюдные и каких-либо памятников не имеющие. Объекты, связанные с русской историей и культурой, известны лишь на десятке островов, среди них особое место занимает небольшой остров Осмуссаар (Osmussaar, Odensholm, Оденсхольм, или Оденсгольм). Этот остров не случайно именуют «легендой Балтики».

Вследствие своего стратегически важного расположения у входов в Финский залив и Моонзундский пролив Осмуссаар вошёл в историю мореплавания и в историю Первой и Второй мировых войн. Остров был издавна заселён, на нём сохранились единичные памятники культуры прибрежных шведов, а также целый ряд памятников русской истории и истории военной техники советского периода.

Эти памятники и связанные с ними события на острове описывались как в мемуаристике советского времени [1,2], так и в современной эстонской краеведческой литературе [3], но, к сожалению, выборочно, а часто также тенденциозно и недостоверно. Логический анализ доступных описаний и сравнение их с физически сохранившимися на острове памятниками и следами событий позволяют предположить, что основными причинами этого были:

- конформизм авторов, их угодливость политическим догмам своего времени (акцентирование идеологически желательного, принижение или замалчивание идеологически неудобного);
- естественная субъективность и забывчивость мемуаристов;
- скудность выявленных и доступных архивных материалов по теме;
- труднодоступность памятников острова для натурального исследования как вследствие послевоенного многолетнего (1944–1991 гг.) вхождения его в закрытую военную пограничную зону, так и из-за отсутствия регулярного сообщения с островом в последующие годы;
- неудовлетворительная изученность памятников острова и сохранившихся материальных следов событий на местности.

Имеющуюся лакуну частично заполнил первый очерк истории береговой обороны Моонзунда [4], содержащий весьма интересные факты, однако посвящённый почти исключительно артиллерийским батареям и не ставящий аналитических целей.

С целью создания историко-краеведческого аналитического обзора памятников Осмуссаара, связанных с русской историей и культурой (далее: памятники), задачами работы ставились:

- представление краткого объективного описания всех важнейших памятников острова, вне зависимости от времени их создания и сохранности в наши дни;
- составление кратких хронологий основных событий, связанных с наиболее значительными памятниками Осмуссаара, доступными для анализа к лету 2008 г.;
- сравнение данных о памятниках и событиях с выявленными на местности объектами и следами событий.

В работу включены основные сведения, выявленные в 2008 г. путём обследования острова, а также в Эстонском государственном архиве (далее — ЭГА) и в доступных в Эстонии литературных источниках. Многие темы и объекты рассматриваются впервые. В то же время работа не претендует на исчерпывающую полноту, так как в ней

в значительно меньшей мере смогли быть использованы материалы российских архивов. Исторические фотографии маячного городка, спасательной и ракетной станции Осмуссаара любезно предоставлены Морским музеем Эстонии, автором схемы расположения памятников на острове и их современных фотографий является краевед М.Трутс.

О ПРИРОДЕ И ПАТРИАРХАЛЬНОЙ ИСТОРИИ ОСТРОВА ОСМУССААР

Остров возник предположительно 2–3 тыс. лет назад вследствие поднятия известнякового глинта, он расположен на северо-западе Эстонии, в Ляэнском уезде, в 7,5 км к NW от оконечности полуострова Шпитхамн (Spithami). Имеет форму «изрезанного овала», вытянутого с SO на NW, длиной около 4,7 км, шириной около 1,4 км, и низкий равнинный рельеф. Высота над морем медленно повышается к северной оконечности, достигая там приблизительно 6–10 м. Основой почвы является плоский слоистый известняк (плитняк), из обломков которого на берегах штормами намыты голые пологие галечные поля с волнообразным рельефом. Ближе к середине острова на тонком плодородном слое растёт можжевельник, а в середине — несколько рощиц лиственных деревьев. Помимо суровой природы Осмуссаар известен геологическими следами взрыва от падения около 500 млн лет назад неподалёку от острова Нейгрундского метеорита (встречаются «сплавные камни» — т.н. бречи) и от несколько более позднего землетрясения. У острова уже в наше время произошло новое землетрясение, первое за письменную историю Эстонии (25.10.1976 г., интенсивностью 6–7 баллов). С 1996 г. Осмуссаар имеет статус ландшафтного заповедника [3].

Первое письменное упоминание острова относится к XIII в. [5]. С древних времён сохранились легенды о захоронении некогда на Осмуссааре шведского бога Одина, по имени которого остров получил своё шведское название Odensholm — «Остров Одина». Как на «могилу Одина» указывали даже на груду камней в южной части Осмуссаара (не сохранилась). Эстонское название острова, вероятно, происходит от словосочетания «Otsmaa saar» — «остров оконечности земли» [6]. Предположительно начиная с XIII–XIV вв. и до середины 1940 г. в центре острова существовала небольшая деревня Биен (Bien) приморских шведов, живших рыболовством, овцеводством, лоцманством и грабежами попадавших на мели у острова кораблей. К 1940 г. в ней жило до 140 человек. Кроме 7 хуторов, от которых сохранились фундаменты, в деревне было небольшое кладбище с часовней Иисуса (XVIII в., частично реставрирована).

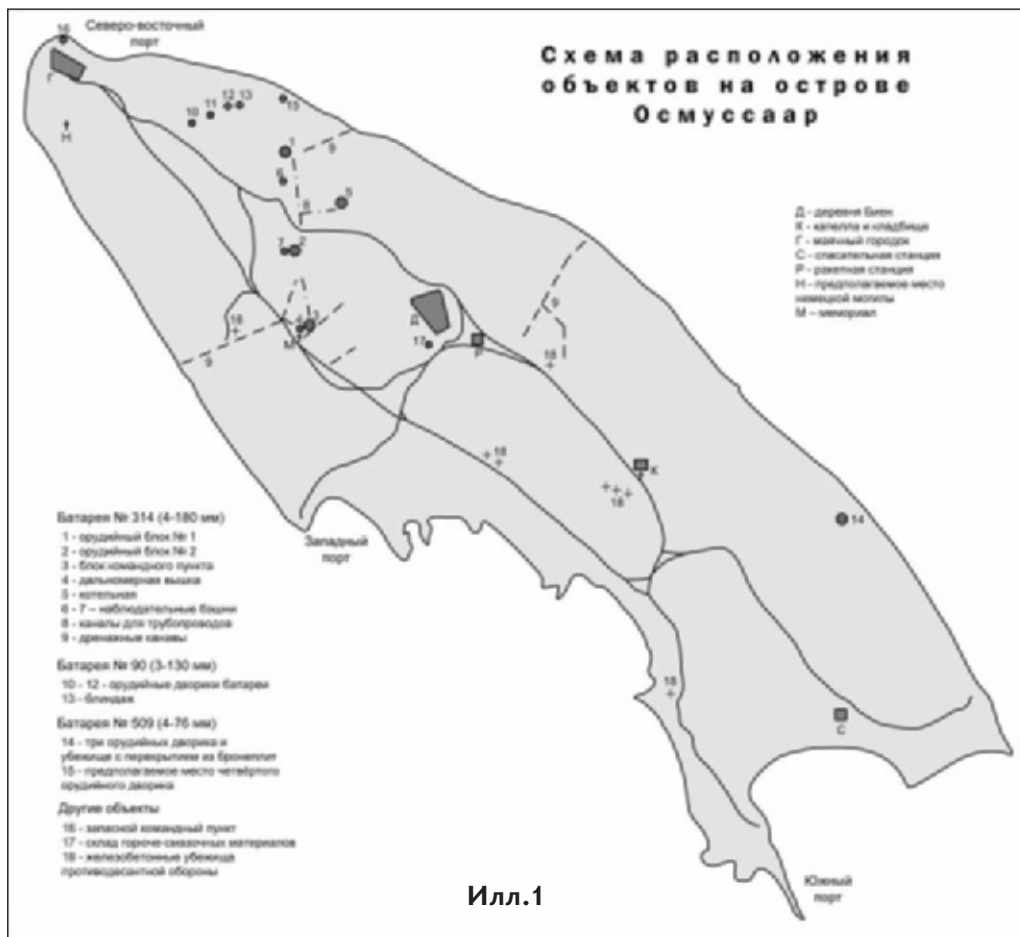
Схема размещения на Осмуссааре основных исторических памятников приведена на илл. 1.

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ ПАМЯТНИКИ ОСМУССААРА И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ СОБЫТИЯ

Маяк и маячный городок

1765 г. На острове построен первый капитальный маяк с каменной башней. Строительство было осуществлено по предложению контр-адмирала С.И.Мордвинова от 1759 г., тогда же на Осмуссааре было выбрано местоположение маяка, используемое и в наши дни. Конструкция и высота башни маяка не выявлены, но известно, что источником света в нём служили дрова и уголь, горевшие в стоявшем на трёх опорах держателе. С того времени работа на маяке стала давать гарантированный заработок нескольким семьям местных жителей, что ценилось островитянами даже в XX в. [3]. Одновременно с этим, вероятно, был построен и первый т.н. маячный городок — деревянный дом для вахт маячной прислуги и вспомогательные строения.

Первый маяк, видимо, находился к северо-востоку от современной маячной башни.



1804 г. Восстановлена и надстроена обветшавшая почти за 40 лет башня первого маяка. В том же году на башне было построено фонарное помещение со светооптическим аппаратом. Высота маяка теперь составила около 21 м [7].

1814 г. Башня первого маяка приблизительно через 10 лет после ремонта разрушилась, вероятно, вследствие выветривания или подмыва плитняка берега, на котором она стояла. У самого уреза воды сохранилась плитняковая опорная стена, возможно, являвшаяся защитой первого маячного основания. Невдалеке от места первого маяка был построен временный деревянный маяк с ламповым огнём на высоте 24 м от уровня моря. Точное место расположения и судьба временного маяка неизвестны, видимо, впоследствии он был полностью демонтирован.

1850 г. Вместо временного деревянного построен новый (второй) капитальный световой маяк с каменной башней. В 1867 г. на нём были установлены 2 колокола для звуковой сигнализации, в 1869 г. — построены новые деревянный дом смотрителя и баня.

1874–1888 гг. На башне маяка в 1875 г. установлен импортный вращающийся фонарь с оптикой Френеля. С 1880 г. маяк был переведён на освещение керосином, с 1888 г. снабжён тяжёлым сигнальным колоколом. В этот период неоднократно совершенствовалась и получила окончательный вид башня маяка: была укреплена, надстроена, контрастно окрашена.

1901–1910 гг. Построены для электроосвещения маяка моторная электростанция и каменный жилой дом для её мотористов. Одновременно с этим были капитально отремонтированы маячная башня, жилой («караульный») дом маячной прислуги, кладо-

вая и погреб. С 1910 г. были установлены питавшаяся от мотора электростанции маячная сирена, а также телефонная станция [6], через проложенный подводный кабель связанная с пограничным постом на мысе Шпитгамн (Pääsaspea), уже с середины XIX в. соединенным воздушной телефонной линией с Гапсалем (Haapsalu) и далее с Ревелем (Таллин). Тогда же, вероятно, принял законченный вид и маячный городок (илл. 2) — на 1913 г., кроме описанного, на его территории находились:

- каменные — здание моторной электростанции и сирены, хранилище керосина, ледник и погреб для продовольствия;
- деревянные — кладовая, кузница, хлев, а также вахтенная будка поста службы наблюдения и связи Балтфлота с сигнальной мачтой для антенны.

Имелись также обычный и артезианский колодцы, территория ограждалась забором и колючей проволокой [8]. До наших дней от всего русского маячного городка, видимо, сохранились лишь здания комплекса моторной электростанции и погреб. Обследование мест нахождения ряда утраченных строений и сооружений может представлять научный интерес.

1941 г., 2.12. Башня второго маяка до основания взорвана командой подрывников с батареей острова, уничтоживших его военные объекты после скрытной эвакуации с Осмуссаара советского гарнизона [1,2]. При этом, очевидно, преследовались цели затруднения противнику морской навигации и наблюдения за морем. Пустое основание маяка с ведущими на него ступенями сохранилось до наших дней.

1946 г. Построен временный деревянный маяк в форме усечённой пирамиды высотой 28 м.

Уже ранее меры по установке на острове сигнального огня предпринимались германскими властями. Выявлено, что к середине 1943 г. в Таллине был разработан проект временного светящего знака (Leuchtbacke) для Осмуссаара, с бревенчатой вышкой высотой около 8,5 м [9]. Сведения о реализации этого проекта не обнаружены.

1954 г. Построен третий капитальный маяк, работающий и сейчас, с 1998 г., в автоматическом режиме. Круглая маячная башня высотой около 35 м была выполнена из железобетона методом скользящей опалубки, широко использовавшимся после этого в масштабах всего СССР [6]. По архитектурному решению внешнего вида этот маяк сходен с предыдущим, нижняя часть его выполнена подчёркнуто традиционной, с элементами историзма (илл. 3).

Сохранившиеся объекты — памятники маячного городка.

Здание для моторной электростанции и сирены казённой постройки около 1910 г., прямоугольное, одноэтажное, каменное, с тепловым тамбуром, снабжённым широкими дверями для громоздкого оборудования. Имеет следы ремонтов и переделок.

Жилой дом мотористов электростанции и сирены также казенной постройки около 1910 г., прямоугольный, одноэтажный, кирпичный, 5-комнатный (!) с коридором и тамбуром.

Погреб маячного городка, обсыпной с цилиндрическим сводом и фасадной стеной с датой над дверью «1887». Все строения имеют следы послевоенного восстановления и незначительных переделок, общее состояние удовлетворительное.

Спасательная станция

В юго-восточной части Осмуссаара, видимо, в конце XIX в. была построена Спасательная станция Императорского Российского общества спасания на водах, состоявшая из дощатого лодочного сарая с характерным изображением на воротах красного креста и слипом (спуском) к воде (илл. 4). В сарае хранилась 6-вёсельная деревянная спасательная лодка системы Уайта со съёмной мачтой и комплектом снаряжения: пробковыми жилетами, фонарями, сигнальной пушкой, лотом и т. п. Спасателями работали 6—8 жителей острова, имевшие гарантированный заработок, а также право на компен-

сацию затрат и ущерба, понесённых в связи со спасательской работой. В 1919 г. спасательная станция была национализирована Эстонской Республикой и продолжала функционировать [10]. Строения и имущество станции, вероятно, погибли в ходе военных действий 1941 г. На местности сейчас от неё обнаружены только предполагаемые элементы фундамента лодочного сарая.

Ракетная станция

В центральной части острова, вероятно, также в конце XIX в. и тем же обществом на Осмуссааре была построена станция для выстреливания на суда, терпящие бедствие у острова, спасательных линий (лёгких тросов) с помощью пороховых ракет и специальной пушки. Конная тяга всего спасательного комплекта позволяла оперативно и с любого берега острова забрасывать на корабль спасательный линь, что являлось единственным способом соединения судна с берегом в сильный шторм. Ракетная станция состояла из каменного сарая с хранившейся в нем чугунной пушкой «Kordess» на двухколёсном лафете, передком для зарядов и перевозимыми ящиками ракетных линий (илл. 5). Станция со всем имуществом в 1919 г. также была национализирована Эстонской Республикой и, вероятно, погибла при военных действиях в 1941 г. На местности сейчас от неё обнаружены лишь предполагаемые фрагменты фундамента пушечного сарая.

ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Место гибели германского крейсера «Магдебург»

1914 г., 13.08. На камни приблизительно в 500 м от северо-восточного берега Осмуссаара ночью в тумане сел германский лёгкий крейсер «Магдебург», пришедший к острову, видимо, для уничтожения размещённого при маяке российского наблюдательного поста. Военный пост службы связи Балтийского флота своевременно обнаружил крейсер и по телефону информировал штаб флота о ситуации (несмотря на обстрел маяка крейсером — его снаряды подожгли 1—2 деревянных постройки маячного городка). Это позволило быстро направить к Осмуссаару русские корабли (2 миноносца и 2 крейсера), огонь которых воспрепятствовал попыткам подошедшего германского миноносца снять крейсер с рифа [11]. В результате «Магдебург» по приказу его капитана был подорван своим экипажем, часть которого смогла эвакуироваться на миноносец, часть попала в русский плен, часть погибла при попытке добраться до миноносца либо до берега [12].

Благодаря оперативному осмотру подорванного корабля и последующему водолазному поиску на дне вокруг него специалисты Балтийского флота смогли обнаружить сотни германских секретных документов, в том числе два экземпляра сигнальной книги германского ВМФ. Это весьма помогло в дальнейшем успешной дешифровке оперативных радиogramм германского флота на Радиостанции Особого Назначения БФ, в силу исторической случайности сооружённой менее чем в 20 км от остатков крейсера, неподалёку от мыса Шпитгамн, у деревни Перакюла [13].

Обломки «Магдебурга» ещё десятки лет виднелись над водой и окончательно были разобраны, вероятно, лишь в 1950-х годах. Осенью 1941 г. по ним проводилась пробная стрельба советских артиллерийских батарей Осмуссаара, а видевший их в 1944 г. мемуарист характеризовал остатки корабля как «гору металлолома». По другим сведениям остатки крейсера были в основном разобраны на металлолом в 1930-е годы. [1,3]. Сейчас место гибели крейсера (в нескольких сотнях метров от маяка) не обозначено и неразлично.

Место захоронения германских моряков

17–29.08.1914 г. Личный состав поста службы связи Балтфлота на острове обнаружил 11 тел утонувших германских моряков с крейсера «Магдебург» и миноносца «V-26».

Все тела были прибиты волнами к берегу в северной части Осмуссаара. После осмотра, позволившего идентифицировать 6 погибших (были выявлены 4 фамилии по меткам на одежде и 2 личных номера), все моряки были захоронены в одном месте к югу от маяка. Возможно, что могил было две или три, одна из них офицера или флотского кондуктора [12].

1944 г., 28 сентября. Вновь посетивший Осмуссаар участник его обороны 1941 г. Ф. Митрофанов не смог обнаружить в районе маяка ни одного захоронения и указал, что все могилы там были сровнены с землёй в период немецкой оккупации. По другим сведениям захоронение германских моряков также было утрачено в период войны или даже летом либо осенью 1941 г. [1,11,14]. Возможно, что вследствие массированных обстрелов немцами Осмуссаара этот район был изрыт воронками от разрывов снарядов и место захоронения стало неузнаваемо.

В то же время в данной местности выявлено сложное из известняка плоское сооружение, напоминающее надмогильный подиум [15]. Не исключено, что им в либеральный период политической «оттепели» или «перестройки» гарнизон острова мог отметить вновь обнаруженное место могилы германских моряков. Однако до проведения детальных исследований правомерно говорить только о приблизительной известности места этого захоронения.

ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТНЫЕ МЕСТА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Согласно Пакту о взаимопомощи между СССР и Эстонской Республикой от 28.09.1939 г. и п. 5 дополнительного к Пакту договора от 15.05.1940 г. на срок действия договора остров Осмуссаар был сдан в аренду СССР и подлежал передаче в июне 1941 г. под военную базу [16]. Включить в Пакт 1939 г. стратегически необходимую базу на Осмуссааре советская сторона, видимо, забыла (!?), что повлекло задержку с началом работ на 6—8 месяцев. Несмотря на все усилия гарнизона, возможно, поставившего рекорд скорости постройки батарей, часть активно строившихся основных военных сооружений на острове, как показал анализ памятников, осталась недостроенной и потому использовалась по импровизированным схемам. Оба данных факта никогда, видимо, не были признаны публично.

Поспешность при этом потребовалась и от эстонской стороны — от подписания договора до фактической передачи острова прошло только 28 дней, а жители острова — прибрежные шведы — узнали о коренном изменении своей жизни (протекавшей там около 700 лет) менее чем за две недели до переезда. На основании решения президента Эстонии от 31.05.1940 г. всё гражданское население острова с движимым имуществом должно было быть эвакуировано не позднее 12.06.1940 г. Примечательно, что рыбаки острова подлежали переселению на о. Вормс, частью на опустевшие участки репатриантов в Германию [17].

Уже к 11 июня 1940 г. с транспорта «Днестр» на остров высадился 46-й инженерно-строительный батальон из 1200 москвичей и ленинградцев, присланный для срочной постройки артиллерийских батарей и обеспечивающих их сооружений. К 22 июня того же года прибыло также около половины рядового и четверти сержантского состава будущих батарей.

Экстренно строившийся артиллерийский комплекс Осмуссаара по планам на июнь 1941 г. должен был состоять из четырёх батарей [18]:

- сверхдальнобойной однобашенной батареи из одного орудия сверхкрупного калибра 406 мм (весной 1941 г. срок готовности этой батареи был перенесён на 3 квартал 1943 г., вероятно, вследствие явной нереальности более раннего). Строительство сооружений батареи было прервано на начальной стадии, котлованы под её бетонные блоки не были вырыты, и с началом войны от продолжения работ, видимо, от-

казались. Батарея предназначалась для огневого перекрытия всей судоходной части входа в Финский залив на дальность до 45 км снарядами массой около 1,1 т;

- дальнобойной башенной батарее № 314 из 4-х 180 мм орудий (по два орудия в каждой из двух башен), однотипной с башенными батареями для островов Сааремаа и Хийумаа. Состояла из самых современных из применявшихся тогда в СССР орудийных установок МБ-2—180, плановый срок готовности всех сооружений — конец 1941 г. (что означало приёмку в начале 1942 г. — Ю.М.). Предназначалась для огневого перекрытия южной части входа в Финский залив на дальность до 37 км снарядами массой около 100 кг (при взаимодействии с железнодорожными батареями базы Ханко (Гангут) вход в залив перекрывался целиком);

- батареи средней дальности № 90 из 3-х 130 мм орудий Б-13 (в выявленных планах на 1940—1941 гг. батарея не значилась, возможно, была внеплановой и предназначалась для замещения поздно начатой строительством дальнобойной батареей, а затем её дополнения).

Предназначалась для огневого перекрытия южной части входа в Финский залив на дальность до 25 км снарядами массой около 35 кг;

- зенитной батарее № 509 из 4-х 76 мм орудий образца 1936 г. Предназначалась для прикрытия всех военных объектов острова от воздушного противника до высоты 9,5 км и горизонтальной стрельбы на дальность до 14 км.

При перекрытии входа в Финский залив основной задачей батареей Осмуссаара являлось воспрепятствование протраливанию противником минных полей, поставленных между Осмуссааром и Ханко и составлявших вместе с батареями единую минно-артиллерийскую позицию. Благодаря усилиям гарнизона Осмуссаара была существенно ограничена свобода мореплавания германского и союзного с ним тогда финского флота в критический начальный период блокады Ленинграда.

Основные этапы и особенности военных событий на Осмуссааре в 1940—1941 гг.

Нарушившая многовековой покоем острова плотная череда военных событий распадается на две части — подготовительную (военно-строительную) и основную (достоечно-боевую). Последняя стала для гарнизона своеобразной эпопеей, длившейся с утра 22 июня до утра 2 декабря (около 163 суток, 164 дня календаря).

По характеру основной активности гарнизона его действия можно разделить на 5 этапов:

- **12 июня 1940 г. — 22 июня 1941 г.** Проектирование, организация работ, основное строительство базовых сооружений (водоотвод, рытьё котлованов, постройка временной позиции зенитной батареей, бетонного завода, постоянной позиции 130 мм батареей, бетонирование артблоков 180 мм батареей, частичный монтаж орудийной установки 2-й башни и т. д.). Гарнизон временно весьма многочисленен (около 2000 человек, включая военных строителей и заводских монтажников);

- **22 июня — конец августа 1941 г.** Достройка батареей и (временно) частичное перекрытие с юга артогнем устья Финского залива в условиях немецких авианалётов, но занятости берега материка своими войсками. Гарнизон занят в основном достройкой 180 мм башенной батареей и сооружением на острове инженерной инфраструктуры;

- **24 августа — сентябрь 1941 г.** Полное (проектное) перекрытие южной части Финского залива, артиллерийская поддержка обороны Моонзунда, отражение артогнем 6.09 первой попытки десанта противника в условиях его авианалётов и артобстрелов с близкого материка. В период 24.08—1.09 достроена до боеспособности и опробована дальнобойная 180 мм башенная батарея. Гарнизон уменьшился до примерно 1200 человек, его покинули отозванные 23.08 военные строители, но пополнили заводские монтажники батареей;

- **октябрь 1941 г.** Поддержание полного перекрытия южной части Финского залива, сооружение системы эшелонированной противодесантной обороны острова в усло-

виях авианалетов и артобстрелов противником с близкого материка. Гарнизон пополнила часть воинов с занятого противником о. Хийумаа, переправившаяся морским путем на Осмуссаар. Для обеспечения противодесантной обороны в гарнизоне было выделено около 450 человек, часть их по окончании строительства сооружений была ночами катерами переправлена на базу Ханко;

• **ноябрь — 2 декабря 1941 г.** Сохранение режима полного перекрытия южной части Финского залива и системы противодесантной обороны острова в условиях авианалетов, артобстрелов противником и скрытной поэтапной морской эвакуации гарнизона ночами на базу Ханко. К 1.12 гарнизон сократился до 340 человек. Последней в ночь на 2.12. Осмуссаар на катере покинула команда из 7 подрывников, после подрыва всех батарей и маяка успешно переправившаяся на о. Гогланд [1]. Противником операция по эвакуации гарнизона не была обнаружена — вплоть до момента подрыва последних батарей он продолжал методичный обстрел острова. По некоторым сведениям, обстрел продолжался даже несколько дней после ухода подрывников [19].

Представлявшиеся общественности версии военной истории Осмуссаара 1941 г. как в период существования СССР, так и в прошедшие годы Эстонской Республики (ЭР) по политическим мотивам были во многом мифологизированы. Направления мифологизации были при этом противоположны, так как в СССР использовалась идеологема «героической обороны», а в ЭР — «дегероизации» обороны острова и его защитников [1–4]. Оба мифа существенно отличаются от того, что по документальным и материальным источникам известно о действительности.

Известно, что основная боевая активность гарнизона в 1941 г. состояла не в обороне острова — артиллерия Осмуссаара строилась для блокирования стратегически важных входов в Финский залив и Моонзунд и эту задачу успешно выполняла. Известно также, что удержание острова вследствие благоприятного стечения обстоятельств не потребовало от защитников необыкновенных лишений и личного героизма в ближнем бою. Следовательно, советская концепция «героической обороны Осмуссаара» была исторически неточной и пропагандистски преувеличенной.

В то же время представление действий защитников как своего рода «отсиживания» в забытом противником углу и «бегства» из него в преддверии зимы совершенно неверно, так как полностью не соответствует фактам. Известно, что командование противника даже на уровне фельдмаршала — командующего группы войск — стремилось устранить батареи острова как препятствие для прохода германских кораблей в Финский залив [20], известны разнообразные попытки противника заставить замолчать батареи Осмуссаара (многочисленные обстрелы крупнокалиберной артиллерией и авианалёты, организация ряда десантов, посылка парламентариев). Известно также, что гарнизон острова покинул его исключительно по приказу высшего командования, организовано, скрытно и одновременно с эвакуацией базы Ханко, также закрывавшей вход в Финский залив.

Рассмотрение всех действий гарнизона в реально существовавших тогда условиях показывает, что героизм гарнизона объективно имел место — он заключался в стойкости. То есть в многомесячном сохранении полной боевой активности (артиллерийской, противовоздушной, противодесантной) при готовности выполнения своего долга до конца. Причём в условиях отдалённости и почти полной изоляции (сохранялась только эпизодическая связь малыми кораблями с базой Ханко), при постоянных обстрелах и ежедневной опасности уничтожения мощным десантом противника без надежды на серьёзную помощь.

Составление достоверной истории данного периода выходит за рамки настоящей работы, ограничивающейся кратким рассмотрением основных этапов и особенностей событий для характеристики недвижимых памятников и памятных мест.

Основные военные памятники Осмуссаара

Подбашенные бетонные сооружения и элементы бронированных башен береговой батареи калибром 180 мм, её командный пункт с дальномерной вышкой-боевой рубкой, а также бетонные и грунтовые позиционные сооружения береговой батареи калибром 130 мм и зенитной батареи на Осмуссааре сохранились и представляют значительный интерес как памятники военной техники и истории фортификации. Арт-блок 1-й башни батареи уникален по своей сохранности в масштабах всей Балтики.

Для обеспечения строительства и постоянной боеготовности батарей на острове был сооружён также ряд вспомогательных военно-инженерных систем:

- разветвлённая система удаления почвенных вод из заглубленных до 12 м, ниже уровня моря, крупных артиллерийских сооружений (насосные, лотки, сеть водоотводных траншей);
- система горячеводного отопления обоих башенных артиллерийских блоков и главного командного пункта (?) из защищённой от артобстрела центральной котельной (траншеи для теплотрасс, железобетонная котельная);
- система проводной связи между всеми основными военными объектами острова (открытые или закрытые кабельные траншеи);
- система снабжения всех батарей горюче-смазочными материалами и необходимым имуществом (защищённые хранилища, автодороги, защищённый автопарк);
- система круговой противодесантной обороны всего острова (минные поля, окопы, пулемётные гнёзда, дзоты, позиции орудий малых калибров).

На Осмуссааре сохранились частично или полностью многие элементы названных крупных инженерных систем. Сейчас остров полностью деминирован [21], что позволяет безопасно знакомиться с его историческими сооружениями.

Ниже кратко рассмотрены хронологии судеб основных технико-исторических памятников Осмуссаара периода Второй мировой войны, составленные по мемуарам офицера гарнизона [1], а также состав и состояние этих памятников. При этом памятники острова рассмотрены в хронологической последовательности их появления.

Зенитная батарея (калибра 76 мм)

Конец ноября 1940 г. Прибыла на Осмуссаар, видимо, с комплектной материальной частью и личным составом, с первой задачей обороны зоны строительства батарей от воздушной разведки. Поэтому время её прибытия позволяет приблизительно датировать срок фактического начала строительства орудийных блоков и дворики батарей. Первоначально была размещена на временных позициях вблизи строительных площадок в северной части острова. Позиции представляли собой обвалованные гравием в рост человека орудийные дворики и ряд больших зимних палаток для персонала, размещённых вблизи строившейся 130 мм батареи. Следы временных дворики зенитной батареи на местности сохранились.

Вторая половина мая 1941 г. Вероятно, в связи с ожидавшимся прибытием и монтажом неподалеку орудий 130 мм батареи зенитная батарея перемещена в юго-восточную часть Осмуссаара, на вторую временную позицию, вблизи места постоянной дислокации, оборудование которого батарея производила сама. Состав и оборудование второй временной позиции неизвестны. На постоянной позиции из-за нехватки материалов личным составом вместо блиндажей в несколько накатов были построены жилые землянки в 1 накат и общее укрытие в 3 наката, на 22 июня были готовы котлованы орудийных дворики, выдолбленные ломами в известняке.

22.06.1941 г. Единственная боеготовая батарея острова, ведет боевую стрельбу по появившимся уже около 9 часов утра германским самолетам. В тот же день было решено к 15.07 закончить оборудование основной позиции батареи своими силами, фактически работы были завершены, вероятно, к 10.07.1941 г. [22]. Последующие месяцы батарея стояла в основном на постоянной позиции, откуда вела стрельбу по са-

молетам и, после обучения персонала, прямой наводкой стреляла по берегу и десантам противника.

13–20.10.1941 г. Батарея дважды выдерживает сосредоточенный на ней массированный артобстрел крупнокалиберной артиллерии и несколько бомбардировок противника. Потеряла часть личного состава и дальномер, вследствие чего 2 орудия пришлось разместить у южного и западного пирсов для стрельбы прямой наводкой. Участвовала в отражении крупного второго десанта, до конца эпопеи обороняла остров от воздушного противника.

2.12.1941 г. Скрытно подорвана под прикрытием стрельбы по материку перед эвакуацией гарнизона. За 23 военных недели батарея сбила 6 самолетов противника, дважды участвовала в отражении его морского десанта и многократно обстреливала берег материка. Полный срок боевого дежурства батареи на охране объектов Осмуссаара составил около года.

Объекты — памятники батареи. Постоянная позиция батареи состояла из обнесённых колючей проволокой дерево-земляных орудийных дворики (площадки для орудий), площадки для дальномера и приборов наведения, обвалованной заглубленной жилой землянки, боевого убежища, кухни, столовой и укрытия для орудийных тягачей. До наших дней сохранились площадки для орудий, сильно деформированные остатки дерево-земляных сооружений и перекрытого бронеплитами толщиной 18 см боевого убежища (илл. 6).

Батарея средней дальности калибра 130 мм

Конец 1941 г. Готова боевая позиция батареи: бетонные орудийные дворики и в них основания всех орудий, возможно, также обвалованный командный пункт с дальномером [23]. Дата начала строительства позиции неизвестна, предположительно ноябрь 1940 г., когда для прикрытия работ в этом районе, как отмечалось, была установлена зенитная батарея.

27.06—3.07.41 г. На барже прибыли орудия, дальномер и боеприпасы батареи, в результате круглосуточной работы и применения рискованного, но оригинального и быстрого метода монтажа (точный натяг трактором) орудия были установлены за 104 часа (вместо 2,5–3 недель), и батарея готова к бою с 3 июля 1941 г. При этом персонал для батареи прибыл, видимо, с учетом планового срока монтажа — только 27 июля, поэтому до того орудия временно обслуживали специалисты еще строившейся 1-й броневашни. Прибывший персонал батареи сам построил себе укрытия для боеприпасов, блиндажи, столовую и кухню (дата полной готовности позиции не установлена).

Август–ноябрь 1941 г. Неоднократное участие батареи в стрельбах по морским и наземным целям, в том числе в отражении обеих попыток высадить десант.

2.12.1941 г. Орудия батареи скрытно подорваны под прикрытием стрельбы по материку перед окончательной эвакуацией гарнизона, имущество эвакуировано или испорчено.

Объекты — памятники батареи

Постоянная позиция батареи состояла из 3-х заглубленных бетонных дворики с нишами и потернами (скрытыми ходами) для боеприпасов и персонала, обвалованного здания командного пункта с верхней площадкой для 6 м дальномера, жилых блиндажей, склада боеприпасов и хозяйственного блока (столовая и кухня). До настоящего времени относительно хорошо сохранились орудийные дворики (илл. 7) и один блиндаж.

Дальнобойная батарея калибра 180 мм

Июнь–осень 1940 г. Проведение изыскательских и проектировочных работ, вероятно, постройка объектов обеспечения строительства и хозяйства гарнизона (причаль-

ных пирсов, дорог, складов, казарм, бетонного завода). Ключевые объекты проектировались с размахом, например, составленный для базы в июле 1940 г. Управлением водных путей Эстонии проект южной пристани предусматривал Г-образный пирс из бревенчатых ряжей, имевший общую длину около 150 м и двойной узкоколейный путь [24]. Проект, видимо, был реализован только частично. Тем не менее, в 1941 г. пристань позволяла разгружать небольшие пароходы, остатки её и сейчас находятся у южного берега острова.

Осень 1940-лето 1941 г. Строительство пяти основных бетонных объектов батареи: трёх подземных — двух артиллерийских блоков (артблоков) и командного пункта — и двух надземных: дальномерной вышки и котельной. Технология сооружения крупных подземных объектов башенной батареи радикально отличалась от использованной для других батарей острова и имела уникальные особенности.

Работы, видимо, начинали с вырубки траншей водоотводов, шедших от объекта к морю. После этого вырубали котлованы, размещали в них опалубку и закладные детали, затем заливали прочный бетон, который впоследствии покрывали слоем битумно-бумажной гидроизоляции и вторым, защитным слоем бетона. Предварительно смонтированные крупные узлы обеих башен подавали в артблоки с помощью перемонтированного крана-деррика (вантовой поворотной грузовой стрелы), оборудование артблоков монтировали на месте около 55 командированных специалистов ленинградских заводов-изготовителей. С учетом места и времени строительства применяли особые приемы работ:

- Для предотвращения демаскировки и крупных трещин котлованы в плитняковом массиве вырубались мелкими взрывами: пневматическим инструментом сверлились неглубокие шпурсы для взрывчатки, размельчённую породу лопатами грузили на тачки, ленточный транспортёр или грузовики, которыми перемещали на сотни метров от батареи, чтобы её не демаскировать.

Судя по рельефу местности в дальних окрестностях батареи, из вывезенной породы в глубине прибрежной зоны формировали щебёночные валы-брустверы, похожие на естественные следы действия штормовых волн и в то же время удобные для организации за ними противодесантной обороны. Многочисленные длинные валы из щебня и сейчас можно видеть в разных местах острова, большинство их имеет всё же естественное происхождение. Всего в ходе строительства батареи было вынута и перемещено около 30 тыс. кубометров грунта, что соответствует 30 км суммарной длины отсыпного вала метровой высоты (!).

- Для круглосуточного осушения всех крупных котлованов, в которые, поскольку дно их было ниже уровня моря, интенсивно (до 30 т/час) просачивалась вода, использовались мощные электронасосы, и по наклонным деревянным лоткам длиной в сотни метров вода сбрасывалась в море. Наряду с освещением, сварочным оборудованием и электроинструментом насосы питались от передвижных электростанций.

Непрерывная откачка просачивавшейся даже сквозь бетон воды была предусмотрена также в конструкции заглубленных блоков батареи и продолжалась всё время её функционирования. При подобном медленном просачивании для сброса воды, очевидно, было достаточно донной части построенных траншей-водоотводов, остальное сечение которых могло использоваться в боевых условиях как скрытый ход сообщения. Примечательно, что для маскировки с воздуха местоположения объектов батареи все траншеи-водоотводы подходили к ним только по касательной линии, а разветвления траншей размещались вдали от объектов.

- Для изготовления прочного бетона боевых сооружений известняковый щебень из-за своей мягкости не подходил, поэтому была налажена переработка в гранитный щебень крупных валунов, находившихся на острове, а также на мелководье у его берегов.

В основном использовались камни, неизбежно подлежащие подрыву, поскольку они опасно закрывали вид на возможные места действий десантов противника. Валуну

дробили накладными зарядами, подрыв находившихся на мелководье камней осуществляли зимой, что позволяло вывозить щебень от них подъезжавшими прямо по льду грузовыми автомашинами. Так было заготовлено около 25 тыс. кубометров гранитного щебня, ставшего основой бетона всех сооружений батареи. Жертвой военной необходимости, видимо, стала и находившаяся в южной части Осмуссаара группа валунов, именовавшаяся жителями «могила Одина». Сейчас убыль валунов на острове и у его берегов практически не заметна.

- Для устойчивости блоков батареи к огню противника их бетон должен был быть монолитен, поэтому заливка бетона в каждый блок осуществлялась непрерывно, независимо от времени суток, времени года и погодных условий.

Для выполнения многодневной заливки крупных блоков в условиях маскировки, зимы и непогод (к бетонированию смогли приступить только в конце декабря 1940 г.) над котлованами с опалубкой временно сооружались крупногабаритные тёплые укрытия, а бетонный завод базы осуществлял круглосуточную поставку однородного бетона. Подобный режим, возможно, применялся также при бетонировании сооружений других батарей и объектов их жизнеобеспечения. Всего в сооружения было уложено около 20 тыс. кубометров бетона.

- Для максимального ускорения работ строительство и монтаж батареи велись в режиме полной мобилизации всех доступных ресурсов, при этом приходилось решать проблемы, вызванные как изолированностью гарнизона, так и близостью фронта.

Работы велись круглосуточно, помощников специалистам предоставляли в любом количестве, еду приносили на место работ, люди спали в палатках у батареи. При установке в апреле краном поворотного орудийного стола в башенное гнездо 2-й башни привезённый кран обрушился, повредив башню, пришлось самим переконструировать кран и отремонтировать груз. Тот же кран, видимо, пришлось переделать ещё раз при установке в августе орудийного стола 1-й башни — противник уже был недалеко, и с целью маскировки высоту крана потребовалось на десяток метров уменьшить, для чего технологию сборки брони башни — радикально изменить.

После полного затвердения бетона блоки батареи обсыпались гравием, затем землёй (по неизвестной причине обсыпка была выполнена лишь частично) и маскировались укладкой кусков дёрна, нарезавшихся в рощице у командного пункта.

- Для отопления обоих артблоков и командного пункта батареи на равном удалении от артблоков была сооружена центральная котельная, при которой, вероятно, был построен и защищённый от обстрела хозяйственный блок, включавший центральную механическую прачечную гарнизона. О последней известен только необычный факт, сообщённый мемуаристом [1, с.129] — там при обороне острова работали женщины-эстонки. Вероятно, они перешли на остров с поврежденных противником небольших эстонских судов, мобилизованных в качестве военных транспортов и доставлявших грузы с Ханко.

11 июня 1941 г. На остров через Палдиски доставлено всё необходимое «для стрельбы башенной батареи на электрическом действии», то есть с предусмотренными в конструкции артустановок новыми тогда техническими решениями — заряданием и наводкой орудий с помощью электропривода, что делало батарею одной из современных в мире.

Август 1941 г. Завершение строительно-монтажных работ на батарее. Работы на 2-й башне закончены 22.08., маскировка 23.08., контрольный отстрел (по берегу) — 24.08. Работы на 1-й башне закончены 26.08.

1 сентября 1941 г. Контрольный отстрел батареи в целом: 3 залпа по морской цели («Магдебург») и 3 залпа по береговому мысу (?). Достигнутое после тренировок время подготовки батареи к бою не превышало 2 мин 40 сек.

Начало сентября 1941 г. Работы по отделке помещений артблоков (не по военному времени основательные — стены были окрашены масляной краской, полы линолиум-

ные, в госпитале, душевых и на камбузе покрытые метлахской плиткой). Перевод персонала батареи из палаток на проживание в кубриках артблоков. Вероятно, первая боевая стрельба батареи — по отражению 6 сентября попытки десанта противника с материка [25].

Всего комплекс батареи включал 8 отдельных объектов: 1-й (северный) и 2-й (южный) башенные артблоки, основной и запасной командные пункты, дальномерную вышку, наблюдательные башни артблоков и центральную котельную.

Объекты — памятники батареи

Артблоки. Оба артблока конструктивно сходны, но имеют очень разную сохранность. Первый (илл. 8) почти полностью цел (отсутствуют только стволы орудий, некоторые механизмы и защитная бронебашня), сохранились даже интерьеры ряда внутренних помещений (илл.9), второй (илл.10) почти полностью разрушен (отсутствуют орудия, бронебашня, орудийный стол с механизмами, бетонная часть блока внутри опустошена взрывом и расколота). Различия в действии, вероятно, сходных и однотипно заложенных подрывниками зарядов оказались весьма велики [26]. Нижние этажи обоих артблоков недоступны осмотру вследствие их затопленности.

Основной командный пункт. Практически полностью затоплен, состояние неизвестно. Вход частично поврежден (илл.11).

Запасной (передовой) командный пункт. Часть командного пункта, находившаяся на маяке, уничтожена при подрыве последнего. Сохранность выдвинутого на северный берег удобного для прибрежного боя бетонного блока хорошая (илл.12).

Дальномерная вышка с боевой рубкой. Общая сохранность удовлетворительная (илл. 13), ферма вышки имеет боевые повреждения одной железобетонной опоры и стальной лестницы. На верхней площадке рубки сохранилось место крепления открыто стоявшего 10 м дальномера. Утрачена мраморная мемориальная доска, установленная на юго-западной ферме в 1968 г.

Наблюдательные («командирские») башни у артблоков. Общая сохранность вполне удовлетворительна, выявлены незначительные повреждения фундаментов. Имеют несколько различные, но выразительные пластические решения, парадоксально напоминающие тевтонские шлемы (илл. 14, 15).

Центральная котельная. Общее состояние бетонного укрытия удовлетворительно, внутреннее оборудование утрачено, кирпичная пристройка (прачечная?) разрушена.

Инженерные системы батареи. Удовлетворительно сохранились и видны на местности водоотводные траншеи — ходы сообщения и открытые траншеи теплотрасс горяче-водного отопления блоков батареи, а также часть открытых кабельных траншей ее системы проводной связи. Сохранилась заглубленная насосная станция 2-й башни. Частично сохранились предполагаемые сооружения центрального склада горючесмазочных материалов, построенного, очевидно, во многом для нужд этой большой батареи, с залитыми в бетон металлическими цистернами, а также стены казарм и некоторых других сооружений гарнизонного городка. Вполне удовлетворительно сохранилась расширенная для нужд батарей дорожная сеть острова, центральные дороги которого были проложены ещё шведскими поселенцами и строителями российского маяка.

Сверхдальнобойная батарея калибром 406 мм

Поскольку батарея изначально (весной 1940 г.) значилась в плане объектов острова и её сооружение весной 1941 г. не было отменено, а лишь продлено до 1943 г. [18], правомерно предположить, что подготовительные работы к сооружению крупных объектов этой батареи за 1940—1941 гг. были частично проведены. При анализе схемы выявленных на Осмуссааре крупных траншей была обнаружена длинная раздвоенная траншея неизвестного назначения, шедшая к морю от незастроенного участка в середине острова. По предположению автора, эта траншея была начата прокладкой с целью

отвода воды из будущих котлованов сооружений 406 мм батареи. Для проверки этой гипотезы и выявления других работ, выполненных по сооружению указанной батареи на Осмуссааре, необходимы дополнительные исследования на местности.

Система противодесантной обороны

Хотя противовоздушная оборона батарей Осмуссаара была предусмотрена заранее, советским командованием явно не планировалась его противополковой и противодесантная оборона. На это указывают строившиеся незащищенными стационарные казармы, пристани и прибрежные дороги, а также отсутствие сети капитальных укрытий для гарнизона вне батарей. Вероятно, базу на острове с моря предполагалось защищать силами флота, а с тыла силами сухопутных войск на контролируемом ими материковом побережье. Тогда Осмуссаар оставался уязвимым только для крупнокалиберной дальнобойной артиллерии противника, от снарядов которой могли защитить лишь массивные железобетонные перекрытия артблоков и командного пункта 180 мм батареи, но не дерево-земляные укрытия других батарей (хотя их можно было усилить). Поскольку следов строительства крупных или многочисленных высокопрочных укрытий вне батарей на острове не обнаружено, правомерно предположить, что постоянный гарнизон острова предусматривался относительно малым, состоящим в основном из персонала батарей и объектов их жизнеобеспечения (суммарно около 300—400 человек).

Реальный ход войны привел к обратной ситуации — нежданный противник вокруг и утроенный до примерно 1000 человек гарнизон. Таким образом, противодесантная оборона создавалась вынужденно срочно и импровизированно, причем с размахом, обусловленным не только противником, но и своим гарнизоном — половина его на готовых батареях была не нужна и состояла из строителей и пехотинцев, для которых в любом случае требовались защитные укрытия ...и занятия [27].

Объекты противодесантной обороны Осмуссаара сооружались в несколько этапов:

- **22 июня** — отдан первый приказ командования Береговой обороны Балтийского района (БОБР) о подготовке в десантоопасных местах острова окопов, пулемётных позиций, командных пунктов, а также обучении гарнизона воевать винтовкой, штыком и гранатой;

- **середина сентября** — отрыты только стрелковые окопы неполного профиля, выделены 16 ручных, 3 станковых, 2 счетверенных зенитных пулемета и резерв обороны из около 330 человек (размещённых, вероятно, в погребках деревни и землянках в центре острова);

- **конец сентября** — на важнейших направлениях оборудованы батареи «каменётов» (направленно подрываемых каменных насыпей) и фугасов (из чугунных труб), управляемых электрически. На оборону выделено до 450 чел, из которых сформирован трёхротный батальон. Десантоопасный берег острова разделён на западный, центральный и восточный участки с выделением роты бойцов на каждый, строятся дерево-земляные и дерево-железобетонные пулемётные огневые точки;

- **октябрь** — по всему периметру острова оборудованы окопы полного профиля, оборудуются полукрытые позиции для орудий прямой наводки (установлены минимум две 45 мм пушки с погибшего 16 октября гидрографического судна «Волна»), оборона пополнена приблизительно 150 бойцами, прибывшими на подручных средствах с о.Хийумаа;

- **ноябрь** — в районах вероятной высадки установлены 500 мин и проволочные заграждения, все 45 мм пушки, включая снятую с погибшего 5 ноября катера, сведены в одну батарею, на колокольне островной часовни установлен авиационный пулемёт.

В результате была создана круговая и эшелонированная система противодесантной обороны острова: минные поля, окопы, пулемётные точки, позиции орудий малых калибров.

К счастью, гарнизону не пришлось её использовать — оба десанта противника (6 сентября и 14 ноября) были отбиты огнём с острова ещё на воде.

Объекты — памятники противодесантной обороны

Окопы. Только изредка ясно различимы на местности. Вероятно, вследствие нехватки на острове дерева часто выполнялись в виде рвов с брустверами из прибрежного щебня. Для выявления системы их расположения требуются дополнительные полевые исследования.

Пулемётные точки. Дерево-грунтовые, вследствие сгнивания деревянных частей или использования их на топливо, выглядят как ямы в прибрежном щебне и с трудом узнаваемы на местности. Дерево-железобетонные частично сохранились, разнообразны по конструкции и представляют несомненный интерес как памятники фортификации 1940-х гг. (илл. 16). Для выявления системы размещения пулемётных точек также необходимы дополнительные полевые исследования.

Позиции 45 мм орудий батареи прямой наводки. Пока выявлены только предположительно.

Сохранились два ствола 45 мм пушек с судна «Волна» [1, 25], они использованы для обрамления входа на мемориал павшим защитникам Осмуссаара.

Противодесантные минные поля, управляемые фугасы и камнемёты на острове не сохранились, так как Осмуссаар неоднократно тщательно разминировался.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ НА ОСТРОВЕ

Для лучшего понимания реалий жизни гарнизона Осмуссаара осенью 1941 г. по мемуарам [1,25] составлена хронология его основных боевых действий и экстренных работ:

1 августа. Отражение 1-й бомбардировки острова (шведской деревни) германскими самолетами (1 сбит), 2 раненых.

11 августа. Первая боевая стрельба незаконченной 180 мм батареи береговой обороны (2-й башни, с ручными подачей снарядов и наводкой) по германским тральщикам на 28 км;

26 августа. Нападение эстонских «лесных братьев» на материковый пост связи гарнизона (в д. Пыызаспеа), 1 тяжелораненый;

30 августа. Рейд на берег материка для снятия поста связи, ликвидации береговой базы гарнизона (в д. Дирхами), вывоза из д. Ригулди 30 т заготовленного ранее картофеля;

1 сентября. Пробная стрельба готовой 180 мм батареи по морю и берегу материка;

2 сентября. Отражение одновременно 3-х самолётов-разведчиков (1 сбит, 1 повреждён);

4 сентября. Разведка на берегу материка — уничтожение 3-х строившихся шхун, снятие окружённых бойцов, боестолкновение (3 убитых, несколько раненых);

10 сентября. Обстрел 180 мм батареей десанта немцев на о. Вормс (1 судно потоплено?);

6 сентября. Отражение огнём всех батарей 1-й попытки десанта на Осмуссаар (12 катеров из бухты у Шпитхамна, 9 из бухты Ригулди);

21 сентября. Обстрел острова батареями с материка (в т.ч. орудиями крупного калибра 205 мм), перебита 1 опора вышки боевой рубки. Участие 180 мм батареи в отражении 2-й попытки десанта на о. Хийумаа;

22 сентября. Разгрузка под обстрелом транспорта «Вохи», в нарушение плана прибывшего на рассвете к просматриваемому противником южному пирсу (6 погибших, 3 тяжелораненых);

29 сентября. Первый сосредоточенный мощный артобстрел отдельных объектов на Осмуссааре (сбит самолёт-корректировщик), затем авианалет. Участие 180 мм батареи в отражении 3-й попытки десанта на о. Хийумаа;

12 октября. Участие 180 мм батареи в препятствовании десанту на Хийумаа со стрельбой на предельной дальности (повышалась разогревом зарядов). Ответный сильный артобстрел острова, в особенности зенитной батареи (1 погибший);

16 октября. Снятие в воде груза и 2-х 45 мм пушек с выброшенного на камни гидрографического судна «Волна»;

20 октября. Повторный сильный артобстрел зенитной батареи, уничтожение её дального номера, рассредоточение зенитных орудий по острову;

4 ноября. Прибытие на лодке 3-х парламентёров от германского командования (пленных матросов с о. Хийумаа) с германским ультиматумом о сдаче острова;

5 ноября. Вместо предлагавшегося ультиматумом вывешивания в 12.00 белого флага на высоком дереве у часовни был поднят крупный самодельный красный флаг и открыт огонь. После паузы — сильнейшие с августа артобстрел и бомбардировка острова (сбит 1 самолет);

14 ноября. С конца ночи сильный обстрел (разбит дальномер боевой рубки), вторая попытка десанта на остров — со стороны порта Палдиски (отбита, из 18 судов 6 уничтожено, несколько повреждено. Потери гарнизона — 1 убитый, несколько раненых);

16 ноября. Дальномер на вышке заменён на меньший, с запасного командного пункта;

17–22 ноября. Оценены запасы, определены сниженные нормы расхода жиров, мяса и сахара, исходя из запаса до лета. Для экономии горючего за 3 дня на основе 2-х локомотивов [28] созданы тепловые электростанции, обеспечивавшие повседневные нужды всего гарнизона, включая освещение блиндажей системы противодесантной обороны (топливо — дерево ненужных гарнизону построек и выброшенные морем);

23 ноября. Командованию гарнизона сообщено о начале поэтапной эвакуации базы;

24–30 ноября. Эвакуация гарнизона по ночам на 24, 25, 29, 30 ноября судами на базу Ханко. Первыми отправлялись раненые, больные, женщины, не самые необходимые [29];

1 декабря. Уничтожение батареями приборов наблюдения и наведения, порча не вывозимой части имущества и материальных запасов (часто — с помощью горючего);

2 декабря. Ночью эвакуация оставшихся, кроме команды подрывников из 7 человек.

Днём — взрывание подрывниками орудий малых и средних калибров (под прикрытием стрельбы по материку), демонстративная езда по острову и к пирсам на грузовике;

3 декабря. В начале ночи подорваны оба артблока, командный пункт 180 мм батареи, маяк. Подрывники на присланном с Ханко катере скрытно уходят на о. Гогланд.

Сравнение указанных в подробных мемуарах [1] событий с сохранившимися следами событий и памятниками войны на местности показало, что некоторые из них полностью подтверждаются, в то время как другие заметно отличаются, видимо, вследствие естественной забывчивости мемуариста [30]. При этом мемуариста, боевого офицера, командира 1-й бронебашни Осмуссаара Ф.Митрофанова нельзя упрекнуть в нехватке и гражданской смелости — им уже в советское время был обнародован одиозный факт:

гарнизон Осмуссаара был брошен в критическом конце августа 1941 г. вышестоящим командованием (Штабом береговой обороны главной базы Балтийского флота), эвакуировавшимся из г. Палдиски в Таллин и далее в Ленинград без извещения подчинённой ему базы на уединённом острове, что только случайно не привело к трагедии [1, с.56].



Вид маяка 1850 г.
с маячным городком
в начале XX в.

Маяк 1954 г.,
основание маяка
1850 г.
и здание
моторной
электростанции
1910 г.



Вид спасательной станции
в начале XX в.



Вид ракетной станции
в начале XX в.



**Бронеплита перекрытия убежища
зенитной батареи № 509.**



**Дворик одного из орудий
130 мм батареи № 90.**



**Сохранившийся интерьер кубрика
в 1-м артблоке.**



Уцелевшая часть башни 1-го артблока 180 мм батареи № 314.



Главный вход в подземный блок командного пункта.



Наблюдательный пост запасного передового командного пункта.



Дальномерная вышка с боевой рубкой 180 мм батареи.



**Наблюдательная башня
у 1-го артблока 180 мм батареи.**



**Наблюдательная башня
у 2-го артблока 180 мм батареи.**



**Наблюдательный пункт системы
противодесантной обороны.**



Мемориал погибшим в 1941 г. воинам.

Порученную стратегическую задачу гарнизон Осмуссаара успешно выполнил: южная часть входного фарватера в Финский залив была блокирована с острова почти с начала войны и практически до раннего в 1941 г. конца навигации (всего около 5 месяцев, из них около 3-х месяцев на запланированной дальности). После чего путь вражеским судам был преграждён уже ледоставом, а затем изменившаяся военная ситуация в заливе сняла саму задачу...

Пустой и заминированный остров интереса у германской армии более не вызывал — при занятии без боя в 1944 г. острова советскими войсками о пребывании противника свидетельствовали лишь следы временного наблюдательного поста.

Братская могила погибших на Осмуссааре в ходе военных действий 1941 г.

Оформлена как рамное надгробие, обрамлённое цепной оградой на бетонных опорных столбиках. На невысоком гранитном монументе, изготовленном сыном медсестры гарнизона, помещена доска с фамилиями 15 погибших воинов (илл. 17). Перезахоронение останков погибших из индивидуальных могил около маяка в общую братскую могилу произведено в 1968 г. От дороги к могиле ведёт берёзовая аллея, у входа в которую установлены два ствола 45 мм пушек с гидрографического корабля «Волна», разбившегося у Осмуссаара в 1941 г. Памятник в хорошем состоянии, за ним ежегодно ухаживает русская молодежь.

ПАМЯТНИКИ КАК СРЕДСТВО ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ И РАСПОЗНАНИЯ ЛЖИ

Анализ связанных с Осмуссааром памятников позволил выявить несколько фактов военной истории, о которых умолчали мемуаристы, а также установить ложность некоторых современных утверждений о военных событиях на острове.

Скрытая в советское время правда

1. Броневая башня № 1 180 мм батареи Осмуссаара стреляла намного меньше 2-й (скорее всего, она была менее боеготова, возможно, могла вести огонь только на ручном действии). Только этим можно объяснить то, что во внутренних помещениях 1-го артблока был размещён и командный пункт, и госпиталь гарнизона [1], а также то, что в погребках этой башни было значительно больше снарядов, чем в погребках 2-й башни. Характерно, что кровати госпиталя были установлены прямо в кольцевом снарядном погребе вокруг башни, подверженном при стрельбе сильному сотрясению, акустическим ударам и загазованности. В случае равного использования башен командный пункт также было бы явно удобнее разместить во 2-й башне, расположенной намного ближе к дальномерной вышке с командной боевой рубкой;

2. Блиндаж основного командного пункта (180 мм батареи и гарнизона) почти не использовался по назначению (как следует из результатов осмотра маршрута теплотрассы, он, видимо, не получил центрального отопления, что, скорее всего, и обусловило переезд командования осенью в блок 1-й башни). В этом блиндаже проживали, вероятно, лишь 1–6 человек (медик и, возможно, дежурная смена дальнометристов), которые могли размещаться в малых отсеках блиндажа, снабжённых импровизированным электроотоплением.

Опубликованная в новейшее время полуправда и неправда.

Ставшие частыми в публикациях на эстонском языке недоказанные «дегероизирующие» истории о действиях войск СССР в Эстонии не обошли и гарнизон Осмуссаара. Оставляя их подробное рассмотрение историкам, автор все же вынужден кратко коснуться двух сюжетов, уже представленных в справочных и туристских текстах.

1. Приведённые в «Морском лексиконе» (энциклопедическом словаре) на эстонском языке сведения о расстреле на острове 13 эстонских моряков с мобилизованных местных пароходов снабжения [22], из них 7 человек — по обвинению в попытке сообщения противнику вспышками электросварки сведений, закодированных азбукой Морзе. Эта версия подробно изложена в [31] и упомянута в [4], но во многом не доказана. Документально подтверждено только, что в апреле 1943 г. на кладбищах Таллина были похоронены тела 3-х человек из указанных в лексиконе. Два тела были похоронены на площадке жертв террора на кладбище Лийва, одно — в ряду обычных захоронений на кладбище Рахумяэ. Откуда были привезены похороненные — неясно. Но при этом, согласно ряду устных источников [31], эти трое были в числе расстрелянных на острове 25.11.1941 г. по подкрепленному несколькими уликами обвинению в попытке передачи сведений противнику. О судьбе остальных 10 моряков, из которых 6 уже включены в сводный перечень жертв репрессий, никаких документальных сведений не обнаружено, число погибших, приводимое разными авторами [4, 22, 31], различно, а в данных о персоналиях обнаружены противоречия [32]. Возможные выводы: вероятно, по меньшей мере формальные признаки попытки передачи сообщения противнику были (реальные события, видимо, так и останутся невыясненными), факт расстрела по этому обвинению 2—3-х эстонских моряков имеет косвенные подтверждения, данные о количестве, персоналиях и судьбе остальных заявленных расстрелянными моряков противоречивы. Этот суровый эпизод явно требует не бездоказательных утверждений, а дополнительных исследований.

2. Обнародованное на эстоноязычной информационной табличке у братской могилы погибших в 1941 г. воинов гарнизона голословное указание, что они были погублены, так как на эвакуировавших гарнизон кораблях им не хватило места (!), с приведением даже двух вариантов их гибели: перед уходом кораблей их ...расстреляли или их ...заперли в подземельях батареи [19]. В [3, с.29]. Опубликован также третий вариант — их просто ...высадили с лодок обратно на покинутый остров (!?). Фантастичность всех вариантов настолько очевидна, что не требует комментариев, тем не менее приведём количества эвакуированных, обнародованные в германском источнике, который трудно заподозрить в защите чести мундира гарнизона [29], и укажем, что при эвакуации многих сотен людей само предположение о нехватке мест для 15 человек абсурдно, не говоря об аморальности клеветнических фантазий об убийстве воинов. Характерно, что единственная приведённая при этом ссылка [3, с.28] указывает на воспоминания анонимного военнопленного нацистской армии, как известно, воспитанной на геббельсовской пропаганде.

Захоронение в мемориале именно погибших в боях на острове воинов легко доказывается как поимённой их известностью, так и близостью числа перезахороненных в братской могиле воинов и суммарного числа погибших в ходе военных действий, рассчитанного из указанных в мемуарах [1] потерь в боевых эпизодах.

В заключение о последствиях военной эпопеи для природы Осмуссаара. По оценке эстонской экологической службы, негативные воздействия бывшего военного присутствия на острове «относительно скромны» [33]. Пожалуй, единственное, что заметит внимательный наблюдатель, — это рыжеватость известняковых осыпей, почти сплошь усыпанных мелкими осколками немецких снарядов, тысячами взрывавшихся на острове далекой осенью 1941 года. А согласно впечатлению ветеранов гарнизона, побывавших на Осмуссааре летом 1968 г., последствия неожиданно оказались даже благоприятны [1] — по сравнению с 1940—1941 гг. остров «необыкновенно похорошел ... стало больше зелени, выросли деревья». Это и неудивительно, так как в среднем 1500 человек гарнизона поневоле снабдили почву острова за полтора года, вероятно, самым большим разовым вкладом естественных удобрений в его истории (!) — более 300-х тонн...

Сейчас на Осмуссаар попасть самостоятельно достаточно сложно, регулярного сообщения с островом, магазина и гостиницы на нём нет, постоянных жителей — двое. Но любителям военного, ландшафтного, экологического и притом несколько экстре-

мального туризма, безусловно, можно рекомендовать туда поехать — уникальные памятники, история и природа Осмуссаара того стоят.

Выражаю глубокую благодарность молодому краеведу Максиму Трутсу за доброжелательное и плодотворное сотрудничество, а также за ценные сведения об особенностях сооружений зенитной батареи и противодесантной обороны острова.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ф.С.Митрофанов. Флаг над Осмуссааром. Воспоминания участника обороны острова в 1941 г. Таллин: Ээсти раамат, 1980. — 144.

2. С.И.Кабанов. На дальних подступах. — М.: Воениздат, 1971.

3. Osmussaar. Loodus. Asustus.//Koost.H.Ojaste jt. — Noarootsi, 2002. — 48. См. также: Loodusmälestised. Läänemaa: Noarootsi, Nõva, Osmussaar.//Koost. H.Kink. — TA Kirjastus, 2008.

4. Ю.Мелконов. Батареи Моонзунда. — Рига, 2003.

5. P.Peetsalu. Eesti majakamaailm. — Tallinn: Olion, 2006. В шведском первоисточнике 1251 г. название острова было указано в форме Hotbensholm.

6. И.О.Алексеев. Маяки Эстонии. Таллин: GT Projekt, 2000. — 124.

7. A.Luige. Eesti tuletornid. Fakte ja meenutusi. — Tallinn: Eesti raamat, 1974. — 88.

8. План земельного участка маяка Оденсгольм от 1913 г. (копия на эст. яз.) с рукописными пометками. Фонды Морского музея г. Таллина.

9. ЭГА. Т — 7.1.4651.

10. ЭГА. 1091.1.72.

11. Г.К.Граф. На «Новике». — Мюнхен: Военная литература, 1922. К Оденсгольму были направлены миноносцы «Рьяный» и «Лейтенант Бураков», за ними крейсера «Паллада» и «Богатырь». Они пленили значительную часть экипажа, а также помешали посланному германским ВМФ миноносцу «V-26» эвакуировать с крейсера весь экипаж, ценное имущество и секретные документы.

12. М.А.Партала. Малоизвестные документы о захоронениях германских моряков на Балтике в годы Первой мировой войны. Материалы 5-й конференции «Санкт-Петербург и страны Северной Европы», СПб: СПбГУ, 2004. В публикации приведены установленные маячным постом связи по меткам на одежде фамилии либо личные номера 5 погибших германских матросов (Хюттер, Каттвиль, Хильцер, 7144, 377) и одного палубного офицера или кондуктора (А.Баус). Личности и звания остальных 5 найденных немцев выяснить тогда не удалось. По сведениям М.Партала, всего в ходе событий были убиты 13–17 немцев, ранены 17, сняты миноносцем 220, без вести пропали 75, из которых в русский плен попали 60, а из оставшихся 15 пропавших 13 были найдены утонувшими, в том числе 2 у финского берега.

13. Ю.П.Мальцев. Радиостанция особого назначения Балтфлота в Эстонии в начале XX века. — BALTFORT, № 1, 2007, с. 31–38.

14. Устное сообщение автору работника Эстонского Морского музея В.Коппельмана со ссылкой на сведения, полученные им в послевоенный период от ветеранов обороны Осмуссаара 1941 г.

15. Устное сообщение автору краеведа М.Трутса, лично осматривавшего объект летом 2008 г.

16. ЭГА. 2315.2.59, л. 10. Секретное письмо Командира Балтийской Военно-Морской базы Военному Министру Эстонской Республики.

17. ЭГА. 2315.2.59, л.11. Решение министра сельского хозяйства на основании решения Президента Эстонской Республики № 28s об эвакуации жителей Осмуссаара и их имущества со сроком к 12.06.1940 г.; л.15. Секретное письмо Старейшины уезда Ляэне от 12.05.40 г.

18. P.Petrov. Punalipuline Baltilaevastik ja Eesti 1939–1941. — Tänapäev, 2008. — 264.

19. Сведения на информационной табличке для посетителей острова (август 2008 г.), на указанном на табличке сайте «www.osmussaar.ee» сведения и ссылки по теме отсутствова-

ли. Германская разведка, видимо, появилась на Осмуссааре только 6 декабря (Т.Кämmel. Osmussaar — 1941. aasta legendide legend.//Eesti Päevaleht, 29.11.2003).

20. В.Р. фон Лееб. Дневниковые заметки и оценки обстановки в ходе двух мировых войн. www.militera.lib.ru. Запись от 20.10.41 г. о необходимости захвата Осмуссаара «...так как тяжёлая батарея на этом острове обстреливает фарватер...». Тезис повторен в записи от 27.10.41 г.

21. Остров был деминирован в 1995–1996 гг. и дополнительно проверен в 1998 г. [3,4].

22. Mereleksikon. — Tallinn: Eesti Entsüklopeedia, 1996, 304. Указанная в «Морском лексиконе Эстонии» дата 10.08.41 г. завершения работ, очевидно, ошибочна, ибо крайне маловероятно, чтобы в условиях военного времени на месяц был бы нарушен трёхнедельный срок, тем более принятый на митинге [1].

23. Как следует из сообщения [1, с.25], на последнюю треть апреля дворики батареи были готовы уже не менее нескольких месяцев.

24. ЭГА. Т-7.1.42075.

25. В.Ф.Трибуц. Непокорённый гарнизон.//Вопросы истории, 1970, № 5, с.131–138. Около 6–7 сентября противник начал боевые действия по захвату островов Моонзунда (ВОВ 1941–1945. Энциклопедия. М.: 1985), что позволяет предположить о демонстрационной, отвлекающе-зондирующей цели первой попытки его десанта на Осмуссаар.

26. При подрыве первого артблока взрывная волна, видимо, вышла вверх, разметав броню башни, возможно также, что не сдетонировала значительная часть заряда. На относительно хорошо сохранившейся конструкции орудийного стола лежат, видимо, найденные на местности 2 листа боковой брони башни.

При подрыве второго артблока взрыв был намного эффективнее, он полностью вырвал всю поворотную часть башни с орудиями, позже разобранную. Относительно хорошо сохранились только стационарный стакан башни с сотами кольцевого склада снарядов и нижняя часть шарового опорного подшипника башни.

27. Проблемы, возникшие тогда при длительной скученности массы людей на небольшом острове в условиях отрезанности от своих и поражений первых месяцев войны сейчас можно себе представить только приблизительно. Но интенсивная работа на строительстве укреплений и боевые вахты на них были, безусловно, также сильным лекарством от стресса и деморализации. Возможно, именно благодаря им гарнизон Осмуссаара избежал и физических, и психологических эпидемий.

28. Происхождение локомотивов (передвижных паровых двигателей) неясно — в [1] указано, что это оставшиеся в шведской деревне приводы сельхозмашин, в [25] — что они были завезены для нужд строительства батарей. Вторая версия представляется более вероятной, так как практичные шведы определённо вывезли бы при эвакуации весьма ценившиеся тогда крестьянами двигатели, кроме того в деревне громоздкие локомотивы были бы разбиты уже при первых бомбардировках или обстрелах острова.

29. Der Kampf um die baltischen Inseln. www.wib-stuttgart.de/seekrieg/ksp/baltik-inseln. Детальный обзор морских операций кригсмарине и советской стороны в 1941 г. указывает 441 человека отправленными с Осмуссаара на Ханко и 543 человека — на Гогланд.

30. Например, в перекрытие блиндажа стационарной позиции зенитной батареи в юго-восточной части Осмуссаара действительно оказалась встроена крупная бронеплита (возможно, полученная для 406 мм батареи. — Ю.М.), но при этом позиция сооружена только для 3-х орудий, а вероятная позиция 4-го орудия обнаружена в северо-восточной части острова [15].

31. В.Коппельман, М.Лимбак. Трагедия «Вохи»//»Радуга», 1989, № 7, с.60–70.

32. Например, капитан А.Кивикари, включенный в список жертв террора М.Лаара и Я.Тросся как репрессированный на Осмуссааре (М.Laar, J.Tross. Punane terror, 1996. — 250), значится в [31] как эвакуированный с острова через Ханко в Ленинград, затем воевавший с вермахтом в рядах Эстонского Стрелкового корпуса и погибший под Великими Луками.

33. M. Mullas. Osmussaari demineerimine. Rmt.: Endise Nõukogude Liidu sõjaväe jääkreostus ja selle likvideerimine. Koost. A.Raukas.-EV Keskonnaministeerium, 1999.

Духа не угашайте!

ПРАВΟΣЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК

№ 3
2008



1930–1940

100 лет с кончины
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
(20.12.1908/2.01.1909)

Т.Б.Ильинская

И.К.СУРСКИЙ И ЕГО КНИГА

В 2008 году вышло новое издание двухтомника И.К.Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский» (в одной книге). Издательство: «Отчий дом». Под ред. Т.И.Орнатской, Ю.В.Балакшиной, Т.Б.Ильинской, архимандрита Товии (Глазырина), Л.Г.Коротенко. М., 2008.

В издании помещены указатель имён и научные комментарии. Автор – духовный ученик Св.Иоанна Кронштадтского, соучредитель и секретарь Общества в память о.Иоанна Кронштадтского (1910), а также зарубежного аналога Общества (1926), написал и впервые выпустил книгу в эмиграции (1 том – в Белграде, 1908; 2 том, при поддержке И.Сикорского, – в Париже, 1941). В издании И.К.Сурскому посвящена отдельная статья доктора филологических наук Т.Б.Ильинской, которую предлагаем вниманию читателя.

О И.К.Сурском (в т.ч. генеалогия и пр.) см. также – «Балтика», № 1/2007.



К обширной литературе, посвящённой Святому праведному отцу Иоанну Кронштадтскому, книга И.К.Сурского (Ильяшевича) занимает особое место. Благодаря обилию содержащегося в ней материала она стала для русского зарубежья 1920-х–1960-х годов не только источником, но и стимулом для многих последующих публикаций: фрагменты из неё с цитатами из творений отца Иоанна издавались в виде маленьких книжечек, целью которых было познакомить молодое поколение русских эмигрантов с «народным пастырем»¹. Благодаря этому же обилию фактического материала книга сыграла большую роль в деле канонизации отца Иоанна за рубежом в 1964 году.

И в то же время книга привлекла благодарное внимание читателей к личнос-

ти самого автора, присутствие которого в ней отличается благородной сдержанностью: человек, лично знакомый с отцом Иоанном, неоднократно с ним встречавшийся и сам впоследствии игравший заметную роль в церковно-общественной жизни Петербурга первой половины 1900-х годов, он совершенно не пытается стать в центр читательского внимания. Изначально обозначив свою скромную роль как собирателя и составителя воспоминаний, он остаётся верен ей до конца. И это при том, что быть «в тени» для мемуариста — часто весьма трудная задача: по свидетельству многих авторов воспоминаний, камнем преткновения для них нередко оказывалось то, что они невольно становились центром повествования.

¹ Издатель брошюры «Святой Праведный Отец Иоанн, Кронштадтский Чудотворец» (Мюнхен, 1965) Пётр Суратов, почерпнувший фактический материал в основном из книги Сурского, так пояснил цель своего издания: «Особенно жажду я, чтобы наша смена – новые эмигранты – узнали правду о Святом Кронштадтском и народном пастыре» (Указ. Соч. С. 1).

Кто же такой Сурский — Илляшевич — Илляшевич (этим последним вариантом своей фамилии он именуется в Предисловии к первому тому книги)? Зачем ему понадобился псевдоним для труда, основа которого — документальная точность?

Общеизвестно, насколько важно имя автора при сообщении подлинных фактов: например, воспоминания об отце Иоанне, написанные старцем Силуаном, или митрополитом Нестором (Анисимовым), или епископом Арсением (Жадановским) имеют особую ценность именно благодаря авторитету мемуаристов. Чтобы понять причины, побудившие Илляшевича скрыть своё настоящее имя, следует обратиться к его жизненному пути, направление которого определила русская трагедия XX века.

Я.В.Илляшевич родился в интеллигентной петербургской дворянской семье². Отец его, генерал-лейтенант Валериан Яковлевич Илляшевич с 1858 по 1891 годы преподавал математику в столичном закрытом учебном заведении юридического профиля — Императорском училище правоведения и оставил после себя несколько учебных руководств³. Его сын поступил в это привилегированное училище, в котором обучались исключительно юноши из семейств потомственных дворян, непременно занимавших видное положение в обществе (в числе «правоведов», как называли обычно выпускников этого училища, были, например, принц А.П.Ольденбургский, П.И.Чайковский, И.С.Аксаков, А.Н.Апухтин, историк Н.Д.Тальберг, издатель «Гражданина» кн. В.П.Мещерский и многие другие). Выпускники училища по-

лучали чины IX—X классов и назначались в различные ведомства Министерства юстиции. Окончив училище в 1891 году, Илляшевич начал службу помощником юрисконсульта в этом Министерстве и к 1900 году имел чин надворного советника, соответствовавший VII классу⁴. В Российском государственном историческом архиве его послужной список как чиновника Министерства не сохранился, однако издававшиеся ежегодно памятные книжки Училища, в которых содержались сведения не только о преподавателях и учениках, но и о выпускниках, позволяют проследить профессиональную судьбу будущего мемуариста. Благодаря этому можно приблизительно установить и год рождения автора книги «Отец Иоанн Кронштадтский»: как и во всех высших учебных заведениях, выпускники Училища по окончании его достигали двадцати с небольшим лет отроду, следовательно, Илляшевичу, завершившему образование в 1891 году, к 1938 году, когда вышел первый том его труда, было около семидесяти лет.

По материалам его служебное продвижение носило стабильный и ровный характер: достигнув к 1907 году чина статского советника (гражданский чин V класса), Илляшевич до 1910 года состоял помощником юрисконсульта Министерства юстиции, после чего местом его службы становится петербургский окружной суд. До «генеральских чинов» (соответствовавших I—IV классам) он не дослужился — в 1917 году Яков Валерианович значится по-прежнему статским советником, продолжая служить одно-

- 2 По сведениям, сообщённым автору настоящей статьи председателем Европейского общества генеалогии и геральдики в Эстонии Владимиром Николаевичем Илляшевичем, их род принадлежал к сословию российского потомственного дворянства. В XVIII том «Общего гербовника российских дворянских родов» 24 марта 1905 г. был внесён род российских потомственных дворян Илляшевичей по генерал-лейтенанту Валериану-Станиславу Яковлевичу Илляшевичу с сыновьями — полковником Евгением Валериановичем (с женой и детьми) и коллежским советником Яковом Валериановичем (с женой Надеждой Петровной и детьми Валерианом, Николаем, Петром и Еленой). Правительствующим Сенатом был утверждён родовой герб «Пеликан».
- 3 См., например: Илляшевич В.Я., военный инженер-полковник. Вопросы из стереометрии и тригонометрии. СПб., 1873.
- 4 Памятная книжка Императорского училища правоведения на учебный 1900–1901 г. СПб., 1900. С. 131.

временно по двум ведомствам: помимо Министерства юстиции он значится состоящим «сверх комплекта» по 2-му департаменту Правительствующего Сената за обер-прокурорским столом⁵.

В эти же годы он стал членом петербургского Общества в память отца Иоанна Кронштадтского: 9 ноября 1909 года состоялось первое заседание «избранных общими собраниями 22 октября и 4 ноября членов правления, которые закрытой баллотировкой избрали из своей среды на должность Председателя прот. А.А.Дернова, товарищем председателя вдову генерала от инфантерии А.Н.Прокопе, казначеем свящ. И.Н.Орнатского и секретарём статского советника Я.В.Илляшевича»⁶.

Исполняя свои секретарские обязанности и, в частности, ведя переписку Общества, Илляшевич постоянно общался с людьми, близко стоявшими к отцу Иоанну⁷, и это обстоятельство придаёт особую ценность его книге. После того как 8 апреля 1910 года Яков Валерианович был избран председателем комиссии по собиранию сведений о прибегающих к помощи Общества, он, помимо ближайшего окружения батюшки, стал знакомиться со множеством людей, обращавшихся к

Кронштадтскому пастырю, поскольку в Общество шли как к самому отцу Иоанну⁸. Таким образом автор будущей книги оказался на пути людских потоков, которые текли к отцу Иоанну, и тем самым получил возможность улавливать все обращённые к Батюшке голоса.

Уже достаточно рано Илляшевич начинает осмысливать роль отца Иоанна в церковно-общественной жизни. Его имя наряду с другими докладчиками встречается, например, в газетном сообщении о торжественном собрании по случаю первой годовщины Общества, проходившем 19 октября 1910 года в 8 часов вечера в зале Общества религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви: «После доклада отца А.А.Дернова о деятельности Общества будут предложены чтения: 1) «Несколько воспоминаний об отце Иоанне» священника Иоанна Николаевича Орнатского; 2) «Характер благотворительности отца Иоанна Кронштадтского и Общества его имени в сравнении с современной благотворительностью вообще» статского советника Якова Валериановича Илляшевича; 3) «Отец Иоанн Кронштадтский как подвижник» студента III курса Петербургской Духов-

-
- 5 Памятная книжка Императорского училища правоведения на учебный 1910-1911 г. СПб., 1911. С. 135. Столом назывался особый разряд дел внутри отделений департаментов.
 - 6 Отчёт, 1911. С. 11. О том, что Илляшевич не ограничивался лишь исполнением секретарских обязанностей, свидетельствуют строки из письма отца Иоанна Орнатского, фактически принявшего на себя обязанности председателя, прот. А.А.Дернову: «Может быть, пора бы дать дело и Якову Валериановичу?» (ЦГИА СПб. Ф. 2216. Оп. 1 Д. 9. Л. 6 об.).
 - 7 Так, в 1912 г. в состав правления Общества входили наряду с поименованными выше протоиереями Александром Дерновым и Иоанном Орнатским свящ. Михаил Прудников, свящ. Николай Гронский, купец Василий Павлович Крутов, гр. Софья Сергеевна Игнатъева (КП. 1912. № 7. С. 139). В 1911 г. в списке действительных членов Общества значатся: князь Алексей Александрович Ширинский-Шахматов, секретарь Императрицы Александры Феодоровны Ростовцев Яков Николаевич, протоиерей орнатский Философ Николаевич, священник Орнатский Иоанн Николаевич, Орнатская Анна Семёновна, генерал-лейтенант Озеров Давид Александрович, баронесса Таубе Елизавета Константиновна и др. (См.: Отчёт, 1911. С. 81-83). Илляшевичу как секретарю Общества приходилось общаться с вышепоименованными лицами, и мемуары многих из них вошли в его книгу.
 - 8 Характерно, что современники воспринимали помощь Общества именно как дело самого Батюшки: когда 20 декабря 1909 г. Общество устраивало поминальные обеды для бедных, «возвращавшиеся с обеда говорили шедшим обедать: «Хорошо накормил нас дорогой Батюшка. Милостив был при жизни, милует и после смерти». (Там же. С. 19).

ной Академии Василия Прокофьевича Тарасова»⁹. Тогда же Ильяшевич начинает собирать сведения о молитвенной помощи отца Иоанна. Так, в четвёртую годовщину смерти Батюшки он выступал на чтениях в Соляном городке (зал общественных собраний в Петербурге), где прочитал доклад «Два случая проявления дивной силы молитвы и могущественно-действенной силы веры отца Иоанна Кронштадтского»¹⁰.

Эту «силу молитвы» Батюшки он и сам почувствовал в страшные годы, последовавшие за октябрьским переворотом, — вплоть до вынужденного отъезда за границу в 1926 году. Не единожды его семья была на краю гибели, и всякий раз вслед за обращёнными к Батюшке молитвами приходило избавление. Один из подобных случаев приведён им на страницах книги: находясь с семьёй в совершенной нищете, голодая, Ильяшевич встречает в храме купца, почитателя отца Иоанна, и тот даёт ему деньги, причём настаивает, что это не в долг, а безвозмездно¹¹.

Скудное, порой унижительное существование в эмиграции позволило Ильяшевичу особенно глубоко, изнутри, прочувствовать великое значение Домов Трудолюбия, повсеместно воздвигавшихся в России по почину отца Иоанна, который любил говорить: «Дай неимущему прежде всего крышу». «О, как понятны нам, беженцам, — писал Яков Валерьянович, — эти слова великого сердцеведа отца Иоанна, особенно тем, которым (по большой протекции) разрешалось спать на канцелярских столах неотапливаемого помещения. Если бы русские люди, вывезшие из России царские деньги, или вообще богачи имели бы христианскую любовь отца Иоанна к страждущим <...> тогда не было бы столь частых самоубийств, вызываемых горечью беспомощности и отсутствием крова. Люди, стыдящиеся просить, то есть лучшие люди, не умирали бы

с голоду; если бы у этих несчастных была бы своя кровать в общежитии, отапливаемом зимою, но не было бы денег на еду, то соседи поделились бы с ними: кто дал бы кусок хлеба, кто кружку чая и кусок сахара и смогли найти заработок, — они чувствовали бы нравственную поддержку и не впадали в отчаяние»¹².

Ильяшевич жил среди людей, лишившихся родины и подчас социально деградировавших: бывшие гвардейские офицеры порой становились чернорабочими или вышибалами в ночных ресторанах, генералы — лакеями и швейцарами. Для многих эмигрантов это стало толчком для переосмысления своего духовного пути, для переоценки собственного прошлого. Об обращении к Богу в эмиграции, чему способствовала и память об отце Иоанне, свидетельствовал, например, писатель А.В.Амфитеатров: «Семидесятники», «восемидесятники», «девяностытники», воспитанные материалистическими течениями прошлого века, мы жили десятилетиями без религии, в равнодушии или даже во вражде к ней, не имея надобности ни в Церкви, ни в «гипотезе Бога». Христиане по имени, по существу — атеисты; в большинстве, индифферентисты. <...> Утраченное с ранних детских лет «богозрение» мы начали вновь обретать, переживая ужасы Великой войны, в которой Бог покарал Землю потопом крови, как некогда — потопом водным. А потом узрели пред собою <...> чудовище Революции, отвергшей Бога и объявившей беспощадную войну всем Его проявлениям в человеке, и постигли, как ужасен, низок и ничтожен человек, когда не станет в нём Бога»¹³.

Эта жизнь в не родины у автора книги, как и у многих эмигрантов будила воспоминания о дореволюционной церковной жизни, одной из центральных фигур которой был отец Иоанн. И поэтому Ильяшевич оказался в благоприятней-

9 Ведомости Санкт-Петербургского градоначальства и полиции. 1910, 19 окт., №225.

10 Отчёт, 1913. С. 47.

11 См.: Наст. Изд. Т. 2. С. 503-504.

12 См.: Наст. Изд. Т. 1. С. 30-31.

13 Амфитеатров А.В. Церковь и эмиграция. Б/м, б/г. (Оттиск из белградской газеты «Новое время»). С. 507.

ших условиях для сбора подобных воспоминаний о Кронштадтском пастыре. Ностальгически окрашенные истории часто оказывались для мемуаристов не только средством осмыслить всю глубину подвижничества отца Иоанна, но и оглянуться на собственный духовный путь.

Ещё одним благоприятным обстоятельством для создания книги явилось то, что Илляшевич поселился в Сербии — стране, гостеприимнее других встретившей русских эмигрантов: к тому же здесь оказывалось покровительство разным формам русской церковной жизни. Одним из первых значительных событий в этом плане стало формирование в 1921 году в Сремских Карловцах русской Православной Церкви Заграницей¹⁴, где в 1921 и 1938 годах прошли её Первый и Второй Соборы. Прибывшие в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев россияне получили возможность выстроить в Белграде свой храм; когда было получено известие, что в Москве на Красной площади большевики разрушили Иверскую часовню, в Белграде появилась точная её копия (в 1931 году). В сербской столице возникло несколько русских православных братств — Братство Серафима Саровского, Братство святого Благоверного князя Владимира, Братство Святой Руси и Братство отца Иоанна Кронштадтского. Так, и после смерти Батюшки его имя продолжало объединять вокруг себя людей.

Духовное состояние русской эмиграции в 1938 году охарактеризовал епископ Иоанна (Максимович): «Русские люди в громадном большинстве несут тяжёлую жизнь, полную тяжёлых душевных переживаний и материальных лишений. Как ни гостеприимно относятся к нам в некоторых странах, в особенности же в братской нам Югославии, правительство и народ которой делают всё возможное,

чтобы засвидетельствовать свою любовь к России и смягчить горе русских изгнанников, но всё же русские люди всюду чувствуют горечь лишения родины. Вся окружающая их обстановка напоминает, что они суть пришельцы и должны применяться к часто чуждым им обычаям, питаясь крохами, падающими от трапезы приютивших их. <...> Школа беженской жизни многих нравственно переродила и возвысила. Должно отдать честь и почтение тем, кто несут свой крест беженства, исполняя непривычные для них работы, живя в условиях, о которых никогда прежде не знали и не думали, и при этом остаются крепкими духом, сохраняют благородство души и горячую любовь к своему Отечеству и без ропота, каясь о прежних прегрешениях, перенося испытания»¹⁵. Думается, что Илляшевич был одним из тех русских эмигрантов, наблюдая которых владыка Иоанн и пришёл к такому умозаключению. Книга «Отец Иоанн Кронштадтский» сохранила для нас ряд фактов, свидетельствующих о близких отношениях её автора и владыки Иоанна, который был и её первым редактором. Ныне здравствующая родственница Илляшевича по отцу — Вера Валентиновна Илляшвич сообщила автору данной статьи, что и после издания книги дружеские отношения автора книги и владыки не прерывались, и умер Валерьянович 23 марта 1953 года в Париже «на руках святого угодника Христова Иоанна Шанхайского, Парижского, Сан-Францисского». Знаменательно, что именно владыка Иоанн продолжил после Илляшевича сбор свидетельств для канонизации отца Иоанна, которая в значительной степени была плодом его трудов (владыка возглавлял комиссию по канонизации).

В материальном отношении жизнь русских эмигрантов даже в Сербии, где выде-

14 31 августа 1921 г. Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви постановил принять под свою защиту Временное Церковное Управление Русской Православной Церкви с сохранением её в самостоятельной юрисдикции. Резиденцией Временного Церковного Управления стал Патриарший дворец в Сремских Карловцах. Возглавил Русскую Православную Церковь Зарубежом глубокий почитатель отца Иоанна митрополит Антоний (Храповицкий).

15 Цит. По: Блаженный Святитель Иоанн Чудотворец / Составители иером. Серафим (Роуз) и игум. Герман (Подмошенский). М., 2003. С. 837-838.

лялись государственные субсидии, была полна невзгод и лишений, что объясняется прежде всего очень большим числом приехавших: «45.000 русских беженцев нашли пристанище в Королевстве СХС¹⁶. <...> К середине 20-х годов число русских беженцев начало сокращаться, и ко второй мировой войне их осталось около 25.000»¹⁷. Лишь врачи и инженеры достаточно легко находили работу, но юристы, в число которых входил и Илляшевич, и особенно военные, были в сложном положении¹⁸. Поэтому бывшему члену Петербургского окружного суда пришлось стать скромным чиновником службы кадастра. Сведения об эмигрантской жизни семьи Илляшевичей удалось узнать благодаря упоминавшейся выше В.В.Илляшевич, которая в письме к автору этой статьи передаёт воспоминания своих родителей (её отец, Валентин Илляшевич, приходился племянником Якову Валерьяновичу): «Жили в большой бедности; имели комнату, разгороженную скатертями, где помещались девочки, из которых одна в шейном корсете по болезни <имеется в виду дочь Илляшевича Мария — **Ред.**> кухонька, а работал на очень мало оплачиваемой службе только Яков Валерьянович. (Это из рассказа моих родителей, которых на брак благословил именно он как двоюродный дядя отца). Мой отец инвалидом (без одной ноги) женился на моей маме, югославке, в Белграде в 1926 году». Поэтому не иначе как истинным подвижничеством автора книги следует назвать то, что Илляшевич в течение двух десятилетий собирал воспоминания о

отце Иоанне в таких условиях — не имея времени (работать приходилось урывками) и возможности уединиться и сосредоточиться, без необходимых книг и журналов, даже без письменного стола.

К материальным невзгодам прибавлялась ещё тревога за оставшегося в России старшего сына Петра и опасение поставить его под удар, что непременно случилось бы, если бы книга вышла под фамилией отца. И Яков Валерьянович взял псевдоним, связанный с жизнью отца Иоанна — уроженца села Суры Архангельской, а упоминаемая о себе в тексте самой книги, изменил одну букву фамилии (вместо Илляшевич — Ильяшевич), что совсем уже сбивало со следа как потому, что фамилия в форме «Ильяшевич» была другой фамилией, так и потому, что в книге идёт речь ещё об одном, настоящем, Ильяшевиче — воспитаннике военного учебного заведения¹⁹. Таким образом отводился возможный удар от сына.

С другой стороны, имя на обложке «И.К.Сурский» ещё более подчёркивало отсутствие какого-либо собственного «сочинительства». Тем не менее, читатель ощущает авторское присутствие Якова Валерьяновича и в его подлинно христианском смирении, и в его искренности, и в его горячей вере в святость Кронштадтского пастыря. И вообще авторская позиция Илляшевича отличается отсутствием какой-либо политической тенденциозности, всякой юрисдикционной пристальности, тогда как и духовенство, и миряне в эмиграции часто разделялись на «карловчан» и «евлоганцев»²⁰, монар-

16 То есть Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.

17 Йованович Мирослав. О русских беженцах в Югославии // Русская эмиграция в Югославии в документах Архива Югославии и Государственного архива РФ. 1920-1939 гг. Белград-М., 2003. С. 9.

18 Не имея возможности найти работу, военные зачастую занимались разминированием территорий, где проходили сражения Первой мировой войны. Племянник Я.В.Илляшевича, Валентин Илляшевич, участвуя в таком разминировании, лишился ноги во время взрыва мины.

19 См.: Наст. Изд. Т. 2. С. 266.

20 «Карловчанами» называли сторонников митрополита Антония (Храповицкого), выбранного главой Высшего Церковного Управления Заграницей на Первом Всеамериканском Церковном Соборе, состоявшемся в г.Сремские Карловцы в Сербии в 1921 г. «Евлоганцами» называли сторонников митрополита Евлогия (Георгиевского), которому по решению Св. Патриарха Тихона в 1922 г. было передано управление заграничными приходами.

хистов и сторонников иных политических направлений. Такая поляризация порой приводила к открытым конфликтам, один из которых передан иеромонахом (впоследствии архиепископом) Иоанном (Шаховским): «Помню, однажды я сослужил митр. Антонию в белградском храме среди прочего духовенства. Когда настоятель храма, прот. Пётр Беловидов, после Литургии, с амвона объявил о молебне за здоровье «Его Императорского Величества Государя Императора Кирилла Владимировича», я вышел из рядов стоявшего посреди храма духовенства, пошёл в алтарь и разоблачился там. Я не единственным был в таких чувствах. — половина молящихся ушла из храма»²¹. На фоне церковных разделений того времени позиция Илляшевича производит отрадное впечатление: в книге нет и слова о церковно-политических спорах; он публикует свидетельства об отце Иоанне вне юрисдикционной принадлежности мемуаристов. В этом отношении проявляется солидарность автора с епископом Иоанном (Максимовичем), который в ответ на слова отца Владимира Родзянко: «Владыка, я не могу бросать камнями в Русскую Церковь», — сказал: «Господь с тобою, я на каждой проскомидии поминаю Патриарха Алексия. Он там делает всё что может, я здесь делаю всё что могу. Я не кричу. Я просто молюсь. У нас не юрисдикция над Евхаристией, а Евхаристия над юрисдикцией»²².

Когда же работа над первым томом книги была завершена, перед автором стала задача найти средства на его печатание. Помогли почитатели отца Иоанна — от епископа Шанхайского Иоанна (Максимовича) до типографских служащих, бескорыстную помощь которых автор отмечает в послесловии к первому тому.

Второй том рождался в ещё более тяжёлых условиях. В 1939 году началась Вторая мировая война, повлекшая за собой экономический упадок и в тех странах, которые не воевали. Поэтому истинным чудом можно назвать выход в свет в 1941 году второго тома книги. Как писал сам Илляшевич в предисловии к тому, решающее значение в осуществлении его замыслов имела помощь знаменитого авиаконструктора И.И.Сикорского, проживавшего в Америке. Выход в свет первого тома совпал с приездом И.И.Сикорского в Белград, что явилось крупным событием для всей русской эмиграции. Как писал один из журналистов, «приезд, вернее — прилёт, И.И.Сикорского и двухдневное пребывание в Белграде прошли не только как большой национальный праздник для русских. <...> Чествовали И.И.Сикорского Русский Научный Институт, Союз русских лётчиков. Особенно же грандиозно прошло чествование, устроенное в Русском доме имени Императора Николая II русскими организациями»²³. Среди выступавших на вечере с приветственными речами были и те, кто имел близкое отношение к труду Илляшевича: так, от «Царского вестника» выступал келейник и биограф покойного митрополита Антония (Храповицкого) Н.П.Рклицкий²⁴, от высших военных курсов генерал Шуберский, от Союза судебных деятелей бывший сотрудник Илляшевича по петербургскому Обществу памяти отца Иоанна Кронштадтского сенатор С.Н.Трегубов. Скорее всего, Яков Валерьянович вручил только что вышедший первый том своей книги И.И.Сикорскому как сыну известного почитателя отца Иоанна, и тот принял на себя большую часть расходов по изданию второго тома.

21 Вера и достоверность. С. 25.

22 Беседное высказывание владыки Иоанна (см.: Косик. С. 114).

23 И.И.Сикорский (Письмо из Белграда) // Часовой (Брюссель). 1938. 1 дек. №224–225. С. 21.

24 Н.П.Рклицкий (впоследствии архиеп. Никон) принимал участие в деятельности организованного в Сербии Илляшевичем Братства памяти отца Иоанна Кронштадтского, что прослеживается по его публикациям (См., например: Иером. Никон. Утешение в скорбях. Вып. 1. Доклад, прочитанный в Братстве памяти отца Иоанна Кронштадтского и Общем собрании Русского Охранного Корпуса. Белград, 1943). Редактировал в Белграде газету «Царский вестник» (1928–1941).

В Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург) хранится черновик письма Иллышевича, посланного Сикорскому в Америку, из которого можно видеть, каким подвигом для 75-летнего автора было создание его книги. Вот текст этого письма:

«30 марта 1946.

Досточтимый и боголюбезнейший Игорь Иванович.

На днях послал Вам письмо и II том книги И.К.Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский». Сейчас пользуюсь случаем, что мой знакомый завтра летит к Вам, посылаю Вам II том, мною исправленный. Я живу в Белграде с дочерью, кончающею здешнюю Консерваторию. Год тому назад на экзамене она рожала, будучи вообще застенчивою. Профессора заметили это и сказали, что Вы дрожите, ведь мы не волки и Вас не съедим. Когда же она спела, то они сказали: «Мы очень рады, что видели, что Вы дрожите, и теперь убедились, что она (дрожь) не помешала вам спеть дивным и сильным голосом — вы Богом одарённая, не забывайте, что вы Богом одарённая и никогда не бойтесь. Так как никто не может отнять от Вас таланта». Здесь был Московский Музиколог, был в Консерватории и, осведомившись в её таланте, пригласил её к себе, посадил на своё кресло на последнем вечере танцев и музыки, обещал прислать ей свою книгу и сказал, что поможет ей устроиться петь в

Москве и пригласил её ужинать с представителями русского посольства и военной миссии. Когда все встали, чтобы идти ужинать, она замешалась в толпе и убежала домой. Она кончила с золотой медалью здесь русский институт, кончила философский факультет университета и 2 года училась французскому языку, стенографии и дактилографии и получила первую высшую награду от Министерства.

Я написал книгу, содержащую потрясающие чудеса Самого Господа Бога, Николая Чудотворца, Иннокентия Иркутского и Серафима Саровского, бывшие в Советской России, и чудеса Иоанна Кронштадтского, бывшие в Белграде²⁵. Напечатать эту книгу здесь невозможно, так как бумагу дают только на издания пропагандные коммунистические, на религиозную же книгу не дают. Я не беженец, а выехал из России в 1926 году с целью лечения старшей дочери, у которой был костный туберкулёз второго и третьего шейных позвонков, и Московский профессор сказал, что единственная надежда вылечить её — это прожить 2 года безвыездно на берегу бухты Котарской Адриатического моря, где сильные эманации ода, и она совсем поправилась. Здешний Русский Консул, который знает меня мою дочь, говорит, что признаёт за мною и дочерью права Советского Гражданства, когда я захочу ехать в Россию. Сербского подданства мы не принимали и у нас имеются выданные

25 Эта книга не была издана; судьба рукописи не известна. Что касается явлений Божией милости в советской России, то в эмиграции появлялись публикации о чудесном спасении от НКВД и бегстве за границу. Например, в книге В.Безрукова «Из царства сатаны на свет Божий» (Париж, 1927) рассказывалось о бегстве восьми человек на захваченном небольшом судне из Севастополя в Варну. Это было громкое дело, об участии беглецов хлопотал В.Н.Шtrandман – русский представитель в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенце, так что и Иллышевич не мог о нём не слышать. Через покинувших таким образом СССР доходила информация и о положении Церкви. Тот же В.

Безруков пишет: «Пасхальная ночь в 1924 г. Все храмы Севастополя полны молящимися. Народу столько, что нельзя войти не только в храм или церковный дворик, но невозможно даже проникнуть в близлежащее к ним пространство. В толпе много красноармейцев, красных командиров и военных моряков. Тут же хулиганят орды комсомольцев, поющих богохульные песни, пристающих к девушкам и выкрикивающих площадные ругательства <...> Я не выдержал и ушёл. Подходя к Владимирскому собору, ещё издали услышал площадную брань и дикие крики. Рабфаковцы устроили шутовское факельное шествие вокруг собора и заглушали церковный хор звериными выкриками. Другая группа их не пускала прихожан в церковь» (Безруков В. Из царства сатаны на свет Божий. Париж, 1927. С. 30-31).

сербскими властями привременные свидетельства на право жительства в Белграде. Вот у меня и возникла мысль: не могли бы Вы, благодаря Вашим связям, устроить нам переезд к Вам²⁶. Мы совершенно оборванные, не имеем средств, чтобы есть, пробуем безрезультатно продавать вещи, но никто не покупает. Условия жизни такие, что за каждым куском нужно стоять в очереди часами. Я получаю пенсию 900 динар в месяц, этого не хватает на обед и ужин на 5 дней. Надо платить 500 динар за квартиру. Дочь зарабатывает 240, надо покупать топливо, а на еду не остаётся, словом, голодная смерть от истощения, а между тем я мог бы издать полезную книгу, мог бы лекции читать.

Сжальтесь, помогите! У меня осталось около 640 книг второго тома. Единственная маленькая типография, где есть русский шрифт, берётся исправить книги за 50000 динар. У нас сохранилась золотая художественной работы брошь с аметистом, играющим, как живой, вследствие искусного гранения. Это самородок уника, который добыт на Урале и принадлежал в середине прошлого столетия Директору Горного Департамента, который подарил его моей матери на свадьбу. Другого такого аметиста нет в Европе, весит 34,5 грамма. Купите его для Елизаветы Алексеевны. Знатки и честные люди оценили его в 15000 динар. Что такое 15000 динар в стране, где нет золотого обеспечения валюты. Сделать пальто стоит тысяч 7.

<Далее дан рисунок броши> Размеры камня и оправы. Днём он лиловый, а ночью розовый.

<Приведён рисунок броши в ином ракурсе> Толщина камня.

Ежедневно, ложась спать, знаменую крестным знамением всех членов семьи Вашей. Да хранит Вас Господь. Целую ручки Елизавете Алексеевне.

Ваш покорнейший слуга

Яков Илляшевич.

Адрес: Ул. Генерала Лешјанина 2: Белград, Югославия (на четвёртой стороне обложки книги адрес напечатан на трёх языках)²⁷.

Этими обстоятельствами жизни автора объясняются как достоинства книги, так и некоторые её недостатки. С одной стороны, у Якова Валерьяновича не было под рукой нужных для полноты картины материалов — отдельных книг, журналов, оставшихся в России писем и т.п., с другой же стороны, отсутствие необходимых печатных источников оборачивалось существенным достоинством: книга стала живым голосом русской эмиграции, вспоминающей отца Иоанна и, благодаря перенесённым страданиям, открывающей для себя его подлинный духовный масштаб.

Необходимо отметить, что у Илляшевича как собирателя свидетельств об отце Иоанне были предшественники; и прежде всего это настоятель церкви Иоанновского монастыря протоиерей Иоанн Орнатский, зять Батюшки (он был женат на его племяннице Анне — дочери Дарьи Ильичны Малкиной, родной сестры отца Иоанна), деятельны член Общества в память отца Иоанна Кронштадтского, который сразу по смерти Батюшки начал собирать воспоминания о нём. Прежде всего в духовной печати появились его обращения к читателям с просьбой посылать свои воспоминания об отце Иоанне. Так, в редакционной статье «Кронштадтского Пастыря» было напечатано следующее воззвание: «Явилась возможность собрать и путём печати увековечить славные дела Кронштадтского пастыря. Нам нередко приходилось встречать лиц, с безграничною любовью и благодарностию воспоминающих свои более или менее близкие

26 По окончании Второй мировой войны начался исход русских эмигрантов из Югославии. Историк пишет: «Если вместе с немецко-фашистскими войсками покинула страну треть русских эмигрантов, то в начале 50-х гг. из титовской Югославии выехали 4/5 из оставшихся ещё русских людей. Причём 10 процентов вырвали Восток, 90 процентов — Запад» (Косик. С. 165).

27 Письмо было вложено в экземпляр книги Сурского, хранящийся в Российской национальной библиотеке (С.-Петербург); ныне передано в Отдел рукописей этой библиотеки.

отношения к Батюшке, его посещения: рассказы о том, как он утешал скорбящих и страждущих, что сказал, как сильна и действенна была его молитва и пр. Такие воспоминания пока ещё живо хранятся в памяти очевидцев и современников отца Иоанна, но оказывается, что многие из них нигде не записаны, а, следовательно, могут быть бесследно забыты. Редакция покорнейше просит всех таких лиц сообщать ей по адресу — Карповка, 41²⁸ — сведения о жизни и деятельности дорогого Батюшки. На страницах «Кронштадтского Пастыря» будет помещено всё, что сказал или сделал Батюшка отец Иоанн, что может внести свет и теплоту в душу печальную, унылую, мрачную, что может послужить к светлой личности незабвенного пастыря среди тех, которые недостаточно знают его»²⁹.

Помимо обращений через печать и публикаций воспоминаний на страницах «Кронштадтского Пастыря», отец Иоанн Орнатский начал собирание такого рода материалов и при Иоанновском монастыре, в котором хранилась всем известная книга для записи чудесных знамений по молитвам отца Иоанна Кронштадтского. Его же стараниями при монастыре было издано несколько выпусков книжек под названием «Чудесные явления дивной милости Божией и благодатной помощи по молитвам приснопамятного Батюшки отца Иоанна Кронштадтского».

Для составительской работы отца Иоанна Орнатского было характерно стремление помещать только достоверные, документированные свидетельства, избегая тем самым фольклоризации облика Кронштадтского пастыря. Так, журналист

Николай Буланов, написавший в столичную газету о случае получения помощи у гробницы отца Иоанна, сообщал, что отец Иоанн Орнатский, выслушав рассказ об исцелении, записал имя и адрес заявительницы и попросил его посетить её дом, чтобы удостовериться в точности сообщаемого³⁰.

Наряду с координационной деятельностью по увековечиванию памяти Кронштадтского пастыря, отец Иоанн Орнатский выступал в печати с документальными очерками, один из которых начинается так: «17-го сего марта к поздней Литургии в Иоанновский монастырь прибыл вместе с маленькой девочкой Арсений Никитич Москвин (жительствующий в С.-Петербурге, Лугская ул., д. 6) и со слезами рассказал мне, что пришёл поблагодарить Господа за чудесное исцеление, которое получила по молитвам Батюшки о. Иоанна его восьмилетняя дочь Екатерина»³¹.

Таким образом, среди предшественников Сурского был самый близкий отцу Иоанну Кронштадтскому круг людей, видевших свою жизненную миссию в свидетельствах о Батюшке. Отец Иоанн Орнатский выразился об этом так: «Мы, верующие, обязаны это делать, — обязаны и из благодарности к благодетелю нам чрез святых богу, обязаны и из любви к нашим ближним, которые, как и мы, точно так же нуждаются в таинственной помощи свыше <...>. На основании подобных соображений мы почитаем долгом поведать об известных нам случаях благодатных исцелений, бывших в последние годы по молитвенному предстательству о. Иоанна Кронштадтского»³².

28 Это адрес церковного дома Иоанновского монастыря, в котором жил о. Иоанн Орнатский с семьёй и в квартире которого собирался и готовился «Кронштадтский Пастырь».

29 Светлой памяти доброго Кронштадтского пастыря // КП. 1912. №1. С. 11-12.

30 Ведомости С.-Петербургского градоначальства и полиции. 1910. 6 янв. № 4. Сообщая о другом свидетельстве, Николай Буланов писал: «Я. По обыкновению, посетил исцелившихся» (Чудесные исцеления по молитвам отца Иоанна Кронштадтского за последние годы. Пгр., 1915. С. 5-6).

31 Свящ. Иоанн Орнатский. Новое исцеление по молитвам отца Иоанна Кронштадтского // КП. 1913. № 12. С. 220.

32 Чудесные исцеления по молитвам отца Иоанна Кронштадтского за последние годы. Пгр., 1915. С. 5-6.

Однако Ильяшевич ставил перед собой более сложные задачи, чем его предшественники в дореволюционной России. Желая дать зарубежному читателю по возможности полное представление о Кронштадтском пастыре, он соединяет под одной обложкой биографические сведения, выдержки из трудов отца Иоанна, мемуарные свидетельства и даже опыт акафиста Батюшке. Мемуарная часть его книги представляет собой не случайные разрозненные воспоминания, но собрание личных свидетельств, тщательно отобранных, выверенных и систематизированных «по темам». При подготовке настоящего переиздания его книги не раз приходилось убеждаться в необыкновенной точности автора, который старался прежде всего не отойти от принципа строгой документированности печатаемых материалов. Эта его авторская позиция — относиться к собираемым и печатаемым материалам, касающимся отца Иоанна, с особой строгостью, исключая возможность появления каких-либо преувеличений или отдельных неточностей и даже опечаток, — проявилась ещё в его давнем письме в редакцию «Кронштадтского Пастыря» (от 21 февраля 1917 г.). Касаясь одной опечатки в рассказе о Батюшке (было напечатано: «генеральша М.Н.Швецова» вместо «генеральша М.Н.Шевцова») он писал: «Усерднейше прошу отцов редакторов напечатать в следующем номере «Кронштадтского Пастыря» это исправление, чтобы неточности эти не могли возбудить в ком-либо сомнение в точности всего остального <...>. Память же Батюшки не должна омрачаться никакими сомнениями. Излагая деяния великого праведника о. Иоанна, необходимо всегда помнить слова писателя житий святых, который говорил: «Стыдно мне лгать на святого». Ст. советник Я.Ильяшевич»³³.

Книга Ильяшевича уникальна ещё и тем, что она представляет собою сплав достоверных мемуарных фактов с богослужебными материалами (служба, акафист), которые на полвека предвосхитили канонизацию отца Иоанна Русской Православ-

ной Церковью. В то же время нельзя сказать, что в русском зарубежье это было первое издание, посвящённое отцу Иоанну: в Сербии, в городе Новый Сад, в русской типографии С.Ф.Филонова были напечатаны книги «Из дневника отца Иоанна Кронштадтского» (Белая Церковь, 1928) и вышедший год спустя после публикации первого тома книги Сурского труд протоиерея Сергия Четверикова «Духовный облик отца Иоанна Кронштадтского и его пастырские заветы» (Берлин, 1939). Однако книга Ильяшевича выделяется на фоне подобных изданий тем, что она сохранила до нашего времени тот образ отца Иоанна, который жил в сознании его современников, — прежде всего в изустных рассказах, а также в письмах и публикациях эмигрантской печати, которые составитель книги также широко использовал, по-видимому, предварительно собирая все доступные ему статьи о Кронштадтском пастыре.

Русское зарубежье — и миряне, и духовенство — ещё до прославления отца Иоанна говорили о необходимости изучения каждого факта, каждого штриха жизни отца Иоанна. Епископ Детройский Серафим (Иванов), считавший особым даром Батюшки «великую сострадательную любовь к людям», писал: «Можно помолиться за постороннего, когда просят, что и делает наше духовенство. Но суметь помолиться за постороннего как за своего родного и близкого, как за своего отца или мать, за сына или дочь, когда они в беде, — это дано немногим. А молиться таким образом ежедневно и за сотни людей — это уже вышеестественно, это особый чудесный дар Божий <...>. Нам надо углубляться всё более и более в эту святую и великую жизнь, правильнее сказать житие. Надобно изучать с любовью даже мелкий штрих его. С тихим умилением выслушивать простые безыскусственные повествования исцелённых о.Иоанном или их сродников. Многие из этих повествований похожи одно на другое, но ведь это живая правда, подлинные свидетельства. Это была. А простая непри-

крашенная быль бесконечно ценнее самой красивой фантазии»³⁴.

Важность изданий, подобных книге Илляшевича, подчеркивается и в отчёте Благотворительного Фонда имени отца Иоанна Кронштадтского (США), главной целью которого было «благотворением благовестить имя отца Иоанна»: «Для члена Фонда близка личность отца Иоанна. Он знает о нём больше других, и новые факты из его деятельности и о его чудесной помощи раньше других доходя к нему <...>. Где-то впереди, в будущем — момент величественного прославления Церковью отца Иоанна. Чтобы его приблизить, нужно энергично его готовить. Мы видим, что мы к нему ещё не готовы. То, что сделано для его имени в зарубежье, можно сравнить с рисунком часовенки на Суре, часто помещаемом в изданиях об отце Иоанне: мы ещё не в силах построить — в духовном смысле — кронштадтский собор, какой мы видим в тех же изданиях. Мы не распространили его имени как должно»³⁵.

Этот же Фонд, обращаясь к обществу с просьбой помочь супругам Сериковым, пожилым, больным, нетрудоспособным людям, приводит отрывок из письма Ольги Владимировны Сериковой, из которого видно, какой поддержкой в отчаянной ситуации могла оказаться книга «Отец Иоанн Кронштадтский». Сериковым пришлось после Второй мировой войны переехать в Латинскую Америку, в Сан-Паоло, где они поселились в «бедном рабочем районе, в самых примитивных условиях, воду приходится носить из колодца, а в квартире, без потолка, зимой очень холодно, и ветер гуляет по комнате и кухне». Далее Ольга Петровна писала: «Положение наше было очень тяжёлое и безнадежное, мы задолжали всюду, а главное в аптеку, и должны были прекратить медицинскую помощь мужу. Я хорошо помню, что, перебирая духовные книги, желая что-нибудь прочесть и успокоиться,

я нашла книгу об о.Иоанне Кронштадтском, открыла и увидела портрет о.Иоанна. Он ласково смотрел на меня. Из глубины души у меня вырвалось: «Помоги, помоги мне». И вдруг через некоторое время я неожиданно получаю из Фонда его имени помощь и такое хорошее тёплое письмо»³⁶. Об утешительной миссии этой книги пишет и другой корреспондент, который себя представляет так: «житель Одессы, студент тамошнего Университета, в качестве рабочего доживаю свой век в Париже». Он рассказывает, что переплёл настоятелю русской церкви в Париже книгу «Моя жизнь во Христе» и затем начала разыскивать какую-либо книгу о жизни отца Иоанна. «Моё желание исполнилось, — пишет он. — Спустя несколько месяцев, я получил от одного знакомого, живущего на юге Франции, книгу Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский», изданную в Белграде во время Второй мировой войны, — для переплёта. Так как книга эта была издана в двух томах. То мой знакомый просил разыскать в Париже второй том этой книги. Я обошёл все храмы и библиотеки, разыскивая вторую книгу того же автора, но нигде её не находил, да и первого тома также найти нигде невозможно.

Я несколько раз перечитал первый том книги и пришёл к заключению, что большинство из нас, старых русских эмигрантов, удостоились быть свидетелями или современниками всего того, что изложено в первой части книги, и образ отца Иоанна предстал предо мною во всём его величии Божьего Угодника, просиявшего над Русской землёй, и не оставляющего нас и после своей кончины, т.к. во второй части книги впоследствии приведено несколько случаев, происшедших в Сербии, когда наложением на больных сохранившегося куска пояса отца Иоанна, больные выздоровели. Это окончательно убедило меня в том, что наступает время, когда Церковь Православная канонизирует отца Иоанна, причислив его к лику Святых Угодников

34 К 50-летию представления о.Иоанна Кронштадтского. Нью-Йорк, 1958. С. 64-65.

35 Прот. Михаил Помазанский. По одному пути // Православная Русь (Джорданвилль). 1960. № 7. С. 6-7.

36 Православная Русь (Джорданвилль). 1960. № 11. С. 12.

Божьих, т.к. все современники уже давно считают его таковым. Это навело меня на мысль, что многие предсказания и чудеса о.Иоанна не опубликованы и потому, что книги Сурского издавались в Белграде, о чём было известно лишь тем эмигрантам, которые проживали в Сербии. А теперь мы, живущие вне Белграда, имеем возможность дополнить случаями, не помещёнными в этих книгах Сурского. Париж. 1951»³⁷.

Важное значение имела книга «Отец Иоанн Кронштадтский» и в деле канонизации отца Иоанна. Вот несколько слов о событиях, ей предшествовавших: «Историческим днём, когда впервые решено было предложить вопрос о прославлении приснопамятного отца Иоанна Кронштадтского на рассмотрение Архиерейского Собора Русской Православной Церкви за границей, было воскресение 6/19 ноября 1950 г. В это воскресение архиепископ Восточно-Американский и Джерзиситский Виталий служил Литургию в Свято-Отеческой церкви в Нью-Йорке. После окончания Литургии к владыке Виталию, который, разоблачившись, беседовал с прихожанами, обратился граф Аполлон Александрович Соллогуб с вопросом: возможно ли подать прошение за подписью мирян Архиерейскому Собору, ныне заседающему в Нью-Йорке, с просьбой рассмотреть вопрос о прославлении отца Иоанна Кронштадтского, Великого Праведника и Чудотворца Земли Русской, и как лично к этому вопросу владыка относится <...>. Владыка Виталий, ласково улыбаясь, сразу ответил: «Благословляю благое намерение. Дайте прошение мне, и

я его представлю Архиерейскому Собору. Я буду докладчиком по этому богоугодному делу»³⁸.

Прошение было составлено, и главным аргументом для доказательства того, что канонизация подготовлена, была книга Сурского, собравшего за 50 лет множество свидетельств о благодатной помощи отца Иоанна. Вот текст составленного на имя владыки Виталия прошения: «Настоящим имеем честь просить Ваше Высокопреосвященство рассмотреть на предстоящем ныне Архиерейском Соборе вопрос о канонизации великого праведника, молитвенника, чудотворца и пророка о.Иоанна Кронштадтского и приурочить сию канонизацию к 20 декабря сего года, т.е. ко дню смерти великого праведника.

Кому только не был известен в России о.Иоанн Кронштадтский? Поистине не было почти ни одной религиозной православной семьи, которая бы не испытала в своей жизни силу молитвенного представительства отца Иоанна <...>. Продолжают и сейчас совершаться тысячи чудес, кто с верою и любовью обращается молитвенно к защите отца Иоанна. Совершаются они обильно и в России, где измученный большевиками русский народ обращается к заступничеству дорогого Батюшки-чудотворца и доброго советника, о чём свидетельствуют приехавшая в 1942–44 годах новая волна русских эмигрантов³⁹; совершаются они и среди русских людей, находящихся уже 33 года в изгнании и обращающихся в своих невзгодах и несчастьях к защите великого святителя. Останавливаться на мнении, что вопрос канонизации отца Иоанна Кронштадтско-

37 Овденко Д.К. Об исцелении по молитвам отца Иоанна Кронштадтского тяжело больной женщины на расстоянии // 50-летие преставления отца Иоанна Кронштадтского. Нью-Йорк, 1958. С. 203–204.

38 Русская Православная Церковь Заграницей. Столбцы 370–371.

39 В Зарубежье появлялись свидетельства не только о помощи отца Иоанна, но и о признании его такими крупными личностями, как, например, св. Серафим Вырицкий. Монахиня Вероника, келейница св. Серафима Вырицкого, эмигрировавшая из России во время Второй мировой войны и скончавшаяся в Америке в 1953 г., писала в своих воспоминаниях: «Иногда в моей жизни случались сильные искушения <...>. Иду к батюшке, прошу благословения навестить знакомых, чтобы отвлечься. – Это зачем? Помощи от людей ждёте. Только один Бог силён помочь. Если хотите, поезжайте к блаженной Ксении или к окошечку батюшки отца Иоанна. А к людям за утешением идти нечего». (Воспоминания монахини. С. 28).

го может быть решён лишь на Поместном Соборе всей Русской Православной Церкви невозможно и нежизненно. Никогда ещё человечество не испытывало такого гонения на Церковь, никогда ещё Православная русская Церковь не переживала такого лихолетья, и православные верующие люди такого преследования и истребления, как сейчас, а потому нельзя говорить о каком бы то ни было Поместном Соборе в России <...>. И даже если Господь поможет избавиться от безбожной власти, то неизвестно, в каких условиях, после испытанных гонений и мучений, окажется наша Православная Церковь. Мощи великого святителя могут быть всё равно не обретенны, а опрос свидетелей, если часть таких и будет в живых, может быть весьма затруднён. К тому же опрос свидетелей в деле канонизации о.Иоанна Кронштадтского и не нужен: 2-й том книги И.К.Сурского «Отец Иоанн Кронштадтский», изданной в 1938—41 гг. в Белграде, где описаны сотни чудес, полученных по милости о.Иоанна и записанных видными пастырями Православной Церкви, архиереями, священниками, известными русскими людьми, с указанием точных их адресов — является лучшим опросом свидетелей <...>. Канонизация отца Иоанна Кронштадтского послужит и к примирению в нашей Православной Церкви. Во всех юрисдикциях, в частности Американской, имя отца Иоанна глубоко почитается, начиная с покойного Митрополита Феофила, который лично на себе испытал в юности великую милость праведника, о чём прихожане, и паства

знают. Новый Святитель всех примирит и объединит <...>. Поминальная служба, канон и акафист отца Иоанна Кронштадтского уже составлены афонским иеросхимонахом Пахоимом и находятся во 2-м томе книги И.К.Сурского»⁴⁰.

Во многом на основе книги Сурского (Илляшевича) составлен сборник «К 50-летию преставления отца Иоанна Кронштадтского», который был издан при активном участии тех, кто готовил канонизацию отца Иоанна за рубежом. Так возникает преемственная связь людей, наиболее потрудившихся в деле прославления Кронштадтского пастыря: отец Иоанн Орнатский (стоявший во главе сбора документальных материалов о Батюшке в первое двадцатилетие XX в.) — Я.В.Илляшевич (1920—1940-е года) — владыка Иоанн (Максимович) (1950—1960-е года), для которого книга Сурского была важнейшим аргументом в деле канонизации. Промыслом Божиим их труды увенчались успехом: 19 октября / 1 ноября 1964 г. — в день памяти преподобного Иоанна Рьльского, небесного покровителя Батюшки, — отец Иоанн Кронштадтский был прославлен в лике святых Архиерейским Собором Зарубежной Церкви. А в 1990 г. состоялась канонизация отца Иоанна Кронштадтского и на Поместном Соборе Русской Православной Церкви.

И.К.Сурский
«Отец Иоанн Кронштадтский».
Москва, издательство «Отчий дом»,
2008.

ИЗ НАСЛЕДИЯ ЕПИСКОПА ТАЛЛИНСКОГО И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ИСИДОРА

*В записи Любви Булановой. Проверены и одобрены епископом Исидором**

ХРОНИКА

*(Продолжение. Начало в № 2)***ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 24-Ю
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ**

В сегодняшнем Евангельском чтении повествуется о 2-х величайших чудесах Спасителя.

У одного человека при смерти была дочь. Он подошёл к ногам Спасителя просит, чтобы он пошёл и возложил на неё руки. Когда же он шёл, народ теснил его.

И вот одна больная женщина, которая на излечение своей болезни истратила всё своё имущество, но облегчения не получала, коснулась края одежды Спасителя и тотчас получила выздоровление. В это время отцу девочки сказали: «Всё кончено. Не утруждай Учителя». Спаситель услышал это и сказал ему: «Только веруй, и спасена будет».

Вот два величайших чуда, которые одновременно совершил Спаситель.

Здесь мы видим, что вера женщины — глубокая вера. Только подумала: «Коснусь края одежды Его и буду здорова». Какая глубокая вера.

Отцу девочки Спаситель говорит: «Только веруй, и спасена будет!»

Вера в том и в другом случае оказывается могущественное свойство.

И в жизни горе бывает: болезнь какая близкая, смерть. Хочется горе сбросить, но откуда же для этого помощи получить? От Спасителя! Он всегда может помочь, но надо **уметь** просить и **уметь подойти** к этой помощи. Например, женщина только прикоснулась с верою, **БЛАГОГОВЕЙНО** прикоснулась! Вот почему мы должны употреблять **ВСЁ** благоговейно, осторожно. **ВСЁ**, что относится к Богу. И заповедь Моисея повелевает нам: относиться благого-

вейно к молитве, к вещам священным. Почему с благоговением? Отойду немного далее. Мы пользуемся различными силами, дождём, светом, солнцем и т.п. Свет нам нужен — мы видим друг друга. Солнечный свет нам также нужен. Попробуем минут 15—20 смотреть на солнце, на источник солнечного света. Мы ослепнем (правда, потом отойдёт). Солнце даёт слишком много света (воспринимает слабые напряжения). Возьмём теплоту. В натопленной комнате работать приятно. Раскалим печь докрасна — душно станет. Ещё раскалим — станет тяжело. Значит, теплоту можем воспринимать, когда она слаба. Так же с электричеством. Эти силы мы можем применять, когда они бывают слабыми.

Но теперь Бог. Он источник всех сил. Если на солнце не можем смотреть, а если прикоснуться к нему? Сгорим! А Бог — Источник всех этих сил (если прикоснуться к нему?) и носитель в себе всех этих сил. Мы не все силы знаем. Носитель всех, всех сил в их наибольшем напряжении. Это могущественная Сила. Значит, нужна осторожность. Если, например, возьмём фабрику. Многие машины огорожены, чтобы не задеть, чтобы туда что-нибудь не попало. Помню учителя (в Петербурге, лет 40 тому назад, тогда ещё Петербург был), которого пригласили на фабрику, где всё было заряжено электричеством (воздух, потолок, пол, стены). Предупредили: «Когда войдёте, остановитесь у порога, не проходя дальше, — это вредно вам. Стойте, не прикасаясь к стенам, — они заряжены электричеством. Галоши сухие наденьте — пол тоже заряжен электричеством». Пришли, постояли, опустив руки, и ушли. Это не Бог, а машины, — и то постояли,

* Порядок публикуемых материалов — согласно оригинальной рукописи Любви Булановой. Рукописи предоставлены внучкой протоиерея Валерия Поведского (сконч. 13.03.1973, Таллин) Марией Владимировной Петровой (Москва). Публикуется впервые.

посмотрели и пошли. С благоговением постояли, опустив руки, и пошли.

Как же мы к Богу должны относиться? Это ведь Страшная Сила! Есть сказание Моисея: «Господи, дай мне видеть Тебя лицом к лицу?» Это нельзя — так как человек не может остаться живым. Это ясно теперь вам должно быть. Соприкосновение с этой Силой должно уничтожить нас как существо ничтожие. Мы, молясь, соприкасаемся, мысленно соединяемся с Богом, с страшной, громадной Силой, и потому нужно относиться ко всему Божьему с **величайшим благоговением**.

Например, я сказал: «Господи, помилуй или прости, Господи (нет, извините)» это не просто слово, а соприкосновение с величайшей Силой.

Итак, друзья мои, когда нужна нам помощь, ОН помочь **МОЖЕТ** нам, ибо ОН человека сотворил. Когда прибегаем — можем рассчитывать на помощь! Но соединяться надо с **благоговением**. То беда будет! Горе будет! Ты слаб — ОН велик!

Женщина с каким благоговением прикоснулась! Это **благоговение!** Когда молимся дома, в храме, в храме Бог, святые, Ангелы. Одно церковное песнопение говорит: «С нами Силы Небесные ныне невидимо служат».

Итак, относитесь с **благоговением**, ибо вы вступаете в общество великих Сил. Вы не просто стоите. Вы окружены Ангелами и «с нами Силы Небесные ныне невидимо служат». Около каждого из вас, может, несколько Ангелов.

Молитесь! Тогда Господь даёт Вам. Только относитесь с **благоговением!**

(26 ноября 1947, г. Таллин).

* * *

ПОУЧЕНИЕ В НЕДЕЛЮ 26-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. (ЛУК. 12, 16—21)

В сегодняшнем евангельском чтении Иисус Христос сказал следующую притчу: «Жил один богатый человек, у которого был хороший урожай и который не знал, что с хлебом делать. Он решил — сломаю житницы мои и построю больше. Положу

туда весь хлеб и скажу душе своей: «Ешь, пей, веселись!» Безумный, говорит Господь, «в сию ночь душу твою исхитят у тебя, кому же достанется то, что ты собрал?»

Есть ли среди нас богатый? Нет! А бедные? Есть. В таком случае, может быть, сегодняшнее евангельское чтение к нам не подходит? Нет, друзья мои, подходит! Богатый имел только себя в виду, себе сказал: «Живи, веселись!» Это называется жадностью. Эта жадность есть и у человека, живущего без особого достатка. Жадность есть и у бедного. Может, у тебя есть лишнее — есть достаток, хотя и небольшой — поделись! Тут возникает мысль: «Оставь на чёрный день» — как это у нас говорится, «пригодится!» Но это не такое ещё большое горе! Горе больше, если человек стащит чужую собственность, чтобы свою увеличить, и опять-таки «на чёрный день». Это бывает у нас часто. Воровство часто у нас. Что тут! То же! Жадность! Разве христианин может быть таким вором?

Представим себе, что на дороге лежит кошелек. Кругом никого нет. Твой этой кошелек? Нет, не твой! Не твой — и проходи мимо.

Мне приходилось быть в одном месте на вокзале, где много различных закусок было. Обозначена была цена на них. Человек съел и несёт соответствующую сумму в кассу. Сам несёт. За ним никто не наблюдает. Вот это хороший обычай.

Я слышал другое: одна дама сидела в парке, где забыла свой зонтик. Придя домой, волновалась. Ей говорят: «Пойдите завтра и на том же месте найдёте зонтик». Пошла. Зонтик был на месте. Я думаю, его многие видели!

Человек тащит, чтобы увеличить своё добро за счёт другого. **Но чужое добро в пользу никогда не идёт — это закон.** Потеряешь больше! Чужое добро прожжёт твой карман и высыплется твоё вместе с чужим. Это **ЗАКОН**, друзья мои! Потеряешь больше, чем стащил. Обязательно! Увеличь свой достаток честным трудом! Господь поможет! Может, ты очень многое хочешь? Одет, сыт — будешь! Спаситель говорит: «Ищите прежде Царствия Божие и правды его, остальное всё приложится Вам! Господь может обмануть? Нет! Сдержит,

по-нашему, как бы своё честное слово. «Я даю тебе Евангелие, как бы письмо, в котором как бы в заемном письме сказано: «Ищи Царствия Божие и правды Его, остальное всё приложится тебе. И Я это обязательно выполняю». Не будем же пользоваться чужим имуществом. Господь с ним. Встретишь чужую вещь — пусть лежит! Нужно следить за собой, чтобы жадности не было.

Благословение Господне на вас. Того благодатного и человекоподобным всегда, ныне и присно и во веки веков.

(30-го ноября 1947, г. Таллин).

* * *

ПОУЧЕНИЕ В 27-Ю НЕДЕЛЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (ЛУК. 19, 10—17)

В сегодняшнем Евангельском чтении повествуется о том, как Господь Иисус Христос в праздничный день был в молитвенном собрании. Там была одна большая женщина, которая уже 18 лет страдала. Спаситель исцелил её, и она стала здорова. Это было совершено в праздник, в молитвенном собрании.

Для чего нужен праздник? Для того, чтобы душа могла отдохнуть. Как отдохнуть? Отдыхая, мы обыкновенно оставляем работу. Не работаем. Душа наша не может, чтобы не работать. Она всё время живёт, подобно крови. Кровь всё время в движении. Всё время течёт. Остановится — ведь смерть тогда! Так и душа — всё время живёт! Отдых для души — перемена занятий. Она, работая в одной области для отдыха, должна перейти в другую область занятий. И вот праздничный день и предназначен для того, чтобы душа наша могла перейти на другую какую работу.

Существует заповедь: «Шесть дней работай, а седьмой день — Господу Богу твоему». Эта заповедь требует, чтобы один день из семи дней был бы посвящён празднику. Здесь всем ясно, почему праздник нужен. Нужна перемена занятий, перемена состояний. Вот свойство праздника: дать нашей душе возможность работать в другом направлении, чем в том, в каком

живём обыкновенно. Живём мы в хлопотах, заботах. Занимаемся делами, различными домашними делами. Они, конечно, нужны, пока мы на земле живём, но нужно, чтобы душа переменяла направление занятий. В душе нашей есть потребность перейти на другую работу. Почему? У нас есть театры, кинематографы. Они успешно посещаются. В театре, в кино душа в другой мир переходит, переживёт в этом мире час, два, забудет себя и отдохнёт. Вот почему у нас усиленно посещаются театры, кино. Праздник из глубокой древности установлен, чтобы душа могла перейти в другую жизнь.

Как провести праздник? Заповедь говорит: «По-Божьи». Отрешиться от мира и перейти в другой мир. В какой? В Божественный. Когда душа перейдёт в другой мир, поживёт там, тогда душа отдохнёт. Человек, придя в храм, за богослужением видит образа, слышит песнопения церковные и, несомненно, в другой мир переходит. Несомненно! Другие мысли, чувства появляются и человек отдохнёт. Издревле праздник освящался богослужением, чтобы душа могла перейти в другой мир. Ну, а дальше? Дань-то продолжается? Рекомендуется это настроение продолжать. Читать книги религиозные. Спаситель исцелил. И нам рекомендуется помочь больным. Их много. Часто они в беспомощном состоянии. Есть минута — пойдя. Побеседуй ласково. Почитай анну. У него скука ужасная! (Лежать всё время!) Пойди, подкрепи! Семья бывает какая удручённая, заботы ей тяжелы. Пойди, подкрепи её.

Тогда, когда вы по-праздничному будете проводить время, вы будете обязательно вознаграждены Богом. Он обещает. Бог не обманывает! Он дал как залог — священное Писание — как бы расписку. Бог обмануть не может!

Сегодня, в праздничный день, вы собрались в церковь, получили хорошие чувства и пойдёте с ними в мир. Помогите в праздник, и вам Господь даст помощь, когда нужно будет. Будете иметь мир душевный — он очень нужен. Господь из храма как бы почерпнёт этот мир и даёт душе, и понесёте в дом свой.

(7.12.1947 г.).

* * *

ПОУЧЕНИЕ В 28-Ю НЕДЕЛЮ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ (ЛУК. 18, 13—27)

В сегодняшнем Евангельском чтении повествуется следующее событие.

К Спасителю подошёл один человек, который спросил: «Что мне нужно делать, чтобы иметь жизнь вечную?» Спаситель сказал: «Знаешь заговор? Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, чти отца твоего и мать твою и люби ближнего как самого себя?» Этот человек сказал: «Всё это выполнил я от юности моей». Услышав это, Спаситель сказал: «Если хочешь быть совершенным, продай всё своё имущество и раздай бедным». Юноша поник головой и отошёл. Тогда Спаситель сказал (апостолам, они его слушали): «Как трудно богатым войти в Царство Небесное». Спаситель сказал, что легче верблюду пройти через игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Апостолы спросили: «Кто же тогда может спастись?» Спаситель сказал: «Для людей это невозможно, но для Бога всё возможно».

Вот событие, которое повествуется в сегодняшнем Евангельском чтении. Человек этот не плохой. Хороший. От юности соблюдал заповеди. Спаситель сказал: «Хочешь быть совершенным — отдай всё имущество» (он был богат). Но этого порога не смог переступить. От юности соблюдал все заповеди Спасителя. Не убивал, не прелюбодействовал, не крал, не лжесвидетельствовал, почитал отца и мать. Когда Спаситель указал высшую заповедь — он не мог переступить и отошёл. Впечатление такое: Кто же может спастись?» Спаситель сказал: «Невозможное от людей возможно от Бога».

Приложим к себе. Соблюдаем ли мы заповеди? Например, не убивал. Рукой, может, и не убил, но другой раз слово действительно равносильно убийству. Можем ли мы сказать, что мы никакого слова тяжёлого не произносили? Навряд ли!

Спаситель говорит: «Если ты имеешь плохие мысли, скверны, блудные мысли — ты уже прелюбодействуешь». Кто это может сказать, что никогда не было таких

мыслей и чист от них? Придётся сказать — забегают иногда в душу.

Дальше — не воруй! И это в наше тяжёлое время! Кто свободен от этого? У нас спекуляция. Спекуляция — это в известной форме, мере — воровство, хотя?.. извиняет себя трудностью жизни.

Не лжесвидетельствуй! Не клевети, иначе говоря, не сплетничай! Как сойдутся два-три человека, так пойдут сплетни, пересуды, осуждения.

Чти отца своего и мать свою! Здесь также нужно сказать: «Вспомним честно и откровенно и совесть скажет: «Ты и в этом виноват».

Человек, который сказал: «Всё выполнил» — высокой жизни. Такой высокой жизни человек не смог переступить последнего порога, ибо он любил имущество больше Бога. Между тем Бога нужно любить больше имущества. Этого требует истинная любовь к Богу. Мать, если любит своего ребёнка, всё отдаст для благоденствия ребёнка, даже свою жизнь. Вот любовь! А мы? «Откажись от имущества!» «Нет!» — ибо мы его любим. Не грех, если ты хочешь быть сытым, одетым, обутым. Но, если ты отвержен к земному более, нежели к небесному, — этого нельзя. Однако жизнь с её заботами так охватывает человека, что он только вниз смотрит, а вверх к Богу глаз не может поднять. На вопрос апостолов: «Кто может спастись в таком случае?» Спаситель сказал: «Это возможно от Бога», с Божией помощью. Ведь Спаситель сказал: «Иго Моё благо и бремя, Моё лёгкое есть». «Как же оно лёгкое?» «Я ведь сказал — спастись тебе помогу. Ты и не почувствуешь тяжести своего креста. Я сам понесу твой крест. А ты только придерживаться за него будешь». Богатый или бедный, тяжело тебе — обратись к Богу, молись, и Бог твой тяжёлый крест сделает лёгким, лёгким для тебя. Вот у нас сильнейшее могущественное прибежище! Если у тебя уныние, расслабление, крест тяжёл — прибеги к Спасителю и скажи: «Господи, Ты же Сам сказал: «Иго Моё благо и бремя моё легко» — помоги же мне! И он поможет. Тяжесть твоей ноши, твоего креста облегчит! Ведь Он же обещает. Господь ОБМАНУТЬ никогда не может.

(14 декабря 1947, г. Таллин).

Виктор ЛАНБЕРГ (Таллин, Эстония)

АРСЕНИЙ МАЦЕЕВИЧ — ТАЙНЫЙ УЗНИК РЕВЕЛЬСКИХ КАЗЕМАТОВ (1768—1772)

Митрополит Ростовский Арсений Мацеевич скончался в 1772 году в Ревеле (с 1918 г. — Таллин), после четырёх лет тяжкой неволи в городских казематах. По сей день многочисленные легенды, одна фантастичнее другой, окутывают завесой таинственности годы заключения и кончину митрополита Арсения в Ревеле. Лишь через 100 лет после его смерти предпринимаются первые попытки научно систематизировать разрозненные и запутанные данные о последних годах его жизни, составить некую хронологическую последовательность его драматической судьбы¹.

В 2000 году Арсений Мацеевич был канонизирован Русской Православной Церковью в чине священномученика (День памяти 28 февраля/13 марта). В ходе подготовки акта канонизации и за 120 лет подробных исследований церковными и светскими историками, писателями и журналистами сложилась достаточно полная картина жизни и служения митрополита Арсения. С тем, чтобы их не дублировать, автор настоящей публикации хотел бы начать своё повествование с первого ареста о. Арсения в 1753 году. Тогда в качестве учёного иеромонаха он входил в состав Великой Северной Морской экспедиции В.Беринга по реке Оби для открытия мор-

ского пути из России на Камчатку. В экспедиции о. Арсений вёл ожесточённые вероучительные споры с раскольниками, во множестве населявшими северную Россию. Он стал очевидцем чиновничьего произвола и беззакония, которым подвергалось духовенство на Севере России и в Сибири. Позднее, будучи уже митрополитом Тобольским, он пишет в своих донесениях св. Синоду о злоупотреблениях со стороны канцелярии Главного правления сибирских и казанских заводов в отношении к духовенству *«Бедное священство гоняют, куют и бьют, яко злодеев, и преследуют без меры, не яко о правде некущееся, но яко сами, любоимения страстью одержимы суци, ищут себе всякими неправедными вымыслами приобретения»*². Во время путешествия, на основании некоего тайного доноса, о. Арсений впервые был взят под стражу и доставлен для проведения дознания в Петербург, но был признан невиновным. Тем не менее, этот арест отметил начало беспощадного противостояния власти и церковной совести, от лица которой решился выступить митрополит Арсений; противостояние, итог которому он подведёт в ревельской башне «Толстая Маргарита», нацарапав на стене каземата «Благо мне, яко смирил мя еси...».

- 1 Профессор Петербургской духовной Академии Н.Барсов «Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский». Русская старина, №15, 187 г. Петербург; А.Brückner „Katharina die Zweite“, 1883. J. Berlin. Профессор Киевского университета В.Иконников «Арсений Мацеевич. Историко-биографический очерк». Русская старина, №24. 1879 г.; И.Морошкин «Обзор литературы об Арсении Мацеевиче». «Юбиліограф. Вестник литературы, науки, искусства», 188 г. Петербург; И.Морошкин «Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский, в ссылке 177—1772 г. Исторический очерк по вновь открытым материалам». Русская старина. Ежемесячное историческое издание. 1885 г. Петербург; С.А.Венгеров, Критико-Биографический словарь русских писателей и учёных (от начала русской образованности до наших дней), том I. 1889 г. Петербург.
- 2 Православная энциклопедия, т. III, стр. 388, М., 2001.

«ЮЛИАН ОТСТУПНИК»

10 февраля 1742 года митрополит Арсений отбыл в Москву на коронацию императрицы Елизаветы Петровны, где получил указ о назначении в члены Синода с одновременным переводом на Ростовскую кафедру, во главе которой он стоял 20 лет, до второго ареста в марте 1763 года.

Сразу после назначения в должность митрополит Арсений вступил в острый конфликт по вопросу о неприкосновенности духовенства светскому суду (в т.ч. из-за принуждений к нарушению тайны исповеди) сначала со св. Синодом, а потом и с Сенатом. Отказался присягать по принятому тогда уставу; и не желал принимать инвалидов, приписанных властями к монастырям на попечение и содержание. 17 ноября 1742 года Новгородский архиепископ Амвросий Юшкевич и Ростовский митрополит Арсений Мациевич подали императрице Елизавете записку, в которой горько жаловались на *«нашу святейшую экономию»*, которая, *«презря закон христианский, до утварей церковных добра-лась... ниже у турка столько Церковь наша страждет, сколько у нас в России»*. Это был первый открытый протест русских иерархов против синодальной системы управления Церковью. По утверждению биографа митрополита Арсения, протоиерея М.Попова³, митрополит — последний противник церковной реформы Петра I — словом и делом вёл он ожесточённую борьбу с раскольниками и насаждением лютеранства в России. Только вмешательство императрицы Елизаветы спасло митрополита Арсения от сурового наказания и заточения в монастырь.

Если благодушная императрица Елизавета хотя бы терпимо относилась к православной церкви, то с восшествием на престол Петра III (Karl-Peter-Ulrich Herzog von Holstein) положение православной Церкви в России резко ухудшилось. За 183 дня своего царствования вялый, едва изъясняющийся по-русски

Пётр III успел принять закон, уравнивавший в правах лютеранскую и православную Церкви; им же был утверждён закон о переходе церковного имущества в собственность государства. Екатерина II (Sofie-Frederika-Augusta Prizessin von Zerbst-Anhalt), восшедшая на русский престол, несмотря на данные ею обещания не трогать земельную собственность православной Церкви, продолжила церковные реформы низложенного ею и убитого по её согласию мужа.

В 1763 году сформированная по указу императрицы духовная комиссия по инвентаризации церковного имущества и передаче его государству приступила к работе. Именно с этого момента митрополит Арсений начинает открыто выступать против разорения и разрушения православной Церкви. Уже 9 февраля 1763 года на торжественном богослужении в Ростовском кафедральном соборе, при большом стечении духовенства и народа митрополит Арсений прямо в алтаре проклял всех врагов Церкви, её разорителей и обидчиков и громогласно молил, чтобы память о них и сами имена их были стёрты из книги жизни. Хотя имя императрицы прямо не называлось, всем собравшимся и без того было ясно, что речь идёт, прежде всего, о Екатерине II. Об этом событии было немедленно доложено императрице. Вторым шагом, который предпринял митрополит Арсений, стало его письменное обращение к Синоду от 6 марта 1763 года, где он выражал резкий протест против отторжения земли и другого имущества от православной Церкви. Императрица сочла письмо за личное оскорбление и велела учинить над мятежным митрополитом суд св. Синода. Но прежде чем посланный за митрополитом офицер из Москвы доехал до Ростова, Арсений успел 15 марта направить в Синод ещё одно письмо, где он, сравнив Екатерину с Юлианом Отступником и Иудой, наносит ей оскорбление, которое будет преследовать императрицу до конца жизни.

3 Протоиерей М.Попов «Арсений Мациевич, митрополит Ростовский и Ярославский», 1905 г. Петербург.

Решение Синода, утверждённое с некоторым смягчением Императрицей, было оглашено 12 апреля 1763 года. Этим решением митрополит Арсений лишался своего духовного звания и уже простым монахом был отправлен в заключение в Николаевский Карельский монастырь неподалёку от Архангельска. Там он провёл четыре года, пока в 1767 году вновь не был взят под стражу за мятежные разговоры с монахами и караульными солдатами. В ходе проведённого в Архангельске расследования выяснилось, что о. Арсений высказывал сомнения по поводу прав Екатерины II на российский трон (*«императрица Екатерина II наша не природная, да и не тверда в законе нашем, и не надлежало ей престола принимать»*). На этот раз Екатерина II велела расстричь о. Арсения из монахов, одеть его простым мужиком, лишить его имени, именовать отныне «Андрей Враль» и выслать на вечное поселение в ревельскую крепость. С этого момента дальнейшая судьба митрополита Арсения почти неразличима сквозь глухую завесу тайны, о сохранении которой все годы его заключения лично заботилась Екатерина II, и возможно догадаться, почему она выбрала для его заключения именно Ревель.

Большинство исследователей считают, что выбор Екатериной II ревельской крепости для содержания такого важного и особо опасного преступника был обусловлен соображениями, что среди чужого народа, под присмотром охранников-инородцев можно было не бояться, что кто-то проявит к русскому узнику сочувствие или замыслит его побег. Как это было, к примеру, в монастыре, где монахи, караульные солдаты и сам настоятель попали под влияние опального митрополита, забыли свой долг, а некоторые даже брали благословение у низложенного иерарха. Чтобы в Ревеле по-

добного не повторилось, императрица составила инструкцию, согласно которой и комендант крепости, и караульные солдаты должны были быть из немцев и не владеть русским языком⁴. Но именно этот аргумент кажется наименее убедительным либо Екатерина II просто не знала, что митрополит Арсений был выходцем из Южной Польши и до 18 лет учился в академии Лемберга (Львов), где изучал теологию, философию, математику, медицину, право, историю искусств, т.е. дисциплины, изучение которых без знания немецкого языка в то время было невозможно. А в 19 лет он, приняв монашеский постриг в Новгород-Северском монастыре, преподаёт там же латынь. Кроме того, ведя ожесточённую полемику с лютеранами в России⁵, митрополит Арсений должен был читать в оригинале вероучительные источники лютеранства. Таким образом, гипотеза непреодолимого языкового барьера для митрополита Арсения в Ревеле вызывает сомнения. Убедительней выглядит намерение Екатерины II воспользоваться суетой и неразберихой, вызванными началом масштабного строительства и ремонта ревельских оборонительных укреплений в 1766 году⁶. При большом скоплении приезжего строительного люда доставка в город тайного узника должна была, по плану Екатерины, пройти незамеченной. Видимо, именно поэтому выбор пал на Ревель, а не на Выборг или Нарву, как первоначально планировала императрица⁷. Но и здесь план императрицы оказался не идеальным, — как мы увидим позже, утаить прибытие тайного узника в Ревель не удалось...

Обращает на себя внимание та поспешность, с которой арестанта перевозили из Архангельска в Ревель: 2000 вёрст арестантский разъезд преодолел за 12 суток, т.е. по 170 вёрст в день. Единственная остановка на 5–6 часов была сделана в Вологде

4 Попов «Русская старина» №46, стр. 61–70.

5 Возражение на пасквиль лютеранский, нареченный Молоток на книгу «Камень Веры», который Молоток показался быть восковой, яко воск от лица огня, сиречь от Слова Божия и самая истины, исчезнувший. (1746–1748). Семь поучений. — М., 1742–1743.

6 Tallinna Linnaarhiiv, B.S. 4 ja B. R. 45.

7 Попов «Русская старина» №45, стр. 215.

1 января 1768 года. Поменяли конвойное сопровождение, лошадей и дальше мчались без остановок до самого Ревеля. Для большей секретности его везли в закрытой повозке; ни начальник конвоя, ни конвоиры не знали, кого они везут и где конечный пункт их маршрута. Было строго запрещено разговаривать с арестантом, что-то брать от него или передавать ему. Если же заключённый попытается сам вступить в разговор, то велено было ему не верить, а обо всём им сказанном доносить генерал-прокурору князю Вяземскому.

КАМЕННЫЙ КЛЯП

8 января 1768 года комендант Ревеля F. G. v. Tiesenhausen рапортовал князю Вяземскому в Петербург, что «доставленного человека» он принял, заточил в каземате под охрану гарнизонного офицера с конвоем. На следующий день по прибытии становится известно, что арестант, измученный и ослабленный долгой дорогой, тяжело заболел. Врач, допущенный к больному в каземат, личной подписью подтвердил клятву в том, что под страхом казни, до самой смерти он никому не откроет ни тайну своего посещения каземата, ни имени заключённого.

Вскоре F. G. v. Tiesenhausen получает от императрицы тайную инструкцию, согласно которой запрещалось разговаривать с арестантом и когда-либо выпускать его из каземата. Запрещалось также подпускать посторонних близко к месту заключения узника. Даже бельё заключённого нельзя было выносить для стирки за пределы каземата. Караульные солдаты сами стирали его в маленькой каморке около камеры. Через шесть месяцев с начала заключения митрополита Арсения в Ревеле начальник караульной службы прапорщик Густелев получил суровое взыскание от коменданта города за то, что тот бывает в деревне, чем подвергает тайну каземата опасности разглашения. Не только узнику, но и его

охранникам запрещено было иметь при себе перья, грифели, бумагу или бересту. Но главный запрет налагался на общение с узником. На этот случай у охранников под рукой всегда имелся кляп. По инструкции этим кляпом следовало пугать заключённого, но рот им всё-таки не затыкать. По указанию императрицы, относиться к узнику следовало строго, но без грубости, кормить достаточно, но без излишеств. Сначала на содержание митрополита Арсения из казны выделяли по 10 копеек в день, с апреля 1769 года расход на довольствие увеличился до 15 копеек. Во время его заточения в монастырь в Сибири каждый день содержания под стражей монаха Арсения обходился казне в 2 копейки.

КАЗЕМАТЫ

По сей день загадкой остаётся точное место заключения митрополита Арсения в Ревеле. Не известно: было оно единственным или узника содержали в разных тюрьмах города. Согласно мнению большинства исследователей, каземат митрополита Арсения находился в башне Харьюских ворот⁸. Но наряду с этим встречаются упоминания о малой сторожевой башне напротив Толстой Маргариты, каземате в Бременской башне рядом с Никольской церковью⁹. Нужно заметить, что в то время все упомянутые башни имели тюремные камеры и глухие подвалы. Именно на стене каземата в башне Толстая Маргарита была обнаружена надпись: «Благо мне, яко смирил мя еси», авторство которой приписывается митрополиту Арсению. Согласно немецким источникам митрополит Арсений мог содержаться в подземелье Ингерманландского бастиона, который примыкал как раз к башне Харьюских ворот и имел с ней подземное сообщение¹⁰.

Не исключено, что Екатерина II, желая ещё больше запутать следы пребывания опального митрополита в Ревеле, распорядилась время от времени менять место

8 Н.Закревский «Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Московском университете», Москва, 1862 г.

9 М.Попов «Путеводитель по Ревелю», 1899 г.

10 Deutsche Monatsschrift für Russland II, стр. 918.

его заключения. В пользу этой гипотезы говорит то обстоятельство, что Инженерная команда Ревеля обращается 29 октября 1767 года¹¹ к Магистрату с письмом, в котором просит передать в своё пользование башни Харьюских и Тоомпеаских ворот «для хранения в них секретных объектов».

Магистрат в ответном письме от 3 ноября того же года даёт на это своё согласие¹² с оговоркой, что срок подобного использования башен является временным, «пока не исчерпает себя сама потребность такого использования». До того в башнях располагались квартиры городских чиновников, переселение которых в новые квартиры было для городских властей делом хлопотным и накладным. Несмотря на это, магистрат даёт своё согласие, почти не раздумывая, на четвёртый день после обращения Инженерной команды. А через полтора месяца, т.е. сразу после доставки митрополита Арсения в Ревель, Инженерная команда просит город передать в своё пользование «для хранения в ней секретных объектов» башню Kik in de Kõk¹³.

В пользу башни Харьюских ворот как места заключения особо опасных мятежников говорит запись¹⁴ в венчальной книге церкви св. Николая (St. Nicolaikirche zu Reval), сделанная на полях в конце 1767 года о том, что по Высочайшему соизволению в ночь под Новый год в башню Харьюских ворот был тайно заточён епископ Краковский за участие в мятеже¹⁵. Однако комендант Ревеля сообщил в Петербург, что узник был доставлен в Ревель 8 января, т.е. на неделю позже, чем указано в венчальной книге. Возможно, расхождение в датах тоже является частью экзальтированной мистификации екатерининского плана. Или до 8 января «некий арестант» содержался в подземелье Ингерманландского бастиона и лишь по болезни был переведён в башню над Харьюскими воротами.

Русские исследователи считают, что митрополит Арсений скончался в малой башне Морских ворот, прежде всего, потому, что, как утверждает, например, Иван Морошкин (1886 г.), именно в этой башне на стене каземата рукой митрополита было начертано: «Благо мне, яко смирил мя еси...» или, по другим данным, — «Благо мне, яко смирил мя еси, Господи». Но дату написания этих слов установить невозможно. Как и точную дату и место кончины священномученика. Через три года после смерти свщч. Арсения, в 1775 году в магистрате появляется акт о возврате городу башни у Харьюских ворот, поскольку содержавшееся там «известное лицо» (eine gewisse Person), здесь же и скончалось¹⁶. Остаётся неясным, почему акт о возврате башни составлен только через три года после официальной даты кончины узника.

Не приходится сомневаться лишь, что «неизвестное лицо» есть ни кто иной, как митрополит Арсений, чьё имя запрещалось упоминать даже после его смерти.

ФИЛОСОФ НА ТРОНЕ

Екатерина, создавая глухую тайну вокруг судьбы митрополита Арсения, предусмотрела, казалось бы, всё. Но она не понимала, на высоту какого подвига в глазах этого народа возводит она своего врага и обличителя. Впрочем, это мало её тревожило. Единственное, что её удерживало от убийства митрополита Арсения, так это сохранение лица в глазах европейских друзей по переписке. Как известно, Вольтер называл Екатерину «блистающей звездой Севера, философом на троне». Правда, не бескорыстно — значительную часть доходов Вольтера составляли пожертвования Екатерины. И что бы сказал Вольтер, узнав, что «северная звезда» казнила самого образованного митрополита в

11 Tallinna Linnaarhiiv B. S. 4.

12 Tallinna Linnaarhiiv. Protocollum publ. 1767, S. 293-295; Concepten de anno 1767, S. 131.

13 Tallinna Linnaarhiiv B. S. 4.

14 Хранится в Tallinna Linnaarhiiv.

15 O. Undriz. "Vor 150 und mehr Jahren", "Silvester. St. Nicolaikirche zu Reval", 1929, J.

16 Tallinna Linnaarhiiv. Protocollum publ. 1775, S. 132, 180, 214, b. Q. 76.

империи? Заточив его в монастырь, она спешит объясниться перед Вольтером в своём письме к нему от 11-го (22-го) августа 1765 года: *«Люди, подвластные церкви, страдая от жестоких нередко притеснений, к которым ещё более способствовали частые перемещения их духовных господ, возмутились в конце царствования императрицы Елисаветы Петровны, и при моём вступлении на престол их было более ста тысяч под ружьём. Вот почему я, в 1762 году, выполнила план — совершенно изменить управление именными духовенства и определить доходы лиц этого сословия. Арсений, епископ ростовский, воспротивился тому, подстрекаемый некоторыми из своих собратьев, которые заблагодарзудили скрыть свои имена. Он отправил две записки, в которых старался провести нелепое начало двоевластия. Он сделал эту попытку уже при императрице Елисавете: тогда удовлетворялись тем, что приказали ему молчать; но когда его дерзость и безумие ещё усилились, то он был судим митрополитом новгородским и всем синодом, осуждён как фанатик, виновный в замысле, противном как православной вере, так и верховной власти, лишён сана и священства и предан в руки светского начальства. Я простила его и удовлетворялась тем, что перевела его в монашеское звание»¹⁷*. Трудно поверить, что этот жеманный лепет про «более ста тысяч» вооружённых попов написан рукой грозной и жестокой властительницы Российской империи.

И Вольтеру не оставалось ничего другого, как только поверить всем гуманным

глупостям и ужасным ужасам из письма своей ученицы и рассказывать многочисленным почитателям в Европе о безмерном великодушии «философа на российском троне». Ведь Вольтер понимал сакральную мистику православного Царства ещё меньше, чем Екатерина. Тем более, она «простила его и удовлетворялась тем, что перевела его в монашеское звание»...

На самом деле её жажда мести не могла удовлетвориться ничем. Каждый месяц она получала от коменданта Ревеля письменный отчёт о поведении тайного узника. После смерти коменданта города Tiesenhausen'a в июле 1770 года исполнять его обязанности был временно назначен плац-майор А. Hübener. А главным надзирателем стал русский капитан А.Бирюков, который будто бы оказывал узнику большие послабления. Он разрешил местным русским посещать митрополита, а ему самому даже бывать в церкви¹⁸.

25 января 1771 года новым комендантом Ревеля Екатерина назначила генерал-лейтенанта J. V. Von Benkendorf'a. Приказ о назначении сопровождало секретное письмо императрицы, в котором она велит Benkendorf'у тщательней стеречь «Враля», дабы «птичка» не вылетела из клетки и не учинила новых беспокойств. История последнего года жизни свщмч. Арсения особенно запутана и насыщена множеством легенд. С одной стороны, биограф митрополита И.Морошкин¹⁹ утверждает, будто весной 1771 года митрополит Арсений некоторое время находил-

17 "Oeuvres de Voltaire, edition Beuchot", t, LXII, p. 411. "Les sujets de L'Eglise souffrant des vexation souvent tyranniques, auxquelles les frequents changements de maitres contribuainet encore beaucoup, se revol-terent vers la iin du regne de l'imperatrice Elisabeth, et ils etaient, a mon avènement, plus de cent mille en armes. C'est ce qui fit gu'en 1762 j'executai le projet de changer entiereu l'administration des biens du clerge, et de fixer ses revenus. Arsene, evegue de Eostof, s'y opposa, pouesse par guelgues uns de ses confreres, qui ne trouverent pas a propos de se nommer. Il envoya deux memoires ou il voulait etablir le principe absurde des deux pussances. Il avait dej&fail cette tentative du temps de l'imperatrice Elisabeth; on s'etait contente de lui imposer silence; mais son insolence et sa folie redoublant, il fut juge par le metropolitain de Novogorod et par le synode entier, condamme comme fanatique, coupable d'une entreprise contraire k la foi orthodoxe autant gu,au pouvoir souverain, dechu de sa dignite et de la preitrise, et livre au bras seculier. Je lui fis grace, et je me contentai de le reduire a la condition de moine". Русская старина, 1875. — Т. 14. — №14. — С. 587–588.

18 М.Попов «Чтения», стр. 248–250. 1862 г. Петербург.

19 «Русская старина», №46, стр. 82–83.

ся в заключении в крепости Dünamünde под Ригой; с другой стороны, протоиерей М. Попов пишет²⁰, что в Петербурге состоялся над митрополитом Арсением третий процесс, который обошёлся казне в 500 (!) рублей; якобы процесс оказался для Екатерины проигрышным, почему все материалы по нему позднее были сожжены. В народе по сей день жива легенда о подготовке побега узника в Англию, о невыносимых муках голода и холода, которые он терпел в последний год своего заточения, и криках о помощи, которые слышали горожане из-за стен башни...

Безусловным фактом является то обстоятельство, что Benkendorf приказал замуровать узника в каземате и ограничить его потребности в еде и одежде. Последствия подобного рвения не заставили себя ждать. 26 февраля 1772 года митрополит Арсений тяжело заболевает и просит прислать к нему духовника. Священник Никольской церкви Савва Кондратьев подписью скрепил страшную клятву в том, что не будет спрашивать имени узника и до самой своей смерти сохранит тайну каземата. Через два дня после соборования и причащения Святых Таин, ранним утром митрополит Арсений скончался и в тот же

день был похоронен в церкви Святителя Николая. Его «рухлядь» раздали нищим, пять священных книг достались его последнему исповеднику, о. Савве.

В последнем рапорте Екатерине сообщалось, что «некоторый Враль» скончался и предан земле. Вся переписка и прочие документы, касающиеся заключения митрополита Арсения в Ревеле, сразу после его смерти были собраны и отправлены в Петербург по требованию императрицы.

ЛАМПАДА

В 1822–1827 г.г. на месте старой деревянной церкви Святителя Николая в Ревеле возвели новый каменный храм. Могила митрополита Арсения оказалась под правым приделом. К 235-летию со дня кончины священномученика Арсения Мацеевича у северной стены Никольской церкви в Таллине установлен памятный ковчежец из белого доломита с иконой святого мученика внутри. В нише теплится красная лампадка — образ Вечного света, символ духовного союза с Церковью, которому митрополит Арсений остался верен, претерпев до конца.

²⁰ М. Попов «Чтения», стр. 251. 1862 г. Петербург.

Валентина СИЙГ (Таллин, Эстония)**СТОЯЛИ СОСНЫ, КАК ВО СНЕ...**

Художнику Василию Гречко — 70!

В этом году таллинский живописец Василий Гречко отметил своё 70-летие. И — уж так совпало — 40-летие творческой деятельности. Это весьма условная дата, ибо творчеством, т.е. рисованием, он занимается с трёх лет.

Сколько работ создано им за сей период, он затрудняется сказать. Да ведь разве магия творчества измеряется количеством?

Можно написать только «Троицу» и на века остаться Андреем Рублёвым. А можно каждый день что-то писать, разгоняя строку, или петь новую песню по принципу, «что вижу, то пою», но остаться акыном.

Картины Василия Гречко не требуют этикетки. Их узнаёшь сразу и безошибочно. Потому что визитная карточка художника — его индивидуальность.

Есть что-то загадочное в классической простоте его пейзажей: то ли тоска, то ли боль. Но, пожалуй, благодаря именно этой загадочности художнику удаётся создать ощущение того, что только природа во всей своей красоте и беззащитности может спасти человека от разрушения.

Таллинские любители изобразительного искусства, посещающие Художественную галерею Центра русской культуры, называют Василия Гречко эстонским Шишкиным. Это заблуждение.

— Шишкин? — смеётся юбиляр. — Он же великий певец русской природы. Академик, мастер литографии и офорта. А я свои «университеты» начинал в студии. Знаете, с чего? С рисунка гипсового уха... И потом, скажите, где сегодня в Эстонии можно найти такой девственный лес, как у него? Ведь вокруг такая дурь запустения, что надо часами бродить по кочкам, чтобы встретиться, наконец-то, с шишкинскими сосенками. В лесу нет хозяина. Больно видеть, как он умирает... Шишкин ведь как работал? Приходил на поляну, ставил мольберт и писал картину того великолепия, которое видел вокруг и которым наслаждался.

Василий Гречко знает, что говорит. Он живёт тихо, уединённо, вдали от шума городского — на самой окраине леса. Живёт в доме, который от первого до последнего кирпича построен его руками и руками его жены Гали — женщины редкостной жизненной стойкости и терпения. Сколько лет, сколько зим они строили свой дом, поселившись в ветхом деревянном сарайчике, как завербовались на Север, чтобы заработать на него, — сюжет для отдельного рассказа.

Как у каждого одарённого художника, какими бы «измами» он ни увлекался, у Василия Гречко свой мир, своя верность художественным принципам. Он не чувствителен к суете сует. Равнодушен к тому, что будут говорить о его работах коллеги. И, главное, в отличие от многих из них, «задрал штаны», никогда не бежал за модой. Хотя мода нынче — всему голова...

Модный художник, модный политик, модный писатель, парикмахер, историк...

Как вездесущи и расторопны те, кто подвержен её соблазнам, для кого сей эпитет стал чуть ли не эталоном особых ценностей таланта.

Но ведь у моды нет ценностей. У неё есть только бренды. В отличие от стиля, эта искусительница слабых душ всегда готова отречься от своих вчерашних предписаний, поменять «минусы» на «плюсы», чёрное — на белое, маски — на лики. Словом, готова на всё, чтобы услужить тем, кто хорошо платит. Не случайно же мы нередко с трудом узнаём иных своих вчерашних кумиров, друзей, товарищей.

«Искушение» — одна из древнейших тем в истории мирового искусства, пришедшая к нам из свидетельств Ветхого и Нового завета. Ведь неспроста же в Книге книг зафиксирована информация о «райских кушах», где сатана склонил к грехопадению Адама и Еву?.. Об искушении Христа в раскалённой пустыне, где Сын Божий провёл 40 дней без еды и воды, одержав победу над дьяволом, обещавшим бросить к его ногам «все царства мира и славу их», если он отречётся от своего Небесного Отца... Об убийстве Каином брата Авеля?..

Но, как известно, история учит только тому, что ничему не учит.

Искусители, искушаемые, кумиры и их холопы. Они не уходят со сцены. Сатана — он же чёрт, дьявол, демон, люцифер, падший ангел и т.д. и т.п. — по-прежнему правит свой бал, вовлекая в него всё новых персонажей. То есть тех, кто всегда готов попасть в струю, быть в авангарде любого поветрия... Бес не дремлет. Он рядом с нами, стоит лишь оглянуться вокруг.

...Судя по разнообразию выставочной палитры, художественная жизнь в эстонской столице не затихает, несмотря ни на что. И русскоговорящие художники — следует отдать должное данному обстоятельству — имеют возможность время от времени показать зрителям свои работы. И не только показать, но и «хорошо посидеть», поговорить о «высоких ценностях» искусства, своих проблемах и вообще — о наболевшем.

Но как-то не получается общего разговора. Каждый — сам по себе. Кто-то, приспособившись к рыночному спросу, потерял своё лицо, стал «типичным представителем» давно погасших «звёзд». Кто-то играет роль первооткрывателя неких новых течений и даже «стилей». Что забавно уже хотя бы потому, что стиль придумать невозможно: однажды возникнув, он продолжает жить в произведениях других авторов, в других эпохах. Ведь стиль — это личность художника, его философия, кредо, мироощущение.

«Творческий человек защищён неким магическим кругом, который не только не выпускает за свою черту, но и не выпускает заключённого в нём художника»...

Так говорил когда-то нам, студентам Ленинградской академии художеств, наш обожаемый профессор Алексей Николаевич Савинов. И мы аплодировали ему.

Магический круг... Кого он защищает сегодня?

— Я никогда не жил за счёт своих картин, — говорит Василий Гречко. — Всю жизнь где-то работал, не отказывался ни от какого физического труда. Сейчас у нас с женой пенсии. На них, конечно, не разгуляешься. Приходится учитывать свои возможности. Как же иначе?

— А живопись? Почему она вас не кормит?

— Да, знаете, нет во мне этой коммерческой жилки. Мне интересней написать работу, чем потом толкаться где-то, пробивать её, продавать. Тут требуются другие способности. Это — не для меня.

Он упорно идёт своей дорогой. Он неподвластен моде. У него свой мир, свой почерк, свой круг тем. Он любит писать сосновый лес. Но не вообще — лесные дали, а его «портреты» крупным планом.

Лес у него то задумчивый, таинственный, отстранённый от человека, то манящий ползаросшими тропинками, то гнетущий, угрюмый, беспомощный, жестоко истребляемый человеком, но всё ещё прекрасный, несмотря ни на что.

Мы сидим с художником во дворе его дома. Рядом, как во сне, стоят сосны. Светит солнце. Тихо шепчет о чём-то окружающий нас плотную лес. Супруга художника Галя деликатно покидает нас, «чтобы приготовить кофе».

Большой лохматый пёс хрипло облаивает меня и гремит цепью, всячески демонстрируя свой крутой нрав. Но, увидев, что хозяин не реагирует на его бдительность, растянулся на траве у своей будки и, поворчав ещё немного, стал прислушиваться к нашей беседе.

Честно говоря, мне хотелось начать её издалека. С того, что такое вообще живописный талант? Почему, как недоумевал в начале прошлого века выдающийся русский

художник и историк изобразительного искусства Александр Бенуа, мы вот уже столько веков приходим в восторг от самодовольных физиономий голландских бюргеров? От чёрного сукна их одежд, когда эти одежды написаны кистью Франса Хальса? Отчего нам кажутся «прелестными» шуты и карлики при дворе Филиппа II, увековеченные Веласкесом? Почему упиваемся серостью унылой комнаты его же «Менин»? Почему нас так умиляет простенький пейзаж на фоне картин Тициана? А какая-то дрянная кофточка натурщицы, изображённой кистью Коро, вызывает в нас истинное восхищение?..

Но было так уютно сидеть в этом дворе, слушать дыхание леса и наслаждаться видами живого повседневно, что не хотелось углубляться в вечные вопросы, на которые всё равно никто не знает ответа. Потому что тайна мастерства не поддаётся аналитике.

Робко высунувшись из сарая и оглядевшись вокруг, к нам прихромали две старые курочки.

— Ну, идите, идите сюда, — приветствовал их Василий. — Они боятся ястреба и не высовываются из сарая, если нас с Галей нет во дворе. Старенькие, но, как видите, цепляются за жизнь.

За проволочной оградой бродили овцы, пощипывая травку. Один любопытный ягнёнок долго присматривался к нам, потом просунул голову через ограду, желая понять, что здесь происходит.

— Ваше поголовье?

— Это гости с соседского хутора, — пояснил художник. — Они тут чувствуют себя полными хозяевами. Их владелец даже предложил мне снять проволочное ограждение, чтобы его стадо бродило у нашего крыльца. Этих ребят у него — несколько тысяч.

— Вы местный?

— Увы, пришлый. Моя мама — немка, отец — кубанский казак.

И Василий стал рассказывать свою историю. О бабушке и дедушке по материнской линии — немцах, живших в Саратовской области, где он родился, и почти не знавших русского языка. О немецкой школе. О том, что он начал рисовать с самого детства. Как пришла к ним война, на которой погиб его отец. Как немцы насильно погрузили его семью в эшелон и отправили в Германию, где затем русская армия освободила их и снова вернула в Россию.

После войны Василий с матерью и двумя сёстрами очутился на Кавказе, где их приютил старший брат погибшего отца. А бабушка с дедушкой были сосланы на поселение в Красноярский край и оказались там по соседству с эстонцами. Именно в тех краях мать художника, приехавшая навестить своих стариков, познакомилась с симпатичным эстонцем Ф.Роосом и вышла за него замуж. Учитель по образованию, бывший соратник В.Кингисеппа, этот человек бежал в Сибирь после расстрела В.Кингисеппа буржуазными ищейками и прятался там от преследования. А в 1956 году вернулся в Таллин со своей новой семьёй.

Так В.Гречко стал жителем Эстонии. Не правда ли — типичная истории «русского оккупанта», «завоевателя», «поработителя» и... как там ещё?

В 17 лет Василий пошёл в отдел кадров на судоремонтный завод. Рабочий путь начинал с ученика электрика. Затем, выяснив, что в Таллине есть Художественный институт, записался в подготовительную студию, чтобы поступить в него. Самое удивительное, что через пару лет он поступил в этот институт.

— Какое же это было счастье! — сияет Василий.

Он до сих пор не может без волнения вспоминать тот день после последнего экзамена, когда узнал, что его рисунки, наброски, эскизы очень понравились замечательному эстонскому художнику Ильмару Киму, в ту пору завкафедрой отделения живописи. По решению маэстро он оказался в числе четырёх счастливых, принятых на его отделение.

Сегодня невозможно представить энтузиазм, с которым студент В.Гречко, отработав ночную смену дежурным электриком завода, каждое утро, как на праздник, приходил в Художественный институт. Откуда бралась та энергия?

— Знаете, тогда ведь вокруг царила такая атмосфера всеобщего энтузиазма, было так интересно жить, открывать мир, что мы не знали усталости. Я впитывал каждое слово педагога. Уроки этого классика эстонского изобразительного искусства, его советы, замечания, оценки моих работ, его отношение к творчеству и сегодня важны для меня и актуальны, — задумчиво говорит художник.

— Что вы считаете своим достоинством в живописи?

— Уважение к природе, способность чувствовать её боль и каждый раз по-новому воспринимать её красоту. Раньше, чтобы встретиться с ней, мне приходилось куда-то ехать. Сейчас она, матушка, сама пришла ко мне — вот она, рядом. Но от этого только возрастает чувство ответственности.

— А ваш недостаток как художника?

— Я всегда недоволен тем, что написал. В живописи надо уметь вовремя поставить точку. Но мне всё хочется что-то переделать, добавить, уточнить. Ведь, к примеру, охра осенней травы или ультрамарин неба, написанные на пленэре, выглядят совершенно иначе, чем когда их дописываешь в мастерской. Не тот цвет, не то освещение, не та атмосфера. Вот и приходится ловить момент, снова и снова возвращаться на то же место. Чтобы не было фальши, понимаете?

— А кто для вас судья?

— Да ведь в том-то и дело, что самый суровый судья себе — я сам...

Что к этому добавить? Остаётся лишь пожелать успехов и вдохновения этому талантливому мастеру. А зрителям — новых встреч с его творчеством.

Йохан Бэкман
«БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ». ИСТОКИ И СУТЬ
КОНФЛИКТА ВОКРУГ ПАМЯТНИКА В ЭСТОНИИ

Johan Bäckman. "Pronssisoturi. Viron patsaankiistan tausta ja sisältö". — Tallinna, OÜ Tarbeinfo, 2008, 381 s. (на финском языке).

Йохан Бэкман (1971), доктор наук, социолог и криминолог, доцент и преподаватель университетов Хельсинки, Турку и Йюэнсуу (Финляндия), автор ряда фундаментальных книг на тему политической социологии и социальных конфликтов.

Финский учёный и исследователь Йохан Бэкман написал объёмную и очень содержательную книгу «Бронзовый солдат. Истоки и суть конфликта вокруг памятника в Эстонии», которую выпустило на финском языке в Таллине издательство «Тарбеинфо». Представление книги состоялось в Таллине 22 сентября 2008 года, в день празднования знаменательной даты — освобождения Таллина от немецких оккупантов и нацистов в 1944 году. Весть о выходе книги взбудоражила эстонскую и финскую общественность за пару недель до события. Местные средства массовой информации заполнили до истеричности злобные сообщения и комментарии в адрес книги, её автора и издателя во главе с руководителем Русской писательской организации Эстонии, секретарём правления Союза писателей России В.Н.Илляшевичем... Как из рога изобилия сыпались эпитеты и оскорбления, обвинения в «антиэстонскости», «провокации», «подлоге», «происках Москвы» и давно уже несуществующем КГБ. Никто книги ещё прочитать не успел, зато гораздых «прокомментировать» нашлось множество...

* * *

Из разговора обывателей...

- Как это, такой-сякой Илляшевич посмел выпустить антиэстонскую книжку?!
- Антиэстонскую? А ты её вообще в руках держал?
- Нет, не успел...
- Я тоже не успел прочитать и даже ещё не видел. Так о чём мы будем говорить?

* * *

Признаться, подобная лавина злых «комментариев» по поводу того, чего никто ещё не видел и про что ничего не знал, бывает редко. Те, кому нужно было загодя создать негативное общественное мнение через прессу, очень старались. Ведущий популярной телепередачи на Эстонском ТВ «Очевидец» Ливен-Михкель Кярмас вызвал Йохана Бэкмана в Таллин для интервью за неделю до представления книги, исходил нелицеприятными и просто оскорбительными обращениями к гостю из Финляндии. Было даже неловко от такой «журналистики». Талантливый создатель передачи, эстонский тележурналист Вахур Керстна, оставивший год назад своё детище на попечение Кярмаса, вряд ли до такого опустился бы. В воздухе буквально витала атмосфера ангажированности и политического заказа. «Вы, что, были пьяны, когда писали книгу?», — стебался Кярмас.

«Да, я действительно считаю, что никакой оккупации Эстонии не было ни до войны 1941 года, ни после, в 1944 году», — спокойно, предельно вежливо, но твёрдо отстаивал свою точку зрения финский учёный и ссылался на аналогичные утверждения других финских исследователей — известной журналистки и публициста Леэны Хиетанен, автора строго документальной книги «Холодная война Эстонии» ("Viron kylmä sota". — "Werner Södesström OY", Helsinki, 2008), а также на авторитетного историка Матти Тур-

тола и его книгу «Генерал Йохан Лайдонер и гибель Эстонской Республики 1930–1940» («Kenraali Johan Laidoner ja Viron tasavallan tuho 1939–1940»). — Helsinki, Otava, 2008).

Было или не было оккупации — это вопрос в нынешней Эстонии не юридическо-го свойства, а «проблема» из области политических спекуляций. В правовом смысле любому правоведа, коим ваш покорный слуга является по университетскому образованию, давно всё понятно. Уже с самого начала 1990-х годов ясно и твёрдо придерживаюсь точки зрения, что нормы международного права говорят о понятии оккупации в целом более чем исчерпывающе. Конечно, имеются различные толкования по частностям. Но есть и основополагающие признаки оккупации. Режим и правовые нормы военной оккупации определены специальными международными соглашениями, принятыми на IV Гагской конференции 1907 года, а также Женевскими конвенциями 1949 года и протоколами к ним от 1977 года. Согласно этим международным документам военная оккупация является временным занятием вооружёнными силами одного государства территории другого государства с принятием на себя важнейших функций управления. Такая территория считается оккупированной, если фактическая власть на ней перешла в руки чужой армии. Оккупационная армия имеет право изымать деньги, казну и другие госактивы, но частная собственность, а также имущество общин, религиозных, художественных, образовательных, научных и благотворительных учреждений должна быть неприкосновенна. Более того, оккупирующая сторона вводит своё временное военно-административное управление. Имеется здесь ещё одна важная деталь. Если идти от обратного и считать, что Эстония была оккупирована Советским Союзом, то в случае войны 1941–1945 года Эстонию следует де-юре считать кем? Союзником Германии? Ведь, большая часть эстонской молодёжи была мобилизована в части СС. Кстати, международное право запрещает мобилизовать в свои вооружённые силы местное население оккупированной страны. А именно это сделали немецкие власти с помощью эстонских коллаборационистов, в частности, в 1944 году во главе с Улуотсом. В таком случае, Эстонию следует считать союзником агрессора, проигравшего войну, и легитимно обоснование для её оккупации налицо, с соответствующими «прелестями» — контрибуциями, привлечением к международным судам, например, Нюрнбергскому процессу и т.п. А главное, не пособникам агрессора, то есть суть агрессору, потерпевшему поражение, решать вопрос о последствиях и судьбе легитимной оккупации. Словом, с международно-правовой точки зрения Эстонии просто невыгодно требовать признания себя «оккупированной». Политические же дивиденды от спекуляций на эту тему — вопрос совсем из другой области.

Если Эстония будет продолжать ту политику, которую она проводила в течение 16 лет своего существования, включая политику угнетения и апартеида в отношении русского и русскоговорящего населения, а также политику русофобии в отношении России, то через лет десять Эстония перестанет существовать как государство, говорит Йохан Бэкман, отвечая на вопросы журналистов.

А-а! — раздался протяжный вопль по всей Эстонии, Бэкман желает истребления нашего государства, и он, дескать, против эстонцев. Вот типичный пример передёргивания и очевидной лжи. Бэкман не раз и не два ясно заявлял, что сочувствует эстонцам и эстонскому государству, соперничает нам и никак не хотел бы гибели эстонской государственности. Другой вопрос, что политическая практика эстонской правящей корпорации на протяжении полутора десятка лет такова, что Эстонию ждёт тупик. Основой самостоятельной внешней и внутренней политики любого нормального государства служит аксиома первенства национальных интересов страны. Краеугольным камнем этой основы во внешнеполитической сфере является принцип максимальной удалённости от враждебно настроенных сил и от территорий конфликтов. Древняя китайская поговорка так говорит о дипломатическом опыте Китая, страны с историей государственности протяжённостью в 4 тысячи лет (!): ближний сосед важнее дальнего родственника. Что мы имеем в Эстонии? Всё наоборот, шиворот-навыворот. Почему? Потому, что вме-

сто национальных интересов страны нам подсовывают, под видом этих интересов, совсем другие интересы, а вместе с ними и необоснованное право на привилегии и блага исключительно и именно для правящей корпорации, то есть тех групп и политических корпораций, которые находятся на вершущке государственной и политической власти. Национальные интересы требуют добрососедства с ближними соседями? Налицо же самое что ни на есть враждебное отношение к России и провокации, русофобская риторика, желание её уколоть, задеть побольнее. Национальные интересы требуют обеспечения самодостаточной экономической базы — производственной и технологической в промышленности и сельском хозяйстве, торговой логистики? Но где наша промышленность и сельское хозяйство? Исторически Эстония и вся Прибалтика зарабатывала на торговле между Европой и Россией (знаменитый Ганзейский союз!). На деле нам предлагают посредничать между китайцами и США с «европами». А может, сразу на межпланетарную торговлю замахнёмся? Между Землёй и Луной? Да и чем торговать? Своей «демократией», как обещают нам Март Лаар и иже с ним пустообрёхи? А кому она, демократия на эстонский манер, нужна-то даже на брэнной нашей планете. Что уж тут говорить о галактиках... Чтобы оправдать своё существование и псевдоправо на блага, нужна напряжённость в обществе, необходимо уводить в сторону внимание народа. Фобии и погромы, наподобие кровавого спектакля, устроенного вокруг «Бронзового солдата», хорошее тому подспорье. Но надолго ли хватит таких «цирковых» представлений с печальным исходом? Можно один раз обмануть многих, можно много раз обманывать одного, но много раз надувать всех... Этот номер вряд ли пройдёт. Вот о чём хотел сказать Йохан Бэкман, когда детально исследовал не только обстоятельства и причины «бронзовой ночи» в Таллине, но и попытался обобщить, систематизировать накопленный материал. В ответ — истерика и весьма неумелое шельмование.

В раже «клеймения» с использованием тавра «антиэстонскости» и «руки Москвы» в ход были пушены в отношении автора даже угрозы не только физической расправы, но и самой жизни. С услужливой подсказкой домашнего адреса в Хельсинки. Пропагандистская машина, в адрес управляемая «сверху», тарыхтела на все лады. Даже бывший советский диссидент Тийт Мадиссон, отсидевший шесть лет в лагерях СССР, а затем пару лет в эстонских тюрьмах по шутовскому обвинению «в попытке государственного переворота», смутился. В своём интернет-комментарии инакомыслящий, публично призывавший на митингах расправиться с «Бронзовым солдатом», обратился к «комментаторам» с увещеванием, мол, да погодите вы злопыхать, может, Бэкман дело говорит, дескать, книжку-то ещё никто не читал, чтобы судить о ней. Затем отметил, что, может статья, ещё раньше, чем через десять лет, эстонское государство обрушится...

Между прочим, с Тийтом Мадиссоном можно во многом не соглашаться и даже придерживаясь прямо противоположных точек зрения, но не лишено оснований впечатление, что в его лице мы имеем дело с человеком, искренне убеждённым в своей правоте и, в этом смысле, честным. При всём том, что вполне разделяю, как и многие люди, оценку нашего выдающегося земляка, Патриарха Московского и всея Руси Алексия. Святейший Патриарх назвал поступок правительства Андруса Ансипа и снос памятника Освободителям Таллина безнравственным. Точнее не скажешь.

Небезызвестная Марью Лауристин (для определённой части эстонцев, безусловно, авторитет) уже не раз говорила о том, что эстонское общество пребывает в стагнации. Это верно сказано. Но не как о причине, а лишь как о последствии нашего пятнадцатилетнего развития или, если хотите, деградации (в историческом смысле). Один из признаков — поведение местных средств массовой информации. Оппозиционные мнения и «лица» практически находятся под запретом. Все обязаны в голос одобрять «партию и правительство». Иначе... Ну да, иначе будете объявлены «антиэстонскими провокаторами» и говорить будут вместо вас, обильно поливая грязью вас самих же. Прямо как в незабвенное время говорилось: «...и при этом злоумышленник, подлец этакий, анти-

советски улыбался!». Именно так и поступали эстонские СМИ и их русскоязычные близнецы. На столах телефоны зазвонили с «рекомендациями свыше и от кого следует», за скрипели перья, зашуршали аппаратные в радио- и телестудиях, шелкопёры старательно выполняли пожелания.

Приведём наиболее яркие примеры, сравнимые с телевизионным «Очевидцем» Ливена-Михкеля Кярмаса, проявившего в беседе с Бэкманом по «Очевидцу» страстность прямо-таки южного темперамента (мама Ливена-Михкеля — не эстонка, урождённая в Польше). Если российские ТВ-каналы (ОРТ, РТР, ТВЦ и другие) показали с места событий 22 сентября вполне объективные репортажи, то редактора местных каналов изрядно поработали цензурными «ножницами». Особенно это касается русскоязычных каналов вещания, включая Первый Балтийский канал (ПБК), где господин Владимир Цукерман, как говорят злые языки, особо бдит за тем, чтобы ни в коем случае в эфир не попали «не те люди», в том числе ваш покорный слуга. Лик и ФИО Илляшевича, говорят, на квазироссийском ПБК строго запрещены. По любому поводу. Один знакомец поделился своим мнением, мол, Цукерман вообще о русских ничего в эфир не пропускает и к русским писателям, в особенности к крупнейшему российскому творческому союзу — Союзу писателей России — относится недоброжелательно, так как сей союз и русские писатели являются патриотами России, а не некими «русскоязычными» неизвестно кто. В успокоение антисемитов и, на всякий случай, еврейских националистов, отметим: движения носа господина Цукермана, всегда направленного по «эстонскому» ветру, скорее всего, имеют совсем другую подоплёку. Имеет же он приличный доходец со своих передач на эстонских каналах ТВ — за «Субботею», за «Наш Таллинн» (с двумя «н» в конце). Кто платит, тот заказывает музыку. Вот и играют на «заказ». Естественно, для эстонских заказчиков. Правда, очень многим (естественно, русским и другим соотечественникам России) это совсем не нравится, свидетельством чему служит то недовольство ПБК, которое из многих уст прозвучало на августовской Региональной конференции российских соотечественников стран Прибалтики, состоявшейся в Риге. Нет, ну что-то таки показывают, но этакое беззубое, незначительное — по определению, «политкорректное».

Отличилась и газета «МЭ — Суббота». Просьба не путать с ежедневной «Молодёжкой», ибо в «МЭ — Суббота» свой редактор, Элла Аграновская. В связи с представлением книги Йохана Бэкмана здесь была опубликована статья с грубыми выпадами против Финляндии и её президента Тарьи Халонен, а заодно и с хамскими выпадами против Й.Бэкмана. Помещена она была на странице «Мнения», на которой указано, что публикуемые мнения не обязательно совпадают с мнением редакции. Ну, что же, мнения есть разные. Даже хамские. Изюминка же состоит в том, что сей опус был напечатан ...без подписи автора. Когда Элла Аграновская на одном из всероссийских телеканалов оправдывала снос «Бронзового солдата» и действия правительства Ансипа, то реакция читающей публики была очень негативной, что выразилось в призыве к массовому бойкоту «Молодёжки» времён прежнего редактора Ильи Никифорова. Как-то со временем ситуация утихла. Нынче — новый выпад. То ли уроженка белорусского города Пинска и гражданка Эстонии «за особые заслуги» Элла Аграновская не захотела ставить свою подпись под чужой статьёй, то ли публикация, которая, судя по стилю, совсем не журналистом изготовлена и автор намеренно пожелал остаться анонимом, трудно сказать. Однако же, почти анекдот — «мнение» неизвестного источника под рубрикой «Мнения», с которым, возможно, Элла Аграновская совсем не согласна. Или согласна таки? С кем же тогда?

После выхода книги Й.Бэкмана «Бронзовый солдат» из печати, но ещё до её представления общественности в Таллине 22 сентября 2008 года, а значит, до того, как она стала доступной для прочтения, средства массовой информации Эстонии развернули кампанию по дискредитации книги и её автора без каких-либо ссылок на фактический материал. Группа эстонских и финских деятелей составила письмо-донос на доцента

Й.Бэкмана в адрес руководства Университета Хельсинки — ректора Томаса Вилхелмссона, канцлера Илкки Нийнилуото и декана юридического факультета Юха Кекконе-на, в котором «обращается внимание руководства» на участие Бэкмана в «антиэстонской пропаганде». В письме излагается требование «разобраться» с Бэкманом в стиле постановки вопроса: могут ли «такие лица» вообще преподавать в университете. Финская научная и политическая общественность оценила это «письмо» как попытку ввести цензуру, грубый выпад против свободы слова, предложение начать «охоту на ведьм» и травлю с лишением учёного места работы.

Более того, в Финляндии вызвал крайнее недоумение тот анекдотический факт, что «подписанты» сами книгу Й.Бэкмана не читали. В то же время пытались приписать ему то, чего не было в помине, например, т.н. «отрицание холокоста», хотя Бэкман не только не отрицал доказанный факт геноцида в отношении евреев Эстонии во время войны, который осуществили немецкие оккупационные власти, во многом с помощью местных эстонских коллаборационистов, но прямо указывает на факт геноцида как не вызывающий сомнений. Одновременно в прессу был запущен лживый «аргумент» с применением неприглядных методов. В письме-донесе против Бэкмана его составители включили фразу: «Бэкмана, по его высказыванием, можно сравнить с отрицателем холокоста, который преподаёт в университете историю еврейства». Затем, в прессе, это «сравнение» переделывалось в «отрицание холокоста». Таков механизм обмана общественного мнения. К сожалению, на эту удочку попались некоторые «подписанты» из числа еврейских деятелей — историк Эльхонд Сакс (Эстония) и член парламента Финляндии Бен Зюскович, которые также книгу Бэкмана не читали. Получается, что эти лица выступили против исследователя, который утверждал факт антиеврейского геноцида в Эстонии военного времени и осудил ликвидацию памятника освободителям Таллина, у которого наряду с двенадцатью другими погибшими советскими солдатами была похоронена также погибшая при освобождении города старшина медицинской службы, еврейка по происхождению — Ленина Варшавская.

В ответе «подписантам» доноса ректор Университета Хельсинки Томас Вилхелмссон указал, что «главная задача исследований университета состоит в поиске истины и новых знаний. Базовые принципы исследований — критичность и творческое начало — предполагают свободу в исследованиях и в преподавании, что касается также каждого исследователя и преподавателя университета. Таким образом, руководству университета не следует вмешиваться или высказывать своё мнение в части позиций и результатов исследовательской работы исследователей». Университетское руководство, как видим, твёрдо отмежевалось от каких-либо попыток вовлечь себя в травлю кого-либо согласно гарантированной Конституцией Финляндии свободе слова, общепринятым в научном мире и в университетах нормам отношения к исследованиям и мнениям, а также принципам вполне нормального терпимого отношения к взглядам и позициям членов общества. Именно последнее напрочь отсутствует в Эстонии, в её средствах массовой информации и, к сожалению, в общественном сознании и в позициях отдельных деятелей. Такое положение дел теперь испытал на себе финский учёный, который пытался поднять очень серьёзные вопросы в политической практике и общественном бытии Эстонии.

В отношении издателя книги Й.Бэкмана ситуация была стандартная. Подобная травля продолжается уже пятнадцать лет. Любопытно лишь одно: когда издателя в очередной раз «поливали» в эстонских СМИ, то последние тотально умалчивали одно важное обстоятельство: директор таллинского издательства Владимир Ильяшевич является руководителем Русской писательской организации Эстонии и секретарём правления Союза писателей России. Видимо, организаторы «охоты на ведьм» явно боятся авторитета писателя и ведущей писательской организации России в глазах общественного мнения.

Итак, по мнению составителей «открытого письма», финский учёный не имеет права на иную точку зрения, нежели принятую в верхах Эстонии. Можно было убить Дмитрия Ганина и до сих пор не обнаружить виновных в убийстве, можно Героя Советского Союза, ветерана войны Арнольда Мери отдавать под суд, в расчёте на то, что старый человек не выдержит травли... И к этому у нас, увы, привыкли. Воцаряется обстановка страха. Тем же, кто в этом заинтересован, всё позволено, потому что позволяется.

Тем временем, не только университетское руководство Й.Бэкмана, но и авторитетные политические деятели Финляндии отнюдь не разделяют оценки и устремления наших «демократов». Здесь любопытно было бы взглянуть на одну публикацию, которую мы предлагаем вниманию читателей.

Эрки Туомия (Хельсинки, Финляндия)*
(Интернет-блог: www.tuomioja.org)

**ЙОХАН БЭКМАН. «БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ.
ИСТОКИ И СУТЬ КОНФЛИКТА ВОКРУГ ПАМЯТНИКА В ЭСТОНИИ».
ТАРБЕИНФО, ХЕЛЬСИНКИ, 381 СТР.**

Следует ли провоцироваться? **

Памфлет Йохана Бэкмана о Бронзовом солдате — сознательная провокация. Его исходной позицией стало перемещение из центра Таллина памятника, установленного в честь солдат Красной армии, погибших в 1944 году, когда ими вновь был отвоёван Таллин, и этим обусловленная демонстрация протеста, переросшая в беспорядки в апреле 2007 года. Отталкиваясь от случившегося, исследование расширяется на тему истории Эстонии и Финляндии времён войн и на тему современных взаимоотношений Эстонии и России.

Когда Бэкман без колебаний обвиняет Эстонию и эстонцев в участии в холокосте, направленном Германией против еврейского населения Эстонии во время войны, в установлении в самостоятельной Эстонии правления апартеида, направленного на притеснение и угнетение русских, да ещё отрицает вообще понятие оккупации Эстонии, когда она была в составе СССР, то ясно, что страсти закипают в Эстонии и Финляндии. К этому, без сомнений, Бэкман и стремился, так как стиль книги, если о нём говорить, представляет собой некую гротескную провокацию, и, как сам автор определяет, книга является выражением «политического мнения, замешанного, кстати, на исторических исследованиях, художественной литературе и мнениях».

Самым провокационным был бы прогноз об ожидаемом конце Эстонии в течение десяти лет и её возвращении к России. Именно подобного утверждения, оглашённого для общественности, в книге я и не заметил, да и сам Бэкман отрицает, что писал что-

* Эрки Туомия (1.07. 1946, Хельсинки) — государственный деятель, политик Финляндии, доктор государственного управления, публицист. Родители — посол Сакари Туомия и Валпу Вуолийоки; супруга (1978) — Марья-Хелена, урождённая Раяла. Образование: школы в Хельсинки, Лондоне и Женеве, докторская диссертация в Хельсинкском университете (1996). Министр иностранных дел Финляндии (25.2.2000–18.4.2007); министр торговли и промышленности (1999–25.2.2000); депутат парламента Финляндии (1970–79 и с 1991 года); член парламентской комиссии по международным делам (1970–79, 1991–99), Совета Северных стран (1971–79, 1991–96 и с 2007 года), президент Совета Северных стран с 2008 года; второй заместитель председателя социал-демократической фракции парламента (1991–96), председатель фракции (1996–99).

** Печатаются с незначительными сокращениями. Термин «провокация» на финском языке не носит однозначно выраженный оттенок, нежели в русском языке.

либо подобное, но в книге обнаруживается предостаточно других провокаций. Например, газета «Хельсингин саномат» в книге целенаправленно представлена в качестве нацистского издания Эркко, а сам Элиас Эркко — не только подстрекатель Зимней войны (1938 года. — **Прим. переводчика**), но и, будучи автором идеи сотрудничества по блокаде Финского залива, вынудил Советский Союз расколоть блокаду с другого конца, заключив между СССР и Эстонией договор о военных базах в 1939 году. Благодаря этому, пишет Бэкман, Эстония была вынуждена «заплатить дорогую цену за войну Эркко» и продолжает её платить в дальнейшем.

Вместе с иными в «галерею подлости» Бэкмана попадают также Тарья Халонен и Вяйно Линна. К грехам Халонен относятся её речь в Париже, в которой она называет войну Финляндии в 1941–1944 годов специфической, а также её более раннюю деятельность в Европейском союзе в пользу принятия в его члены Эстонии, хотя последняя не соответствовала требованиям по части отношения к своему русскому меньшинству. (Далее: абзац об оценках книги «Неизвестный солдат» финского классика Вяйно Линна, который, как считает Бэкман, «украл» у финнов мораль тем, как представил Финляндию в войне. — **Прим. переводчика**).

Избравший подобный стиль автор не может, на самом деле, пенять на то, что в ответ на поднятые им и важные сами по себе вопросы из истории Эстонии и Финляндии последнего столетия, а также и ответ на то, что он называет «эстонским государством апартеида», не находит приёма, содержательного и направленного на диалог в поиске истины. Хотя публичное обсуждение этих вопросов следовало бы приветствовать в порядке того, как нужно обращаться с прошлым, что сейчас в Эстонии отсутствует. Это имело бы в применении к Эстонии исключительное значение с точки зрения управления своим настоящим и будущим.

Но сейчас всё пошло в обратном направлении — группа граждан Финляндии***, объединённых дружеским отношением к Эстонии и страхом перед Россией, ведомые европарламентариями Лаксом и Лехтиненом, направила руководству Университета Хельсинки открытое письмо, в котором задаются вопросом, как может университет акцептировать личность, преподающую право и политику России и Эстонии, которая распространяет об истории Эстонии ложную и ненавистническую пропаганду.

Такое цензурное письмо, на деле, находится не в ладах с теми ценностями терпимости и свободы слова, которые, надеюсь, должны быть под особым вниманием европарламентариев. Было бы хорошо знать, сколько из тех, кто подписал письмо, действительно прочитало «Бронзового солдата»? Если и есть, что сказать по поводу деятельности Бэкмана в качестве преподавателя университета, то следует иметь в виду его преподавательскую деятельность, а не подобные памфлеты и прочие мнения, высказываемые вне стен университета.



Октябрь 2008

**Литераторша Финляндии
Софи Оксанен, мать
которой — из Эстонии.**

*** Инициатором письма стали лица эстонского происхождения. В частности, преподаватель политологии Хельсинкского университета, член правой партии «Коккоумус» эстонка Иви Анна Массо, эстонская журналистка Имби Паю, финская литераторша Софи Оксанен (мать — из Эстонии, Хаапсалу).

Среди 16 лиц, подписавших письмо, граждане Эстонии: Эльхонен Сакс (еврейский историк), Евгений Криштафович (студент юридического факультета Тартуского университета, член молодёжного объединения Реформистской партии), Катри Валласте (докторант Александровского института в Хельсинки), Евгений (Евгэн) Цыбуленко (преподаватель частного вуза в Таллине) (**Прим. переводчика**).

«Молодёжь Эстонии» от 13.09.2004: «Тийт Мадиссон напомнил, что еврейская община Эстонии не выступала с заявлениями об оскорбительном для неё характере памятника в Лихула (эстонцам — солдатам СС. — **Прим. переводчика**), и сослался на опубликованную в августе статью одного из активнейших участников общины Эльхонена Сакса.

Кавалер знака отличия Эстонии «Белая звезда» Эльхонен Сакс 25 августа в газете Центристской партии «Кескнядал» выступил с заметкой, в которой встал на защиту эстонцев, воевавших на немецкой стороне в годы Второй мировой войны.

«Я не сомневаюсь, что в легионе СС служили достойные и честные люди, большинство из которых насильно поставили под ружьё. Они были убеждены, что сражаются и гибнут за свою родную Эстонию, наивно рассчитывая, что произойдёт чудо и повторится 1918 год (год создания Эстонской Республики)», — написал Эльхонен.

При всём этом, как сообщала пресса, ранее «издатель, автор энциклопедий «Святая земля Израиль» и «Кто такие евреи и что такое Холокост», член еврейской общины Эстонии Эльхонен Сакс отметил рост антисемитизма в стране в последние два года», выступая в летнем лагере, организованном Христианской народной партией Эстонии (ХНПЭ) на хуторе неподалёку от города Вильянди в августе 2003 года. Впрочем, можно ещё понять Э.Сакса в его мнении об эстонцах-эсэсовцах, «насильно поставленных под ружьё». Но как понять его позицию в отношении книги Й.Бэкмана, осуждающего антиеврейский геноцид в Эстонии...

Сказанное выше нехотя приводит к мысли, что, мягко говоря, столь непоследовательная позиция некоторых деятелей еврейской общины Эстонии и Финляндии более чем странна. В том числе и для почтенного возраста Эльхонена Сакса, выходца из еврейской семьи, переехавшей из Польши в Эстонию, спасшейся от нацистской оккупации в советской эвакуации (Россия и Самарканд). Сестра же господина Сакса после войны, с возвращением семейства в Эстонию, окончила Тартуский университет, по выражению Э.Сакса, «стояла у истоков» эстонской советской прессы и вышла замуж за будущего выдающегося эстонского писателя-сааремаасца Юхана Смууля, секретаря Союза писателей СССР, лауреата Сталинской и Ленинской премий.

Если же Эльхонен Сакс допустил ошибку, то об этом следовало бы сказать и извиниться перед Йоханом Бэкманом, что, впрочем, не мешало бы сделать также финскому парламентария Бену Зюсковичу, а заодно и журналистам Ливену-Михкелю Кярмасу, мама которого тоже выходец из Польши, редактору «МЭ — Суббота», уроженке белорусского Пинска Элле Аграновской, а также финской гражданке и начинающему драматургу Софи Оксанен, мать которой — из эстонского Хаапсалу.

Можно было бы ограничиться моральной оценкой безнравственных поступков в отношении издания книги Йохана Бэкмана. Однако автор книги всё же решил не ограничиваться призывами к совести. Поскольку в его адрес прозвучали совершенно недвусмысленные угрозы расправы, а «открытое письмо» с призывами к травле является в Финляндии грубым нарушением свободы слова и мнений, то он обратился в полицию. И финские органы правопорядка отреагировали на это обращение так, как это принято в истинно демократическом обществе — было заведено уголовное дело по расследованию вышеприведённых фактов.

ВАЛЕНТИНА БАННИКОВА — ЮБИЛЯР. ПОЗДРАВЛЯЕМ!



Кто-то из мудрецов сказал, что с женщиной не надо спорить. Женщиной надо восхищаться... А мы становимся всё более равнодушными и безразличными и к женщине, и друг к другу... Да и может ли быть иначе в обществе, построенном на неприязни, а не на уважении и любви? Так начался наш разговор за праздничным столом с юбиляром — Валентиной Алексеевной Банниковой, не просто давно и хорошо мне знакомой, но и ставшей, в силу обстоятельств, одно из тех. Весьма немногих женщин, на которых. В случае чего, можно положиться.

Почти семь лет она является председателем Северянинского общества культуры в Эстонии, т.е. того самого общества, которое свело нас и подружило.

Человек активной жизненной позиции и нерастраченной энергии, она не может жить без дела. За это время состоялось множество круглых столов, конференций, вечеров, посвящённых творчеству «короля русских поэтов» и в Таллине, и в других городах Эстонии — Нарве, Силламяэ, Кохтла-Ярве, Пярну, Пайде, Нарва-Йыэсуу и т.д.

Она всегда готова куда-то пойти, поехать, принять участие. С кем-то встретиться, составить очередной план... У неё на всё хватает времени и сил.

Благодаря её инициативе установлены постоянные творческие контакты с литературным музеем Игоря Северянина в городе Череповце, где, как писал поэт, «я прожил три зимы в реальном», с литературными музеями, деятелями культуры в Гатчине, Санкт-Петербурге, а также Пскове, Остафьеве (это уже по Ганнибалу). Собраны интересные материалы о жизненном и творческом пути Северянина, вошедшие в сборники-буклеты и календари, изданные к 100-летию творчества и 120-летию со дня его рождения.

За это время укоренилась традиция ежегодно, 16 мая и 20 декабря, в день рождения (1887) и смерти поэта (1941 год), собираться у его могилы на Таллинском Александров-

Невском кладбище, где теперь со словами «как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб» восстановлена памятная плита. Туда приходят не только взрослые любители поэзии Игоря Северянина, но и школьники, чтобы воздать должное его памяти, почитать его стихи. И кто-нибудь непременно вспомнит пронзительные строки Северянина, написанные в Эстонии в 1925 году и посвящённые России:

*Ты потерял свою Россию.
Противопоставил ли стихию
Добра стихии мрачной зла?
Нет? Так умолкни: увела
Тебя судьба не без причины
В края неласковой чужбины.
Что толку охать и тужить —
Россию нужно заслужить!*

Но вернёмся к нашему юбилею. Трудовая биография В.А.Банниковой пестрит многообразием: культурно-просветительная и педагогическая работа на Камчатке; затем — Эстония. Школа — газета «Вечерний Таллин», Министерство энергетики, Союз славянских просветительских и благотворительных обществ... А базой для её трудовой и общественной деятельности стали учебные заведения, музеи, театры, библиотеки города на Неве — Ленинграде, — работа в пионерских лагерях. Студенческих стройотрядах, общение и будни командировок.

Она готова взяться за любое дело, объять необъятное, присутствовать одновременно и там, и тут, поддерживать и популяризировать работу энтузиастов по сохранению русского культурного пространства. Она — редактор и составитель многих печатных сборников и книг, посвящённых деятелям русской культуры, поэзии, наших современников в Эстонии, праздникам (и их организаторам) песни и танца «Славянский венок». Каким образом? Непостижимо. Уже хотя бы потому, что у неё — дом, семья, дети, внуки... В ноябре Валентина Алексеевна Банникова отметила свой очередной юбилей. Юбилей солидный. И это — тоже кажется непостижимым, если бы не знание, что главный источник её жизненной энергии — любовь к людям.

Валентина Сийг

Эстонское отделение Союза писателей России, совет Международной литературной премии им.Ф.М.Достоевского, Совет по присуждению Русской премии по культуре им.И.Северянина, редакция журнала «Балтика» сердечно поздравляют с юбилеем Валентину Алексеевну Банникову и желают здоровья, много радостей и творческого долголетия.

В. Н. ГАНИЧЕВ — ЛАУРЕАТ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ ИМЕНИ Ф.М.ДОСТОЕВСКОГО

15 ноября на торжественной церемонии в Зимнем саду театра «Эстония» (гор.Таллин) была вручена Международная литературная премия имени Ф.М.Достоевского лауреату этой награды за 2007–2008 годы — председателю Союза писателей России, профессору Валерию Николаевичу Ганичеву за произведения исторического жанра, за книги, посвящённые выдающемуся русскому флотоводцу и Святому праведному Фёдору Ушакову, которого судьба не раз приводила на Балтику и в Ревель. «Премия носит имя величайшего русского писателя Достоевского и моему сердцу особенно близко то, что я удостоен именно этой награды», сказал В.Н.Ганичев в ответном слове.

Награждение состоялось в рамках Международных дней Достоевского в Эстонии (14–16 ноября), которые проводятся в этой стране с 2001 года, когда усилиями Эстонского отделения СП России и фонда премии им. Ф.М.Достоевского впервые состоялись эти Дни. В числе лауреатов прежних лет — Валентин Григорьевич Распутин, один из крупнейших зарубежных славистов, профессор Университета Осло Гейр Хьетсо (Норвегия), нынешний ректор Литературного института им. А.М.Горького, профессор Борис Николаевич Тарасов. Дипломами премии награждались также писатели Эстонии и Латвии, переводчики русской литературы на языки народов Прибалтики. Лауреаты избираются, как правило, один раз в три года, а дипломанты — ежегодно.

Диплом и медаль лауреата, а также денежное содержание премии вручили Валерию Николаевичу посол России в Эстонии Н.Н.Успенский и председатель Совета премии и Оргкомитета Дней Достоевского, секретарь правления СП России, руководитель Русской писательской организации Эстонии В.Н.Илляшевич. Российский посол подчеркнул в своём выступлении то обстоятельство, что награждение происходит в год 50-летия Союза писателей России.

После небольшого концерта духовного песнопения в исполнении мужского хора таллинского Никольского храма, пастырское слово и напутствие произнёс глава Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата митрополит Таллинский и вся Эстонии Корнилий. Владыка Корнилий отметил выдающийся вклад В.Н.Ганичева в современную литературу, в развитие литературного процесса и в деятельность Всемирного Русского Народного Собора. Лауреат премии, как известно, является одним из основателей ВРНС и неизменным заместителем Главы Собора. Именно последнее стало главным мотивом награждения писателя и заслуженного деятеля современной культуры высшей наградой Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата — орденом Святого Исидора Юрьевского, который Владыка вручил новому орденскому кавалеру в завершение своего слова.

Российских писателей на Днях Достоевского в Эстонии представляли также главный редактор журнала «О Русская земля!», руководитель ряда всероссийских молодёжных программ Марина Валерьевна Ганичева, секретарь правления СП России, главный редактор журнала «Новая Книга России», председатель оргкомитета фестиваля документального фильма «Бородинская осень» Сергей Иванович Котыкало, яркие выступления которых неизменно привлекали внимание присутствующих. От Правительства Москвы и Московского Дома соотечественника в составе делегации — кандидат исторических наук Александр Петрович Афанасьев, а от русских писателей Латвии — президент Международной ассоциации писателей и публицистов (МАПП), член СП России Марат Каландаров и его заместитель, прозаик Олег Михалевич (оба из Риги), которые предприняли новое совместное издание газеты СП России и МАПП, предназначенной для российских соотечественников зарубежья, — зарубежного варианта газеты «Российский писатель» (вместе с гл.редактором Николаем Дорошенко, Москва). Марат Калан-

даров и Олег Михалевич представили первый выпуск зарубежной газеты читательской аудитории Эстонии. По поводу участия интересного публициста и эссеиста А.П.Афанасьева отметим отдельно, что деятельность именно Московского Дома соотечественника отличает конкретная и предметная помощь российским соотечественникам зарубежья на протяжении многих лет. От писательского сообщества Финляндии в мероприятиях участвовал доцент университетов Хельсинки, Турку и Йёнсуу, писатель-публицист Йохан Бэкман, автор ряда нашумевших в Прибалтике и в Финляндии книг о недавних событиях, в том числе о т.н. «бронзовой ночи», когда с центра эстонской столицы был устранён памятник Освободителям Таллина.

В рамках Дней Достоевского в Таллине и на Северо-Востоке Эстонии состоялась серия очень содержательных и интересных встреч с литераторами, любителями русской литературы, преподавателями школ и вузов. Утром 15 ноября делегация возложила цветы к памятнику Достоевского в центре Таллина, который был установлен в 2002 году после многолетнего сбора народных средств и при содействии Правительства Москвы, подарившего Таллину скульптурное изображение писателя работы московского ваятеля Евдокимова. Идея памятника и сбора средств была выдвинута в середине 1990-х годов председателем Союза обществ славянских просветительских и благотворительных обществ Эстонии Николаем Соловьём и исследователем ревельских страниц творческой биографии Достоевского, таллинским писателем Владимиром Илляшевичем. Навестили гости и могилы родителей Святейшего Патриарха Алексия II, что в таллинском историческом Александро-Невском некрополе, Военное кладбище, где сейчас находится памятник «Бронзовый солдат», перемещённый сюда из центра города, а также побывали на службе в таллинском кафедральном соборе во имя Св. Александра Невского.

На вечере в память замечательного эстонского поэта Арви Сийга (8 ноября ему исполнилось бы 70 лет), организованном Северянинским обществом культуры, выступили, наряду с зарубежными гостями, председатель общества Валентина Алексеевна Банникова, писатели Юло Туулик и Владимир Илляшевич, а пярнуский поэт, член Союза писателей России Геннадий Верещагин прочитал свои стихи, посвящённые Арви Сийгу и его супруге, известному искусствоведа и публицисту Валентине Андреевне Сийг, автору интереснейшей книги о творчестве А.Сийга «Если бы снова...». Сердечное слово сказал издатель эстонского перевода этой книги Лаури Ванамельдер (издание выйдет из печати в декабре), а песни на стихи А.Сийга спел пярнуский исполнитель, поэт и музыкальный деятель Тоомас Кутер, который, кстати, является автором перевода книги Валентины Сийг.

Особо хотелось бы отметить встречи в преимущественно русскоязычном городе Кохтла-Ярве на Северо-Востоке Эстонии с участием городского головы Евгения Васильевича Соловьёва, депутата парламента Эстонии Валерия Николаевича Корба и генерального консула России в Нарве Николая Петровича Бондаренко. Богатая на добрые чувства встреча была организована силами местных литературных объединений во главе с членом СП России Владимиром Александровичем Жилкиным. Один из итогов заинтересованного общения — обретение конкретной поддержки со стороны городских властей, российских дипломатических представительств и писательской организации для ряда будущих многообещающих литературных проектов на Северо-Востоке Эстонии, в том числе в приграничной древней Нарве.

Завершился трёхдневный цикл мероприятий в Эстонии, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, посещением гостями и организаторами Дней «православной жемчужины» — ставропигиального Пюхтицкого Свято-Успенского монастыря. Тщаниями матери-игумении Варвары, делегацию встретили с редким гостеприимством, столь отличающим насельниц этой обители, жизнедеятельность которой тесно связана с судьбой Предстоятеля Русской Православной Церкви и игумении Варвары на протяжении всего их долгого и деятельного служения православной вере и миру.



У памятника Ф.М.Достоевскому в Таллине. 15.11.2008. Справа налево: А.П.Афанасьев (Московский Дом соотечественника), Й.Бэкман (Финляндия), С.Ф.Ганичева, В.Н.Ганичев, М.В.Ганичева, С.И.Котькало, В.Н.Илляшевич, Л.И.Рязанова.



У могил родителей Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Таллинском Александро-Невском кладбище 15 ноября 2008.



В.Н.Ганичеву вручается Международная литературная премия им. Ф.М.Достоевского. Слева: Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Эстонской Республике Н.Н.Успенский и В.Н.Илляшевич. Зиний сад театра «Эстония», 15.11.2008.



Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий вручает орден во имя Св.Исидора Юрьевского (Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата).



Митрополит Корнилий, В.Н.Ганичев, посол Н.Н.Успенский.



Писатели у памятника Освободителям Таллина на Военном кладбище Таллина. 15.11.2008.



В Кохтла-Ярве на встрече с любителями русской литературы и местными литераторами. Слева: А.П.Афанасьев (Москва), эстонский парламентарий В.Н.Корб, В.Н.Илляшевич, В.Н.Ганичев, генеральный консул России в Нарве Н.П.Бондаренко. 16.11.2008.



Олег Михалевич и Марат Каландаров, писатели из Риги. Кохтла-Ярве. 15.11.2008.



В.Н.Ганичев, С.И.Котьяло, С.Ф.Ганичева, А.А.Заренков (Эстония) в музейей Св.Иоанна Кронштадтского в Пюхтицком монастыре. 16.11.2008.



Монахиня Тихона знакомит гостей с обителью. 16.11.2008.



М.В.Ганичева в монстырском музее. 16.11.2008.




В монстырском музее. В центре, слева от В.Н.Ганичева, архимандрит о.Лазарь.



**ВСЕ ВИДЫ ИЗДАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ!
ОТ ИДЕИ ДО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ!**

ВИЗИТКИ БУКЛЕТЫ ЖУРНАЛЫ
БЛАНКИ ГАЗЕТЫ КНИГИ
ПРОСПЕКТЫ КАЛЕНДАРИ КАТАЛОГИ

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН
В ЦВЕТНОМ И ЧЕРНО-БЕЛОМ ИЗОБРАЖЕНИИ.**

 OÜ TARVEINFO – РУССКИЙ ТЕЛЕГРАФ
Info-publicity-publishing –
общественные связи и издательство

Рae 17А-16 11414 Tallinn EESTI
Эстонская Республика, 11414
Таллин, ул. Паэ, 17А-16
Tel/fax: (372) 6 381 087

E-mail: willinfo@infonet.ee, Интернет: www.baltwillinfo.com

Строительство храма в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» в таллинском районе Ласнамяэ

Реквизиты:

SEB 10220073097014

Получатель:

**Moskva Patriarhaadi
Eesti Õigeusu Kirik**

Пояснение
платежей:

**Lasnamõe kiriku
ehitamine**

**Пожертвования
со всех счетов
направляются
на строительство
храма в Ласнамяэ.**



- Инфотелефон — **662 38 77** • Интернет-страница храма: <http://panagia.orthodox.ee>

1317 — новый телефон для внесения пожертвований
на строительство храма. Позвонив по этому номеру,
вы жертвуете **200** крон на строительство храма.